

# НОВОБЫИ МИИР

5



1980

ИИ

НОВОБЫИ  
МИИР

1980



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВETERАНЫ — Николай Войткевич, Виктор Федотов, Алексей Смольников, Алексей Леонтьев, Софья Петренко, Юрий Белаш, Анатолий Прокудин, Анатолий Головков, Анатолий Землянский, Петр Хорьков, Юрий Мельников, Евгений Ерхов, Н. Рудой, Иван Савельев, Михаил Касаткин, Юрий Лозина, Татьяна Глушкова, Зиновий Вальшопок, стихи	3
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ — Ближние подступы. Записки военного переводчика	21
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — «Там, где Семеновский полк...», рассказ	82
МАРК СОБОЛЬ — Трептов, рассказ	96
САВВА ДАНГУЛОВ — Заутреня в Рапалло, роман. Окончание	101
ЛЕОНИД БЕЖИН — Мастер дизайнера, рассказ. Предисловие Георгия Семёнова	153
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ — Борис Лебский, С. Орлов, стихи	179
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Г. ШАХНАЗАРОВ, Г. ОСТРОУМОВ — Осмыслявая пройденный путь	182
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
ВЛАДИМИР АБЫЗОВ — Последний штурм. Рассказ участника боев за Берлин	189
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
М. КРУПНИКОВА — Фронтовые записки	198
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
АНДРЕЙ НИКИТИН — Восхождение к человеку. Окончание	204
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ — Что остается людям?	220

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*К 75-летию со дня рождения М. А. Шолохова*

- ОНДРЕЙ МАРУШЬЯК — Дорогой для всех нас опыт. Перевела со словацкого Р. Филипчикова 237
- В. ЛИТВИНОВ — Люди победы. Тема Великой Отечественной войны в творчестве М. Шолохова 243
- ВЛАДЛЕН КОТОВСКОВ — Встреча с «дочерью» Григория Мелехова. Из блокнота литературного критика 256

### КНИЖНОЕ ОБЗОРЕНИЕ

*Литература и искусство* 259

В. Оскоцкий. Пути и судьбы советского рассказа. — А. Нуйкин. Оружием пафоса и иронии.

*Политика и наука* 265

Григорий Резниченко. Первый главком.

КОРОТКО О КНИГАХ: Д. Панков. — С. М. Исаченко. В одной цепи с атакующими. ✦ Михаил Найдич. — Живые строки войны... ✦ Э. Бабаев. — Василий Субботин. Роман от первого лица. Василий Субботин. Бранденбургские ворота. Стихи. ✦ В. Лошкин. — Наталья Кравцова. Вернись из полета! Повести 269

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

---

---

## ВETERАНЫ

В этой подборке мы публикуем стихи ветеранов Великой Отечественной войны, а также стихи о войне поэтов других поколений.

### НИКОЛАЙ ВОЙТКЕВИЧ

#### Возвращение

Поезда — на восток.  
Поезда — на восток.  
Белосток. Граница. Родина!  
А в вагонах... В вагонах умолк говорок:  
Кутаиси, Москва, Анадырь, Таганрог  
Обхватили, прижали друг друга: «Браток!»  
И сомкнулись солдатские кружки в кружок:  
«Ну-ка чокнемся! Дома вроде... А?!»  
«Эх да меж крутых бережков  
Волга-речка течет...» —  
Раскатилось широкою Волгой.  
И вот, не скрывая согревшихся, волглых,  
Бывших долго железными глаз,  
Капитан, возвращающийся в геологи,  
В тон друзьям распаковывал бас:  
«...Волга-речка течет...»  
А в окна вагонные, ветру открытые,  
Как будто в награду за воинский труд  
Бросает весна под дождями промытый,  
Наполненный солнцем лесной изумруд.

#### Память о мае 1945 года

И последний салютный выстрел  
В распахнувшемся небе заглох.  
Под солдатский прорвавшийся вздох  
Спирт в стаканы пошел из канистры.  
Спят солдаты. Ни снов — ни боли.  
Автоматы рядом легли.  
Звезды высыпали крупной солью  
На рубаше усталой Земли.  
Спят солдаты. Затихли пожары.  
Пуст у каждого патронташ.  
Млечный Путь —  
Светлячками сигарок  
Всех ушедших в последний марш..  
...Мир нисходит.

### ВИКТОР ФЕДОТОВ

#### На поле боя

На тридцать первом километре  
прощай, шофер. Пыль от колес



взлетела парусом на ветре.  
 Мне здесь с друзьями довелось  
 идти по мартовскому снегу,  
 в апрельской увязать грязи,  
 врага сметая как помеху,  
 другой не ведая стези.  
 Как много раз в горячем деле  
 мы знали лишь одно — стрелять!  
 И сами были на прицеле  
 и не боялись погибать.  
 Вон там, у самого болота,  
 гремели корпусные доты,  
 тянулись посреди травы  
 противотанковые рвы.  
 Почти два года не родила  
 хлебов кормилица земля,  
 война-карга нагородила  
 боев кровавые поля.  
 Но и тогда, в дни боевые,  
 нам снилась буйная пшеница,  
 а не удары штыковые,  
 и как светлели наши лица.  
 В боях себя мы не жалели,  
 шагнув последних три шага,  
 увидеть лишь одно хотели —  
 лицо сраженного врага.

1946.

## АЛЕКСЕЙ СМОЛЬНИКОВ

### Памяти С. Орлова

А когда опускали в землю тебя, Сергей,  
 Дождик мелкий бусил над осенним Кунцевом,  
 Потом по-воински, трижды,  
 Лопнул салют над могилой твоей,  
 И подвинулись сразу мы к ней плотней  
 И взяли по горстке земли,  
 Будто золото брали по унции.  
 Ах, как долго стучала в доску она над тобой!  
 Лишь потом осмелели, заторопились лопаты,  
 И зарыли тебя в шар земной,  
 Как ты сам написал когда-то.  
 Меньше стало нас!  
 Но не только в этом была беда —  
 Тише стали все, семена к воротам,  
 Будто вновь возвращались в нещадные те года,  
 Где снова передовая за поворотом...  
 Говорят, ко всему привыкаешь,  
 Навидавшись столько смертей.  
 Мы идем рядом —  
 Ваншенкин, Викулов, Дементьев, Максимов, Соболь...  
 Не хочу, не хочу провожать за ворота друзей, Сергей!  
 Но это уже разговор особый.  
 Нас и так уже мало,  
 Гораздо меньше, чем возвратилось с войны,  
 Только на ветеранских застольях и пошумим, бывает.  
 Ты знаешь, я даже страшусь порой тишины —  
 В такие минуты снайпер по одному выбивает.

Он и достал тебя, верно,  
Не дрогнула у него рука.  
В кого он еще прицелился из далекой дали?  
Тридцать лет миновало,  
А все война близка —  
Над самым сердцем цокают  
Фронтовые мои медали.

### АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ

#### Бранденбургские ворота

Высокий пушечный лафет  
и Бранденбургские ворота!  
Читай стихи, читай, поэт!  
Остановилась третья рота.  
Весь полк стоит, и впереди  
сам генерал поставил «виллис»,  
и все, кто мимо проходил,  
вокруг лафета становились.  
Как он читал! И сам себе  
не отыскал бы он сравненья,  
бойцы забыли про обед  
и про усталость и раненья.  
Потом качали, и поэт  
успел взглянуть во время взлета —  
внизу был маленький лафет  
и Бранденбургские ворота.  
Давно закончилась война,  
вот он опять на Малой Бронной  
живет в своей квартире скромной,  
и по утрам ему жена  
спать не дает: «Иди в газету,  
иди в какой-нибудь журнал».  
Что делать старому поэту?  
Идет, несет свои стихи,  
но говорят — стихи плохи  
и улыбаются в ответ,  
когда он скажет про лафет  
и Бранденбургские ворота...

1946.

\* \* \*

Не холостой давали залп,  
а боевой, по цели.  
Его раскрытые глаза  
еще на мир глядели.  
Казалось, он с собой унес  
и страшный отблеск боя,  
и тишину весенних звезд,  
и небо голубое!  
Казалось, он перед врагом  
нашел и в смерти силу,  
и ни лопатой, ни штыком  
не рыли мы могилу.  
Нет, он не мог уйти от нас,  
пока еще атака,  
сам генерал отдал приказ:  
— Везти его на танке!

Чтоб как живым любили, так  
и мертвым не обидеть!  
Чтоб над Берлином алый флаг  
он лучше мог увидеть!

1945.

\* \* \*

Мы дожили до радостного мира,  
безоблачны над нами небеса!..  
Мы делаем визиты на квартиры  
по прежним, довоенным адресам.  
Нам наливают рюмку и вторую,  
но сами угощают, а не пьют.  
За сына за убитого целуют  
и мертвых фотографии дают.  
Играют их любимые пластинки...  
Мы слушаем..  
Мы смотрим у дверей  
на руки, покрасневшие от стирки,  
на волосы седые матерей..  
Им жить придется с мыслью неотвязной,  
им письма с сорок первого хранить  
и юношу, погибшего под Вязьмой,  
то снова воскрешать,  
то хоронить.

## СОФЬЯ ПЕТРЕНКО

### Позиция

На этом пятачке, в окопчике моем,  
Никто меня в бою сменить не сможет.  
Друг автомат, мы здесь с тобой вдвоем:  
Слиянье стали с теплой нервной кожей.  
Слияние прицела и зрачка,  
Следящего за сектором обстрела  
От камушка на взгорке до сучка,  
До вмятины в стволе березы белой.  
Окоп мой неглубок. Под фланговым огнем  
С пробитым сердцем сникну я, быть может.  
Травкою зарастет забытый холм,  
И песню обо мне никто не сложит.

Но суть в ином. Не уцелею — пусть.  
И славы мне и памяти не надо.  
Со мной она — превысшая награда:  
Я защищаю жизнь...

## ЮРИЙ БЕЛАШ

### Сухая тишина

Шли танки..  
И земля дрожала.  
Тонула в грохоте стальном.  
И танковых орудий жала  
белесым брызгали огнем.  
На батарее — ад крошечный!  
Земля взметнулась к небесам.

И перебито, перемешано  
железо с кровью пополам.  
И дым клубится по опушке  
слепой и едкой пеленой —  
одна истерзанная пушка  
еще ведет неравный бой.  
Но скоро и она, слабея,  
заглохнет, взрывом изувечена,  
и тишина, сухая, вечная,  
опустится на батарею.  
И только колесо ребристое  
вертеться будет и скрипеть —  
здесь невозможно было выстоять,  
а выстояв — не умереть.

### Уличные бои

Памяти Константина Симонова —  
солдата, поэта.

Думали, уйдем на отдых... Но теперь на отдых плюньте!  
Предстоят труднейшие бои — уличные, в населенном пункте.  
Это вам не в чистом поле — тут кирпич, бетон и камень,  
да еще хрустят обломки черепицы под ногами.  
Тут не выроешь окопчик, мать земля тебя не спрячет —  
тут разрывами снарядов на асфальте раскорячит  
и совсем без проволочек по башке твоей по стриженной  
как погладит, так погладит вывороченной булыжиной.  
Думали, уйдем на отдых...  
Тут тяжелые орудия бьют с кратчайших расстояний  
трехпудовыми снарядами по дверям и окнам зданий,  
и густая пыль кирпичная в отсветах кроваво-ржавых  
заволакивает улицы вместе с дымом от пожаров.  
А бомбежки?.. В чистом поле, право слово, как-то легче:  
ну землей тебя окатит, ну осколком покалечит.  
Тут же, в каменных коробках, словно в склепе на кладбище:  
рухнет на плечи стена — и костей твоих не сыщут.  
Думали, уйдем на отдых...  
Ну да это все цветочки. Ягодки тогда, когда ты  
в дом стремительно ворвешься вслед за брошенной гранатой...

### Некошенная трава

#### Пестрые стихи

Спорить и доказывать нелепо:  
мать природа навсегда права...  
Ухожу туда, где только небо,  
только небо, ветер и трава.  
Упаду, заботы все отринув,  
на огромный этот шар земной,  
точно к телу женскому приникнув  
всей своей языческой душой.  
И в душе проклюнется такое,  
что ничем, никак не назовешь:  
ни тоской, ни счастьем, ни покоем —  
все, что скажешь, это будет ложь.  
И лежишь без всякого ораторства,  
без единой мысли в голове...  
Если я от смерти где и прятался,



то в такой некошеной траве.  
 Рвали душу минные осколки,  
 рвали душу, землю и траву —  
 и хрипели рядом, умирая,  
 бедные товарищи мои.  
 И трава, высокая, крутая,  
 кровью их была увлажнена,  
 и мешался запах — запах крови —  
 с запахом некошеной травы...  
 И когда земля преобразилась,  
 негодуя, мучаясь, кляня,—  
 вот тогда языческая сила  
 и вошла, наверное, в меня.  
 Проросла полынью луговой,  
 желтым одуванчиком взошла —  
 и совсем не прежней, а другую  
 стала моя чуткая душа.  
 Не заметил сам, как научился  
 по-иному складывать слова:  
 чтобы были в них простые числа —  
 это небо, ветер и трава  
 как первооснова бытия,  
 как тот мир,  
 с которым слит и я..

### АНАТОЛИЙ ПРОКУДИН

#### Родословная

Захотелось заглянуть мне этак  
 В глубь веков годов на восемьсот.  
 Кем был он, мой родич, древний предок,  
 От которого пошел мой род?  
 Я увидел день позавчерашний,  
 Тихую и мирную Оку,  
 Мужика на черноземной пашне,  
 Лошадь, запряженную в соху.  
 Вдруг беда — откуда ни откуда  
 с гиком налетело воронье.  
 И мужик по прозвищу Прокуда  
 Крикнул зычно:  
 — Мужики, в дубье! —  
 Трудно было невооруженным  
 Супротив монгольских острых стрел.  
 И Прокуда, в сотый раз сраженный,  
 Все же победил и уцелел!  
 Видно, долго жил мужик Прокуда:  
 Сыновьям и внукам нет числа.  
 Век тринадцатый.  
 Так вот откуда  
 Род мой и фамилия пошла.  
 Отпрыску и дальнему потомку,  
 Как и многим, довелось и мне  
 Защищать родимую сторонку  
 На последней мировой войне.

### АНАТОЛИЙ ГОЛОВКОВ

\*.\*

Из черноты унылой,  
 Сквозь стальные пласты,

Россия, прорастила  
Меня травинкой ты!  
Я словно подорожник  
На всех твоих путях:  
И в заревах тревожных  
И в праздничных огнях!..

### Тропинка в прошлое

Был наш прорыв как вечный бой,  
Кто пал, воюет и поныне,  
А свод огня над головой  
Сжигал мосты межвременные...  
Шел веку сорок третий год,  
Как ныне мне, но общий возраст  
России и ее невзгод  
Древнее был меня в сто сот раз.  
Казалось, каждый, кто со мной  
Вставал и падал в перебежках,  
Из старины сюда самой  
Проник с веками вперемежку.  
Да. Мы и мертвые встаем,  
Когда родную землю тронут,  
И ломим сталью и огнем  
И дуж врага и оборону.  
В весеннем реве батарей,  
Что был воистину неистов,  
Метались полчища теней  
Завоевателей, нацистов.  
И рвался в ярости из рук,  
Дрожа всем корпусом каленым,  
Мой боевой железный друг  
Вплоть до последнего патрона.  
На вечный отдых проводил  
И я кого-то, это точно,  
И сам войной приписан был  
Как инвалид к больнице прочно.  
Мне память давит как рюкзак  
На плечи, будто бы сличая  
Тот давний бег и этот шаг  
По грудь в цветущем иван-чае.

### АНАТОЛИЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ

#### Миг памяти

Я пришел из дальних далей,  
Очень светлых, очень близких,  
Где как память лиха встали  
Боевые обелиски.  
Я ходил к ним поклониться.  
Я опять на скорбных звездах  
Разглядел погибших лица —  
И юнцов еще и взрослых...  
Я увидел их средь боя:  
Рты отчаянные — в крике...  
Все страдания и боли —  
В мысленном летучем миге.  
Я увидел Брест и Лугу,  
Подмосковье и Предволжье,

Всех агоний жар и муку,  
 Шрамы синие на коже...  
 Я один стоял под зноем  
 Среди имен, и звезд, и света,  
 Да была еще со мною  
 Благодарная планета...

### ПЕТР ХОРЬКОВ

#### Память

До роковой минуты помнить буду,  
 Как в суматошном крошеве огня  
 Шептали мне мертвеющие губы:  
 «Держись. Ты остаешься за меня».  
 Дымилась грудь под клочьями шинели.  
 В ресницах стыла гневная слеза.  
 И на меня — нездешние — глядели  
 Почти уже из вечности глаза.  
 И словно все осиротели разом,  
 Притих в тумане наш стрелковый взвод.  
 И выходило — я теперь обязан  
 Вести живых на тот проклятый дот...

Косили нас погибельные беды.  
 И если смерть мгновенно не брала,  
 Спешил солдат соседу как полпреду  
 Свои земные передать дела.  
 Он не сдавался злой судьбе на милость,  
 Достоинство солдатское храня,  
 И сколько раз мне слышать доводилось:  
 «Держись. Ты остаешься за меня».

На перепутьях давних дней суровых  
 Отзеленела столько раз трава.  
 Но кажется, что и сегодня снова  
 Те фронтовые слышу я слова.  
 И всякий раз в урочный час печали,  
 Когда тоскует траурная медь,  
 Зовут меня мои однополчане  
 Их песню недопетую допеть.  
 С годами стало до озноба много  
 Сердечно близких намогильных плит.  
 И из-под каждой пристально и строго  
 Мой завещатель на меня глядит.  
 И где-то рядом мой живет наследник;  
 Придет пора, и на закате дня  
 Скажу ему на рубеже последнем:  
 «Держись. Ты остаешься за меня».

### ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ

\* \* \*

Пока он жив и почести достоин,  
 Пока крепит отечество свое.  
 Но будет день — уйдет последний воин  
 Далекой той войны в небытие.  
 Вы, юные, позиций не сдавайте,  
 Для вас он рвал захватчиков кольцо...  
 Смотрите и навек запоминайте  
 Живого Победителя **лицо**.

\* \* \*

На чужой стороне,  
 От родных далеко,  
 Было нам на войне,  
 Молодым, нелегко.  
 И, промерзшие, мы  
 Толковали о том,  
 Что вернемся с войны  
 И тогда заживем.  
 И ползли мы вперед  
 Вновь в оглохшую жуть,  
 Чтоб со взятых высот  
 В эти дни заглянуть.

\* \* \*

Изведав испытания и беды,  
 Пройдя войну с начала до конца,  
 Осенним днем в далекий год победы  
 Мы в парке посадили деревца.  
 Они уже давно большими стали  
 Деревьями, не знавшими войны.  
 И им видны вокруг такие дали,  
 Что человеку, может, не видны.  
 Встречаются влюбленные под ними  
 Весеннею порой и в листопад...  
 И над людьми сегодня молодыми  
 Деревья нашей юности шумят.

## ЕВГЕНИЙ ЕРХОВ

### Солдаты

Вбегал в казарму как чумной посыльный,  
 еще глаза спросонок не продрав,  
 и хрипловатым голосом и сильным:  
 «Тревога-а-а!» — ошарашенно орал.  
 Сдувало словно ветром одеяла,  
 И сыпался по коридору град.  
 И вдруг у пирамид нас осаждало  
 спокойное: «Оружие не брать».  
 И тяжкое с души спадало что-то.  
 И лишь посыльный все не понимал,  
 что не война нас позвала —  
 работа!  
 Глаза таращил и пилотку мял.  
 Ему, должно быть, виделось сраженье,  
 которое он нам проспять не дал,  
 а получился «акт» разоруженья,  
 и он его посланником предстал!  
 Мы уголь шуровали так, как будто  
 без нас с ним не управится никто...  
 Как много все же у ракетных пультав  
 пока что рук рабочих занято.  
 Не зря мы на постах солдатских встали,  
 и мастерство навек обретенно,  
 но никогда бы сожалеть не стали,  
 когда б не пригодилось нам оно.



**Н. РУДОЙ****Яблоня**

Вблизи от взлетной полосы,  
 На склоне, влажном от росы  
 И сером от зачахших лилий,  
 Фашисты яблоню срубили.  
 Какая в том была нужда?  
 Не ждали от нее вреда.  
 Свалили так, на всякий случай..  
 Прошел ноябрь над нею тучей,  
 Зима метельная прошла,  
 И бабы с ближнего села,  
 Которых на работу гнали,  
 Однажды утром увидали,  
 Как яблоня вдруг зацвела,  
 Уткнувшись в землю белой кроной.  
 Так и цвела — непокоренной.

\* \* \*

Поля в воронках и в окопах,  
 В лесах — обугленные пни,  
 На большаках, на узких тропах  
 Крест-накрест надолбы одни.  
 Ни уцелевшего строения  
 И ни живой души вокруг,  
 Лишь бабы на краю селенья,  
 По трое впрягшиеся в плуг.  
 Видать, ни на одно мгновенье  
 Года лишений не смогли  
 Лишить их веры в обновенье,  
 В очеловеченье земли.

**Люпин**

Орловско-курская дуга.  
 Траншеи. Брустверы крутые.  
 Вот здесь увидел я врага  
 Впервые.  
 Где б надо колоситься злакам,  
 Молчала выжженная степь.  
 Здесь залегла за цепью цепь,  
 С утра готовая к атакам.  
 И посредине той степи  
 На полосе пока ничейной  
 Счастливо голубел люпин,  
 Как будто экспонат музейный.  
 И, словно не было войны,  
 Он веял миром и покоем.  
 Он воплощеньем тишины  
 Мне представлялся перед боем.

**ИВАН САВЕЛЬЕВ****Храните дом...**

Храните дом,  
 В котором мы живем,  
 От разрушений, от огня храните,

Он к прошлому протягивает нити,  
 Опора наша и надежда — в нем!  
 В нем нечего бояться перемен —  
 В движенье жизнь свой образ проявляет.  
 Храните дом родимый от измен —  
 Страшнее их несчастья не бывает,  
 Я ошибиться в частностях могу,  
 Но в главной сути прав я непременно —  
 Ведь сколько раз измена очагу  
 Заканчивалась родине изменой...  
 Храните дом,  
 В котором мы живем!

### Жизнь

Мне представлялось в десять лет:  
 Огромна жизнь, конца ей нет,  
 Я в двадцать понял, что она  
 Не бесконечна, но длинна.  
 Когда ж подъехал к тридцати,  
 Я понял — прожил полпути.  
 И только после сорока  
 Жизнь показалась коротка.  
 Еще прожить бы столько лет,  
 Чтоб полный дать о ней ответ...

### Строй

Иду. Иду...  
 И нет конца пути.  
 Глаза. Глаза...  
 Ни слова. И ни стона.  
 Я все иду сквозь взгляды  
 Двадцати,  
 Тех,  
 Вставших с поля брани  
 Миллионов.  
 Глаза их за мгновение до атаки...  
 Бессчетен строй (найду ль тебя, отец?)  
 С началом в сорок первом, а конец  
 В победном сорок пятом.  
 Только так ли?..

### МИХАИЛ КАСАТКИН



Негасимое пламя —  
 марш-броски, переходы...  
 Четко высветит память  
 заповедные годы.  
 Обожжет, растревожит  
 незажившею раной,  
 как осколком, уложит  
 у реки Безымянной.  
 Но на диво Европам —  
 пусть контуженный малость —

я опять над окопом  
в полный рост поднимаюсь.  
И гремят неустанно  
в отдалении пушки:  
соглашаться не стану  
с пересудом теплушки,  
с непривычным покоем,  
с тишиной медсанбата...  
Пусть по-блоковски

боем  
будет жизнь для солдата.  
Знаю, в Лету не канут  
поредевшие взводы —  
заповедная память,  
заповедные годы...

\* \* \*

Меня землею бинтовало  
Четыре года на войне.  
Со мною всякое бывало  
В чужой и в нашей стороне.  
Я был в окопах, но на грани  
Небытия

не подмечал,  
Что шрамы чаще, чем награды  
И поощренья, получал.  
Как лето щедро разодето!  
Благодарю судьбу свою:  
Я побывал в аду.

За это  
Спокойно мог бы жить в раю.  
Но вот напомнит мне о бое  
Под сердцем шрама борозда...  
Не в райских кущах пусть, а в поле  
Моя засветится звезда.  
Подрезан пулею шальнойю,  
Совместно с естеством своим  
Помечен на земле войною —  
Я от земли неотделим.

\* \* \*

В мае даже обелиски  
Смотрятся светлей и строже,  
А солдат погибших списки —  
Словно холодок по коже.  
Эти мраморные врубь  
Поминальных скорбных азбук!  
Мы цветами только грубость  
Их подчеркиваем наспех.  
На промытых ливнем плитах  
В первых громовых раскатах  
Пофамильный темный свиток  
До подножия раскатан.  
И звезда над именами —  
Словно звездочка при сноске  
Слов, не уясненных нами,  
Редкой силы философской.

## ЮРИЙ ЛОЗИНА

## Малый флот на Малой земле

Плацдарм защищают не люди и даже  
не фанатики, а дважды моряки и трижды  
коммунисты.

*Из доклада генерала СС Ветцеля.*

Там, где шорох мог вмиг накалить обстановку,  
Там, где трассы свинца бьют в упор и в обход,  
Резал бухту и ночь, шел в слепую швартовку  
Деревянный разбитый рыбтрестовский флот.

Перебитые ночи кровавой работы  
Море вздыбили сталью, пути замели,  
Но вгрызались упорно в скалу мотоботы,  
В сердце, взрытое бомбами, Малой земли.

Мощь фашистских мортир, тонны крупновской стали  
Сокрушили Европы бетонный оплот,  
А на голой земле моряки устояли,  
И сражался на равных рыбтрестовский флот.

Изрыгает огонь в переправу станичка,  
В рваном небе сверлит пикировщика свист,  
Лихорадит залив снова арtpерекличка,  
И с десантом врывается в ночь «Тракторист»<sup>1</sup>.

Шли «Дубки»<sup>2</sup> напролом, превращались в обломки,  
Но не рвалась артерия Малой земли,  
И не зря моряков — знайте, наши потомки, —  
Коммунистами трижды враги нарекли!

Каждый рейс — это подвиг, фарватер в бессмертье,  
Сколько росчерков в грунт прописали кили,  
Весь наш катерный флот в этом пекле, поверьте,  
Заслужил имя гвардии Малой земли!

Верю: время придет — и на выжженном месте,  
Где провел Цезарь Куников дерзкий бросок,  
Станет на пьедестал снаряженный в рыбтресте  
Работяга морской из смоленых досок.

1943.

## Мальчишки

Налет бесился пять часов,  
На пушке краска запылала,  
И в довершение всех зол  
Настал предел и для металла:

Заело пушечный замок,  
Да так с гарантией заело,  
Что боцман вызволить не смог,  
Хотя отменно знает дело.

Под вечер боцман закипел,  
Над нервами утратив вожжи,

<sup>1</sup> «Тракторист» — малое судно Азовского флота, неоднократно высаживавшее десант на Малую землю.

<sup>2</sup> «Дубок» — деревянный рыболовный сейнер.



Оставил все, над чем корпел,  
И трижды бога потревожил.

Примерно обложив замок,  
Сказал сквозь тонкости морские:  
«Сходи за мастером, сынок,  
В береговые мастерские».

В полуразрушенных цехах  
В хитросплетении металла,  
В дыму, в станочных потрохах  
Жизнь заводская грохотала.

Ко мне девчушка подошла,  
Зардевшись, выдохнула: «Здрате» —  
И, пробираясь через шлак,  
Добавила: «А вот и мастер».

Я ждал увидеть седину,  
Переплетенную ветрами,  
А мне навстречу — ну и ну! —  
Мальчишка с рыжими вихрами.

«Ты сколько ж отмахал годков,  
Тебе пятнадцать-то едва ли?»  
А он мне: «Сам-то ты каков,  
Давай о деле, если звали!»

Улыбку с ходу погасил,  
Не знаю, что уж побудило —  
Он даже будто забасил,  
Хотя не очень выходило.

Я лишь подумал, не сказал:  
«Посмотрим, что же ты за птица».  
Но парень делом доказал,  
Что дело мастера боится!

Вгоняя поутру в канал  
Снаряды, мезью налитые,  
Я добрым словом поминал  
Парнишки руки золотые.

Мальчишки милые мои!  
Ровесники поры ненастья,  
Вам были буднями бои,  
Но были в том и искры счастья!

Севастополь. Май 1942.

### Сходня

Мне приходят на память сегодня  
Все былые дороги-пути,  
Даже в несколько метров сходня,  
По которой случалось пройти.

Ну а, впрочем, зачем же «даже»,  
Если мать для матроса — земля,  
Сходня в этом случае, скажем,  
Пуповина для корабля.

На крутом ее драеном скате  
Торопливо шаги отмерял  
Первогодок в несмятом бушлате  
И седеющий адмирал.

Сходня — несколько метров доски,  
Но в бессмертье те метры вели,  
Если рядом бушует чертовски  
Территория Малой земли.

Море ныло и лопалось с треском,  
Поднимался огонь к небесам,  
Когда рвался по сходне дерзко  
Черноморский лихой десант.

Не забыть нам, как чайки кричали,  
Бесновался и выл норд-ост,  
Когда в тягостный час печали  
Сходню вывалил за борт матрос.

Сжались тучи над нами в овчину,  
Грянул залп караульный в строю,  
И по сходне скользнули в пучину  
Те, кто ночью погиб в бою...

И по этой шершавой дорожке  
В севастопольском море огня  
Я детей выносил из бомбежки,  
Тех, кто, верно, не помнит меня.

Им, наверно, теперь за сорок,  
И, как знать, может, в сны иногда  
К ним вторгается стон переборок  
И бушует под сходней вода...

Отгremели военные грозы,  
Верность странствиям дальним храня,  
Зашагали по сходням матросы  
В неизведанные края.

И спустя многолетья, сегодня  
Все сильнее я стал ощущать,  
Что без спущенной в прошлое сходни  
Мне не жить, не творить, не дышать.

## ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

### Давнее воспоминание

Все называется: война.  
Все называется: под немцем,  
Под ним и осень, и весна,  
и две зимы, и та сосна,  
и этот луг, и страх под сердцем,  
и с петухами полотенце,  
и горсть горящего зерна,  
и в речке полная луна,  
и соловьиное коленце,  
и говорят: куда подеться? —  
повсюду — о н, везде — она!

Все называется: Украина...  
 Как будто кража, или тайна,  
 и край, и краткая межа,  
 краюха... Шепчешь не дыша...  
 Все называется: весна.  
 Все величается: победа.  
 И пчелы золотого лета  
 летят, не гаснут дотемна.  
 Все называется: беда.  
 Все именуется: разруха.  
 Проруха, засуха, присуха  
 беды... И эта свежесть духа.  
 И смерть. И сердца простота.  
 Все вспоминается: весна...  
 Все называется Россией,  
 куда тропею густо-синей,  
 дичась и отряхая иней,  
 дойду когда-нибудь одна...

\* \* \*

...Ан выпал не орел, а решка,  
 и мор, и глад, и долгий путь.  
 Грохочет беженцев тележка.  
 Куда ей — от войны свернуть!  
 Какие крохотные дети.  
 Какие горькие глаза.  
 Веревкой связан скарб столетий,  
 скрипят четыре колеса.  
 Кричат как птицы похоронки.  
 Как пламя дышит горизонт.  
 Спешим. А вся война — вдогонку!  
 Опять опережает фронт...  
 То снег по грудь, то гарь, то глина.  
 Хотя б картошину найти  
 в полях... Куда нам до Берлина!  
 Дай бог до Киева дойти.  
 До милой родины... Далеко ль?  
 Скажи-ка, ветер, сколько верст?  
 Ах, сколько на небе высоком,  
 морозном небе светит звезд!  
 Да сколько у песка песчинок,  
 да сколько капель у волны...  
 И длится этот поединок  
 бессмертной жизни и войны.

\* \* \*

Было три брата— Кий, Щек, Хорив — и  
 сестра их Лыбедь...

*Легенда об основании Киева.*

Ветер марта взволнует и вздыбит  
 острый гравий — крошится гранит,  
 и опять белолицая Лыбедь  
 под землей, под мосточком гремит.  
 Милым братьям сулит расставанье,  
 милу другу кольцо серебрит,  
 а со мною до утренней рани,  
 до вечерней зари говорит:  
 — Не печалься. Взгляни — слаще меда  
 ваша доля: отчизна, весна...

Сколь великая вышла свобода  
 всем, кого не убила война!  
 Сколь широкие встретишь печали  
 на скрипучем родимом крыльце!..  
 Не пугайся: что было в начале,  
 только раз повторится — в конце! —  
 Говорит: — Сколь живучи поляне,  
 терпеливый да тертый народ!  
 Прежде солнце на доньшко глянет,  
 а потом уж пойдет в небосвод.  
 Прежде выпьешь ты мертвой водицы,  
 чем пригубить водицы живой... —  
 Голос Лыбеди в камне томится,  
 прорастает зеленой травой.  
 Голос Лыбеди красную глину  
 размывает в кладбищенском рву.  
 И кому-то поет: — Не покину!..  
 И кому-то кричит: — Доживу!..

## ЗИНОВИЙ ВАЛЫПОНОК

### Планета Наталья

Малую планету № 2015 астрономы на-  
 звали именем Натальи Качуевской.

В сплетеньях орбит невесомо кружись,  
 гордясь недоступною далью.  
 И все же свою допланетную жизнь  
 открой нам, планета Наталья.  
 Припомни, как роли шептала в ночи,  
 на плечи накинув халатик,  
 и как были губы твои горячи,  
 не знавшие стужи галактик.  
 О, как он далек, закулисный озноб  
 студенческих робких спектаклей,  
 где залпы мушкета, палившего в лоб,  
 азартом и юностью пахли.  
 Наташка, актрерка, беспечный птенец,  
 поведай, как с дерзким упорством  
 рвалась ты туда, где гуляет свинец  
 взаправдашний, не бутафорский.  
 И как, в гардеробе забыв кисею  
 твоих героинь кринолиновых,  
 война-костюмерша фигурку твою  
 шинелью укутала длинной.  
 Когда из огня сквозь пролом в кирпичях  
 солдат на себе выносила,  
 откуда взялась в твоих детских плечах  
 мужичья надсадная сила?  
 ...Луны сталинградской туманный наплыв  
 качнулся задымленной лампой,  
 тебя от живых в этот миг отделив  
 бесстрашной и вечною рампой.  
 И, может, земля завертелася вспять  
 в зрачках твоих сполохом черным  
 всего лишь затем, чтоб актрисами стать  
 тем, послевоенным девчонкам.  
 Чтоб вновь чистота, одержимость и боль,  
 что были не ролью, а сутью,



сойдась в твоём имени будто пароль,  
роднили девчоночки судьбы.  
Чтоб тихо плыла над мечтой молодой  
бессмертья высокая тайна.  
С подмостков вселенной оздыбшей звездой  
свети им, планета Наталья,

### Плакун-трава

Она не всходит от дождей счастливых,  
печальный охраняя свой престиж.  
А в общем, нрав её неприхотливый,  
плесни бедой — и вымахнет до крыш.  
И в час, когда под мессеровским гудом  
меня трясла телега на восток,  
мне у обочин виделся повсюду  
её плакучий розовый цветок.  
Где с выкриками беженцев сливался  
парома перегруженного скрип,  
у тесных переправ цветок являлся  
и горестно к босым подошвам лип.  
Цвел в мерзлых окнах магазинов хлебных,  
плыл в полных безутешной синевы,  
как два зауспокойные молебна,  
глазах ещё не венчанной вдовы.  
По всей России — на равнинах плоских,  
на скалах и зыбучих склонах дюн,  
на бабьих бедах да слезах сиротских  
взошла трава по имени плакун.  
И я, пайковых дней тщедушный отпрыск,  
в зрачках с досрочной взрослостью мужской,  
у той травы зеленоватый отблеск  
перенимал мальчишеской щекой.  
Ладони у барачной печки грея,  
макуху грыз и грезил наяву.  
Мне так хотелось вырасти скорее  
и выполоть проклятую траву.



---

---

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ



## БЛИЖНИЕ ПОДСТУПЫ

*Записки военного переводчика*

В великой эпопее Отечественной войны и Победы городу Ржеву выпала особая доля. У стен его почти семнадцать месяцев шли непрерывные ожесточенные бои, знаменовавшие сражение за Москву.

Появившееся в сводках в октябре 1941 года ржевское направление означало, что Москва в угрожающем положении. Отброшенному от Москвы в декабрьском наступлении врагу удалось зацепиться за ржевский выступ, который на языке немецких приказов продолжал называться «кинжалом, нацеленным на Москву».

Без малого полтора года немецкая армия угрожала отсюда Москве. Эти дальние подступы к Москве были ближайшими к ней. Для сражающихся сторон Ржев был стратегически чрезвычайно важной точкой на карте войны, и напряжение здесь не ослабевало. Германское командование считало Ржев «плацдармом для решающего повторного наступления на Москву», которое должно было последовать за предпринятым немцами летом 1942 года наступлением на юге.

Но исход наступления на юге, исход Сталинградской битвы решался также и здесь, на Верхней Волге, у Ржева, где наш фронт вел трудные, упорнейшие, кровопролитные бои летом и осенью сорок второго, сковывая здесь значительные силы противника, вынуждая его перебрасывать сюда соединения с юга.

«Русские предпринимали почти непрерывные фронтальные атаки против 9-й армии, особенно в районе Ржева,— пишет об этой поре немецкий военный историк, бывший генерал гитлеровской армии К. Типпельскирх.— В начале августа сложилась очень тяжелая обстановка: русские едва не прорвали фронт. Прорыв удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на южный фронт, были задержаны... русские, сквав такое большое количество немецких войск, принесли этим большую пользу своему главному фронту».

Ржев на Волге — крупный железнодорожный узел, перекресток многих шоссе дорог. Его стратегическое значение было велико. Маршал Жуков в своих воспоминаниях пишет, что во избежание переброски противником войск в район Сталинграда и Северного Кавказа в ноябре 1942 года было «необходимо срочно подготовить и провести наступательную операцию в районе севернее Вязьмы и в первую очередь разгромить немцев в районе ржевского выступа». Ржевский выступ именовался немцами — «непрступная линия фюрера». Противник здесь воздвиг мощный рубеж обороны.

«Армии двух больших народов насмерть бились за узловой железнодорожный пункт — за Ржев... В боях под Ржевом погибло столько немцев, сколько, например, жителей в Котбусе или Ингольштадте», — писала гамбургская газета «Die Welt» в 1965 году.

Огромны, жестоки здесь и наши потери...

По мере того как овладение нашей армией Ржевом становилось для немцев реальной угрозой, германское командование прибегло к психическому воздействию на своих солдат, с тем чтобы принудить их к стойкости. Гитлер объявил: «Сдать Ржев — это открыть русским дорогу на Берлин», призывая во что бы то ни стало, не считаясь с потерями, удерживать город.

Мы вошли в Ржев 3 марта 1943 года.

Липивались «жизненно важной коммуникации» — железной дороги, по которой

шло основное снабжение его войск, противник был обречен на дальнейшее отступление. И мы неостановимо двинулись на запад. Перед нами впереди был Смоленск. И уже на дорогах появлялись плакаты: «Мы идем к тебе, Беларусь!»

Будучи военным переводчиком, я прошла с армией от Ржева до Берлина — до победы, которая слагалась из многих решающих битв на пути к ней. В их числе протяженная, самоотверженная битва за Ржев.

Мои фронтовые записи, тетради, память сердца — память о пережитом и мною и теми, с кем я снова и снова встречалась в последующие годы во Ржеве и на старых местах наших боев и дислокаций; документы, чья выразительность на отдалении лет становится лишь сильнее, неотступно возвращают меня в гущу тех дней, когда и усилия сражающейся армии и жизнь местного населения в зоне фронта — все смешалось, и сложился неповторимый образ самоотверженной народной войны. Частицы его, дробящиеся на бегло записанные, иногда в непосредственной близости событий, эпизоды, подхваченные реплики, мелькнувшие наблюдения я стремилась сохранить.

### Тетрадь первая

Учи толкутся. Гарь за деревней в поле. Свинцовый денек сорванного наступления. Танки, выведенные из боя, вкатываются сюда, в деревню, громыхая и лязгая.

Напротив колодца — реденький кружок: бойцы и командиры. Там на коврике, раскинутом на сырой земле, молоденький акробат вертит акробатку, ломает ее пополам, перекидывает через себя. Отбежав, призывно манит рукой, и она босыми ножками по рыжему выщербленному коврику — и к нему, к нему и опять взлетает на воздух. На ней одни трусы да лифчик, чешуйчатые, в блестящих. Москва, Москва, кого только не шлют на разгром врага. Всё для фронта!

Танки выводят из боя, и они по одному, вразброд, сотрясаясь и волоча подбитые гусеницы, вползают с размашистым лязганьем. Глушат моторы. Из башни вылезают танкисты и, переступая тяжелыми ногами, бредут к кружку.

Гуще круг. Черные, сдвинутые на брови шлемы, закопченные лица. Чей танк не вернулся, кто там догорает в трясине у городского леса — еще не сосчитано. Осев на затекшие ноги, танкисты хмуро усталились — маленькая акробатка, землистое тело. На коленках стоит, откинулась назад, уперлась руками в землю, приподымается — изогнулась вся. Голова запрокинута. Мостик делает, кто понимает.

Тишина гробовая. Никто не пикнет, не ухмыльнется. Только лязгают танки. Слышно — на левом фланге стреляют.

Теснее круг — пододвинулись к самому коврику, окольцевали. Мечи сюда немец хоть минометный огонь — не отступятся. Сапоги переминаются, топчут рыжий коврик. Чуется пот их работы, этих двоих на коврике. В небе «Яки» прошли, беззаветно врезаясь в низкие тучи. Никто не проводил их взглядом. Неотрывно, в упор, окаменело смотрят танкисты в выгнутый живот циркачки.

Она разогнулась, покружила немного — и стоп. Поклонилась, девчоночка. Циркач нагнулся и ловко скатал коврик. Похлопали. И разбрелись.

Заглушенные голоса в эфире. Настраиваюсь. Треск разрядов, и слыть что-то перекачивается мерно, как морские валы, и ничего не разобрать, щелканье, разрывы.

— «Звездочка!» Я «Ястреб». Захожу слева. Прикрой хвост! Прикрывай!

— «Звездочка!» «Звездочка!» Мне навязывают бой. Почему не прикрываешь?! В хвост мне заходят. Петя! Прикрой!

Я толкаю оконные рамы, высываюсь в наушниках, ищу их в небе. Тут, над нами, нет их. Вдалеке что-то шныряет, не то птицы, не то самолет.

— Петя! Нависают! Не видишь, что ли? Улыниваешь, мать...  
— Захожу, захожу! Вася, держись!

Двое пленных, сидевших на пороге сарая, громко заспорили. Часовой шикнул на них. Они переждали немного и опять за свое. Тогда часовой, показывая руками, велел одному из них уйти в сарай, другому оставаться на месте.

— Раз не можете по-хорошему, сидите врозь.

«Я, гражданка Орехова Татьяна Ивановна, проживала в г. Ржеве по ул. Марата, дом № 75, квартал 157. Муж мой — Орехов Василий Нилович, кандидат ВКП(б), работал зав. магазином № 14 Трансторпита.

10 ноября в 2 часа дня моя дочь, семи лет, прибегла с улицы: «Мама, повели папу и много дяденек». Я выбежала и увидела, что ведут человек десять, среди них мой муж, Сарафанников, завхоз пивзавода, баянист Дроздов, Медоусов, Пегасов (работал директором пекарни), Рощин, а других не знаю.

Когда я подошла, муж крикнул: «Вернись! Не ходи, куда нас ведут. Это для тебя будет очень тяжело навечно». Дроздов тоже просил меня вернуться, но я бежала до самого моста под Гореловкой. Немцы пять человек оставили на этой Красноармейской стороне и пять человек отвели через мост на Советскую сторону. Поставили на берегу около моста лицами друг к другу и стали фотографировать. Мой муж крикнул: «Люби партию, как любила меня!» Медоусов снял шапку, бросил на землю и крикнул: «Советский Союз непобедим!» Немцы на каждого набрасывались по несколько человек и стреляли в голову из левельверов. После расстрела поставили доску с надписью: «Злостно караются поджигатели немецким правительством». Это было написано крупными буквами. Еще было написано мелкими буквами, то я не прочитала...

После этого ко мне приходил Вавилов (до войны работал экспедитором на пекарне), который при немцах назывался господином Лапиным и работал в немецкой управе, и приказал мне выехать из Ржева в двухдневный срок. Я ходила к нему в управу, на двери кабинета была вывеска «Особый отдел». Я спросила у него: «Товарищ Вавилов, зачем так жестоко предали моего мужа?» Он ответил: «Я на сегодняшний день господин Лапин». Я спросила: «Господин Лапин, за что предали так жестоко моего мужа?» Он ответил: «У ваших коммунистов ноги короткие, а у наших офицеров длинные. Наши офицеры их догоняют».

После этого я не сдержалась, сказала, что, может, и у вас вскорости будут короткие ноги. Он вскочил со стула и предложил очистить кабинет.

После этого ушли со своей семьей из Ржева сюда, в деревню Горенки».

Часов с шести вечера обстреливают деревню. За переборкой в нашей избе продолжается заседание сельсовета.

— ...Чтобы мимо нас не смог пройти ни один шпион и другой чужой элемент...

Снаряд со стоном пронесется над крышей. По потолку к нам сюда сочнется из-за переборки дым самосада.

В Ржеве висит объявление за подписью верховного главнокомандующего германской армии:

«Кто укроет у себя красноармейца или партизана, или снабдит его продуктами, или чем-либо поможет, карается смертной казнью через повешение. Это постановление имеет силу также

для женщин. Повешение не грозит тому, кто скорейшим образом известит о происходящем в ближайшую германскую военную часть...»

Ударяясь о лавки, задевая чугуны, деревянное корыто, споткнувшись о кольцо на крышке, ведущей в подполье, брожу по избе. Над ней нависла война, каждый час чреват для нее гибелью, и все тут одухотворено; трогаешь то то, то се с трепетом, словно прощаясь, еще и не узнав-то близко.

Этот бывший уездный город в сердцевине России. Жила, не ведая о нем нисколечко. А теперь всё — Ржев, Ржев.

— Уважаемые товарищи! Фашистские гады злодейски убили нашего земляка и любимца — баяниста Дроздова. Перед смертью он успел крикнуть: «Мы здесь хозяева, а вы нет, и будете вы здесь валяться, как вонючая падаль!»

На опушке леса никаких знаков. Нет белого флага с красным крестом. Раньше, говорят, это служило защитой. Но не в эту войну.

К дереву приколочена дощечка «Хозяйство Черняка» и стрелка, указывающая на разбухшие от грязи колеи, ведущие в глубь леса. Мелькают белые халаты между стволов. В вырытой яме свалены окровавленные бинты, вата... Их забросают землей или подожгут к ночи, когда дым над лесом незаметен.

Разгружают санитарную машину.

За столом на опрокинутом ящике сидит девчонка в пилотке, косо напыленной на короткие завитки волос, пишет под диктовку доктора — маленького, опрятного, спящего среди прибывших раненых. Время от времени она поднимает от листа безмятежные ясные глаза.

Возле нее на спущенных с машины носилках лежит раненый, прикрытый по плечи шинелью. Глядит вверх, на раскачивающиеся макушки деревьев. В глазах терпеливая, смертная тоска.

«Волга в полосе нашей армии имеет четыре правых притока: р. Сипка, р. Дунька, р. Ракитня и р. Большая Лоча...»

Река Сипка берет свое начало в заболоченном массиве возле станции Оленино и пересекает на своем пути восточный склон Среднерусской возвышенности... Большая извилистость русла и долины и наличие крутых, сильно рассеченных коренных склонов...»

Что-то исконное, умиротворяющее. Даже не похоже, что это военный документ, составленный нашими штабными гидрологами.

В лесу, в медсанбате. В палатку просунулась голова.

— Разрешите с вами познакомиться. Я ваш санитар. Третьяков.

— А что же ты, санитар, без шапки?

— Я только что из бани — сперли!

Дождь, сперва мелкий, припустил и быстро расшлепал и без того мокрую землю. В небо уже никто не поглядывал. Никакой напасти не будет — самолеты не поднимутся, выждут, пока там, наверху, прояснится.

На бревнышке, под крыльцом, — чья-то одолженная плащ-палатка на двоих внакидку — сидят акробат с акробаткой, чемоданчик у него на коленях, в нем, должно быть, коврик скатанный да ее трусы в блестящих. А сами теперь — кое в какой одежонке, ничем не поблескивают. Сидят прижавшись, посиневшие на мокрели, два нездешних человечка. Не военные оба и не колхозные.

По улице мимо них, тяжело чавкая сапогами, танкисты волокут, мочая их в слякоти, срубленные молоденькие елочки — маскировать танки. Перегукиваются, все больше матом. Не торопятся укрыться.

вроде их не поливает. Мокрый дождя не боится. Если и глянут на тех двоих, что под крыльцом сидят,— не признают. Чьи только такие никудышные? Откуда взялись?

Сидят съездившись акробат с акробаткой, ждут высланную за ними «звуквку» — из этой машины кричат немцам, чтобы сдавались, но не всякий день, и другой свободной машины на сегодня нет.

Может, не застрянет «звуквка», осилив размытую дорогу, и доставит их куда надо — на передовую, поближе к врагу. Молоденький акробат расстелит коврик на комкастой, набухшей земле и станет вертеть акробатку. Под дождем, и, может, на мушке у вражеского снайпера, и под ошеломленными взорами обступивших бойцов маленькая циркачка взлетит на воздух, немисливо изогнется — босая, раздетая, поблескивающая чешуйчатыми трусами.

Все на врага!

Божья коровка, полети на небо,  
Там твои детки кушают котлетки...—

это доносятся наперебой голоса деревенских девочек.

И мы в детстве этими же словами заклинали божью коровку, усадив на ладонь. И до нас это было. И после этих девочек все так и будет.

Свалятся оттуда, сверху, и отгрохают свое все бомбы. А обжитое, домашнее, нехитрое небо — «детки», «котлетки» — останется.

Здесь, на нашем участке, на переднем крае противника среди солдат распространяют воззвание немецкого командования. Перевожу доставшийся нам экземпляр:

«Немецкие солдаты! Мы должны удержать Ржев любой ценой. Какие бы мы потери ни понесли, Ржев должен быть нашим. Ржев — это трамплин. Отсюда мы совершим прыжок на Москву!»

Солнце, заваливаясь за дальний лес, выбросило косые лучи, подсветило танковое становище у нас в деревне.

Мне повстречалась женщина. Она шла со мной рядом, гремя висевшими на руке пустыми ведрами.

— Ох он лупит и лупит.

Немец действительно сегодня что-то обнаглел.

— Долго такая музыка тянуться будет?

— Это вы насчет пальбы?

— Нет, насчет всей войны я. А кончится — кому понадобится? Уже года не те.

Я сказала ей, что она еще вполне ничего собой.

Она быстро скосила на меня глаза, свободной рукой поправила косынку на голове, усмехнулась:

— Да какая я хорошая — вся морщенная.

Старуха разогнулась от гряды, приложив руку к глазам козырьком, в упор рассматривала нас не шелохнувшись. Моя попутчица ушла, погромыхая ведрами. Старуха указала темным пальцем ей вслед.

— Тюрина — выжига. Она по двадцать рублей клубнику носила в город. И опять понесет, вот увидишь, дай только война кончится.

Где-то совсем близко на краю деревни разорвался снаряд. Старуха покачала головой.

— Он уже не такой буйный, окорачиваться вроде стал. А вот опять, гляди.

Она перешагнула через жердину и позвала меня в дом, не спрашивая, кто я и зачем явилась. Это был запустелый, закопченный дом с осевшим полом и скособочившимися окнами; здесь держался началь-

ничий запах одеколона, папирос и новых ремней. На лавке спал боец, нахлобучив на лицо пилотку.

— А ребятишки ваши где же?

— Их прохлыстать как следует надобно. Поняла? Гоняют без толку...

Со страшным воем пронесся над крышей снаряд. Старуха либо недослышавала, либо под охраной своих закопченных стен чувствовала себя в безопасности. Боец продолжал спать.

В избу бесшумно проникли двое — мальчик и девочка лет шести и восьми, два босых тощих галчонка. Должно быть, обстрел загнал их домой, и теперь они жались к печке. Они понуро слушали, как опять взвыл снаряд, и девочка, старшая из них, чесала одной босой ногой другую.

«1. Общее собрание колхозников единодушно приветствует выпуск Государственного военного займа 1942 г., и постановили включиться активно в подписку на заем. Подписаться сельхозартелью «Светлое Марково» на заем на сумму 1000 (одна тысяча) руб.

2. Приобрести к каждому колодцу общественную бадью, возложив дело приобретения бадей на тов. Купчихину.

3. Просить сельсовет ходатайствовать перед РАЙУПЛНАМЗАГОМ о снижении мясоставки за 1942 г. Ивановой Домне Иван. ввиду ее многосемейности и учитывая хозяйственное положение как беднячка, не имеющая скота.

4. Вызвать т. Денисову А. И. для убеждения об уважении общественных совещаний».

Большой, замученный, почерневший, он не присел на бревна, как ему предложили конвоиры, стоя ждал своей участи. На изодранной в клочья грязной нательной рубашке — орден Красного Знамени. Хранил его под подкладкой в сапоге и сейчас, когда его вели с передовой, прикрепил. Единственная вещественная связь с прошлым. Летчик. Подполковник. Два месяца назад сбит, был в лагере военнопленных. Сегодня бежал и перешел линию фронта.

Один конвоир пошел в штаб к комиссару полка, на чьем участке объявился сегодня бежавший из плена летчик, — пусть установят его личность, разберутся, — другой ковырял сапогом землю в стороне, стесняясь показывать, что охраняет его.

Летчик стоял, черный от голода и щетины. На груди, едва прикрытой клочьями рубашки, кровавое пятно — орден Красного Знамени.

«Управление  
Охраны города  
и района Смоленска  
15 апреля 1942 г.

№ 8

Начальникам  
волостных охран  
и инспекторам колец  
и Копия:

Начальнику Смоленского р-на

Предлагаю вам, помимо регистрации жидов, проживающих в ваших волостях, также вести регистрацию цыган с указанием, в каких населенных пунктах они находятся и количество их.

Желательно составление списков цыган с указанием адреса, фамилии, имени и отчества.

Начальник управления охраны Сверчков».

— У, разбомбленная твоя мать!

Хозяйка говорит:

— Как длиннобояная бьет, в доме чернота, смрад. Посуда в столе разговаривает. В колодце — грязь.

Еще и год не прошел, а вспоминается вроде издали уже:

— Во вторую бомбежку в Ржеве было, на Илью Пророка. Кричу

его: «Михаил! Лятыя!» Только успел на ступеньку ступить. Ему тут все распоясало. Мы выскочили, он уже неживой лежит.

Где-то, затерянное в глубине веков, его начало — Ржевка, Ржова, Ржев-Володимеровъ? Какое-то смутное упоминание о нем в древнем новгородском уставе о мостовых 1019 года.

Говорят, в уставной грамоте смоленского князя Ростислава упоминается волость Вержевляне в 1150 году. Не знак ли? Но все еще смутно. И та местность, что ныне под городом и районом, оспаривалась, полагают, с боями удельными князьями, а чаще одолевалась Новгородом. Но так ли, нет ли, все еще зыбко — догадки, прикидки, несогласия исследователей. И контура той земли как бы и нет еще.

Но вот с твердостью отмечает летопись: г о р о д подвергается осаде в ходе войны князя Святослава Всеволодовича с торопецким князем в 1216 году. Это бесповоротный знак об основавшемся уже городе — прародители нынешнего Ржева.

Вот при каких обстоятельствах история выявляет его из глубины веков. О с а д а! И в сметающем все потоке времени — стоп! загвоздка! Любознательность истории расшевелена и дает нам знать о существовании города!

И сейчас этот город, захваченный немцами и осажденный нашими войсками, — он на виду. И внимание истории, надо думать, не обойдет его. Вот ведь какой ценой оно дается.

Разведчики вернулись. Взять языка не удалось. Натолкнулись на боевое охранение, ввязались в бой. Но немцы скрылись по ходам сообщений, унося своего убитого или раненого. Остался на месте происшествия бумажник. В нем ничего существенного, нет даже солдатской книжки. Только вырезки из газет о награждениях, видимо, знакомых или сослуживцев владельца бумажника. И траурное извещение. Перевожу:

«В гордой преисполненности долгом, воодушевленный на подвиг во имя фюрера и будущего Великой Германии, пал во главе взвода и тем самым отдал самое большее, что мог, свою юную, цветущую жизнь, наш дорогой, незабвенный сын, сердечный брат, внук, племянник, двоюродный брат и добрый товарищ

Генрих Шеперс

СС — обершарфюрер и ширмайстер в войсках СС».

Перечислены его награды, приведены даты: 28.12.21—13.3.42. И в зарифмованных строках:

Кто смерть нашел в борьбе святой,  
Покойся в земле чужой,  
Как в отеческой.

Ниже подписи: «Родители: Генрих Шеперс и супруга Эдит, урожд. Гердт; сестры и братья: Софи, Ханни, Ганс и Карин; его любимая подруга Гедвиг Клауз и все родственники. Обригхофен, Адольф-Гитлерштрассе, 22/2».

На обороте этого траурного извещения напечатана статья «Назад к неандертальцу?»:

«Итак: «Опростимся, приблизимся к естественной жизни». Этот призыв, высказанный недавно одним читателем, вызывает возражение другого. И он пишет о том, как пагубно скажется распространение в народе этих мнимоположительных идей, ратующих за возврат к примитивному образу жизни. В качестве примера он приводит одного своего знакомого. Тот недавно прочел в «...» (в одном уважаемом еженедельнике, название опустим) о том, будто мы после войны вынуждены будем переучиваться жить, будто мы вынуждены будем вернуться назад к керосиновой лампе, отказаться от газа и электричества, от клозета с водяной промывкой. «Я не уверен, так ли это, — пишет



наш читатель,—и готов поверить вашим разъяснениям. Но этот человек произнес, к моему глубокому сожалению, следующее: „Мы идем навстречу очень мрачным временам. Для чего же победа, если принесет такие плоды?“»

Ну что ж. Упомянутый еженедельник мог бы в самом деле напечатать что-нибудь более достойное, если из его статьи можно извлечь подобные выводы. Однако, слава богу, ни слова нет в том правды. Никому не придет в голову с завтрашнего дня вменять германцу образ жизни наших предков, лишенный цивилизационных и культурных достижений. Мы не станем разрушать наши электростанции и не станем валить мачты высокого напряжения. Мы станем изготавливать из нефти и бурого угля не керосин для чадных коптилок, а бензин для «фольксвагена».

Господин — распространитель вычитанного должен был бы суметь насколько только возможно выявить между строк насущное различие между представлениями о Жизни-Бытии и потребностями текущего момента...»

На этом обрывается статья — больше не вместила площадь вырезанного траурного извещения, на обороте которого она напечатана...

Под окном прошел наш младший сержант, ведя за руку махонькую здешнюю девочку. Объяснял, наклонившись к ней, едва ли способной охватить это:

— Обувь бывает трех видов: кожаная, матерчатая и валяная.

И было наглядно насчет человеческой потребности делиться, доносить свой опыт. Отсюда, наверное, и педагогические и писательские склонности в человеке.

Районная газета. Шапка: «Сев — тот же фронт».

Решение исполкома райсовета от 8 мая 1942 года:

«Обязать всех председателей с/совета:

а) строго контролировать установленный бригадам график сева, с тем чтобы в ближайшие три дня закончить сев яровых зерновых и до 15.V закончить посадку картофеля и посев овощей;

б) установить строгий контроль за нормами выработки...

в) строго контролировать установленный распорядок рабочего дня в колхозах, выход на работу в 5 ч. утра до 8 ч. вечера с перерывом на обед не более одного часа».

— Иногда я вышью, если поднесут. Но я за себя отвечаю, я за рулем сижу.

— Это пороховой погреб, имей в виду.

— Это пороховой погреб, за который я отвечаю, что он не взрывается и не взорвется.

Кончились весенние напасти: эти вскрывшиеся ручьи, через которые по перекинутым следам балансируешь не всегда успешно; разбухшие валенки, «большая вода» поднявшихся болот, затопляющая траншеи и блиндажи. «Дороги стали». И ни хлеба, ни сухарей. Голодные люди. И как-то по-особому горестное — изголодавшиеся бессловесные лошади. Кавалерийские лошадки. Они шли на лечение. Но перед канавой останавливались, чуть пятились, не имея сил переступить ее, и ложились умирать в дорожной жиже. (Это я видела 16 апреля 1942 года.)

Оказывается, старинный герб Ржева — лев на красном поле. Мудрость? Мощь? Военная доблесть?

Ржев был перевалочным пунктом и к Днепру и к озеру Ильмень. Здесь скрещивались беспокойные интересы крупных политических сил: Москвы, Твери, Литвы. И с первой отмеченной летописью

о с а д о й Ржев еще четыре века тропают войны: то он объект раздора князей, то добыча Литвы, то отбит вновь для Руси Тверью, а с ослаблением ее достается Москве.

Он стоял на западной окраине русских земель, и не раз на него обрушивался удар врагов, рвущихся в глубь России.

В последний раз в 1613 году пан Лисовский штурмует Ржев, но население отбило город.

С тех пор враг не топтал ржевскую землю три столетия, совпавшие с трехсотлетием дома Романовых, и сверх того еще двадцать восемь лет.

---

— Уже пастух отъел один круг. Как время-то идет.

У меня в руках немецкая газета «Дас рейх» от 19 апреля 1942 года. В ней статья министра вооружения Шпеера под названием «Увеличение производительности»: «Энергичное применение самых суровых наказаний за проступки: карать каторжными работами или смертной казнью».

---

— Лютейше Никола-еретика адов пес,— сказал старик старовер о Гитлере.

Старик дремуче бородат. Ни ножницы, ни бритва не прикоснулись к нему, как и к предку его. Уж как ни гонялся Петр I за бородой того, как ни преследовал, ни ссылал — не дался. Без бороды искажается образ божий. И носил предок по указу при Петре на верхней одежде медный знак с надписью: «Борода — лишняя тягота, с бороды пошлина взята».

---

Строго секретный немецкий документ от 20 апреля 1942 года — «Программа главного уполномоченного по использованию рабочей силы» (прислан штабом нашего фронта для ознакомления):

«Для того чтобы ощутимо разгрузить от работы крайне занятую немецкую крестьянку, фюрер поручил мне доставить в Германию из восточных областей 400—500 тысяч отборных, здоровых и крепких девушек.

Заужель».

---

— Тютями не обзаводитесь — это провал. Подберите двух-трех отчаянных; и все,— наставлял капитан молоденького разведчика Федю: ночью его забросят в тыл немцев.

«В 14.00 (командирским наблюдением) отмечено движение до 20 танков с запада на Ржев через Муравьево. Авиаразведкой установлена понтонная переправа через р. Волга южнее Доброе. В роце северо-вост. Ржев отмечено скопление пехоты противника».

Рассказывают, здешние старые люди косить приступали, когда кукушка откукует, после Петрова дня. Трава вызреет, обсеменит землю.

Как первую кукушку услышишь, брякни деньгами, чтоб водились. Натоцк в лес сунешься, окукует столько раз, сколько жить осталось. Закуковала — пора приниматься лен сеять. Замолкла — рожь заколосилась, а кукушка колоском подавилась.

Но теперь все природные связи нарушились. Какое уж там кукованье, когда всех птиц распугали грохотом, пальбой. Если какая бедолага еще тут чужие гнезда выискивает, кто ж различит в гвалте войны ее кукованье. Ни говора леса, ни плеска реки, ни ветра в поле — слух сверлит только враг в небе да снаряд, сюда наяривающий.

Я думала: в о й н а. А это — дорога, небо, дети, крестьяне, городской люд, голод, смерть.

---

«С 11 на 12 октября 1941 года городской партийный актив оставил город и ушел в партизанские отряды...

Для примера следует привести, что по партизанскому отряду № 1 (37 человек) приходится на каждого партизана 4 убитых немца и плюс 18 в остатке...» (из пересланного через линию фронта отчета).

«Фюрер распорядился, чтобы самыми крутыми мерами в кратчайший срок было подавлено коммунистическое повстанческое (партизанское) движение. Именно такими мерами, которые, как свидетельствует история, с успехом применялись великими народами при завоеваниях, может быть восстановлено спокойствие.

При этом в своих действиях следует руководствоваться следующими положениями:

а) каждый случай сопротивления немецким оккупационным властям независимо от обстоятельств следует расценивать как проявление коммунистических происков;

б) чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому поводу немедленно принять самые суровые меры для утверждения авторитета оккупационных властей и предотвращения дальнейшего расширения движения. При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь для 50—100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще больше усилить устрашающее воздействие.

Обратный образ действий — сначала ограничиваться сравнительно мягкими приговорами и угрозой более строгих мер — не соответствует этим положениям и его следует избегать...

Эти основные положения должны быть немедленно доведены до сведения всех военных инстанций, которые заняты подавлением коммунистического движения».

Чаще всего говорят так:

— На Покров день, четырнадцатого октября, по-старому первое, немец вошел в Ржев.

Покров день, первое зазимье, еще не зима, а первая пороша. Время свадеб (придет Покров, девке голову покроет). Праздник пресвятой богородицы, теперь навсегда — день, когда «немец вошел».

Ясный, словоохотливый, вымуштрованный немецкий солдатик.

— Сейчас расстреляете?

Я перевела.

— Иди ты к черту, в конце концов, — сказал ему капитан.

— Не надо меня убивать, очень прошу.

В солдатской книжке у него вложена «Памятка немецкого солдата»: «Фюрер сказал: «Армия сделала из нас людей, армия завоеует мир», «Мир принадлежит сильным, слабые должны быть уничтожены»...»

Долговязый, лицо неправдоподобно белое и взгляд отсутствующий — может, потому, что все время слушает небо. Зенитчик.

Когда эти незнакомые ребята позвали меня поесть и в крышку котелка плеснули крупяного супа, он машинально вытянул из-за голенища ложку, проволоку ее по заношенному хлопчатобумажному га-лифе, обтирая из вежливости, и протянул.

Наступит ли время, когда мы снова будем брезговать, мыть ложки, вместо того чтобы при случае всегда пользоваться чьей-либо облизанной и сунутой в сапог?

Может, мы даже не понимаем, какое в нашей искренней небрежливости друг другом братство.

Трофейный документ, датированный октябрём 1941 года:  
«К немецким солдатам. Воззвание.

Солдаты! Перед вами Москва! За два года войны все столицы континента склонились перед вами, вы прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей силу вашего оружия, пройдите по ее площадям. Москва — это конец войны!

Верховное командование вермахта».

— Дуваните немца! Ой дуваните!

Теленок дремлет на полу за загородкой. Белое пятно на коричневой голове. Ребрышки в золотистой шерстке шевелятся, дышат... Вдруг откуда-то из глубины моей жизни — видение.

Мне два с небольшим года. Мы еще живем в Белоруссии. Такой же вот теленок, принесенный в дом, ворочается на подстеленном тряпье в кухне. Поднимается — тоненькие, нестойкие ноги подкашиваются. Опять старается подняться. Морда запрокинута, тело клонится набок — дрожат слабые ноги. Стоит! Меня охватывает ликование, но страх берет верх, и я пускаюсь наутек. Вбегаю в комнату, прячусь за буфет. Здесь, в простенке между буфетом и окном, висит деревянный овал с нарисованным маминым лицом в обрамлении распущенных волос. Взбираюсь на стул и не в первый уже раз разглядываю портрет. Смутное, волнующее ощущение красоты охватывает меня.

Мама с младшим братишкой эвакуировалась, очутилась в Бугуруслане, у чужих людей, в скученности, грязи. Она пишет, что нет мыла, мучают насекомые и придется отрезать волосы.

Если вернусь домой, увижу ее обкорнатую — как на пепелище попаду.

Разведчик Коля С. подвесил на пояс трофейный кинжал. На лезвии выгравировано: «Alles für Deutschland» — «Все для Германии».

Бывалый солдат, отступал год назад от самой границы в Латвии. — Тогда мы решили с солдатом переправиться через реку Великую, но вброд перебраться не удалось, река была глубокая и быстрая, я в полном боевом снаряжении погрузился в воду, винтовка у меня машинально выпала из руки, снятые сапоги, еще кавалерийские, утонули, а сам я выплюнул воду изо рта, поднялся на поверхность воды и поплыл к берегу, малейшая оплошность или растерянность — и я утонул бы в реке Великой. Вот что значить в начале войны еще не было у нас опыта, мы еще учились воевать. И вот после этого купанья я с солдатом трое суток добирались до части с помощью своего компаса, а когда пришли в часть без винтовок и босые, на нас некоторые смотрели с презрением и приказали нам найти в двадцать четыре часа винтовки, а иначе расстрел как изменников родины. Но мы оружие в этот короткий срок все же достали, ночи не спали, проявили кавалерийскую находчивость, а потом нам выдали ботинки, вскоре наша часть под Опочкой пошла вместе с бронемашинами в наступление, мы прочесывали лес вдоль шоссе Москва — Ленинград, в этом наступлении меня ранило в локоть, два пальца первое время не владели, но с передовой линии я не уходил.

О, эта спасительная немецкая равномерность. Обстреливают дорогу: бах и опять бах! — через равные промежутки. И в высчитанную ритмичную паузу — наш бросок через дорогу. Уже за нами рвется снаряд и осколками шарахает по кустам. А мы уже отбежали и ша-

гаем с веселым недоумением небожителей. Раз-другой пронесет, и уже верится, что так оно и будет и минует. И сам черт не брат.

Вот текст немецкой присяги. Перевожу:

«Я приношу перед богом эту священную клятву в своем полном повиновении фюреру и канцлеру немецкого народа Адольфу Гитлеру, главнокомандующему германскими вооруженными силами, и во исполнение этой присяги готов, как храбрый солдат, в любую минуту отдать свою жизнь».

Мышь попала на кусочек чикагской колбасы, что приплывает из-за морей в портативной таре и заодно с английскими ботинками называется в частях «вторым фронтом». Кликнули серую кошку. Кошка не торопясь присела на задние лапы и стала обнюхивать. Мышь изловчилась и укусила кошку за нос. Серую кошку повели расстрелять. Тот боец твердо знал — сохранять надо только целесообразное. Еле добились для кошки амнистии.

— Разненастится погода.

— Ветер, главное дело, и облака серые, серые плывут.

— Наше счастье — дождь да ненастье. Немцу не летать сегодня.

— Мы староверы.

У нее светлое изнуренное лицо, остренький подбородок, живые, негасимые густо-карие глаза. Я смотрю на нее, вижу в чертах ее лица что-то вековое, давнее и легко представляю себе ее в низко насаженной шапке с рогами, в опашне, надетой, как предписывал указ Петра I ее прапрабабкам, чтоб чужесть староверок издали выявлялась, чтобы православный мир к ним не приближался.

Она работала до войны счетоводом в фельдшерско-акушерской школе. Муж — старообрядческий церковный староста — сборщиком утиля.

Сейчас, когда бой в северо-восточной части Ржева, их окраинная улица перешла в наши руки, и они спешно эвакуированы на военных подводах сюда, в деревню.

А прошлый год не поднялись. Семь человек детей от года до шестнадцати лет да две старухи. «Как тут возможно уехать».

— Просили его тут другие, моего старика, чтобы он старостой квартала стал. Что тут порядок будет. «Никакого, ответил, тут порядка не будет. Это налетела всеопустошающая саранча». Они темноты боялись, а мы раскрыли камни фундамента — под полом все сидят в темноте, дети, старухи. Вдруг идут с собаками. Шпоры. На широкой цепке большая бляха. Ой, найдут. А мой старик не успел, побежал в баню. «Пан где?» «Нету пана. Никс». Они открыли, а он — голый, моется. Чуть не каждый день топили офицеру или солдатам. Ну, не тронули. Голого не погонишь на работу. А меня немец стал стегать нагайкой. Плетка такая ременная. «Врешь! Пан в бане». «Это отец мой». Он с бородой и на десять лет меня старше. Поверил. «Если бы пришли и так бы над твоей матерью издевались бы», — говорю. «Никс русские в Дойчланд». Это значит — никогда не придут русские к ним.

У немцев приказ по полку. Вменяется машины заводить в сараи. Если же сараев нет, машины ставить по две вместе и покрывать их вместе, чтобы наши летчики принимали за сараи.

Мотор сверлит со стонущим металлическим подголоском. «Мессер».

Поют мужчины:

А она во всем согла-ша-лася,  
Потому что лю-била ме-ня...

В деревне, отбитой у немцев, уцелел фанерный щит: «Нищим не подается и обмен не производится».

Написано по-русски, но нравы чужеземные.

По улице шел разведчик П. Он возвращался с задания. Из-под деревенского картуза, осевшего по самые уши,— потемневшее небритое лицо. Облегающий пиджак на нем и короткие холщовые брюки.

Какое это счастье — видеть вернувшегося с задания разведчика.

На войне человек налегке. Свалился житейский груз, бремя выбора не гнет, не отягощает.

Нет ни выбора, ни бремени его.

А то, что есть — на прямой и оголенно: приказ, враг и — о с и л и т ь.

Есть еще — смерть. Но она тут слишком близко, чтобы ее в расчет принимать.

В армии я оказалась на Волге — в Ставрополе на курсах военных переводчиков. Потом мы гуртом вынырнули из глуби, из Ставрополя, с тех курсов, и — по санному пути, по Волге, чтобы предстать в Генштабе в самые решительные минуты своей жизни. И как они просты, эти минуты. Пожалуй, даже чересчур.

Еще ездила и пешком топала — и опять на Волге, у Ржева.

— В данный жестокий, но героический, великий момент...

И все. Ни слова больше.

Патетика сейчас — только клич к бою, вскрик рванувшегося в атаку, стон раненого: «Братцы!» Проклятье немцам: «Гады! Гады!»

И все время рядом крестьянские невероятные усилия — воспроизвести, вырастить что-то для жизни, сохранить скот, спасти стены жилища...

Вчера, когда возвращалась из второго эшелона, по деревянной дороге, выстроенной на болоте, подвез на полutorке шофер. Из Казахстана он. Меня постоянно волнует на фронте соприкосновение с людьми такими различными, прибывшими из разных, совсем несхожих городов, земель, закоулков.

Награждали разведчиков.

— Служу Советскому Союзу!

Один и другой — так. А третий — немного постарше, порасторопнее, быстрые, цепкие глаза на побитом оспой лице — добавил решительно, зычно:

— Наша рота крепка, как советская власть, чиста, как слеза божьей матери. Смерть немецким оккупантам!

— Я решил: как победим и домой отпустят, поеду по всем местам, где воевать пришлось. Вот адреса и собираю.

На войне власть одного человека над другим так грубо обнажена — власть без камуфляжа. И все здесь зримее: жизнь и смерть, смелость и отсутствие ее, мука и облегчение.

Кто-то сказал: «И у мышонка есть мошонка». Человеческий писк среди свирепой войны о том, что все живое — страдает.

— Я-то умру, черт со мной, может, только дети заплачут. И никого не затаскают по судам. Потому что война — бойня. Но мне желательно наперед с этими фашистами сквитаться. Чтоб потом досада не донимала. А то о т т у д а мне их уже не достать.

«При вручении гвардейского знамени командир полка, принимая знамя, становится на одно колено, целует угол алого полотнища. Весь строй преклоняет колени. Командир произносит от имени своего полка клятву гвардейцев» (газета «Красная звезда»). Это входящий в жизнь совсем новый ритуал.

Кто-то съездивший в Москву завез билетик метро, и билетик бережно пошёл по рукам. Каждый молча подержит, проглотит задушенный вздох о заманчивой мирной жизни, передаст подержать другому.

Здесь, в деревне, немцы не стояли.

— Они у нас только на б е ж н ы е были,— говорит хозяйка.

— Немчура замуж пасется,— сказал пожилой ездовой.

Я не поняла.

— Наступать собирается,— разъяснил.

Армейского языка, так называемого суконного, в разговоре и не услышишь. Речь образная, и у каждого на свой лад.

Коренастый, тяжелый, он не то чтобы переступал ногами, а наваливался на землю то одним боком раскачивающегося тяжелого тела, то другим. Мы не уходили, пока он совсем не скрылся с глаз.

Это ведь только кажется, что таких тяжёловесов пуля не достаёт. Всем кажется и ему тоже.

Когда я уезжала из Москвы на фронт, Д. Б. сказал на прощанье: «Храни тебя бог». Он не заметил, что говорил, был расстроен и вдруг старчески суетлив. А в Генштабе юноша с орденом Красной Звезды (о нём говорили: «Он из тех, кто грудью прикроет блиндаж»), зная, что такое война, простился: «Благословляю вас» — и сразу стал посторонним. Вроде пробилась древние, из глубины времени слова.

— В пилотке, в шинели внакидку она сидела у входа в землянку и резала трофейный парашют на носовые платки. Я подсел и стал помогать ей. Потом, уже под Орлом. Бескрайняя мгла, холодная слякоть. И наутро бой. Тоска сжимала сердце. Мы заняли половину школы. Я сидел у открытой печки на березовой чурке, подбрасывал в огонь... Наутро предстоял бой. Кто перед боем смотрел на прыгающий огонь, тому не забыть этого... И вдруг открывается дверь — вошла она. Мы прбстились. Слов не говорили. Она опустила руку в карман моей шинели, положила индивидуальный пакет. В этом было все: береги себя. Я пошел. Вернули нас. Бой отложен. Были еще часы, ночь. Мог ли я не вернуться? Я примчался. Мне было девятнадцать лет!

— Ну и ладно, а теперь двадцать. Так что с того? Из-за бабы расквасился. Да за них теперь поручится только дурак или сопьяк.

— Я утоплю тоску в самом себе.

— От тоски, поймей в виду, вши заводятся.

Молния вспыхнула совсем близко. С треском пугающе раскатился гром. Гроыхать — это теперь прерогатива бомб. Так что совсем неожиданная вдруг эта мощная стихия. И лавина дождя с ветром. Пригнула деревья. Забарабанил гром.

Бывают моменты истории, когда вся лучшая часть молодого поколения захвачена потоком времени, вся самая активная, самая надежная его часть. И поток этот устремлен не к какой-либо своей выгоде, не к материальному благу, а к сражению, к смертельному сражению, в котором совсем поредеет этот поток. Выпасть из него значит изменить делу поколения.

Ифлиец Миша Молочко говорил: «Наша романтика — это будущая война с фашизмом, в которой мы победим». В этом был наш общий пафос.

Вообразить себе в о й н у я не умела. Смутно и наивно до дурасти мерещилась и з б а — это штаб. И ф р о н т — сплошная линия окопов, в которых все мы, фронтовики.

В общем, реальные картины войны не возникали, и я не слишком нуждалась в их уяснении. В результате практически к войне я совершенно не была подготовлена, только эмоционально. Но мы уходили на войну как на главное дело нашей жизни. И, похоже, не обманулись.

И вот еще что: эмоции оказались устойчивее многих практических реалий, во всяком случае устойчивее моих прохудившихся сапог.

За установившимся однообразием дней что-то зреет. Что же? А пока усердно радуюсь этим дням. Ходила с целым ворохом ребятисшек за черемухой. Жаль только — отцветает.

Он томится как с похмелья и разом оживает, встряхивается, когда снова — дело, риск, идти ему в разведку. И опять пока что проходу не даст сколько-то пригожей бабенке, чтобы не ущипнуть, не притиснуть.

— Ох ты пятах! — заругалась на него одна. — Одно слово — командир. Тебя надо скастрировать, чтоб ты тут не задира!л всех!

Еще одна памятка немецкого солдата:

«У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай...»

Живешь очень природно, опрощено — и чувствуешь живительность этого необычного состояния.

А саму природу: деревья, травы, темные зубья отдаленного леса в закатных лучах солнца, луну — либо не видишь вовсе, либо они возникают как щемящие виденья красочного мира, поглощенного войной.

Решение исполкома райсовета:

«Обязать председателей с/советов строго контролировать установленные дни и часы отдыха для лошадей, не допуская случая переутомления их. Считать обязательным отдых для лошадей 3 часа в обеденный перерыв и по одному часу в дообеденный и послеобеденный период работы. Через каждые шесть дней предоставлять 1 день отдыха, а более слабым лошадям через 4 дня. Запретить работу на лошадях с травматическими повреждениями».

Из письма: «Ваня! Отдала Лизе твои часы носить. Надела, и все рукав дергает».

Мысли о смерти начисто отсутствуют. Это в мирное время можно почувствовать ее неотвратимость, ужаснуться. А сейчас — перекрыто. Нет, нет и нет. Никаких предчувствий, никакой тоски. И вообще смерти как бы и нет вовсе, как нет у м е р ш и х, а есть у б и т ы е.

Моя хозяйка вспоминает словно с отдаления: «Пойди корову напои, говорит. Теперь ладно — сидим, ждем. Посидели с часочек, и вот тебе — н е м е ц». Что ни скажет, не просто слова — частицы какого-то сказания. С ней спокойно как-то, хорошо.



Сожженная деревня Залазня. Одни трубы. Здесь зимой немцы учинили расправу за связь с партизанами. Всех жителей выгнали из домов, заставили лечь на снег лицом вниз и расстреливали из автоматов. Команда поджигателей запаливала дома. Семья Сапеловых. Девочка шести лет, тоже лицом в снег: «Холодно». Мать ладонь положила ей под лицо. Бабушка легла на девочку и прикрыла своим телом. Бабушка убита первой же очередью. Брат, раненный, поднимается в полный рост. Убит. Мать ранена четырьмя пулями, но жива. Девочка под мертвой бабушкой жива, понимает, что нельзя шевельнуться, лижет матери ладонь, а мать, истекая кровью, не переставая шевелит пальцами — дает знать дочери, что та не одна. Так они лежат не сколько часов.

Их спасли и спрятали у себя жители соседней деревни — парнишки и женщины, они пробрались сюда, когда стемнело.

Старая наша газета, годичной давности — 27 июня 1941 года:  
«Наступит день, когда мы вместе пройдем по всему континенту. И тогда у могил тех, кто пал в бою, и на разоренных землях тех, кто остался в живых, мы вновь посвятим себя делу социалистического строительства...»

И неожиданная подпись: епископ Кентерберийский.

Мне иногда кажется, что я рвусь прожить множество жизней. Это, наверное, от недостатка воображения.

Спросили у него, как это ему удалось спастись от немцев.  
— Я швыдко шел.

Здесь все первично: хлеб, мычанье коровы, страх, простодушие, порыв, предательство, бескорыстие.

О чем говорят, когда немец не стреляет? Говорят, конечно, о любви. Но охотнее всего слушается какая-нибудь веселая, смешная, пусть и нелепая история. В цене балагуры, острое словцо, шутка.

Вчера один солдат развлекал рассказом.

Старик выпил флакон одеколona. Пришел на скотный двор. Жара. Одеколон из старика испаряется. «Уйди, дед, дрянью какой-то от тебя несет». «Дрянью? Ты пойдй, дурак, понюхай: б а р ы н е й от меня, дурак, пахнет».

Разговор в избе.

— Они хорошо жили, у их вся обстановка.

— На Руси не все караси, есть и ерши.

Он долгим взглядом провожает собак-танкоистребителей. Узкие темные глаза тунгуса. Для его отцов и дедов, кочевавших с табунами диких лошадей, собаки были священны.

Собаки залиvisto лают, рвут поводки. Их ведут на передовую. Там они помчатся под немецкие танки с взрывчаткой на спине...

Да, солдат налегке. У него ничего нет, кроме жизни, и ей он не хозяин, ею распоряжается п р и к а з.

У немцев, у каждого солдата, — пачки фотографий одинакового формата, шесть на девять, с зазубренными краями. Muti, Vati — мамуля, папуля. Любимая сестра. Завтрак честного семейства, велосипедная прогулка, трапеза в саду, толстяк дядя с мосластой женой и крошками детьми, черепичная кровля, добротный дом, увитый плющом. Невообразимый уют жизни. Довольство, самодовольство. Но главное — уют. Куда же они повалили, куда поперли от своего уютая?

— Погодите хорониться, поглядим. Если лошади в дышло запряжены, то немцы, если в дугу — то наши.

— Парила бураки в русской печи, через мясорубку пропущу и муки добавляю — хороший хлеб, замечательный. Только мука — вся.

Солдат он и есть солдат. Стреляют, убивают, хоронят, поднимаются в атаку, идут в разведку — это война.

А бредущие бог весть куда разутые, голодные бабы с котомками, с голодными детьми, беженцы, погорельцы — это ужас войны.

У нас тут у всех прочная уверенность, что уж коль нас свела война, все мы друг другу предназначены и уж ничто нас и потом не разъединит, не разведет по своим кругам.

Капитан Т., захватский малый, недавний милиционер, спросил: — Ты что задумалась? О семье скучаешь? Вот война кончится, поедем с тобой в Новосибирск. Электричество, троллейбус, в театре люстра в восемь тонн. Прямо с вокзала на Трудовую.

— Теперь какая любовь! — раздольно сказала молодая. — На часок да на урывочек. — И было видно, что это по ней.

Стоит чуть оторваться от своей здесь повседневности, оказавшись на дороге пешком ли, или подобранной водителем машины, или на телеге, как захватывает необычайность, новизна, и пытаешься что-то записывать. Так что от тряски многое записано кое-как, буквы прыгают, слова громоздятся друг на дружку. Сама и то едва потом разбираешь.

В пасмурный полдень вдруг въехала длинная подвода, запряженная черной лошадь. Остановилась, развернувшись поперек улицы. Дядька в темном фартуке, в кепчонке с мятым козырьком привстал на колени и странно так заголосил: «Ста-арья!» — такой деятельный, хоть вроде бы дуроватый, а еще, как оказалось, когда слез с подводы, хромой.

Ребятня облепила подводу. Лошадь красиво била копытом. Над черной ее головой по дуге голубой краской: «Главторсырье». Дядька призывно щелкал кнутом по сундучку, вдвинутому в угол подводы.

— Раньше я ленинградские мулине привозил и что только пожелается.

Но теперь-то что же приволок в том сундучке? Не распаивает крышку, как бывало, — товар напоказ. Так, может, пусто там. Чуть приподнял крышку, сунул руку — и назад.

Ох как жадно, как сурово загораются глаза у мелкотни, обступившей его кулак. Раскрыл — на ладони куколка с вершок всего, голенькая, целлулоидная, помятая немного, живот придавило ей.

Где только отыскал, где подобрал ее?

— Ста-арья!

За килограмм утиля — пятьдесят копеек!

А еще-то что? Может, пистолет с пистонами, как случилось раньше? Взглянуть бы. Каску немецкую, утаенную, не пожалел бы любой паренек. Так не возьмет — нельзя ему брать ничего ни из трофеев, ни из нашего армейского.

— Ста-арья! — крикнул дядька, задрал голову на тучу, брызнувшую дождем.

Вся добыча его — сплюснутый, обгорелый рукомошник да немного грязных тряпок на дне подводы. Так что с той куколкой — цена ей объявлена два с половиной — он весь тут фронт объездит.

Он поехал по деревне, стоя в длинной подводе, профессионально неразборчиво и зазывно выкрикивая:

— Ста-арья, ба-арья, та-арья!

Выбежавшие из избы две девчоночки бежали за ним, таща чего-то.

— Дядь! Дядь! Едь сюда!

Он погонял не слыша, все дальше уходя от них вниз по деревне под нахлестывающим дождем.

И скрылось это заблудшее видение прежней жизни: черная лощадь в лазоревом сиянии дуги, сундучок коробейника.

Дневная душа, переключаясь с ночной, откочевывает, как только засыпаешь, оставляя ворох дня заступившей сменщице. А та, ночная,— сублимней, чувствительней. И мытарит, мытарит...

«Ко всем гражданам.

Все граждане данного района, незаконно взявшие государственное имущество и ценности, а также личные вещи и имущество отдельных граждан в период вторжения немецко-фашистских оккупантов, должны немедленно и не позднее 20 мая 1942 г. возвратить указанное имущество, вещи, ценности их владельцам.

В случае невозвращения виновные будут привлекаться к ответственности по законам военного времени как мародеры и расхитители социалистической собственности.

Нач. РО милиции

сержант милиции — Тетерев».

Играла гармонь. Девчата молча танцевали с нашими бойцами. А в перерывах между танцами сбивались в кучку, перешептывались и тихонько всхлипывали от смеха. Гармонь смолкла, и стали расходиться. Ваня-украинец, протанцевавший весь вечер с одной девчоночкой, коротенькой, подвязанной к у к у ш к о й (косынкой со скрепленными под подбородком концами), с тугой косицей, подскакивающей по цветастой ситцевой спине между бугорками лопаток, крикнул ей вдогонку: «Это не любовь, что ты — домой и я — домой. А то любовь, что ты — домой и я — с тобой!» — под веселое ржание товарищей.

Пистолет в руке — это какое-то особое ощущение. Тут и риск, и тревога, и авантюризм — все в твоей ладони. Хотя еще не довелось ни разу стрелять, не обучена, но с ним упористее. Кажется, в случае чего найдется малое умение распорядиться собой, нажав курок.

— Муж, когда уходил, просил: «Дай, Катя, моим костям покойно лежать. Не выходи замуж. У тебя такой характер, ты не сможешь сносить». Он, бывало, обувь скинет или ноги вымоет — в дом войдет: «Мне твой труд дороже моего». Таких нет, как он был. — И, помолчав, добавляет мечтательно: — Может, только еще какой один где-нибудь.

Приземистый, крепкий, с трухлявым саквояжем в цепкой руке, идет по деревне, глядя в упор под ноги себе.

Во-первых, странно увидеть исправного, здорового мужчину и не в летах, а не в армейском — в затертом тугом плаще, в темной кепке.

Во-вторых, вроде не бомбят, не обстреливают, а суэта, напряжение, беспокойство и сумрак роятся по усадьбам, по избам при его приближении. Кто ж такой?

— Ценный человек, — хмуро пояснил старичок. — Наденет белый халат, и бык ему подчиняется. В штатской одежде не подходит.

Но это одна сторона полезной деятельности ветеринара. Другая связана с запретом по району всякого убоя приплода рогатого скота, овец, свиней, принадлежащего как колхозам, так и лично колхозникам, единоличникам, рабочим и служащим, поскольку большой ущерб нанесен войной общественному животноводству. И теперь этот человек в немалой степени вершитель многих судеб. Случись падеж, или

травма, или хворь, или еще какая напасть, мало того горя хозяевам, еще жди, что тебе за это будет, как взглянет ветеринар. Сказано: привлекать к строжайшей ответственности да по нормам военного времени...

Фамилия этого человека — Кабанов, и за его подписью немало скопилось актов в сельсовете, что у нас в избе за дощатой, не дотянутой до потолка перегородкой.

Сегодняшнее появление в деревне Кабанова завершилось следующим актом:

«1942 года 22-го мая.

Составлен акт на предмет вскрытия трупа павшего теленка у Ефимовой Марии Михайловны в присутствии депутата с/с тов. Антонова В. И., возраста 1 м, пол телочка коковая пала от плохова питания вбольшом количестве и 2-е несвоевременно заявлено вет. ф. о помощи коковая была б устранена без ущерба. Было заявлено предсмертно посредством уколов и в правления грыжи теленок жил 3 дня. Но так было Сращение пятли кишки с соединительной оболочк. и воспаления брюшины дело безнадежное...»

«23.5.42. В течение ночи редкий арт.-минометный огонь и ружейно-пулеметная перестрелка».

Секретарь сельсовета — миловидная Тося. Работа чистая, не тяжелая. За то свекровь ругает ее «дворянка». И едко так о ней: «Тоська, водворянившись, сидит-посиживает, хоть ты что».

— Православные! Навались! — крикнул доброхот боец, помогавший толкать застрявшую машину. — И начальники тож!

К секретарю сельсовета Тосе поступают справки о смерти человека. Вот одна из них. Выдана непосредственно самому... по кой-никуда:

«Справка. Дана настоящая Васильеву Егору Васильевичу, что он действительно болел крупозным воспалением легких с 26.III.42 по 4/IV.42 года и лечился в Морьинской амбулатории у м/ф Быковой.

Скончался 4/IV.42

13 час.

К чему заверяю

м/ф Морьинского пункта  
4/IV.42 г.».

М/ф Быкова

Вот так, не мудрствуя и безо всяких там церемоний.

«Акт о смерти Загораевой Прасковьи Ивановны в возрасте 75 лет», «от преклонных лет померла. Со стороны издевательств не было. В чем и распишемся

Семенова, Макарова, Романова».

Наша листовка, рифмованная:

«Deutsche Soldaten,  
Lasst Euch raten.  
Ruft den Russen zu  
aus der Weite:  
«Sdajus, Towarisch,  
Ne strelajtel!»

«Немецкие солдаты,  
советуем вам.  
Кричите русским  
издалека:  
«Сдаюсь, товарищ,  
не стреляйте!»

— Ишь как ласково напели,— сказал старшина, слушая непонятные немецкие слова.— А ты,— сказал мне,— лучше гаркни им в рупор: «А ну отъерзывай!»

Наша армейская:

По дорогам глинистым, по лугам Тверцы,  
По полям калининским проходят бойцы.  
Эх, полки стрелковые — храбрецы в полках,

Автоматы новые в молодых руках.

Мы полками вклинимся в линии врага  
И вернем калининцам Волги берега.

Как животворно начало лета. Особенно после такой тяжелой зимы. Кажется, все предвещает только хорошее. И каждый день по-особому полнокровен. При всем том это — день войны.

### *Тетрадь вторая*

Перевожу немецкие статьи, обращенные к солдатам:

«На то была воля провидения... Чувство дружбы создает единство нации», «Любой немец по своим биологическим данным неизмеримо выше любого другого»...

И секретный циркуляр хозяйственного штаба германского командования на Востоке:

«1...Немецкие квалифицированные рабочие должны работать в военной промышленности; они не должны копать землю и разбивать камни, для этого существует русский».

— Кто жить не умел, того помирать не научишь,— говорит о немцах женщина, выбравшаяся из Ржева с детьми и примостившаяся у людей здесь, в деревне.— Немцы ужасные трусы. Сидят обедают, или вечером бомбят — под стол прячутся. Даже смешно. «Матка, ля-хен? Дом капут, матка.тод!» Мол, чего смеешься, дом капут и саму убьют. А я: жарче! жарче! — призываю.

Она же о своем меньшом, который бессменно на руках у нее:

— Как старичок был. Изнеможенный скелет. Здесь так хорошо его подняли, так помогали, хоть у самих такая нехватка.

— У меня в доме немецкий начальник стоял. Ну и привели раз беглого нашего солдата. Из плена бежал. Схватили. Спрашивают: кто такой, как сумел убежать? А он отвечает не поймешь что. Немец ему по-своему: не сяки, мол, говори реже! А он сякет, он сякет, мне и то не понять. А прислушалась, слышу, так ведь он же по-нашему, по-матерному чешет.

На военных курсах переводчиков, минуя обучение стрельбе и всякому военному делу, мы странным, необычным образом, не с того как бы конца втягивались в войну, с ходу вступив в соприкосновение с противником: его немецкий язык, его зольдбух (солдатская книжка), уставы, команды, письма (как они томят нас своими письмами, эти немцы!), его замысловатый готический, его так трудно заучиваемые военные термины. И для усвоения языка как такового детские считалки и тошнотные диалоги: «Wo warst du, Otto? Где ты был, Отто?» «О, Карл, я совершил очаровательную прогулку в лодке по озеру». И Гейне: «Mein Liebling, was willst du noch mehr?» И наши репетиции допроса, когда мы поочередно были то самим пленным немцем, то допрашивающим его нашим командиром.

И вот когда предстояло отправиться на фронт, напившись, хоть и на скорую руку, немцам, я испытывала сжатие где-то в груди от страха, что, повстречавшись с настоящим пленным, окажусь вдруг свидетелем жестокости, насилия по отношению к нему.

В первое утро на фронте в перерыве между двумя оголтелыми бомбежками немцев я вышла из избы и увидела тянувшиеся по улице сани с раненым пленным. Я пригвожденно шла за санями. Они вскоре стали. Подоспев, когда ездовой уже выбрался из саней и что-то сообщал, я, собравшись, громко спросила: «Вы его расстреливать везе-

те?» — полагая, что это именно так. Усатый пожилой дядька хмуро глянул через плечо на меня, недобро бросил: «А мы пленных не расстреливаем» — и пошел за избу opravиться.

Я еще возбужденно спросила лежавшего в санях немца, откуда он родом. И услышала в ответ безучастное: «А! Чего еще надо!» — не расположенного к разговору раненого. И зашагала назад, проученная этим дядькой, унося с признательностью его хмурый презрительный взгляд.

Я тогда записала в тетради: «Войну выиграет тот, кто проявит великодушие», надеясь, что мы будем теми победителями.

Однако наш сильный и пока что удачливый противник давно изъясил это понятие — великодушие. Только сила и жестокость. Мир все больше делится на победителя и поверженного без никаких градаций и промежуточных категорий. Какое уж там великодушие. Все больше нагнетается вокруг и крепнет: против побеждающей силы и жестокости противостоять силой, оснащенностью и жестокостью.

#### — Контуженные двери.

Бумаги писчей у местных организаций нет. Протоколы заседаний колхозов, сельсоветов ведутся на обрывках обоев, на обложках, оторванных от исписанных ученических тетрадей, или прямо по газете (и тогда уже после ничего не разобрать), а также на обороте листков «От Советского Информбюро», печатаемых на серой бумаге в типографии Медновского района, теперь уже почти тылового.

На обороте старого сообщения — постановление общего собрания колхозников «Светлого пути» 28 июня 1942 года:

«Учитывая что наши доблестные воины сражаясь в битвах за нас и родину и освобождая нас от ига фашизма что в условиях теперешней войны решает техника чтобы наши сыновья отцы и братья шли в бой в стальных машинах всем подписаться насколько только возможно и все свои средства внести на постройку танковой колонны и поручить собрать пред. к-за Абросимову И. И. ».

Мы на врага за древний Ржев  
Обрушили свой русский гнев,  
И на приволжском берегу  
Мы срубим голову врагу.

(Наша армейская газета «Боевое знамя»)

Верхом на стволе пушки — артиллерист с крестьянской косой, литовкой называют ее сибиряки. На артиллеристе пилотка, гимнастерка — все военное, а мне трудно представить себе его стреляющим из этого огромного орудия. Косарь.

Все те века, что Ржев трепала война, что то или иное неприятельское войско стояло под его стенами, разоряло его. История не спускала с него глаз. И высветлила нам все повороты, злосчастья, удачи и поражения военной судьбы города, сопровождая датами, именами предводителей войск. Но стоило городу войти в столь длительную полосу мирного существования, когда неприятель 328 лет не ломился больше в его ворота, не опустошал его, и он словно выпал из поля зрения Истории.

А мы-то полагаемся на Историю, она-де вникнет, рассудит. Тогда как избирательный интерес ее приковывают броские ситуации вооруженных конфликтов, динамичность сюжетов войны. Хотя ее, Истории, основные движущие силы действуют далеко не всегда на открытой поверхности этих событий, а подсудно. И выпавшее из ее внимания трехсотлетие безмолвия Ржева — ни одного залпа! — вобрало капитальные, историкообразующие процессы русской народной жизни, к которым тесно причастен Ржев.

«Я, братия моя,— возвестил Аввакум,— видел антихриста, собаку бешеную: плоть у него вся смрад и зело дурна, огнем пышет изо рта, а из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит; по нем царь последует и власти и множество народа».

И те русские люди, что держались старого обряда, рвали с господствующей церковью, с монаршей властью антихристовой, бежали от преследований и сюда, на ржевские земли,— в «скитские общежития», охваченные ожиданием конца света.

И складывался характер человека, способного упорно «стоять в вере» и принять за веру мученическую смерть.

«Что лучше сего? — наставлял Аввакум.— С мученики в чин, с апостолы в полк, со святители в лик... А в огне то здесь небольшое время потерпеть. Боишься печи той? Дерзай, плюй на нее, не бось! До печи страх-от, а егда в нее вошел, тогда и забыв вся...»

Немцы называют Ржев — «неприступная линия фюрера».

В битве не состарится,  
Не умрет герой,  
Кто за Ржев и Старицу  
Дрался с немчурой.

— А травы густые и косить ни к чаму.

В деревне забирают в Красную Армию молодых ребят.

— Ой, сынок желанный!

— Ты, матушка, ня ной. Мне долг надо отдать на фронте.

— Ой, сынок. Ты смотри уж нядолго. Может, будешь жив...

— Как управимся.

14 августа прошлого года, когда Ржев подвергался впервые вражеской бомбардировке с воздуха, город был объявлен в угрожающей зоне.

А потом, в октябре, в сводках появилось ржевское направление.

Р ж е в с к о е   н а п р а в л е н и е — это началось сражение за Москву. И вот уже сколько месяцев оно длится ожесточенно. Все, что происходит на нашем участке, у Ржева, грозно связано с Москвой.

Сейчас, когда немцы так рванули на юге и так нужны там силы, чтобы остановить их, закрыть прорыв, войска шлют и шлют к нам сюда, под Ржев. На прикрытие Москвы.

«Слушали гражданина уполномоченного РО НКВД Акимова:

в условиях Отечественной войны тыл имеет огромное значение. Противник в целях ослабления тыла засылает шпионов с целью поджога колхозных амбаров, скотных дворов и др. имущества. Членам колхозного заградотряда необходимо быть бдительными, не пропускать без проверки документов ни одной личности, а в отсутствие последней — задерживать и доставлять в РО НКВД».

— Мне приснилось, косы у меня по заднице. К чему бы? К чему-то ведь должно быть. (Это Дуся, штабная машинистка.) Может, дорога мне дальняя, назад к дому, а?

Удивительно, как любая косыночка, щербатое блюдо, махотка платочек, чернильница-невывайка, кочерга, каждая вещь, как бы ни поизносилась, становится невообразимо замечательной, со своим неповторимым лицом, индивидуальным свойством, личным обаянием, каким отмечено все то, что не может быть повторено теперь. И обычные вещи, довоенные изделия трогают и волнуют.

Покос. Женщины идут с косами, граблями.

Косить здешним женщинам привычно — мужчины ведь уходили «на посторонний заработок».

Но вот пахать на себе, как было в эту весну, — это уж новь военная. Оккупация прошла по этой земле.

— Мы как кони, — говорят о себе. — Сеять-то надо, а нету ни коней, ничего. По десять в плуг впряжемся. Одиннадцатая качает. В борону — по пять человек. Один такой раз боронуем, бык бежит. Мы разбежались. Смеемся: к о н и разбежались.

Наше понимание, воюющей части народа: все для нас, все нам дозволено по сравнению с мирным народом. Но какой же это мирный народ, подпавший так жестоко под иго войны, как не всякому солдату доводится.

Когда началась война, внешние признаки вещей оставались прежними, а существо изменилось. Так, завод, куда я поступила, был все еще 2-м часовым заводом, хотя часы на нем не производились, а гильзы. Подвал под нашим домом, где раньше хранилась картошка, оказывается, ждал нас в свое бомбоубежище.

Таинственная душа вещей вдруг обнаружилась.

— Он меня матюкнул по-хорошему. Я поднялся, пошел в рост на врага.

«Исполком райсовета решил:

1. Оформить и передать материал следственным органам о падеже лошадей в колхозах «Заря коммунизма» и «Серп и молот» для привлечения к ответственности руководителей колхозов за варварское отношение к коню».

Чтобы деньги водились, высушенные свиные пяточки хранят в шкафу среди белья. Так издавна ведется в Ржеве.

Вечернее сообщение:

«В течение 3 июля на Курском направлении наши войска отражали крупные ожесточенные танковые атаки немецко-фашистских войск...»

После восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь...»

Здесь, в деревнях, не было ни электричества, ни радио, а теперь уже само собой их нет. Но какими-то путями вести о неблагополучии на юге достигают сюда, и порой они выразительнее, чем сдержанные газетные сообщения.

И все же это смутно, это где-то там, на окраине страны, как кажется отсюда местным людям. А здесь война вблизи самого ее сердца — Москвы.

И если немец там где-то и осилит, еще не вся беда. Но если на этот раз немец двинет на Москву и захватит ее — «это ж разом загорится и небо и земля».

Падение Москвы — это конец света, а не факт войны.

Железная баночка с фитилем. Плошка.

— Нам немецкие зенитчики оставили. Хорошая такая штучка.

— И долго служит?

— Долго, долго, что вы.

Раненые бредут с передовой спотыкаясь, поддерживая один другого, волоча винтовки.



Повстречавшаяся с ними старуха замерла, согнутая под связкой хвороста на спине, следя за ранеными слезящимися глазами. И вдруг так сильно, горестно:

— Взойдет кто им на подмогу?

— Царица небесная! Заступница!

То время, что здесь были немцы, отогнанные еще в нашем зимнем наступлении, в сознании местных людей — прошедшее законченное.

То была как бы война в войне. Та, бы в ш а я, пережитая ими война — в нескончаемом потоке длящейся, общей.

— Все было, — говорят про т у, прошедшую. — О г о н ь и с т р а с т ы !

Плотность жизни на единицу времени велика сейчас. Иногда крайне велика.

Молодая бабенка при виде тощего, длинного, изможденного немца, пленного:

— Боже милостивый! Страшно глянуть. Худой до ужаса.

А ведь мнится, что немцы, допершие сюда, чуть ли не к самой Москве, и на юге заглатывающие наши земли, уж они-то жируют вволюшку.

Ведь вот что нелепо: то, другое, третье, все такое дельное, важное, знаменательное — все изнашивается. А какая-нибудь чепуха на ловком ритме: «Аты-баты, шли солдаты» — вечно.

С петляющих между палатками и блиндажами, вырубленных и вытоптаных просек ступнешь бесцельно шагов пять-шесть всего в чащу — и выпал из войны, рухнул во все зеленое, земное, неразличимое в подробностях. Бог мой, какая благодать. Эти краденные у войны мгновенья.

Ich ging im Walde...

Das war mein Sinn.

Дальше не помню.

О, Гёте. Такая гармония духа. Его лесное уединение нарушит разве что герцогский охотничий рог. Но не этот железом о железо полосующий набат:

— Воздух!

— В лесу налило лужами. Самсон-сеногной.

Комиссар бригады прочитал лекцию на тему «Ненавидеть врага всеми силами души».

Задавали вопросы:

— Почему мы не наступаем? Своим наступлением мы помогли бы Южному фронту.

Лупит дождь. Бойцы сообща с бабами гатят топкий участок дороги. Шутки, гомон. Натаскивают хворост, лапник, жерди.

Какой-то проверяющий начальник подъехал верхом, напустился на старшего: мол, кое-как пошевеливается.

— У тебя вон солдаты морды отъели! — И, стравив досаду, отвернул коня и, надавав ему в бока стремянами, ускакал.

А тут смолкло, сникло, заело. Одна приметливая и мудрая баба рассудила так:

— У него морда оспой потревожена. Его и колет. У вас-то личики пригоженькие, безо всякой щедринки. — И примирила с ним.

В лесу утром. Солнечные блики на шевелящихся листьях. И на вытоптанной поляночке в утреннем нежном мареве покачиваются, стучаются друг о дружку ромашки.

И вдруг — подхватывает, уносит в дачное Подмосковье. Вмиг — захлеб счастьем.

За кустом на крокетной площадке — переночевавшие деревянные полосатые шары. Призывный плеск и возгласы с озера, что там не-вдалеке, за лесом. И надо всем радостное воскресное ожидание: сейчас приедет, сейчас появится тут — папа.

В девушке на фронте есть некое щегольство. И в самом факте присутствия ее здесь, в зоне смертельной опасности, и в том, как заметна она в однородной мужской массе, и нередко подчеркнутостью внешнего облика, молодцеватостью или, наоборот, вопреки всему сохранно проступает в ней женское, женственное. Словом, в ней есть повышенность.

Но вот женщина постарше меня и более, чем я, тяготеющая к мирной, регулярной жизни высказалась так:

— Женщина огрублеет на фронте. И не из-за условий лишь. Больше всего из-за того, что нет у нее самых что ни на есть простых женских тягот. Не отягощена. А война ею завладеть не может — это она только мужчиной. А ею не может, и все тут. И в душе у нее неприбранно, неприкаянно, все так и болтыается. Только не всякий раскусит. А я сужу по себе. У меня характер совершенно изменился. Какие-то порывы ни с чего... Теперь вот еще что: из молчаливой я превратилась в болтушку...

В специальной радиопередаче для немецких солдат в Ржеве, я слышала, опять пели: «Когда все рухнет вдребезги, мы с песней прошагаем по руинам чужих городов...»

«К периоду осенней распутицы требуется постройка деревянного покрытия (жердевого или колеинового) как основная армейская дорога, имеющая интенсивное движение автотранспорта. Требуется ремонт отдельных мелких искусств, сооружений и т. д...»

Двое ездовых:

— Еду. Куда это заехал? Никакой видимой линии фронта мне не было. Ах так, думаю, ну, прости мне, господи, за прошлое и напредки тож. Как размахнулся, как стал я их прикладом охаживать...

— Ври давай.

— Не веришь?

— Поверишь хоть себе, хоть кому, когда в землю ляжешь.

Лес странным образом живет в своей стихии, как ни вытоптали мы его, ни покалечили, бесцеремонно вторгшись.

Пригнешься — господи, черника! — низкие, густые, крепенькие кустики дружно устилают лес. Воздух раскален, пахнет смолой и нагретыми сухими сброшенными сосновыми рыжими иголками. Пылает бузина — так неправдоподобно, так празднично. Снуют растревоженные птицы, еще привязанные к гнездам.

Кто-то ползает, кто-то над головой шарахается с ветки, кто-то где-то тут кого-то выслеживает. Вот он, лесной мир, еще в целости!

Не зевай и сам, вываляй морду в чернике, потворствуй комарью, черпни котелком из бочажка зацветшую воду. Живи! Пока не занудит металл. Тут уж вместе со всем, что трепещет, ползает, жужжит, клюет и кусается, ты в лесной западне. И — что бог даст.

Дважды два — четыре фрица  
Выплы к Волге за водцей

Дважды два — четыре пули,  
Фрицы ноги протянули.

(Наша армейская газета «Боевое знамя»)

На переднем крае слышно: немцы поют по-немецки нашу «Катюшу». Недисциплинированность, что и говорить. Существует ведь циркуляр главного штаба вермахта (военно-научный отдел) от 24 сентября 1941 года. Он достался мне:

«Согласно сообщению отдела печати имперского правительства исполнение произведений русских композиторов впредь запрещается.

Также публичное исполнение русских народных песен и рассмотрение и упоминание в прессе произведений русского происхождения является недопустимым».

Ночью включишь радио: женский бесстрастный дикторский голос: «Кро-во-пролит-ное сраже-ние на юге. Точка. На-ша ро-ди-на в опас-нос-ти. Точка. Повторяю. Наша родина в опасности. Точка».

Эту вытяжку из газет принимают сейчас радисты в партизанских лесах.

Механический, бесцветный радиоголос со всей неотвратимостью гвоздит и гвоздит по сердцу: «Судь-ба нашей стра-ны решается в бо-ях на юге. Точка. Повторяю. Судьба...»

Тишина за палаткой. Хруст сучьев. Возгласы часовых.

На рассвете 30 июля еще до назначенного часа наступления пошел дождь. Все было наготове, и наступление не отменялось.

Артиллерия двухчасовой подготовкой обрушилась на оборону врага. Два месяца накапливались в армейских складах снаряды, чтобы грохнуть по врагу, смять его оборону.

Дождь то затихал, то снова неистово лил. В бой пошла пехота, танки. Немцы побежали. Их преследовали полки. Танки вырвались вперед, но стали в размытой дождем низине. Самолеты не могли подняться в воздух, и артиллерию засасывало в болотной жиже, и она не могла передвинуться на новые позиции. Пехота осталась одна, без поддержки.

Немцы отступили на вторую линию обороны и опомнились. Ожесточенный шквал огня ударил по нашей пехоте. Пехота залегла. Немцы шли в контратаку. Наша пехота отбилась, вгрызаясь в землю.

Ночью тягачами тянули из низины засосанные танки назад. Противник в темноте густо садил снарядами по низине.

Задача наша, ржевского плацдарма, — не допустить отвода отсюда немецких дивизий на юг, сковывать их силы здесь, вызывать огонь на себя, навязывать бой, вынуждать их оттягивать с юга сюда против нас дивизии на подкрепление.

А сверхзадача — прикрывать Москву. И для этого — выбить их из Ржева.

— Четвертого августа снова в наступление. Наше направление: Погорелое Городище — Ржев. Еще в таких тяжелых боях не доводилось. Мы форсировали Рузу, Вазузу. Места заболоченные и как кто нарочно: повседневные проливные дожди. Танки, артиллерия, склады — все отстали от пехоты. На руках пришлось носить боеприпасы, продовольствие. Все войны, мы день и ночь под дождем, мокрые, но духом не падали. А как взяли Погорелое Городище — сбили на станции ихний фашистский флаг и вывеску немецкую, и за этим делом как раз нас фотографировали корреспонденты.

— Это ведь только сказать легко: убьют, укокошат. А подумать только, что не кого-то, а тебя самого — и убьют.

- А по мне, хоть ты кто будь, а терпи.
- Ах ты Еноха-праведный.

Я отпала от прежнего мира — от дома, семьи, друзей. Тут все иначе. Попутчиков тут не выбирают. Какие есть и те погибают.

Номер газеты «Фолькшпер беобахтер»: «6 августа 1942 г... и сегодня враг под Ржевом во взаимодействии с сильными бронетанковыми частями продолжал свои наступательные действия, расширяя их на соседние участки фронта. Сильные бои продолжаются».

- Дождик прошел.
- После дождика тё-опло. Грибы пойдут.

Прначалау вся напасть войны олицетворилась в Гитлере. Бандит, душегуб, ирод проклятый — из-за него все муки войны.

А по мере того как длится и ширится война, немецкие солдаты, их смертоносная армия, танки, мотоциклы, самолеты со свастикой, захват наших земель, насилие, ненавистью разжигающее душу все немецкое и все немцы воссоединились с Гитлером, в нем. Гитлер — это теперь коллективный образ фашистов.

Написала в письме к родным; «Я здорова, бодрa, вполне освоилась и подготовилась ко всему происходящему». Хотела добавить что-нибудь, но не смогла. Само собой, и цензурные соображения, но больше душевные причины.

И не выговоришь о том, как живешь. Страшишься фразы. Ведь почему-то сейчас, когда на юге все тяжелеет и судьба войны тревожнее — а может быть, именно потому, — я живу с таким воодушевленным духом, вблизи бед и жертв, с готовностью к ним с какой-то непонятной, хмельной просветленностью и с такой горечью и теплом, что, вероятно, все это вместе называется — патриотизм.

Наш командарм Лелюшенко передал наверх боевое донесение: «Продолжаю выполнять прежнюю задачу, вести усиленную разведку с задачей захвата контрольных пленных и действовать отдельными отрядами, не допуская отвода сил противника с фронта армии».

Красноармеец, бежавший к щели, вполыхая, должно быть, обронил пилотку. Подполковник остановил его и давай распекать:

— У нас в деревне такому головотяпу указали бы: надень шапку, а то вши расползутся.

А над лесом уже черт-те что делается: разворачиваются, скрежеща, заходят на нас.

А красноармеец стоит по стойке «смирно», и подполковник слово и не прислушивается к самолетам, гудит свое.

Ведут фрица, зеленого в зеленом, всклокоченного, белоголового вражину в сапогах с прикрученными шпагатом рваными голенищами. Фашиста, сатану, гитлера — ведут.

Никто не упустит взглянуть на него. И взгляд у всех разный. И с бешенством, и с ухмылкой удовлетворения, и со снисходительностью к потерпевшему, и с угрюмым сочувствием, и с мстительным опасным прищуром, и с веселым — эхма, наша взяла! А еще и общее у всех во взгляде — любопытство.

Полог палатки опустился за немцем — развлечению конец. Кто сумел — ухватил, остальные не успели.

— Во Франции в городе Божанси мы охраняли военнопленных-негров. О, это были славные пленные. Негры — большие дети! Там было хорошо.

Немец возбужденный, весь шарнирный какой-то, руки и ноги выкручиваются туда-сюда. Моему предложению сесть на чурбак не вяля или не услышал, спешит все выпалить.

И вот после Франции этот дьявольский поход в Россию, ваши болота и зима, партизаны. И вот что хуже всего — он вторую неделю на передовой. Это же дерьмо — убивать друг друга. Кто это придумал, пусть сам и воюет. Война вообще для тех, кому делать нечего, или для юнцов, которым заморочили головы, а он сыт по горло, и у него есть специальность, он столяр-краснодеревщик. И скажите, что за выгода ему или его жене, если будет победа, а он — мертв. Это же ясно как божий день. И он рад со всей, поверьте, искренностью, что его захватили в плен и покончено для него с этим походом. Война как-нибудь обойдется без него. И ему повезло, что вот он разговаривает с военной женщиной. Женщина в таких особых его обстоятельствах — это добрый знак, это знак милосердия, и он надеется, ему сохранят жизнь, а он не зря будет есть русский хлеб в плену, он готов работать и работать, как только немцы умеют. И — не австрийка ли вы, фрейлейн, так похожи!

— Нет, не австрийка. Еврейка.

Он замолкает, цепенея; его белая всклокоченная бедная головушка клонится, клонится, словно подставляя себя под расплату.

В палатке, где нас двое — он и я, — такая тишина, что слышно, как падает вода из рукомойника, прибитого снаружи к дереву.

Чтобы дым не вывинтился над лесом и не выдал наше становище, походная кухня поддерживает медленный, осторожный огонь. Листва глушит, валит поднявшийся дым, и его вкрадчивый съедобный запах, сочащийся по выломанным, вытоптаным просекам, чует наш звериный ликующий нюх.

Позвякивают пустые котелки на просеках, стягивающихся к железному чреву на походных колесах. И чего б там в нем ни было — с пылу с жару, — только давай. Присев на пеньки, на землю, на сваленные деревья, уписываем смачно, истово, как на последнем пиру.

А поперек пиршества — кольтет. Именно в эти мгновенья так остро, с мукой увидишь, как где-то далеко отсюда твои близкие хотят есть, а есть нечего.

На дороге повстречался раненый. Идет с передовой в медсанбат. Рука забинтована. Возбужден.

— Смеху полный карман. Здравствуй, милая. Немец-то драпает.

От Советского Информбюро. Вечернее сообщение 28 августа: «В течение 28 августа наши войска вели бои на окраинах города Ржева, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинграда...»

В немецких частях здесь каждый солдат лично подписывает клятву фюреру, что не сойдет со своего места у Ржева. Ржев отдать — это открыть дорогу на Берлин, так все время повторяет их радио.

Молоденькие бойцы пополнения. Из-под пилоток — выбритые затылки. Какая-то пронзительная незащищенность.

Ржев — это прорва. Кидают, кидают в бой. Сосчитает ли кто когда-нибудь, сколько он поглотил.

Наверное, чтобы вынести, стерпеть многое из того, что видишь, к чему причастен, и еще оттого, что сам тоже под смертью стоишь, душа выставляет заслон, тупеет. Может быть, потом, если уцелеешь, многое в памяти будет заметнее, различимее, навязчивей.

Сегодня по радио, я слышала, немцы пели:

Мы солдаты будущего.  
Все, что против нас,  
Упадет от наших кулаков.  
Фюрер, мы принадлежим вам...

— Дед, чего все бормочешь? Не за нас ли, грешных, молишься?  
— ...против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной... А за вас с чего?

Шел дождь. Эта ночь — для разведчиков. А наутро выяснилось — дороги непроходимы. Снарядили собачью упряжку с лодочкой.  
— Гляди, брички всех фасонов в ход пошли.

Из-за фронта дошло, из немецкого тыла:  
«Земля — крестьянская, леса — партизанские, шоссе — немецкие, а власть — советская».

Что едят?

— Всяк по-своему. Кады как придется. Из лебеды. С клевера шишечки оборвешь, крапиву паришь, сушишь, толкешь. Головина со льна, когда ответся — моешь, сушишь, толкешь. И головин-то не наберешься вволюшку. Хуже всего мох. Натаскаешь, засушишь, толкешь. Просеешь на решетке. Мох — это плохо. Хуже всего.

— Теперь, спаси бог, если еще вакуируют. Все уехавши. Мы одне. Кому ж мешаем. А стреляют, так ведь не узнаешь, авось опалит, не убьет.

Там, где проляжет железная дорога, — «полоса отчуждения»: по обеим сторонам полотна человеческое жилище отодвинуто не меньше чем на пятьдесят метров.

А у войны нет колеи. Напролом, по-живому. И никакой «линии отчуждения».

Наша армейская газета вышла с шапкой:  
«У нашего воина такая натура —  
И штык молодец и пуля не дура».

— Плуты, — сказал дед о немцах, — чешут без памяти отсюда.

Говорят, Иван Грозный любил охотиться в этих местах, где теперь наш фронт.

В соседней избе плачут — пришла похоронка. О погибшем сказали мне:

— Если б он был отстающий. А то красивый, волосы вьющиеся, нос курносый. Как выпьет — рубаху напололам.

Все время слышишь и сама твердишь: нана армия прикрывает Москву. До Москвы от нас рукой подать. Но на самом деле Москва — за тридевять земель, в памяти о ней.

Помню.

Прошлым летом. Уже война. Уже было сказано: советский народ постойт за отечество, честь и свободу. Уже машины с иностранными флажками промчались по улицам, вынося из нашей беды посольские семьи. Я — в молчащей толпе возле репродуктора у Никитских ворот. Диктор объявляет: угрожающее положение. Напротив рекламы Кинотеатра повторного фильма: «Когда пробуждаются мертвые».

Еще в первый же день войны помню: шторы. Выданы всем. Темные, тяжелые, откуда только взялись, из какой-то плотной и прочной бумаги, какой в обиходе не видывали. Приколачиваем, прилаживаем, завешиваем окна, маскируем свет. Теперь уже до конца войны.

Теперь все, что ни есть, что ни сделай, за что ни возьмись, на все одно мерило — до конца войны. Вот выютюжила брюки:

— На вот, носи теперь до конца войны.

Новое понятие времени. Не настоящее, не будущее, а протяженное в будущее настоящее, и даже не в будущее, а в заклинание о будущем, о конце войны. И заклинание-то еще вполсилы. Еще взбодражены, ошарашены, озадачены новью. Так вот она, значит, в самом деле — война, под знаком которой жили. Но еще все целы, живы, еще не хватили войны. Вот только темные шторы. И ни огонька в окнах, ни света уличных фонарей. Так ведь — солнцестояние. И без искусственного освещения поздний сизо-серый город ближе к душе.

Уже Черчилль сказал: «Мы будем бомбить Берлин днем и ночью».

Уже первые бомбы упали на Москву.

Уже введены продуктовые карточки.

В городе убывает то, другое. Но город же открывает нам свои неизведанные объемы и плоскости.

Свои крыши, на которых мы, взметнувшись над землей, дежурим, подстерегая зажигательные бомбы, захваченные нашей бойкой задачей, и красотой ночного неба, исполосованного прожекторами, прошитого цветными нитями трассирующих пуль, и ночным воздушным боем над головой, и захлестом зениток и цоканьем по крыше осколков их снарядов.

Свои подвалы, куда спешащим по тревоге людям указывают дорогу бессмертные на своем посту мужчины и женщины с противогазами через плечо. Где слышны с улицы разрывы бомб, где плачут дети и всхлипывают женщины. Где мальчик лет шести, стоя возле матери, сидящей на полу с завернутым в одеяло укачиваемым ребенком, держа мать за плечо, медленно внушает, выпячивая губы:

— Не бомбят. Это они шутят.

А красноармеец, явившийся в нашу клеть:

— Товарищи мужчины и женщины! Впервые в истории немецкие самолеты над Москвой... Эти бандиты хотят вашей крови и крови ваших детей, ни в чем не повинных... Мы, которые живем по программе Маркса — Энгельса...

Мальчишка, скинув с себя одеяло, голый — не успела мать одеть его, — заворачивает в одеяло своего котенка, укрывая от бомб.

Женщина с прямыми черными волосами до плеч, сидя на полу с двумя детьми на коленях, уставившись в потолок, что-то шепчет. Рукой, охватывающей ребенка в одеяле, с трудом дотягивается до его живота, потихоньку крестит. Смотрит на белобрысую головку старшего мальчика и целует его. По щекам ползут слезы.

Но город не накрыть разом, не спрессовать войной. Состав жизни в нем не уплутнен, как здесь, на фронте. Город многослоен. И еще нерасторжим с недавним прошлым и; значит, не весь в войне. Но и обыкновенные черты городской жизни необыкновенны теперь. Запах цветов табака во дворе нашего дома. Срывающиеся на город из глубокого теперь неба звезды. Ведь уже август — звезды падают. (Я записала тогда в августе в тетради: «Запомнить, все это действительно так и было: и табак, и советская власть, и звезды падали».) Почтовый ящик на входной двери с открыткой, извещающей о начале занятий в институте 1 сентября, как обычно. Неизменные со школьных лет маршруты трамваев, троллейбусов. Маленький ресторан на Тверском бульваре, куда случайно загнал дождь и где, оказалось, поют все еще, хрипло, надрывно поют цыгане. Городские часы на Пушкинской площади, не остановленные войной. — Маяк всех наших свиданий.

В затемненном городе ветрено. Темные окна домов схвачены на-

крест бумажными полосами. (Почему-то здесь, на фронте, в деревьях никто не уповаает на них и не клеит на окна.)

Небо отчужденно фиолетовое. Но как уютен город.

Последние минуты наших последних свиданий стекают с тех часов на Пушкинскую площадь, по которой ведут огромное, послушное, серебристое животное — аэростат воздушного заграждения.

Мы не придем 1 сентября в институт. Мы прощаемся с городом. Мы уходим безвозвратно. Потому что когда мы вернемся, это будет уже другой город.

### *Тетрадь третья*

На 31 августа 1942 года: «В 215 сд — в стрелковых полках осталось по 40—50 штыков» (донесение).

— Эва, птюшки полетели. Осень пришла.

Лавиной идут наши войска сюда, под Ржев. Переброска с одного участка на другой тоже днем. Войска идут открыто, громко. Это входит, вероятно, в задачу: устрашить противника.

Осенняя тишь. Лазурное небо. Томительное безлюдье странно уцелевших рядов изб. Жителей немцы угнали заранее, а поджечь деревню не успели — выбиты внезапно.

Здесь работала немецкая прессовальная машина. Машины нет. Остались горы спрессованной плитам соломы — готовились вывезти в Германию.

В сарае. Столом и табуретами нам служат те же соломенные плиты. Нас двое: я и пленный — рослый немолодой немец. Обычные вопросы к нему: об огневых точках, о стыках частей, о пополнении и прочем. И всегда что-то еще сверх того, хотя и впустую: зачем, к примеру, пришли сюда?

Он вдруг встает, загородив собой проем распахнутой двери — в сарае становится почти темно, — с торжественной решимостью говорит добросовестно: это веление фюрера — Россия должна пасть, чтобы мы могли разбить своего главного врага — Англию.

Я вдруг чувствую, как в эти минуты реальное и фантастическое сомкнулось. И что мне не забыть: запах соломы, аккуратные желтые плиты — дикий союз кровавой бойни и деловой хозяйственной рачительности, — пустышность улицы, нежнейшее небо, прощальное солнце, мучительное соприкосновение с врагом-невольником и его черный силуэт в дверном проеме сарая, где мы двое так противоестественно, дьявольски повязаны.

А в голове сам по себе тренькает игриво мотив их солдатской песенки: «С войной спешим на Англию, а скачем на Восток».

— Товарищи бойцы и командиры! Полуразбитый немец нашел свое убежище на правом берегу реки Волга, используя при этом крутые берега реки Волга и ее водную преграду. Здесь он прорыл себе глубокие траншеи, построил землянки в четыре-пять накатов, окутал себя проводочными заграждениями и минными полями, чтобы спокойно и долго защищаться от русских. Не на таких напал! Товарищи бойцы и командиры! Невзирая на все это, на все его старания, выкорчуйте немца без остатка отсюда, с нашей матушки Волги! Освободим русский город Ржев!

Выдвинутая вперед саперная часть ночью натягивает колючую проволоку, минирует...

Днем «загорают». Воды зачерпнуть котелком можно только в озерке на ничейной земле, покауда не заминированной. Спускаются



к этому махонькому озеру на виду у фрицев. Потом в очередь с нами немцы, по двое, по трое туда же направляются за водой. Еще и присядут, ополоснут лицо на виду у наших. Командир саперов увидел такое, взвился:

— У меня что тут — хозяйство или балаган? (Хозяйством называют обычно по телефону войсковую часть.)

Потом вдруг махнул рукой примиренно.

Я знаю этого отважного малого, он такой цельный, что не дрогнет ни на какие частности. И этот жест — большая уступка самому себе.

— Летом мне очень понравилась здешняя территория: небольшие лесные рощи, лужайки, много трав и цветов, в лесах и рощах много птиц, а особенно кукушек и соловьев. Все гудит днем и ночью от их песни.

Потом, когда начались бои, наша часть была на возвышенности. Город был совсем близко. Над городом Ржевом днем и ночью непрерывно был гул от взрывов бомб, снарядов и мин, пыль и дым высоко поднимались в облака, город горел днем и ночью, и все это можно было наблюдать не только в близости, но издалека.

В уцелевшие стекла окон ударяют волны разрывов.

— Обратно немец палит. Размахался. Очертел совсем.

Калининский фронт, 12 сентября (ТАСС):

«...«Клянусь, что каждая пуля моей винтовки попадет в сердце врагу»,— сказал, получая оружие, гвардии ефрейтор узбек Мамадали Мадаминов — мастер снайперского огня».

— ...под проливным дождем бомб, снарядов, мин и пуль. До того тут летом были ожесточенные бои за город, что в реке Бойня текла красная вода...

У разоренного дома валяется чугунок. Кошка улеглась в нем, спит. И так понятно, что живому существу, привыкшему к дому, нужно «окантоваться». Нужно выделить из хаоса «свой дом».

Эту кошку, приблудившуюся, хозяйка кое-чем подкармливает и говорит, что у нее сперва блохи были, а теперь их нет.

— Нужды у нее не стало, они и ушли.

— В шесть часов за ними на машинах и вывозили немцев. А наши бомбить, расстреливать начинают. По нас бьют.

В городе и окрестных деревнях среди немецких солдат и нашего населения курсируют слухи, что Гитлер вот-вот приедет в Ржев. Вчера и вовсе — что Гитлер якобы на прошлой неделе был в Сычевке, выступал и сказал: «Ржев ни под каким видом не отдавать».

Трофейный документ: «Приказ по пехотному полку. Прифронтовая полоса, примерно в пять километров, должна быть эвакуирована».

— Слово матерное у нас это нипочем. Это слово утвердительное.

Приказ: немедленно отступить в лес в связи с опасностью, что немцы отрежут хутор. Эвакуируют население.

— Мы кричать стали, чтобы нас не эвакуировать. Тогда тот военный сказал: «Куда еще хлестнет. Погодить надо. Мы ведь точно не знаем, что мы его, а может, он нас». Ну и тогда мы не стали больше. Кричи не кричи, а надо, выходит, по его.

Год назад под Москвой на оборонных работах, когда женщины рыли противотанковые рвы, над их головами летали низко немецкие самолеты, строчили из пулеметов, сбрасывали листовки:

Московские гражданочки,  
Не ройте ваши ямочки.  
Все равно наши танки  
Не попадут в ваши ямки.

Когда началась война, прохожие на улицах Москвы стали разговорчивее друг с другом.

Под оркестр, или молчащим строем, или с песней батальоны мужчин уходили вдоль по улице на войну. И все мы останавливались, застревали на этих прежних улицах под током высокого напряжения войны. Застигнутый на тротуаре старик в чесучовом, царского времени пиджаке, заслышав солдатский чеканный шаг, вздрагивал, остановившись, вскинув голову. Мальчишки, вымчавшие из подворотен, пристраивались в хвост колонне. А пожилая изможденная женщина со свисающей с локтя котомкой картофеля и с крохотным внуком на руках — неокрепшая шейка-стебелек раскачивает беспомощную голову — проклинала немцев и говорила мне:

— Пускай все возьмут для армии. Пусть нам оставят немного черного хлеба и воды. Лишь бы армию кормили.

Другая женщина, тугая, скуластая, в руках по корзине с продуктами, на ходу спрашивала меня про шагающую колонну: «На фронт? На фронт? Надо, надо пополнять ряды Красной Армии» — пусто, наставительно, грубо произнесла, идя без задержки дальше своей дорогой, отдельной от всех.

Остановленный на перекрестке мотоциклист, красивый малый, не слезая с седла, переждал, когда пройдет колонна, и громко, беспечно, от души пел:

Фашисты отступали,  
Мы двигались вперед...

Но вот на площади першит в репродукторе, и прихлынувшие к нему с тротуара люди смотрят в его черную пасть. Он заглатывает наше дыхание, наше сердцебиение и выталкивает из пасти: сегодня нашими войсками оставлен город...

Пришло известие: два дня назад во время нашего наступления, когда бой шел на окраине города, немцы застрелили священника в Ржеве. Там оставалась единственная уцелевшая церковь Покрова на улице Калинина. Служивший в ней священник Андрей Павлович Попов поднялся на колокольню взглянуть, далеко ли бой. И был тут же заподозрен, что это он с целью подавать сигналы русским. Как только он спустился вниз, его тут же застрелили немцы на церковном дворе.

В избе.

— А до войны что, одежонка была кое-какая.

— Так мы на это смотрели сквозь пальцы.

— Видный был мужик. (Это о председателе сельсовета.) Говорить станет — как по писаному чешет. Так ведь война второй год. Ум весь — в обноске.

Штаб нашей армии. Гидрологическая характеристика по району возможного продвижения войск в наступательном бою:

«Характерна особенно для участков, расположенных на р. Волга и Шишка, — небольшая облесенность территории и значительная ее распаханность. Значительные массивы леса приурочены к водораздельным плато. Такие лесные массивы, а также глубокие овраги, заросшие

кустарниками, могут служить местами для укрытия войск, в целом же для всего района маскирующие свойства местности выражены слабо...»

Всякий раз как после продолжительной стоянки вдруг оказываешься на колесах, одолевает путевая праздность, хоть и невелик отрезок пути. И замечаешь, что происходит вокруг: листья, выстоявшие это холодное лето, покрылись сентябрьскими тенями солнца и крови.

С нами поравнялся уже едва различимый в сумерках кавалерист. Возможно, везет донесение. Срочное. Машина стала на мосту. Лошадь скользнула крупом по ее крылу. И внезапный толчок, как электрический заряд. Мне вдруг почудилось, что этот тихий вечер и я вместе с ним как бы вытолкнуты из войны. И взмыли.

Какой-то чернильный, горьковатый запах осинової прели. Гиблая, сырая, облетающая роца; тусклые, осенние стволы. Особенно сильно и странно пахнет чернилами в блиндаже, когда в железной печке сырые осиновыя чурки шипят и тлеют не воспламеняясь.

Подступает вода. По утрам, отворотив бревна настила в блиндаже, выбираем по сорок и более ведер воды, просочившейся из почвы.

Мыши и крысы привалили сюда из сгоревших селений, осаждают блиндажи. Сержант Тихомиров заявил опрометчиво, что ночью, просыпаясь, он чувствует себя княжной Таракановой. Сказанул — и прицепилось. Теперь его иначе и не называют: княжна Тараканова. В лучшем случае сержант Тараканов. Так уж теперь до конца войны.

Написала домой: «На днях мы снова двинемся, опять машины, разбитые дороги, километры пешком и ночи в лесу под дождем — в палатке или без. Но это движение на запад, и в этом направлении я готова идти пешком до конца войны. Пишу вам ночью, а ночь, как известно, придает такого рода чувствам торжественность... Над нами немец развесил осветительные ракеты, но ушел не бомбив...»

Трофейный документ. Прислан Генштабом для ознакомления.  
«Гл. квартира фюрера  
7.X.41.

Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником...

Следует ожидать больших опасностей от эпидемии. Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан огнем.

Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход населения для эвакуации во внутренние районы России, следует поэтому только приветствовать. И для всех других городов должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население должно быть обращено в бегство...

Хаос в России станет тем больше, а наше управление оккупированными восточными областями тем легче, чем больше населения городов Советской России будет бежать во внутренние области России.

Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров.

По поручению нач. штаба вермахта Йодль».

Исконное: «Не в силе бог, а в правде». Правда вся на нашей стороне — они вторглись, топчут... Одной правдой, видно, не проймешь, не одолеешь их. А может, и бог ныне — с силой?

Дневного света совсем мало, а в лесу и вовсе: ранние сумерки, кромешная тьма вечеров и ночей. И вот пожалуйста — куриная слепота: это когда, оставаясь зрячим днем, в темноте слепнешь, как курица. Говорят: авитаминоз, нужен рыбий жир. Боец, страдающий, как и я, говорит просто:

— Глаза тупые стали.

«В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР о ликвидации очагов сыпного тифа в районах, освобожденных от немецкой оккупации, в ваш сельсовет направляется бригада дезинфекторов. Работа по борьбе с завшивленностью в освобожденных районах должна быть развернута в следующих направлениях:

1. Массовая промывка населения, используя для этого местные средства — бани, русские печи, для детей — корыта...»

— У каждого душа должна рваться в бой на передовую!

— Душа болит — рвется, а все чегой-то на месте, — вздохнул боец, скручивая сигарку.

— Если день без дождя, жди, что будет бомбежка.

Нас не трогай — мы не тронем,  
А затронешь — спуску не дадим,  
И в воде мы не потонем,  
И в огне мы не горим.

Это же гимн чертей. А мы-то и тонем и горим.

— А нам што? Ни почета, ни острастки.

И где только может урвать с часок ли, с полчаса, заваливается спать. На войне вообще кто где может спит безоглядно.

Плакат: «В и т а м и н ы н у ж н ы ж и в о т н ы м .

...От недостатка витамина Д и минеральных солей (кальция и фосфора) молодняк заболевает рахитом. Это заболевание выражается в том, что кости животного становятся хрупкими, ноги искривляются, суставы расширяются; животные трудно поднимаются на ноги, теряют аппетит. Витамин Д...»

Отпечатано в Омске, 1942, на подходящей бумаге типа газетной — пойдет на раскурку.

Пожилой, измученный. Но в облике черты особой городской steepности, потомственной. В поисках пропитания оказался в деревне, отбитой теперь нами.

Еще в Ржеве соседка слышала по русскому радио: «Потерпите. На днях мы освободим вас. Помогите громить врага чем можете».

Сам он слышал, Гитлер якобы сделает Москву деревней, а Ржев столицей. Это говорил немец Рудольф.

Немцы уже все отобрали. И у них с пропитанием очень ухудшилось. Крутят через мясорубку конину. А в городе страшный голод.

Человек этот горюет по своей библиотеке, хоть и закопал ящички с книгами в землю, но не надеется сберечь. Еще в июле он у знакомой за восьмушку окурочного табака купил книги — Ратцень, «Народовед», том первый; «Подарок молодым хозяйкам», тысяча страниц; Кропоткин, «Записки революционера», Достоевский, «Идиот» и набор разнообразных журналов. На базаре за шесть немецких сигарет — «Преступление и наказание» Достоевского. А за три куска хозяйственного мыла у той же знакомой — сорок четыре тома энциклопедического словаря Гранат, Библию и другие книги.

В лесу на КП от блиндажа к блиндажу протянуты жерди. Держась за них как за перила, легко передвигаешься ночью. Но я с зада-

ния возвращалась на КП в быстро сгущавшихся сумерках. И вот уже — обвал обступившей темноты. Куриная слепота. Мрак. Ничего не вижу. Ногоу заносу, а куда ступлю — не то на дорогу, не то в яму, в кювет? Сажусь на корточки, ощупываю руками склизкую, холодную землю. Поднимаюсь, шаг, еще шаг. Не то дорога клонится, скользит по мокрой глине, не то я сбилась, скатываюсь куда-то, ухну сейчас. Ни звездочки в небе, ни вражеской ракеты, как назло. Опять присяду, обшарю руками землю, поднявшись, переступлю и замру беспомощно — ни с места. А еще два или три километра. И тогда — делать нечего, ни зги — с помощью рук-поводырей постыдно, на четвереньках перебираюсь, уже зная, что никогда никому не признаюсь в том.

Где-то на половине пути на мгновенье — огонек. Я наткнулась на палатку армейского прокурора полковника Зозули. Оглядев своими крохотными глазками, утопленными в валиках толстых век, меня всю в грязи, в глине, кивнув на мое «разрешите?», сказал:

— Мы люди интеллекта. Мы всякие невзгоды переносим легче.

Сказано штабными гидрологами: «...маскирующие свойства местности выражены слабо». Но в каждом перелеске, рощице, кустарнике такое скопление собранного сюда, под Ржев, войска, что куда ни ударит немецкий снаряд — гибель.

Наш комиссар штаба взял на себя смелость написать в Ставку о недопустимости густого эшелонирования.

За фронтом:

Раскинулись рельсы стальные,  
По ним эшелоны летят,  
Они изо Ржева увозят  
В Германию наших девчат.  
Прощай, дорогая сторона  
И быстрая Волга-река.

Ой вы, братья, вы, братья родные,  
Выручайте вы нас поскорей.  
Приготовьте вы пули стальные  
Для проклятых немецких зверей.

Разгоните вы их, растопчите,  
Чтобы ворон костей не собрал,  
Чтобы каждый немецкий мучитель  
Лютой смертью за нас пострадал.

«Приказание войскам 30 армии.

В связи с продвижением частей армии обнаружено массовое применение противником мин и сюрпризов в самых различных местах: на дорогах, на объездах взорванных мостов, в населенных пунктах и блиндажах, где противник минирует всевозможные предметы от столовых ложек, стульев до дров, складываемых у печек, а также трупы, склады и т. д. и т. п...»

16 сентября. Петухи перекрикиваются. 6 часов утра. Просветлело на небе, и береза, что стоит на улице между домами, вся шевелится.

6.30 — уже солнце поднялось, и береза теперь попала под его свет, и нижняя часть кроны видна в своей желтизне, а повыше и на верхушке листья темные. Холодный ветер, все деревья трепещут.

В освобожденной нами деревне мужчин мобилизуют в армию. Пожилой хозяин, где мы заночевали, утром уходил в запасной полк. Простился с семьей кратко: «Будьте поаккуратней» — и пошел будто в поле на работу.

«19 сентября 1942 г. 215 стрелковая дивизия ворвалась на окраину гор. Ржев.

В ожесточенных боях, переходящих в рукопашную схватку, к исходу дня части дивизии полностью очистили от противника 10 кварталов сев.-вост. окраины гор. Ржев...»

Поезд шел на Тулу. Черной ночью, без фар, без встречной сигнализации, несся наугад, вздрагивая на залатанных рельсах.

Таинственные, черные, мимолетные станции, внезапные глухие стоянки в белом январском поле...

Каким давним, отпавшим кажется тот январь. А всего-то восемь месяцев прошло. Какой же долгий, долгий наш сорок второй год.

Значит, так. Был январь. Поезд шел на Тулу. Я занимала самую верхнюю, багажную, полку. Ни благодатная черствость досок, ни удары по голове нависавшего потолка при беспомощной попытке переменить положение не имели ко мне сколько-нибудь ощутимого касательства. Как и махорочный чад, и тускло подсвеченное копошение внизу подо мной, и всхлип, и храп, и смех, и мат, и бренчанье чайников.

Дело в том, что третью, багажную, полку занимала, в сущности, не я. Это в традиционной оболочке из моих мышц и суставов мой бесплотный дух катил по назначению в десантную бригаду. Вероятно, это выпренно сказано. Но как иначе скажешь о той странной невесомости, неотчетливости тела, когда предстояло безо всякого на то умения свалиться с парашютом, да в тылу врага, схватиться с ним в огненной схватке, не умея стрелять, и при лучшем исходе дела пройти на возвратных путях триста — четыреста километров снежной целины на лыжах, едва когда-то испробовав, как передвигать ими.

Дальше Тулы состав не шел. Мы ночевали в привокзальном домике, где комната отдыха поездных бригад. А ранним утром в этом темном помещении, уставленном железными койками, забренчал ручной мойник. Скопившиеся вокруг него мужчины-железнодорожники и наши парни-десантники ждали своей очереди мыться голые до пояса, с полотенцами через плечо.

Передо мной возникли их сильные торсы, литые мускулы рук. И вдруг я на миг оцепенела, ощутив нашу телесную несоразмерность в предстоящих физических испытаниях.

Но было это только на миг. Мы двинули дальше. И опять все сносно, все переносимо.

8-я воздушно-десантная бригада во главе с генерал-майором Левашовым была срочно сформирована приказом Сталина. И приказом Сталина всякий груз, адресованный ей, надлежало незамедлительно, первоочередно, «красной стрелой» пускать по железной дороге.

Но железнодорожное полотно было восстановлено лишь на том или ином перегоне, а непрерывных путей на Калугу не было. На покалеченных станциях, на полустанках и разъездах осипшие, изматеренные коменданты, осаждаемые военными и гражданскими, глянув в наше — общее на пятерых — предписание явиться в распоряжение генерал-майора Левашова, судорожно вталкивали нас в первый же проходящий состав под вопли, угрозы и заискивания заиндеветших в ожидании посадки людей.

Но рельсовый путь обрывался, и, сколько-то проехав, мы опять шли пешком то по шпалам, то по-над насыпью, то срезая расстояние большаком.

Белая, белая, замершая даль. То ее скроет вьюжная мгла, то, как стихнет, опять даль. Занесенные снегом сторевшие избы — целыми селениями. Черными обелисками — прямые оголенные печные трубы в нашлапках приставшего снега.

Что там, впереди? До странности нет страха. Теревит, подкатывает под ложечку, захватывает небывалость.

Уже ступил — не воротись. Уже что-то творят с тобой, приобщая, даль, и снег, и черные корчи пожара. Обмираешь даже. И так

приверженно, слитно с ними, вроде уже утоп, растворен в их бесконечности. И отчего-то вроде бы немного грустно, ласково. Если не побояться сказать — одухотворенно.

Одна только стужа — непреклонная, устрашающая реальность. Но и то сверх нее, сверх вообще всего что-то еще неохватное как бы и не пускает принимать взаправду все происходящее с тобой.

На очередном разъезде комендант всади нас в теплушку, набитую красноармейцами.

Состав шел безостановочно к фронту. Всю ночь лязгал засов, грохотали раздвигаемые двери, поддавало холодом и светил в проеме над темной спиной солдата приглушенный свет зимней ночи.

— Вей по ветру! — весело сказал кто-то.

И опять еще раз мысль о женском природном против них, мужиков, несовершенстве в стеснительных тяготах военного быта.

Но только на миг. Укрощенная духом, я катила бесплотно дальше.

Прошлой осенью немцы писали: «Ржев — это цветущий сад победоносной Германии». Теперь же они, те, которые воюют здесь, иначе его не называют — «суший ад».

Толя Волков, одиннадцати лет:

— Я был дома. Вдруг ударила артиллерия, послышался стрекот пулемета, взрыв гранат. Это немцы подходили к нашему городу Ржеву. Вдруг ударило мне в руку. Я почувствовал, как что-то теплое потекло у меня по руке. Это пуля попала мне в руку. Я упал без памяти. Когда очнулся, я услышал чей-то грубый голос. Я позвал маму: «Мама, кто это?» Она ответила: «Немцы, сынок».

Рано утром на рассвете,  
Когда смирно спали дети,  
Гитлер дал войскам приказ —  
Это, значит, против нас.

— Кровопийцы! Всех вас надо вешать на горькой осине!

— Где ж ходить, братец, в фуфайке таким разляляем — под арест угодишь. Надо б хоть какой булавкой забулавить.

— Взять где?

— Может, какая добрая баба отдаст свою булавку.

Я навещала в госпитале раненого разведчика. Заночевала поблизости от госпиталя в деревне, где танкисты ремонтируют свои машины. Пустила меня к себе в избу молодая бойкая хозяйка, вроде неказистая, но веселая и привлекательная, возбуждена, как все тут молодые женщины, у кого на постое танкисты. Сама спит на деревянной кровати, солдаты на сене на полу. Для меня составила две скамейки.

Только все улеглись, дунули на коптилку, докурили в темноте мигавшие огоньками махорочные самокрутки, как тут же раздались голоса. Хозяйкин возмущенный:

— Безо всякого подзова идет. Нахал какой.

И бормотание солдата:

— Я те не пес.

— Уйди, уйди, я тебе не подзывала. Ляжь, нахал какой, где положено.

— Так я ж погреться. Внизу-то весь холод — наш.

«29.9.42 г. Противник перешел в контрнаступление. 215 стр. дивизия, отражая яростные атаки пехоты и танков противника, закрепляется на завоеванных рубежах, продолжая удерживать сев.-вост. окраину Ржева».

— Горох, фасоль у немцев варится не ахти. С удовольствием нашу лепешку съедят...

Ну и блиндаж! Такой еще не попадался. Крестьянский дом утопили в землю. А темные бревна все в узорах. Красиво и жутко. Представить себе только: тут вот, на передовой, под огнем, какой-то немец — может, и не один — елозил, выделявая паяльной лампой эти фокусы. Разукрасил стены. Очень искусно.

Все та же осиновая прогорклая роща, заплывшая осенним туманом; еще навязчивей чернильный запах мокрых занимающихся сучьев. Всклип болотной хляби под сапогами. Раскат боя.

В этой же роще несколько немцев, уже опрошенных. Уже не языки, а пленные. Только некому этапировать их в тыл: все боеспособные в боях. И приходится пока что держать пленных в расположении штаба. Они сложили себе шалаш и в нем ночуют, а день проводят снаружи в ожидании своей дальнейшей участи. В утренних сумерках, когда в сырой осиновой роще все так призрачно, стоит мне показаться из блиндажа, как немцы, дожидаясь и уже наготове, принимают имитировать джаз.

Эти призрачные продрогшие немцы у шалаша, их «джазовые» ужимки приветствия, подтрунивания над собой и мной, их попытки обратить на себя внимание, расположить к себе судьбу и просто согреться...

Это теперь тоже навсегда со мной — не отвяжешься.

Колесо угодило в кювет, телега накренилась, поскакали пустые ящики из-под патронов. Проходивший младший лейтенант бросил вознице: «Эх ты, растопыря!» — и пошел дальше мимо.

— Вот как ругают меня, — сказал, почесывая затылок, возница. — По-всячески. На начальство я не обижаюсь.

Осень — самая тяжелая пора. Хлябь... Весенняя распутица хоть и забирает остатки сил, что и без того уже отняты осенью и зимой, но с весной надежда: придет лето. А за мокрой, грязной, холодной осенью — стужа.

Письмо в действующую часть:

«Пишу из глубокого тыла нашей родины, из госпиталя. По всему видать — задержусь. Не жалею, но как подумаю, что вы двинете на запад и не остановитесь, пока Берлин не откроется, и все это без меня, так делается такая скука на душе, поскакал бы до вас хоть на одной ноге.

Кто из нашего экипажа цел и вместо меня водит машину? Буду ждать сообщения. От делать нечего и для пользы расскажу новеньким, нехай прочтут, когда время будет.

Насчет маскировки. Учитывая болотистую местность, заботьтесь, чтоб замаскировать следы гусениц танка, не считаясь с трудами. Стоит «раме» обнаружить хоть танк или даже след его, как эта местность подвергается бомбежке. И там, где мы, танкисты, появлялись, за нас на то обижались пехотинцы.

Теперь насчет ловушек. Не забывайте, как двинете вперед. Отступая, немцы делали на дорогах ловушки для танков. В такую ловушку я было попал в районе ст. Бологое. На дороге немцы копали большую яму, на дне ямы ставили фугас, сверху яму закрывали тонкими жердями и землей, по земле были сделаны следы повозок. Благодаря что ехал я на большой скорости, мой танк проскочил яму. Ну я почувствовал большой удар и потерял с поля зору землю, сбросил газ, выжал фрикцион. Танк пошел назад и задней частью врезался в стенку и завис в яме и таким чудом не достал взрывателя фугаса. Саперы



выручили. И напоследок скажу еще насчет отработки команд. Мы с командиром отработали даже те, которые нужны, когда выходит из строя рация и переговорное устройство. Например. Ударом ноги меня по голове — я должен остановить машину. Ударом в спину — двигаться назад. Два удара в спину — вперед. В правое плечо — вправо. В левое — влево.

Эти приемы мы часто употребляли и, увы, не попадали под прицельный огонь...»

Вчера вдруг в безысходный осенний свинцовый мрак последних дней пробился солнечный по-особенному, как только осенью бывает, ясный день. И откуда-то взялись две лошади: одна — легкая, другая — тяжеловатая. Гуляючи прошли они, выйдя из леса. Это было удивительное видение.

От Советского Информбюро. Утреннее сообщение 5 октября:

«В течение ночи на 5 октября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло».

По радио в передаче из рейха пели: «Барабаны гремят по всей земле...»

Проходивший боец остался в избе на ночевку. Занимает пожилого хозяина разговором:

— Немцы-то воскресенье соблюдают, не воюют.

Хозяина не удивишь этим. Здесь в селе до самой войны издавна жило несколько семей немцев — такие же крестьяне. Раз как-то — дело было до колхозов — повез он немцу свой долг, воз сена. Перед воротами стал, пошел в дом. «Иди, говорю, Федорыч, принимай. Его как-то еще звали не по-нашему: Карла Тодорович, ну а мы — Федорыч. Привык, отзывался. А тут не шелохнется сидит. «Свали, говорит, за воротами». Как это свали? Я и в толк не возьму. Чтоб такой хозяин... «Какой сегодня день, соображаешь?» — «Какой?» — «Воскресенье сегодня. Не работаю». И стал советовать: «Поработай один год, соблюдая воскресенье, подсчитай — посмотришь, выгодно или нет»...»

Постановление исполкома сельсовета: «Необходимо организовать чтение газет в бригадах, с тем чтобы воспитать у колхозников полную ненависть к вражеской армии».

— Познакомились. С неделю у нее стояли. Красивая. Таковую, может, жизнь проживешь — не встретишь больше. Нам приказ отходить. Говорю ей на прощанье: «Вы не больно-то тут с немцами якшайтесь. Враг ведь». «Ладно, — она говорит, — сами знаем, кому поднести, а кого обнести. Вы-то с оружием отступите, а нам с детьми куда податься?»

Береза темнее на север. По березе ориентироваться.

«6.X.42 г. ...Части центра продолжают улучшать тактич. положение в Привокзальной части и на улицах сев.-вост. окраины г. Ржев, очищая от противника квартал и кустарник, что между кладбищем и лесом, что сев.-вост. г. Ржев».

«7.10.42 г. Противник, усилив Ржевскую группировку мотобатальонами полка СС «Великая Германия», частями 5 тд и 110 пд, стремится выбить части из сев.-вост. части города».

Контуженный солдат. Оглох. Ему кричат прямо в ухо.

— Ладь не ладь — ничего больше не слышу. — И пошел, схватив руками голову и качаясь из стороны в сторону.

Эх, за Волгой сизую с дальних берегов  
Смелые дивизии в дым смели врагов...

(Наша армейская)

Но еще не смели. Еще смертельные бои.

— Участвовать пришлось вот уже более года в боях за Ржев, ночевать в доме не пришлось ни разу. В лесных рощах, в оврагах, в землянках и шалашах. И население зачастую так же, а то и хуже. Раздето, разуту, многие селятся в оврагах, в плохих землянках...

Размытая, гиблая дорога. Хлюпанье ботинок, сапог — растянувшаяся колонна. Полк на ночном марше. Переброска на другой участок. Я иду своим маршрутом, по обочине. Вражеские ракеты выхватывают на секунду лица.

Слышу:

— Сестрица! (Это ко мне.) Дымку нету?

Все дробится на миги. Может быть, когда-нибудь потом сложится во что-то единое.

Разведдонесение: «9.10.42 г. в 8.30 из Сычевка на южный вокзал г. Ржев прибыл воинский эшелон с 17-тью крытыми автомашинами, 11-тью танками и 10-тью крытыми жел.-дор. вагонами».

В Ржеве на улице Коммуны в ЧД находится гестапо.

ЧД — это Чертов Дом. История его такова. Строивший купец дурно обошелся с нанятыми работниками, не заплатил им, как было уговорено. И тогда в отместку ему они на чердаке дома заложили битые бутылки. После чего в непогоду с чердака доносились ужасающие стоны. Жильцы покинули дом, явно облюбованный нечистой силой. И семья купца тут тоже не удержалась. А прохожие обходили этот зловещий Чертов Дом, предпочитая переходить на другую сторону улицы, пугаясь сатанинских стенаний.

Дом пустовал. После революции в нем оборудовали общественную столовую и при перестройке дома обнаружили на чердаке те битые бутылки, издававшие при порыве ветра, проникающего на чердак, так пугавшие всех стоны.

Все стихло. Но по-прежнему его иначе не называли — Чертов Дом, а по веянию времени сокращенно: ЧД. И если кто из горожан желал подкрепиться водочкой в разлив, решал куда податься: в ЧД или в Божий Дом. Два таких значных места и было всего-то в городе: Чертов да Божий Дом — часовня при Казанском кладбище, где учредили буфет. А теперь вот перевоплощение общественной столовой в гестапо. Теперь это буквально Чертов Дом.

Он сидел на пеньке ссутуленно, в обнимку с винтовкой, измотан вконец.

— Кончай ночевать, — бросил ему, поднимаясь, товарищ.

И поплелись на передовую.

Заседание правления колхоза «Дружба» от 11 октября 1942 года.  
«Заслушав председателя колхоза Петра Филипповича о расхищении колхозной свеклы. Брыкова Вера Павловна по наряду бригадира Ананьевой вышла на околот льна. С покончением своей работы пошла домой мимо свеклы, зашла в колхозную свеклу, натаскала по возможности и пошла домой. Председатель колхоза Гусаров не остановил, она свеклу бросила и просила прощение. «Прости, Петр Филиппыч». Предколхоза предлагает дело на заседание правления.

Постановили: за расхищение колхозной свеклы с Брыковой Веры Павловны списать 2 трудов дня».

— Маленький заморозок,— сказала вернувшаяся хозяйка.— Как уберусь, так валенки надею. Раньше (это значит до войны) два раза в год мыли, под пасху и рождество, стены, потолок вересом, песочком трешь. Хорошо! Мало у кого обои. Те мукой аржаной поддепляли.

Война кружит, донимает, от всего освобождает. Нерушимо все только в деревенских женщинах. Это потрясает больше всего.

— Иду с поля, подхожу к дому—ворота куда-то утощенные. Военные в блиндаж себе. Я ругаюсь, а что тут сделаешь. День такой холонный. Ну и Шурочку застудили. Куды? Больницы нет. Я — на работе. Малец сидел с ней до самого конца.

Председателю сельсовета:

«Выполнение плана подъема зяби в вашем сельсовете поставлено под угрозу. Немедленно организуйте массовый выход в поле колхозного и другого населения на вспашку зяби вручную.

Примите все меры к тому, чтобы к I.XI с. г. план подъема зяби был полностью выполнен.

В случае невыполнения... по законам военного времени».

В пустой деревне. Жители отселены. Возле дома в неогороженном палисаднике — земляной холмик, вбит кол, к нему прикреплена дощечка: «Здесь похоронен Васильев Николай Васильевич. Мир праху твоему».

Но бойцы так наострились — от них и под землей не скроешься. Расковыряли холмик, повыбрали картошку. Вбили обратно кол и приписали на дощечке: «Воскрес и ушел на фронт».

— Я нужный человек,— утверждает он.— Я на водокачке в Лупине работаю.— И добавляет:— Я натуральный русский человек. А вот это уже у немцев схвачено.

«Мы вырастим поколение, перед которым содрогнется мир, молодежь резкую, требовательную, жестокую. Я так хочу. Я хочу, чтобы она походила на молодых диких зверей» (Гитлер).

Девушка с искалеченным лицом — новый военфельдшер у нас в штабе. Год назад в декабрьском наступлении под Москвой в бою за Новый Иерусалим она была тяжело ранена.

Говорит: на передовую бы, мстить. Но недослышивает после ранения, один глаз заплыл — не видит, и она понимает, что на передовой ей уже не бывать.

Между теми боевыми днями и нынешними пролегли месяцы по госпиталю, когда «уже не хватало сил, терпения от моих ломот», и теперь она с неистощимой охотой и азартом рассказывает о том, как и каково ей было «давным-давно» на фронте, пока ее не покалечило.

Она москвичка, пошла добровольно на фронт, была в санвзводе, одна среди мужчин.

— Я ли это была или нет? На самом переднем крае. Когда мы двигались к Москве, отступали. Господи боже мой! Как это я там была!— взвизгивается она.— Подумаешь — нет, это не я была. Бой есть бой. Но что самое страшное — это пехота. Первоначально, правда, ничего не страшно. Идешь, стреляют, бьют, спотыкаешься то об лошадь павшую, то еще о что — как будто просто идешь по земле. И вот почему-то сначала не страшно. Боялась, что в ноги ранят, а голову не берегла. Наденешь на раненого свою шапку, потом ребята мне шапку с убитого принесут... Мама, когда умирала, сказала: «Тебя любить не будут, ты человек правды». А со мной все делились, хоть маленький кусочек хлеба, а на всех. Сперва казалось: как я буду обра-

батывать рану и перевязывать зимой, на морозе? Для меня это было странным. «Не горюй, Нюша, насчет этого мы тебе подсказем». Они уже были в боях. И советы хорошие давали: спеши, Нюша, обзавестись семьей. А мне спешить некуда. Мне кажется, я была прошлый год озорная. Я ходила как сорванец. А понадобилось для раненых, так я у начпрода ukrала лошадь. И одна врач, Кац, тоже: «Мне некуда спешить, я женщиной стала». Застудилась, борода у нее стала расти. В тот раз немец был на горе. Чтобы его выбить, у нас было мало сил. Я у кустика вдруг остановилась, верно, сердце предчувствовало. Страх не страх, а какое-то предчувствие: Гранатное ранение. Просто, знаете, сразу головой в какую-то пропасть как в глубокий сон. В медсанбате пришла в себя, говорить не могу — челюсть перебита. Только чувствую, как копошатся возле, ихние хлопоты, дыхание. И в голове что-то проталкивается. Пришел санитарный самолет за каким-то большим человеком. Слышимость мне как издалека: «Я не полечу, а ее отправьте». И меня отправили. Помню перестрелку. Тряски. И все.— Она достает из кармана кусочек бинта, вытирает слезящийся глаз.— У меня, знаете, какие глаза до этого были — кошачьи, красивые. Мне говорили: «Твои глаза сразу как прострел дают».

— Мы заняли деревню Крутики. С Волги, по дороге подъема в деревню, на берегу с правой стороны — дом с надворными постройками. Мы с расчетом батареи сорокапятимиллиметровой пушки расположились ночью на дворе в сарае. Перед утром хозяйка дома нас из сарая с негодованием выгнала. Говорит: спалите мой дом. А тут же в скором времени немецкие самолеты. Сбросили бомбы и разбили этот пристрой сарая. Видимо, хозяйка этого дома не нуждается освобождения от немецко-фашистского рабства и отпечаток ее автобиографии не советский.

«О сборе подарков Красной Армии к великому празднованию 25 годовщины социалистической революции доклад сделал председатель колхоза Ефименко. Необходимо сделать подарок нашей любимой Красной Армии. Присутствовало 11 человек.

Постановили: собрать сдобных сухарей в количестве 5 кг.»

— Прибежал свояк как ошальной: то ли ему с немцами бечь — угоняют, — не то в лесу отсидеться, пока наши заступят. Я ему: все тебе — как да как, а ты спросись сам у себя.

Еще в январе на митинге в освобожденном городе его имени М. И. Калынин заявил, что «тяжести войны будут усиливаться... огромные человеческие массы противостоят друг другу».

И тут вот посреди двух махин, двух схватывающихся армий — сплуживаются люди. Мирные, не воюющие, а находящиеся при войне.

— Война всех подберет, никого не упустит.

Хотелось есть, но есть было нечего. Вспоминалось назойливо то, что недоедено когда-либо. Например, в первый день на фронте.

В военторговской столовой в деревне — первая моя трапеза на фронте. Только уселись за столы, что-то вдруг затарахтело, как мотоцикл, и взвизгнули расхристанные окна, пули запрыгали по столам.

Все повскакали, бросились из избы, кто-то выдернул меня из-за стола за рукав.

— Кучно не сбивайтесь! — иступленно команда на улице.

Что-то темное и огромное, как смерч, неправдоподобно низко перевалило над крышей, и опять стрекот, грохот, дробь пуль.

Я оцепенела, не могла ни сдвинуться с места, ни взглянуть еще раз вверх. Люди прижимались к бревенчатой стене, следили из-за угла дома за самолетом, то бухались в снег, то шарахались за сарай, то назад оттуда, увертываясь от пуль, как от мячей при игре в лапту.

Огромная тень на миг накрыла меня, я зажмурилась в прощальном ужасе.

Потом мы вернулись в избу, давя валенками стекло под ногами. Смахнув со столов на пол осколки стекла, куски дерева, паклю, на шарив кое-где пули, люди продолжали обедать. А мне не захотелось.

Сейчас бы сюда тот гороховый суп. Я б его ела, не рыская ложкой в миске. Если и угодило стекло, перемелется на зубах.

— У нас летось прибили номера. Шешнадцатый наш дом. А только номер я скovyрнул. Нескладный. С чего? Да вот с чего. Об эту пору немец пер сюда ужасно. А у нас начальник стоял. Раестелит по столу карту, поклюет. Разогнется. «Вот, говорит, папаша, кругом шешнадцать». — «Так точно, говорю, хошь с огорода, хошь в ворота заходи, всё шешнадцать». — «Я, папаша, про Фому, а вы про Ерему». С чего его досада взяла — не пойму, а только не сладился у нас разговор на ночь глядя. Утром он собрал народ и так строго: «Вакуируйтесь! Мы тут камня на камне не оставим, деревню не сдадим». Тут немец уже палит. Народ туда-сюда забегал. А этого начальника, что ночевал у меня, как раз убило — за огородами у нас лежит. Вот те и шешнадцать.

Информация начштаба Западного фронта:

«Противник производит массированные арт.-мин. налеты по р-нам расположения войск центра и левого фланга. В сев.-вос. части г. Ржев и Воен. городок ведет сильный ружейно-пулем. огонь и освещает ракетами впереди лежащую местность».

— Раньше сын как выпьет — вот как бузит, вот как бузит. Меня гонит вон. Я его урядником страшала. Это я милиционера так зову. А ему хоть ты что. А теперь — ничего. Письма пишет. А где воюет, не могу знать. Ну а так-то пишет уважительно: и «здравствуйте», и «маманя», и «с приветом к вам».

Полуторку облепили деревенские девчата, толкали ее, выпихивали из грязи на твердый настил. Стоял такой гомон, и так свирепо завывал мотор, что стрельба на левом фланге стала почти не слышна.

Баня — лучшая обитель. После бани — в избе за самоваром. Прокучиваем кулечки сахарного песку, выданные вперед на десять дней. Под ногами — деревянный пол, а не измочаленные в дрянь еловые ветки, как в лесу в палатке; тепло, крутой кипяток из медного самовара и, главное, — исключительно женское общество. Вот уж это удача. Говорим не наговоримся о том, о сем, о пустяках. Ну, праздник.

И вдруг что-то осаживающее, какая-то помеха. Это среди нас — новенькая. Только прибыла на фронт. Завтра отправится к месту назначения в штаб дивизии секретарем-машинисткой.

Не в том дело, что новенькая, а в том, что чуждая. Вернее, мы с нашей болтовней ей чужды, нестерпимы, неожиданны. Все в ней натянуто, чтобы уберечь от нас этот патетический час свой. Прибыла. Добровольно. На защиту родины. (Знаем, сами это испытали.) А мы же для нее — бытовые, неромантические.

Разуваться на ночь запрещено. Но нарушаем. Наша беспечность хоть и враг наш, но и друг — дает разрядку и, можно сказать, заменяет десятидневный отпуск, практикуемый у немцев.

Немцы передали по радио сводку:

«И сегодня утром под Ржевом враг во взаимодействии с сильными бронетанковыми частями продолжал наступательные действия с

целью, как надо полагать, отвлечь наши силы от боевого марша на юг. Точка. Сильные бои продолжаются. Точка.

— Чевика с викою,  
Догоню — наживкаю!  
— Врешь, врешь, не догонишь,  
А догонишь — не поволишь,  
А поволишь — не заголишь...

И дальше все забористой, хлестче. Это, если матери нет в избе, заводит девчонка, видно, что бедовая. Уж и замуж пора и рожать пора. А все война, война, война. А жизнь в ней ходуном ходит еще и покруче оттого, что огонь, смерть.

Мать ей:

— Куда не накрывши?

А она никуда. Отбежала от дома на улицу патлатая, плюшевый жакет — «плюшка», как называют тут, — нараспашку. Стоит смотрит на солдат, что по деревне идут все мимо, мимо...

— На седьмое ноября немцы около двух часов дня делают контр-наступление на наш отрезок превосходящими силами — около трехсот человек с засученными рукавами, с автоматами на животе и пьяные. Наш взвод был окопан на поле недалеко от дороги, где наши солдаты и офицеры показали отвагу, мужество и свой героизм...

«...Во время наступления частей Красной Армии немецкие солдаты в д. Подорки подожгли 35 домов... не давали спасти свое имущество, дома запирали и обстреливали тех, кто пытался спасти имущество... расстреляли старуху Лаврентьевну... расстреляли из пулемета и граж. Браушкина, колхозника, который убирал сено у своего сарая» (акт, деревня Подорки).

Опять немцы твердят: «неприступная линия фюрера». Это Ржев наш многострадальный.

Там, куда била «катюша», рушились постройки, взлетали переломанные бревна, доски. Когда стихло, немцы кричали:

— Иван! Сараями стреляешь?!

«11 ноября 1942 г.

Слушали в разном о том, что на территории данного с/совета появились волки, которые приносят материальный ущерб колхозам.

Постановили обязать ночного пастуха т. Горюнова С. усилить ночную охрану, одновременно вооружить себя ружьем.

Пред. колхоза...  
Члены правления...»

Услышала по радио немецкую сводку о Сталинграде:

«Большевикам удалось прорвать в некоторых местах наши позиции, но мы не допустили расширения этих прорывов, и наша оборона бесстрашно отражает бешеные удары врага».

Я дежурила, приняла последнюю к ночи оперсводку из наших соединений:

«Штадив 359.

1194 сп занял к 19.20 исходное положение в направлении церковь и кладбище Кокоскино. Наступление продолжается. Потери уточняются».

Дозорным земли московской называли в старину Ржев. Он и сейчас — д о з о р н ы й.

### Тетрадь четвертая

Привозят мороженный хлеб. Его распиливают и раздают. Кладем его на железную печку, корочка припекается, пахнет печеным хлебом, аппетитно. Отходит, мягчает, хотя уже не тот, как если бы достался не мороженным, — пресный, безвкусный. Но вообще-то стгоряча, с голоду это не чувствуешь.

---

В небе шевелились белые лохматые облака, растаскиваясь в клочья и бойко уплывая; висела еще и луна, слегка ущербная. Скворечня ютилась на дереве в нахлобученной шапке.

---

— Куда ты? — сказала пустившая меня в избу хозяйка. — Погрейся еще. Иззябла ведь.

Но надо было идти.

— На том свете погреемся.

Она сердито оборвала:

— Такая молодая на тот свет собираешься. Ты поживи, поработай. Там не примут такую.

---

Решение райисполкома:

«На время сильных заносов мобилизовать все трудоспособное население на снегоуборку в порядке трудповинности с лопатами.

За невыполнение данного постановления лица подвергаются штрафу 100 руб. или принударботы на 30 дней. Злостные нарушители данного постановления предаются суду по законам военного времени».

---

Вьюга расходилась, крутился снег, и было смутно, хотя всего лишь четыре часа дня. Вихрь кидался нам в спину, задирая полы шинели, набивая снег за воротник. Что там, впереди?

---

Выбить их из Ржева, погнать — освободить Москву от нависшей угрозы.

---

— Есть такие места на ржевской земле, хотя бы в районе Ново-Ожебокова, где вел бой наш Девятьсот шестьдесят пятый стрелковый полк, или в Городском лесу, там из земли можно будет добывать металл. Там десятки тысяч тонн метала сброшено на землю: бомбы, снаряды, мины и пули.

---

Пройдет время, восстановят дома. Но человеческие устои, спаленные войной, невосстановимы.

---

На дороге, пробитой в поле, заглож мотор. Водитель вывалился из кабины с заводной ручкой. Крутанул что есть мочи — ни в какую. Что ж теперь?

— Эх, два ведра бы горячей воды, — сказал водитель мечтательно, — и полетит как ласточка. С пол-оборота.

Стоим. Жутко в чистом поле.

---

«Штабриг 196 танковой. ...Батальон закончил полностью проделывание проходов на большак и покраску танков в белый цвет».

---

Слепило от спрятанного, от слегка просвечивающего сквозь плену маленького солнца. В груди колотится воспаленный дух.

Но дальше идти некуда. Уперлись. Там — немцы. И вдруг осенило: это ведь край земли! Словно с детских лет недоверие — в самом ли деле земля круглая и нигде нет конца ей, — тут вот сейчас нашло подтверждение.

---

На дороге, когда показался пленный, женщины перестали сгребать снег, молча смотрят на него приближавшегося. Снег сыпал в широкие голенища фрица.

И только уж когда он прошел:

— Тьфу, черт. Хороший народ погибает, а такая вот гадость живет.

— Немец он немец и есть. Его поставили, он и воюет.

«12.XII.42 г. 653 сп 220 сд. С боевым донесением была послана собака по кличке Д ж е к. При выяснении обстоятельств установлено, что командир 120 мм батареи минометов 220 сд ст. лейтенант Зайчиков приказал подчиненным ему бойцам стрелять в собак, появившихся в расположении батареи, и связная собака была ранена.

Командарм приказал:

1. Разъяснить всему личному составу, что на службе в армии состоят военные собаки: сторожевые, связные, истребители танков и нартовые.

2. Запретить стрелять собак в расположении частей».

Ткнешься ничком в снег. Чувствуешь свой позвоночник. Он вместилище адского рушащегося на тебя воя. Сжаться бы, сократиться, стать невидимой или хоть неуловимо маленькой.

Белое поле, и мы, темные пятна на снегу, еще судорожно живые, но как бы убитые. Ложись! Замри! Притворись мертвым! Не демаскируй! Пальнул бы кто-нибудь вверх — в черное, разлапистое, мохнатое, с паучьей свастикой на брюхе. Кажется, легче стало бы.

В отбитой деревне.

В печи затухли угольки, и нечем было зажечь лучину. Девчонка, накинув платок, побежала по соседям. Вернулась, неся в жестянке раскаленный уголек. Стали дуть на него, зажигать от уголька лучину. Заложили тряпьем поглуше оконце, чтоб свет не пробился наружу.

Я, не снимая полушубка, легла на узкую скамейку, приставленную к столу, на боку можно удержаться на ней.

Потрескивала горящая лучина, вставленная в светец. С тихим шипеньем гасли, падая в кадку с водой, угольки.

Было так уютно, надежно, казалось — вернулась в знакомый, освоенный мир книг, сказок. Засыпая слышала, девчонкина мать говорила мне, что лучина так растрещалась к морозу.

— Прошлый год весной, как стало вытаивать, поглядишь — мертвые лежат, даже живот замирает.

О противнике: «Зимние дороги в прифронтовой полосе против нашей армии противник прокладывает не только по летним грунтовым дорогам, а и по целине. Для защиты от заносов снегов по обочинам установлены сплошные щиты из плетеных прутьев. По обе стороны полотна через каждые 25 м легкие столбы с пучками еловых ветвей на концах. Это в ночное время или в метель служит хорошим ориентиром для движущегося транспорта. Движение конного транспорта допускается только по отведенной части, а автотранспорта по другой. Все это говорит о внимании, которое противник уделяет вопросу подготовки и содержания зимних дорог в прифронтовой полосе» (обзор нашего разведотдела).

Еще с прошлой зимы удары топора по комлю дерева, хруст обламываемых кустов — все звуки истребляемого леса странным образом связались для меня с приступом энергии, с надеждой. Это оттого, что тогда в зимнем лесу пехота рубила просеки, чтоб прошли пушки, запряженные лошадьми. Соседняя армия билась, чтоб выручить нас. И мы изо всех сил рвались ей навстречу. Топоров и пил было мало, мы



дружно, азартно и не зная усталости кромсали промерзшие кусты ножевыми штыками, обламывали руками.

Немецкая памятка «Защита от обморожения». Перевожу:

«Н о г и р у к и: особенно чувствительны к морозу. Менять чаще носки (грязь не держит тепла), вкладывать солому, картон или газетную бумагу. Для защиты ног от обморожения рекомендуется завертывать сапоги в солому или тряпки. Лучшей защитой для ног являются валенки (русские) или сапоги, изготовленные из соломы (выделку последних производить силами пленных или местных жителей).

З а щ и т а р у к: лучше иметь 2 пары тонких перчаток, чем одну пару толстых. Очень хороши варежки (из русского брезента), сделать указательный палец».

Пришел из полка, доставил пакет. Не уходил, машинально колул сургуч на пакете. Чем-то был задет.

— Объясните мне, что это такое? Есть ожесточенность боя. Есть ненависть к ним. Есть хладнокровие при виде их трупов... И даже иногда удовлетворение. Но живые, в плену... знаете, они вызывают сострадание. — И проступило сплюснутое красноармейской ушанкой, связанной концами под подбородком, лицо студента.

Из отселенных деревень, из здешних землянок, что на месте пожара, поближе к передовой пробираются дети поесть и домой чего-нибудь принести. Один такой мальчик, Миша, вот уже несколько дней все с нами.

— Одет ты больно легко,— сказал ему капитан. — Еще такие морозы припекут.

— Меня никогда мороз не заморозит. Потому что я всегда потный.

— Ты как мужик, таким грубым голосом говоришь.

— Ага. Теперь если немец воротится, я ему дам. Это когда он зашел в нашу местность, я совсем был малолетка и сил у меня не было.

«Оперсводка 10.00. Штадив 274. 1 км сев. Харино.

В 20.30 после сильной артподготовки разведка противника до 10 человек, перейдя р. Волга в р-не Горки, попыталась проникнуть в нашу оборону, но была обнаружена и отбита ружейно-пулеметным огнем. При отходе немцы наткнулись на проводивших в это время линию связи (к месту действия разведки) старшего лейтенанта Перескопа и кр-ца Адуискова. В результате неравного боя ст. лейтенант Перескоп был убит, а телефонист красноармеец Адуисков взят немцами...

Погода: пасмурно, видимость 1—2 км, температура минус 12 гр. Дороги проходимые только для гужтранспорта».

Его называли Интендантом или Иваном Сусаниным. И наконец, просто и ясно — Иисус Христос. Спасителем являлся он на станцию Мончалово в товарные вагоны, где остались тяжелораненные.

Этот старик из деревни Ерзово приносил голодающим раненым еду, все что мог выскрести у себя. И он знал, где оставался спрятанный от немцев картофель совхоза в Чертолине. Старик вселял в несчастных надежду на спасение и сам служил проводником тем из них, кто мог двигаться,— переправлял их на «большую землю» возле Ножкина-Кокоскина, где у немцев не было сплошной обороны. И снова возвращался, чтобы принести в товарные вагоны еду и надежду и просто облегчить страдания.

Так до последнего своего дня, когда, схваченный немцами, он был расстрелян.

Станция Мончалово отбита. Ни железнодорожной будки, ни следов жилья. Ни тех товарных вагонов... Ничего. Все вымерло. Только засыпанные снегом воронки и под снег ушедшая разбитая техника. И никто теперь не узнает, как же звали святого старика из спальной деревни Ерзово. Захоронен ли он, где? Все отдавший людям, даже доски, припасенные на гроб себе, отдал умершему от ран комиссару полка.

Был ли стоек, верен нам? Или подпал, подчинился насилию? Чуть продвинемся, освободим населенный пункт, переступим первую отраду освобождения — и подступаемся к каждому.

«Приказ по войскам. 30 декабря 1942 г.

Плохо заботятся о сохранении боевого коня. Отмечается резкое нарастание худоконности лошадей. Имели место случаи падежа лошадей от истощения...

Ликвидировать имеющуюся худоконность к 1-го февраля 1943 г. Всех истощенных лошадей отправить на армейский пункт поправки слабосильных лошадей для подкормки и восстановления работоспособности.

Улучшить чистку лошадей, проводить ее при любой обстановке».

Хромой мужик проводил взглядом пленных немцев.

— Ничего себе. Заработали. Огребли.

Если слышен звук полета снаряда, значит, он в тебя не попадет, пролетит мимо.

30 декабря 1942 года. Исполком райсовета решил:

«1. Учитывая грозящие положения заносами снегами дорог, чем сильно задерживаем продвижение транспорта для фронта, закрепить за колхозами участки по устройству дорог...

2. Немедленно организовать обучение всех имеющихся в колхозах бычков-воликов с таким расчетом, чтобы к 15 февраля все бычки были приучены к езде в упряжи».

Еще рано утром, когда я чистила в сенях гимнастерку, наша Нюрка с соседской девчонкой вели тут свой разговор. Обе прослышали, что будут выселять из деревни и что должны быть сильные бои и могут докатиться сюда. Послушать — обсуждают дела, как бабы. На чем выедут, какой будет транспорт? Соседская выдвигает трезвый план: запрягут в сани корову. Наша Нюрка берет выше — надеется на военные машины. Пригонят — и покатыт они. Ах ты малявочка косо-ротая.

На старухе клетчатая тяжелая старая шаль с бахромой наброшена на укрытую платком голову и спадает по наборенной шубе.

— Я когда шла замуж, мне муж — золотое кольцо. А тут как похудела рука, оно мне — шмурыг с руки и пропало.

Издавека, с тех военных курсов переводчиков в Ставрополе, не признаваясь друг другу, мы ждали чего-то духоподъемного на фронте: «Вперед, товарищи!» И за руки и братски вместе — на смерть!

— Мы вынужденно стали людьми войны, — сказала мне девушка-снайпер.

Она в ватном комбинезоне. Когда идет в засаду, надевает еще белый овчинный полушубок и белый маскхалат с капюшоном поверх.

Лежит на снегу, держа на мушке засеченный или предполагаемый немецкий блиндаж, в ожидании, что высунется же оттуда вражеская голова.

Лежит день-деньской сколько хватает свету, с невысказанным женским терпением. Воздавая ей, не могу отделаться от чувства, что это скорее все же охота, а не война.

Она училась в планово-экономическом техникуме. Говорит она немного книжно, напряженно, но правдиво. Удручает ее: как бы не застудиться, на снегу лежа, и не остаться навеки бездетной.

Дорога нас подбрасывает. Причудливы зубчатые снежные глыбы, отброшенные по сторонам ее. Они подтаяли и смерзлись.

— Еще вся война — наша! — размашисто, с удовольствием сказал немолодой старшина, правивший лошадей.

Сани выхлещивает из стороны в сторону в широких колеях. А то вовсе на боку едем.

— Лакни разок, — сказал он, отстегнув с ремня фляжку с самогоном и протянув мне.

Задумываешься: как будешь потом писать о войне? Если уцелеешь, конечно. Ведь даже то, что было прошлый год, смешалось, вспоминается то разом все, то лишь разрозненными кусками...

Исполком райсовета. Почта — телеграмма — сельсовету:

«Поощряйте инициативу на большие взносы на танковую колонну. Организуйте индивидуальную работу с отдельными лицами по примеру Ферапонта Головатого...»

Категорически запретить председателям колхозов направлять на оборонные работы лошадей, больных чесоткой.

Решение не выполнено, чесотка лошадей не ликвидирована в нашем районе, а заболевание увеличилось. В колхозе «Светлое Марково» наличествует завшивленность лошадей.

— Двадцать второе июня сорок первого года мне запомнилось на всю жизнь: десять километров бежали бегом из бани на митинг дивизии, где зачитали нам радиogramму о вероломном нападении фашистской Германии. На митинге генерал Лелюшенко нам сказал: «Да будем же героями». Но и вот теперь у нас уже не Лелюшенко командующий, его сменил генерал Колпакчи.

Ведь было же: ах, березка, ах, тень на снегу, ах, снегирь — красная грудка. Ничего нет. Слепо. Никакого пейзажа.

Перевозу немецкий приказ по пехотному полку 639:

«5.I.43. Сведения о потерях или о смерти лошади являются строевым донесением. В каждом случае оно должно быть подписано командиром батальона.

Перемещение лошадей. Подлежат немедленному перемещению белый мерин тавро А/320, R (верховая лошадь) из штаба 1-го батальона в штаб полка. Гнедой мерин Роберт R из штаба полка в штаб 1-го батальона. Темно-рыжей масти Медуза тавро А/6 из 8-й роты в штаб полка».

— В августе мы услышали свое радио. Что-то говорили. Мы разобрать не могли. Мы сидели на ступеньках, мы обнялись с сыном. Наши! Наши! Может, доживем.

По немецкому радио из Берлина хор мальчиков пел: «Ничто у нас не отберут...»

В Ржеве:

— И дым и ужас, не знаю что — воздушный бой называется. И все равно лезут громить склад немецкий — в него бомба попала. Один вез на тележке соль со склада. Убило бомбой. Сбежались к этой тележке. Смерзшаяся. Стараются отодрать.

Мы вошли в деревню Марьино. Опустошена. Никого нет. На уцелевшем краю деревни разведчики облазили чердаки и подполья, не укрылись ли где немцы. В одной избе в подполье нашли спрятанные в пустой глиняный горшок из-под цветов и заброшенные кое-чем исписанные карандашом тетрадные листочки. Отдали мне. Оказалось, это вроде дневника, без дат. Вел эти записи пожилой человек (немцы обращаются к нему «папа»), одаренный и словом и наблюдательностью.

Я перепечатаала листочки и отдала экземпляр в политотдел. Может, сумеют сохранить, опубликовать, хотя и не очень надеюсь. Записи начинаются так:

«Был сильный мороз, дул северо-восточный ветер, самый страшный суховей, понизу несло снег, а около углов быстро навело суметы. Я позавтракал, как всегда водится зимой — полез на печку прогреться. Вдруг заголосила собака, вкатываются четыре немца — пан, конь — и знаками показывают: иди запрягай коня, нужно ехать. Я ответил им: «Я больной». Они забормотали, а один снова закричал: пан, конь! Я оделся и пошел запрягать коня. Не успел я завожжать, как трое немцев уселись по-бабски, а четвертый взял вожжи, кнут и, когда я кончил запрягать, передал мне преспокойно винтовку.

Едем. Немец машет кнутом, а мой конь и не думает бежать. Я ему говорю: «Пан, надо стебать его, он лентяй». Немец засмеялся, хлестнул раз, кнут положил, закурил и мне дал. «Папа, а далеко отсюда фронт?» — их часть на отдых сюда отвели. «Я не знаю, газет не получаю». Он засмеялся, глядя мне в глаза. «Папа, вам земли хватает?» — спрашивает меня. Оказалось, он немного может по-нашему. «Конечно». «И нам хватает». Говорит: за что мы воюем? За фашизм, чтобы кучка мошенников господствовала, вернее прожигала наш труд, развратничала. Пять лет под ружьем до 65 лет. Это легко сказать, а в действительности — кровь из глаз. Гитлер объехал на машинах всю мелочь, он думает и здесь только проехать... Уже несколько месяцев идут кровопролитнейшие бои под Сталинградом, сколько там нас наложили, это уму непостижимо. Мы всю землю там уложили своими трупами. Нашу часть после ожесточенных боев отправили на отдых, а фронт смешался, что трудно понять, кто где, под Смоленск идем что словно в Берлине, а красные как взялись нас крошить и, пока мы залегли и устанавливали орудия, нас половину перебили... Подъехали к деревне, немцы соскочили и побежали к машинам, а я поехал домой. Вести не сидят на месте, говорит пословица. Зашевелилась деревня, каждый прячет все, режут кур, кто прячет поросенка, все связано со встречей неожиданных гостей».

15 января. Немцы передают о тяжелых боях между Доном и Кавказом.

Прошлой зимой, когда в первый же день здесь, на фронте, угодила под бомбы, я потом в избе под негромкий говор собравшихся сюда деревенских женщин, слушая, что с того налета на краю деревни разбиты избы, искалечены люди, вдруг поняла: то, что я пережила, волоча свою пудовую тень в открытом поле, а потом спасаясь в землянке, когда валились бомбы, — это чепуха. И бодрость, с какой возвращалась сюда, словно с боевого крещения, — все это невыносимая чепуха. Потому что то были — всего лишь дымящиеся воронки...

«Приказание по войскам 30 армии.

16 января 1943 г. Ком-ру 359 сд:

1. Произвести полную очистку траншеи и ходов сообщений от снега и углубить их до полного профиля. В наиболее открытых местах траншеи перекрыть.

2. Все имеющиеся огневые точки очистить от снега и произвести их оборудование».

Все стоит в снегу. Тихо. Береза, вся в инее, застывшим легким дымком поднимается над крышей.

Мы пробивались в глубь леса. За нами лопались мины. Лошади, что вынесли по просекам артиллерию на поле, теперь рвали дышла, запутываясь в лесной гуще. Кое-где снег доходил по пояс. Но стихало. И вот совсем стало тихо.

В две-три глотки каркали вороны, перепархивая и стряхивая на нас комки снега с веток. Елки растрепаны, а тонкие ольхи выгнулись от мороза дугой, макушками ткнулись в снег, а их заломленные стволы лишь кое-где в снежных нашлапках.

«...К 6.20 части дивизии заняли исходное положение для наступления.

Сводный отряд в 6.20 перешел в наступление в направлении леса южнее Ножкина и в 7.30 овладел траншеями на переднем крае обороны противника, на участке леса южнее Ножкина. Наступление продолжается».

Они уже сушились у разведенного костра, сидя на заочневших трупах. Здесь, в лесу, как видно, недавно бились, и павшие лежали кого где настигло.

**Жуткое панибратство живых со смертью.**

Говорят, кадровым военным при подсчете срока их службы один день, прожитый на фронте, будет засчитываться за три. А тому, кто еще недавно гражданским был?

— Сейчас ты ничего, мне нравишься, отошла вроде. А когда первый раз тебя увидела — какая-то замученная, — сказала мне могучего роста баба. — Думаю, где ее достали такую? С креста сняли, что ли? У меня самой вот ревматизм, стучат коленки, аж хлопают. В честь фрицев.

Она побывала у немцев за колючей проволокой — отказывалась работать. На земле спала — ранняя весна, снег еще только-только сошел, вот и застучали коленки.

Кто она, откуда? Пришлая. Но здесь ее каждая уцелевшая изба примет, она ведь любую мужскую работу ворочает. Природные силы в ней огромные.

— Долбалась, долбалась, как черт в грешной душе. — Это она с печью у хозяйки тут навозилась. — Ну, теперь топится у меня на все сто процентов.

Деньги у нее подкопились, а надеть нечего. Если б где купить можно было, как до войны, «я растолкала б всех, разбила, разбросала и нашла б, хоть и подобрать путем нельзя — мой размер большой».

Когда сидит без дела, свесив к полу огромные кисти рук, она может хоть час, хоть больше наблюдать за возней двух кошек.

— Как вгородила ей в глаз! — Обрадовалась, что старая кошка Мотя наконец дала сдачи маленькой. — Будешь знать, подлюка, как мать задирать.

Приказа над собой ничьего не терпит. И на дорогу снег чистить организованным порядком ни за что не выйдет, хоть судом грози.

— Ешь ты! Не дребезжи! Я честней тебе. А неохота идти. Как тут быть?

А найдет на нее стих — лопату на плечо. И с удалью за троих снег сгребет. Нароботается, придет довольная, притихшая.

Скажешь:

— Ну пусть теперь до утра нас немец не тормошит. Спокойной ночи.

Ответит строго:

— Взаимно.

Станет с себя что-то стаскивать, приговаривая:

— Все дранье, все дранье напролет!

Утихомирится и захрапит — не растолкаешь.

А утром как ни в чем не бывало — и не вздумай усомниться — пожалуется, до чего чутко спит:

— Кошка пробежит ночью, я — луп глазами, кто-нибудь охнет во сне, я — луп, ветер дернет ставень — я опять: луп. Так и луплюсь всю ночь, караулю, не немцы ли на подходе.

О Сталинграде. Немецкое сообщение 23 января: «Наши храбрые солдаты защищаются от значительно превосходящих по силам и более приспособленных к бою и погоде большевиков».

24 января: о прорыве Красной Армии «на юг от Ладожского озера».

— Я с дикого ума как стал палить и, представьте, одного немца зажег. Хвост задымил. Попал! А тут наши летят. «Яшки», давайте, «яшки» («ЯКи»), кричу. Потом мне б только мертвецки заснуть — ничего больше не надо.

«Приказание по войскам 30 армии.

1. По реке Волга построить систему фланкирующих дзот, вести фланговый и косоприцельный огонь по плесу р. Волга. Имеющиеся огневые точки, фланкирующие р. Волга, проверить, а в необходимых местах построить новые.

2. Установить проволочное заграждение через р. Волга в месте стыка с 130 обр и вдоль берега до стыка с 220 сд, обеспечив прострел их фланговым и косоприцельным огнем».

Встречная женщина сказала:

— Немец. У него бабий платок толщенный на голове намотан. Соломенные боты на сапоги. Срам смотреть.

«25.I.43 г. Колхоз «Колос».

Слушали т. Рыбакова, который информировал распоряжение военкомата о запрещении разрушать военные блиндажи, собрать убитых бойцов на территории земли колхоза и похоронить их.

Слушали т. Рыбакова о подготовке к весеннему севу, который пояснил, что семян на посев нет, поэтому нужно семена изыскивать внутри колхоза, т. е. собрать среди колхозников.

Опросом колхозников установили, что семян у колхозников нет, так как по трудодням колхозники не получали».

Неведомыми путями дошли стихи угнанной из Ржева немцами семнадцатилетней Веры Виноградовой:

На окраине в темной пропасти,  
В Кеингсберге несчастном живу.  
Живу-мучаюсь, только думаю,  
Как на Родину я попаду.

А воями мне домик грезится,  
 Где до тех пор я жизнь провед...  
 А теперь вот живу я в Германии,  
 В этой камнем покрытой стране,  
 Все бетонное, все холодное,  
 И не тлится ни искры нигде.

Немецкое сообщение по радио 26 января:  
 «Наступление Советов на некоторых участках Восточного фронта продолжалось и вчера с новой силой. В тяжелых оборонительных боях против многократно превосходящих сил врага немецкие армии сдерживают угрозу окружений».

Женщина из Ржева:

— Где наша тюрьма, у них учреждение. Им нужно маскироваться, они там берут простыни для белых халатов. Шьешь. За это банку железную из-под их консервов литровую зерна. На базар что-нибудь вынесешь — немцы на марки что-нибудь купят. А другой — отнимет, а другой — заплатит. На эти марки ведро шелухи купишь у русских, которые на немецкой кухне работают, и добавляем в муку шелуху.

Приказ: поодиночке не выходить из расположения части. Но сопровождающего мне не дали — бойцы подразделений штаба брошены на передовую, где сейчас на счету каждый штык.

Показали по карте маршрут — в полк, пять километров. Там взяты пленные, надо срочно допросить.

Я шла проселком, потом лесной тропой в изреженном войной лесу и дальше по вытоптанной в снегу тропе, держащейся то у опушки, то скашивающей путь полем.

Всю дорогу сильно мело.

Я дошла в указанную мне на карте точку, где оборону занимало подразделение полка. Здесь была прежде деревня, теперь остался один дом с развороченной крышей, окна без стекол, стены продырявлены пулями и осколками снарядов. За домом притулилась пушка; ее ночью выкатывают, несколько выстрелов по противнику, и опять прячут за дом. Бойцы находились в землянках, от которых к дому прорыта траншея. Теперь им на горе подкинули сюда, в этот полуразрушенный дом, пленных. Охранявший их часовой не зпустил меня. Позвали командира роты. Я намеревалась допросить пленных «на месте», как мне и было сказано. Но командир роты, отметив, что я при оружии — пистолет в кобуре на ремне, — значит, никаких с его стороны нарушений устава караульной службы, поспешно вывел пленных и вручил их мне вместе с их солдатскими книжками.

— Забирайте! Людей у меня побил. Некому да и на черта охранять тут их.

Пленных было трое. Трое верзил в грязно-белых ватных комбинезонах с капюшонами — так обрядили немцев этой зимой на нашем участке.

Командир роты и часовой спрыгнули в траншею и скрылись. Я осталась одна с пленными.

— Пошли! — в некотором недоумении сказала я.

Они за мной. Мы вышли в поле, и я с испугом обнаружила, что за это время снегом замело тропу, по которой я дошла сюда, и мне теперь не пройти наобум тем же путем — собьюсь, заплутаю, еще и ужогу со всей компанией к немцам. Ведь сплошной обороны нет.

Как быть? И тут мне спасительным показался провод связи, протянутый на шестах через все поле по азимуту. Он выведет к какому-нибудь нашему штабу...

Я велела немцам идти вперед, опасаясь, что за спиной у меня им легко сговориться и напасть. Теперь они шли гуськом, о чем-то переговариваясь, слова не долетали до меня. Мы были в открытом поле

одни, неподалеку в стороне — лес. Было мутно от снега. Больше всего меня страшил мой пистолет, которому я обязана была всей этой ситуацией. Им ничего не стоило отнять его у меня, разделаться со мной и скрыться в лесу.

— *Vorsicht! Minen!*— Это вырвалось инстинктивно.— Не разговаривайте, не отвлекайтесь! Смотрите под ноги!— прерывала я их разговоры на ходу или сговор, как могло быть.— Будьте внимательны! Ступайте след в след. Не торопитесь!

Мне не было известно, заминировано ли поле, но этот мой призыв «осторожно! мины!» сплотил нас.

Пленные, громоздкие, неуклюжие в своих толстых стеганых комбинезонах, переходящих от плеч в капюшон, схватывающий неповоротливую в нем голову, продвигались с опаской, проваливаясь то по колено, то по пояс в снег, тщательно стараясь попасть в след впереди идущего. А я в состоянии предельного напряжения твердила в голос, замыкая наше причудливое шествие:

— *Vorsicht! Minen!*

Провод вывел нас на большую дорогу, перешагнув ее и опять ушел в поле. Снег прекратился, стало яснее.

Наконец мы ступили на окраину сожженной деревни. Сюда, кроме нашего, тянулись еще и с другой стороны провода, и я почувствовала, что нескончаемый путь под мой непрерывный возглас «*vorsicht!*» окончен, я не заблудилась, я вышла к штабу,— и дикая усталость накатила на меня.

У ближайшего пепелища копошились женщины, отыскивая хоть что-нибудь пригодное. Они увидели нашу группу, застыли.

И вдруг одна, та, что ворошила лопатой в золе, тощая, несчастная, сама обугленная, как головешка, отделилась от остальных и в бешеной ярости, замахнувшись лопатой, метнулась сюда, к пленным.

— А-а-а!— завопила я, кинулась между ней и немцами предотвратить расправу, выдернув из кобуры пистолет и тряся им над головой.

Она медленно опустила лопату с перекошенным судорогой лицом, перевела взгляд с меня на немцев и беззвучно, зло, отчаянно заплакала.

Я плюхнулась обессиленно на снег, сидела, все еще тряся бессмысленно пистолетом, с не унимавшимся из сорванной глотки стоном.

Немцы передали о Сталинграде: «Войска борются на узком пространстве, окруженные со всех сторон врагом».

В крайней избе набилось так много бойцов, что все стояли.

Снаружи еще подпирали бойцы, и на печи со страха попискивали, как мышата, ребятишки, а дверь больше не затворялась, и те, из глубины избы, ругали этих, застрявших на распахнутом пороге, наступивших избу.

Хозяйку затолкали совсем к стене, и издалека доносились ее смиренные вздохи:

— Что уж, желанные, грейтесь.

Кто-то большой стоял на горке, маша руками и настойчиво призывая меня. Надо же — наш почтальон. Письмо! Мистика почтовой связи. Сюда, где наскоро сцепленные из снега валы с бойницами, полевая почта доволочила письма, и одно из них мне.

Я развернула треугольник и при свете луны и снега кое-как разобрала, что письмо из Москвы от брата, что обо мне беспокоятся и ждут домой.

Но как же все отдалилось. Уже не кажется даже правдоподобным московский дом, возвращение. Я уже канула, я — в колдобине войны.



Трофейные немецкие газеты: «В Сталинграде — судьба Европы».

30 января было десятилетие захвата власти нацистами. Переждав этот день, в Германии 1 февраля дали сообщение о поражении 6-й армии. «Они держались до конца, потому что знали, что от них зависит судьба всего фронта, безопасность их родины». Так звучит признание катастрофы, обреченности исхода войны. Три дня — 3, 4, 5 февраля — объявлены в Германии днями траура.

Девчонка из-под Ельни. Неброская, миловидная, она затеряна в своем большом полушубке, солдатской ушанке. Снег заметает ее. Она стоит на развилке. Регулировщица. Взмахнутым вверх флажком, подняв в другой руке фонарь «летучая мышь», останавливает машины. Дотошно проверяет документы, присвечивая.

Везут снаряды, горючее, хлеб. Полк пешком на марше. Раненый возвращается из медсанбата — остановить попутку, посадить его. С ней шутят, заигрывают, беззлобно ругнут при случае — и дальше.

Неподалеку контратакуют немцы. Ей велено быть на стреме. Если машина, не подчиняясь ее флажку, проскакивает не остановившись, если вопреки приказу прет с зажженными фарами, она срывает с плеча винтовку, бьет по задним скатам. Свиристая ругань обрушивается на нее.

Сыплет снег. Туман застилает поля и дорогу. Где-то близко стреляют. Фронтовые пути растянулись. Нет сплошной обороны. Чудятся немцы...

Девчонка стоит на контрольно-пропускном пункте.

Вся грубость, удаль, невзгоды, надежды, подъем и тоска войны проходят мимо нее.

Сколько помню себя, всегда было общее дело. Сейчас это война. До нее общим делом было все то, что называлось «наше время». Его любили, романтизировали. Быть в такой чести у современников — редкая удача для времени. Время, «когда все сбывается». Время, «когда все начинается с нас». А все, что до, — потоп, вывернувшийся, унесший культурный пласт предшественников, и родовые корни, и само представление о них.

Война берет — что-то еще такое вводит в духовный оборот, чего не было до нее...

«Совершенно секретно! Срочно!

...пункт 2. Разрушения при отступлении... Противник должен получить совершенно негодную на долгое время, незаселенную, пустынную землю, где в течение месяцев будут происходить взрывы мин... Адольф Гитлер».

«Слушали. О найме пастуха на сезон лето 1943 года.

Постановили.

Нанять пастуха Павлова Николая на сезон 1943 г. пасти скот в личном пользовании колхозника за оплату с коровы 16 кг. ржи, 16 кг. картоф., 25 руб. деньгами, вынос 4 яйца с коровы. С козы ржи 8 кг., картоф. 8 кг., деньгами 15 руб., 2 яйца вынос. С овцы 4 кг. ржи, 4 кг. картоф., 10 руб. и вынос 2 яйца. Питание готовое, т. е. колхозники, а одежда и белье и обувь, а также спецодежда в счет вышеуказанной платы».

С точки зрения войны. С позиций войны обо всем. Что же иное, кроме жестокого диктата войны. Чувство сострадания порой тоже перерабатывается во что-то угодное войне. Я не выше, не мудрее, не подлее и не чище войны. Я тоже принадлежу ей.

Девушка поет:

По улице идите,  
Играйте и пойте,  
Мине беспокойте  
И спать мне не дайте.

И был в ее пении такой яростный зов жизни.

«При трудностях связи проволокой и отказа в радиосвязи немедленно организуйте в дивизиях службу летучей связи (конные по принципу эстафеты)...

В полках немедленно закодировать карты и впредь по телефону переговоры только по кодирован. карте или условными наименованиями. О противнике передается в открытую.

Командарм 30  
генерал-лейтенант Колачакчи».

По избе носят соседские дети — мал мала меньше. Их отец, Егор, пропал без вести, мать на дорожных работах, и они набиваются сюда в избу, к старухе. Их суета мешает бойцу, громко рассказывавшему свои военные «охотничьи рассказы».

— Молчи, безотцовщина! — напустился он на детей. — Уйми ты их.

— У Лёгора (Егора) дети дробные, — сказала старая. — Как их уймешь. Тот молчит, а тот пищит.

— Ребята что мокрицы, от сырости заводятся, — рассудительно сказал рассказчик.

— Ладно тебе, докашливай свое, — призвал бойца его слушатель.

Бригадир обходила избы, ругала молодую:

— Старухи пятидесяти лет бегут на работу, а эту, гляди, шевелить надо. Сидит на задку сидя.

Немец седой, прихрамывающий, негодный — «тотальник». «Кто ничего не делает для войны, должен быть уничтожен» (Гитлер).

Председателю сельсовета:

«Учитывая срочность работ, имеющих первостепенное значение, предлагаю под вашу личную ответственность завтра же к 9 часам утра выслать полностью все подводы и всех людей согласно наряда райисполкома.

За невыполнение настоящего решения вы будете привлечены к строгой ответственности и по всем строгостям военного времени как за срыв срочных работ, имеющих первостепенное оборонное значение».

А лошади еще в чесотке. И ведь сказано: если пришлешь больную — тоже ответишь «по всем строгостям».

В войне сначала как в хаосе. Ты ничтожная былинка ее, может еще не потерявшая своих представлений о том о сем, еще с чувством ответственности за происходящее, вернее за то, как это происходящее происходит. Потом в этом хаосе окантовываются лица — те, с кем тебе быть. У вас все общее — и бомбы, и холод, и противостояние врагу. Начисто лишена уединения, не принадлежишь себе, и это тоже способствует применению к окружающим. Уже включена в единую с ними кровеносную систему. И, боже мой, тебе уже легче, роднее с ними, в тебе уже бродят частицы их крови, ты проще, выносливее, тебя меньше мучит совесть, и чувство личной ответственности растворилось вместе с твоим растворением. Ты обработалась войной. И именно тогда слышишь о себе лестные отзывы.

— Как немцы подходили — все уехали, ни подо мной, ни надо мной нет никого. Чудно. Вишу над землей под небом. А выбили нем-

цев — воротились. Как да что, почему жив, не застрелен врагом? Говорю все как есть, и лопни моя утроба, если что вру. Но послушал их да и впал в сомнение. Может, они знают обо мне того, чего я сам не знаю.

---

Реку тяжело завалило снегом. Торчит кустарник.

А в лесу сухие рыжие иголки на снегу. Дорожка черная, захоженная. Лес темный, не шелохнется. Пробивается солнце — глянцевого, мерцает, запорошенное зимними облаками.

Воронка. Черная земля на низу.

---

Во фронтовой немецкой газете приведена выдержка из книги «Гитлерюгенд»: «Фактически сжигание — это специальность новой молодежи. Границы малых государств империи также были превращены в пепел огнем молодежи. Это простая, но германская философия: все, что против нашего единства, должно быть брошено в пламя».

---

В освобожденной деревне. Вокруг бойцов кружком девчата. Глядят не наглядятся. А одна, выбравшаяся из Ржева, всего хлебнувшая, непримиримо так спрашивает, запальчиво:

— Где ж вы были в январе год назад? В Ржеве тогда немцы в панике бежали. Русская речь слышна была уже в Городском лесу и со станции Ржев-первый. Особенно ранним утром. На чердак заберешься, хочется крикнуть: «Русские, идите!» Гольми руками взяли бы их. Тут бы все помогли. Где ж вы были?

Нахмурились. Что солдат может ответить? Молчат. А один нашелся.

— А что? — Отставил ногу в валенке, пристукнул пяткой, покачал носком и с вызовом: — Чем в поле помирать, лучше в бабьем поболе. Там и пригреблись.

И, унося обиду, пошли они, не вылезавшие из боев, своей дорогой, в пекло войны.

---

Длящаяся уже полтора года война имеет свое прошлое, значит — историю. То, что происходит сейчас, — хроника. А то, что было в войну год назад, — уже эпос. Во всяком случае, я имею возможность это ощутить, потому что мы возвращаемся на места, связанные с тяжелыми днями прошлого года февраля, когда мы были отрезаны от своих частей. И все то, что пережито тогда, видится уже на отдалении и, может, даже сейчас сильнее и драматичнее — тогда ни сил, ни потребности не было что-либо запечатлеть.

А сейчас на этих пожарищах, в этих лесах, на этих большаках память выносит из глубы (год прошел!) целые куски пережитого.

...В лесу велено было не скопляться кучно, чтобы меньше было жертв в случае налета. Все были строго предупреждены не производить шума, разговаривать потихоньку, костров не разводить. Все же вспыхивали огоньки, прикрытые ветками хвой, и подсаживались погреться у этих чадающих маленьких костров. Медленно тянулось время. Голодные люди спали, подостлав под себя лапник. Когда стало смеркаться, все пришло в движение, слышались команды, люди выходили из лесу и, строясь, потянулись по дороге. Теперь, когда я мысленно вижу эту колонну (у многих винтовка без патронов, годна лишь для штыкового боя, у других все равно что нет ее, потому что обморожены руки; солдат, шатаясь, изнуренно несет на себе ручной пулемет; раненые ковыляют, поддерживаемые товарищами), я понимаю — то был марш отчаяния. Но тогда в этом потоке, втягивающем все новые толпы, стекавшиеся из лесов, чудилось что-то необоримое.

В темноте терпеливо тащились неведомо куда, меся снег, по занесенным дорогам и полям, обходя деревни. Только слышно было, как выкликали номера частей, как командиры высылали боевое охране-

ние или брали людей сменить тех, кто изнемог, идя впереди и промывая дорогу по пояс в снегу.

Где-то в стороне пролетали змейки трассирующих пуль. Повсюду было тихо. Но ночь кончалась.

Здесь, на близких к немцам подступах, рассредоточить такое количество людей, чтобы пережить светлый день, не было возможности. И людская масса, захваченная стихией движения, была уже неостановима. Поток валил и валил неудержимо вперед.

Развиднелось. Стало видно, что с дороги отходят в сторону, садятся на снег те, кто совсем обессилел и не мог больше идти. Затравленно, с тоской в глазах или с безразличием смотрят на проходящих мимо. Кто-то громко просит, чтобы его пристрелили, и зло матерится вслед.

Уже командирские бинокли различили у деревни копошащихся немцев. И оттуда в свои цейсы с недоумением и наверняка с испугом обнаружили наше скопище.

Всполошенно ударила вражеская артиллерия.

Дым накрыл наше месиво, вопли раненых и разорванные тела.

Вдруг одинокое пронзительное «ура» и разногласный отклик ему, разросшийся в неопишное тысячеголосое «ур-ра-а». Все, кто был жив, поднялись с бешеным ревом, рванулись, чтобы колоть штыком, рвать зубами врага.

Немцы побросали орудия. Казалось, еще немного... и в неистовом броске всей массой сомнут их, проломаются.

Но люди путались в глубоком рыхлом снегу на поле, спеша, застревая, валясь друг на друга, барахтались, поднимаясь. «Гранаты к бою!» — но их было еще не добросить до врага.

У немцев хватило времени понять, что наши без огневых средств. Стали рваться на поле снаряды, заулюлюкали мины, свистя, лопаясь.

Люди увязали в снегу, осев, пропадая...

Кто мог стал отползать к лесу.

«Приказание по войскам 30 армии.

1. На дивизионных саперов возложить разведку и устройство проходов в минных полях, их обозначение и обеспечение порядков дивизий.

2. На армейских саперов возложить расчистку и расширение проходов в минных полях, их четкое обозначение и обноску жердями и указателями. Разминирование населенных пунктов, обозначение основных маршрутов и населенных пунктов указками...

3. Для расчистки дорог от снега и содержания их в проезде состоянии начальнику инженерных войск армии выделить на каждый маршрут не менее одного инженерного батальона и по два трактора с угольниками».

«Мы завоюем мир силою торжествующего меча», — сказал Гитлер.

Ржев все время именовался немцами «трамплин на Москву». Отсюда «торжествующий меч» должен был обрушиться на ее голову.

Теперь, после сталинградского поражения, Ржев переименован — он «трамплин для русских на Берлин». Сдать Ржев, говорится у немцев, это значит «открыть Красной Армии дорогу на Берлин». Сдать его нельзя ни при каких обстоятельствах.

«Штаарм 30. Боевой приказ № 0018.

215 сд действиями штурмовых отрядов овладеть Знаменское, Гришино, улучшить свои боевые позиции и быть готовой к общему наступлению на Ржев».

Поступают донесения, что в связи с угрозой окружения немцы готовятся отойти, оставить город. По приказу командарма развед-

чики брошены на захват контрольного языка. Неудача за неудачей и жертвы среди разведчиков. Наконец захвачен пленный.

— Выделили нас девять человек, чтобы достать языка, то есть живцом немца. Вот в ночь перед двадцать пятым февраля добрались мы через реку Волгу в траншею врага и захватили матерого фрица без выстрела и шума и потянули на реку Волгу. Половину прошли Волги, потом враги подняли шум, начали по нас стрелять, и троих из девяти человек враги убили, но, оставши в живых, нас шесть человек при- тянули матерого фрица, и в следующую ночь, перед двадцать шестым февраля, мы подобрали своих убитых товарищей и отправили в тыл на похоронения.

Этого пленного в расположение КП привели с завязанными гла- зами, как предписано инструкцией, но увидеть такое довелось впер- вые. Командарм допрашивал сам, я переводила.

Опрос не вносил никакой ясности — пленный только дня два как прибыл сюда на участок и был совсем несведущим. И вдруг под конец он между прочим сказал: вчера приказано всем сдать вторые одеяла в обоз, оставить по одному. Для нас это сообщение означало многое: да, немцы готовятся отступить.

...Танки, что стояли в укрытии, где-то в стороне, неожиданно за- грохали, перекатывая сюда. И стало надежнее.

По лесу в сопровождении штабных приближался незнакомый командир — высокий пожилой человек в ушанке, отделанной серым барашком.

Танкисты выключили моторы, в открытых люках виднелись их шлемы. Все смолкло, все смотрели на подошедшего командира, стало слышно: стучит дятел, а вдалеке раскатывается канонада.

— Смелее, братцы! — крикнул командир. — На врага!

Пехотинцы быстро размещались на танках. Грохнули, захлопы- ваясь, крышки люков, взревели моторы, за клубился дым. Танки дви- нулись, вышвыривая из-под гусениц снег, разминая завалы, кромсая на пути деревья, не сваленные топорами.

Какой-то нерасторопный, замешкавшийся, не попавший на танк боец со скаткой одеяла и закопченным котелком на боку у ремня, спеша, бежал по гусеничному следу, вскидывая винтовку...

«Командарм приказал:

боевые донесения командирам дивизий и бригад представлять точно каждые д в а ч а с а — каждый нечетный час».

Хрустнул, обломался сухой сук. Покапал мартовский дождь — весь снег в оспе.

— Снег грубее становится, садится. Теперь свалишь, по сукам идешь — не проваливаешься. Птиц стало слышно, когда не стреляют.

Еще недавно немцы упорно твердили по радио: «Сдать Ржев — значит сдать половину Берлина, так сказал фюрер». Теперь они стре- мятся отвести войска, пока не замкнулось кольцо окружения вокруг Ржева.

Танкист:

— Меня направили сбить водонапорную башню. С нее немцы про- сматривали далеко и корректировали огонь. Шесть боекомплектов было израсходовано за один светлый день. Водонапорная башня была изрешечена, как решето, простым глазом на большое расстояние вид- ны дыры. В этот же день левее меня мужественно сражался броне- поезд «Муромец».

Вырвавшиеся вперед, они теперь лежали на поле серыми кулями, замерев неподвижно, чтобы казаться убитыми. Светало, и теперь немцы могли различить их и стрелять не наугад, на выбор.

В отбитом Кокошкине. С проселочной дороги карабкаемся на гору, где разбитая церковь. Церковь завершала пейзаж всей округи — самая высокая точка. Здесь была укрепленная огневая позиция наша, потом с нее били немецкие орудия. Боже мой, какая господствующая высота. Под кручей — замерзшая Волга, по ней переход в Ножкино. сожженное. А вокруг — протяжные, дальние белые дали.

И когда мы врагов здесь разгромим  
И спокойно вздохнет наша Русь,  
Из разбитого города Ржева  
Я к тебе, дорогая, примчусь.

(Младший лейтенант М. Щекня)

В блиндаже начальника штаба Родионова.

Связной командира полка принес первое донесение из Ржева. Я попросила разрешения переписать в тетрадь: «Очищаем город от автоматчиков. Штаб полка разместился Калининская ул., 128».

Второй связной: «Трофеи 1000 вагонов. Население согнано в церковь. Церковь заколочена, вокруг заминировано».

Еще донесение: «Заминированы дороги, дома, блиндажи. Разминировем. Очищаем город от автоматчиков. В южной части города — сыпной тиф. Трофеи — 30 танков».

— Через реку Волгу мы пошли сегодня в восемь ноль-ноль в наступление — освободить наш родной город Ржев. В городе в церкви были замкнуты граждане — жители города: старики, дети, женщины. Когда мы их освободили, они говорили, что пробыли в церкви пять дней не пивши и не евши, около двухсот человек, и этим мы им спасли жизнь, что не управились враги народа уничтожить этих безвинных людей. И я как участник освобождения этих граждан не забуду этот сегодняшний день.

Странно торчащая над всем изрешеченная водонапорная башня, черные обломки зданий, засыпаемые снегом. И больше нет — н и ч е г о. Это и есть Ржев?

Как торжественны и скромны эти минуты. Мы в Ржеве. 3 марта 1943 года.

На путях пытит бронепоезд.



---

---

## КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН



### «ТАМ, ГДЕ СЕМЕНОВСКИЙ ПОЛК...»

Рассказ

Электрический сигнал на занятия загредел по всему зданию таким повелительным, оглушающим звоном, словно это происходило где-нибудь на линкоре или в подземном укрепленном каземате и могло означать только одно — боевую тревогу. Вслед за этим можно было ожидать слитного топота десятков или даже сотен ног по надраенным ступеням стальных трапов.

Но ничего подобного, разумеется, не произошло. Виталий Андреевич Суханов, чуть поморщась, встал, взял свой темно-вишневый в никелированной оправе «дипломат», улыбнулся Шурочке и начал спускаться.

Он принадлежал к категории людей, выглядящих значительно моложе своих лет, что особенно заметно проявляется с возрастом. Стройный, подтянутый, худощавый, почти без седины в светлых мягких волосах, он неспешно спускался по лестнице мимо докуривающих в положенных или в неположенных местах, в меру торопящихся студентов. Он обладал по-настоящему спортивной фигурой, но это было скорее от природы: спортом он увлекался только в детстве и ранней молодости, а сейчас считал, что за войну уже выполнил свою норму.

Стояло начало дня 6 мая — то есть еще длился и был в разгаре тот замечательный промежуток между Первомаем и Девятым, когда другие красные числа — День печати и День радио — как бы специально поддерживают эту непрерывную праздничную линию, не дают прерваться ее яркой ковровой дорожке. И нежная зелень за высоким лестничным окном подсвечивалась где-то вдали красными полотнищами и щитами.

Он свернул к нужной аудитории и успел заметить, как две студентки с его семинара, оглядываясь, отпорхнули от нового застекленного стенда. Он приостановился. Сверху было написано золотом: «Сотрудники института — ветераны Великой Отечественной войны». Ветеранов осталось немного. Старик замдекана Петр Михайлович. Если вы стояли рядом с женщиной — перед началом ученого совета или в деканате, — он обязательно протягивал вам руку, но тут же отдергивал ее со словами: «Нет, сначала с дамой...» Молоденькая мордашка лаборантки с их кафедры Шурочки. Вахтер Иван Афанасьевич с медалью «За отвагу». Но, рассматривая эти фотографии, он все время боковым зрением видел свою и наконец глянул себе в глаза, и у него перехватило горло. «И где они только взяли?» — подумал он о снимке. Ночью, лежа рядом с Люсей, он сквозь сон внезапно ощутил острейший, как иглой в сердце, укол тоски и почти проснулся в страхе, но тотчас провалился снова и, встав утром, совсем забыл об этом. А сейчас сразу, ~~опять до боли, вспомнил~~.

За дверью висел смутный ровный гул. Он потянул ручку, и стало тихо.

Суханов вел спецкурс..Посещение было свободное, и всякий раз, не притупляясь, обдавало радостное чувство, когда он видел, что аудитория набита битком.

Все нестройно встали. Он поздоровался, прошел к кафедре, положил «дипломат» рядом на стол и задумчиво осмотрел присутствующих.

Он смотрел на этих славных ребят, которые благоволили к нему и которых он не всех знал одинаково. Одни молча и неотрывно писали, пока он говорил, или же, напротив, ничего не записывали и почти никогда ничего не спрашивали. Сообщения, если они их делали, бывали из рук вон. Но он по опыту давно уже определил, что это еще ни о чем не говорит, что они либо оставались и дальше такими, либо в них с годами что-то менялось, накапливалось, раскрывалось. Он и себя самого причислял к этим последним. Были еще отличники, которые все знали. К ним он относился равнодушно. И были те, что соображали, «секли». Ради них и стоило заниматься делом.

И сейчас, подняв голову, Суханов посмотрел, здесь ли его лидеры. Те, как всегда, были на месте, сидели в разных концах, поодаль. И тоже, как всегда, две девицы с первого стола били по нему подведенными глазами в упор, прямой наводкой. Были ли они действительно влюблены в него, как считалось, или хотели смутить его? Но они сидели так всегда и отвечали невпопад, когда он к ним обращался. Впрочем, если они подобным образом смеялись над ним, считая, что он стар, то они глубоко заблуждались.

Он подошел к окну и посмотрел в сад. Он любил это окно еще со своих студенческих лет — и багряную листву американского клена за его створками, и голые черные стволы лип среди нетронутой утренней белизны, и вот эту первую нежную зелень. Он любил звон трамвая, которого здесь давно уже не было, и промельк шелестящего по мокрому от дождя мостовой желто-синего троллейбуса.

— Ну что же, приступим, — сказал он. — Продолжим нашу беседу. Есть предложение провести занятие без перерыва. Ну и прекрасно.

Он специально говорил это несколько официально, как на собрании. Он начал читать, то прохаживаясь вдоль старой, выцветшей черно-серой доски с нестертым окончанием фразы: «...сдавать по 2 р. Шумилкову», то надолго останавливаясь возле стола. Читая, он порою думал о разном, о постороннем, замечал и отмечал многое.

### Лекция профессора Суханова

Помнится, в середине пятидесятых годов возникла бурная волна протеста взрослых радиослушателей против регулярного исполнения по радио (да еще в лицах!) сказки о Красной Шапочке и Сером Волке. Было замечено, что маленькие дети повсеместно, слушая ее, излишне нервничают. Может быть, новое поколение оказалось более впечатлительным или же средство массовой информации сработало слишком мощно.

Со временем мой сын рассказал мне, что подозревал свою бабушку — особенно в вечернем полумраке комнаты, при укладывании спать — в том, что и она переодетый волк. Можно себе представить, каких ужасов мальчик натерпелся.

Как бы там ни было, сказка исчезла из дошкольного репертуара. (Теперьшние сказки, скажем из телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши», напротив, удручающе безобидны.)

Но вот что интересно: почти все сказки, слышанные нами в раннем детстве, читанные нам вслух, написаны, собственно, не для детей.



Одни сюжеты чего стоят! Умерла любимая, нежная мать, слабохарактерный отец женился на другой. Хитрая, злобная мачеха, жестокие ее дочери, смертельная опасность, исходящая от них. А Синяя Борода, поочередно тайно убивающий своих жен! Разве это для детей? Да и после «Трех медведей» не сразу придешь в себя.

А у Пушкина! Я уж не говорю, конечно, о вещах откровенно фривольного содержания. Но ведь мотив «Сказки о рыбаке и рыбке» — это же для взрослых, умудренных жизнью, опытом. А в «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» почти в начале говорится:

А царица молодая,  
Дела вдаль не отлагая,  
С первой ночи понесла.

Ясно, что это не для маленьких. Еще слава богу, что не делалось в этом месте купюр. Наверное, те, кто их делает, не обратили внимания, не заметили, а то бы не пропустили. Или в «Сказке о попе и работнике его Балде», говоря о том, сколь удачно прижился Балда в поповом доме, автор замечает:

Попадья Балдой не нахвалится,  
Поповна о Балде лишь и печалится,  
Попенок зовет его тятей...

Конечно, невозможно предположить, что это действительно его ребенок, так как Балда нанимался всего на один год. Однако ситуация наталкивает на догадку, что отношения его с попадьею именно таковы, что совсем не случайно «попенок зовет его тятей».

Суханов прохаживался вдоль доски и мельком думал о том, что нужно будет не забыть купить вина — появилась в Столешниковом «Бычья кровь». И о том, что Люся заедет за ним в институт, — он и заниматься-то предложил без перерыва поэтому. Она носится сейчас на «Жигулях» по Москве. Дело в том, что ребята — так они называли сына Вальку и невестку Риту — отремонтировали наконец полученную квартиру и купили мебель. Осталось переехать. И еще он думал о Девятом, о предстоящей встрече. Он мельком думал об этом и увлеченно говорил о другом, а что-то не отпускало. И он знал что.

...И все-таки как читаются в детстве эти сказки, написанные не специально для детей! Последнего обстоятельства мы попросту не замечаем, не знаем.

Разумеется, это касается не только сказок. Вот совершенно прозрачные, откуда-то из ранней школьной программы стихи «Зимний вечер»:

Буря мглою небо кроет...

Думается, это единственное стихотворение, написанное Пушкиным как бы из домика няни. Действительно, можно допустить, что «обветшалая кровля», и солома, которая по ней зашумит, и даже печальная и темная «ветхая лачужка» — это отчасти авторский домысел: как известно, сам барский дом был весьма скуден и беден. Веретено тоже вполне допустимо — нянин домик стоял совсем рядом и, вполне возможно, она устраивалась с вечерней работой подле своего любимца. Но предпоследняя строка, как мне кажется, опровергает все это и служит доказательством в пользу нашей

версии. «Где же кружка?» — так можно обратиться только к хозяйке дома. Да и кружка — не бокал, не стакан, не чаша. Ясно, что он в этот вьюжный вечер зашел в ее домик — как бы в гости, на огонек. Может быть, мысленно. Согласны? И опять же «выпьем с горя» и «сердцу будет веселей» ничуть не смущают маленького читателя.

Он помолчал и вдруг воскликнул с восхищением:

— Все-таки поразительный человек Пушкин! Чего ни коснись.

Вновь я посетил тот уголок земля,  
Где я провел изгнанником два года незаметных...

Два года, которые он провел изгнанником, ссыльным, прошли незаметно. Только вдумайтесь: «два года незаметных»!.. Вы что-то хотели сказать, Шумилов?

Поднялся сзади румяный здоровяк с кудрями по самые плечи.

— Виталий Андреевич,— произнес он неожиданно глухо,— а может быть, незаметных для других? Для тех, кто его забыл, для кого он стал незаметным?..

— Мысль интересная,— отвечал Суханов с удовольствием,— и все-таки это не так. Перечитайте. Незаметных в этой быстротекущей, меняющейся и заменяющейся жизни, полной мыслей и трудов.

9 мая они собирались сначала в Парке культуры, ветераны их гвардейского корпуса, у фанерного транспаранта с названием и нарисованными орденами — среди шума, музыки, объятий и слез, вблизи таких же бывших частей и соединений. Просто стояли и разговаривали, они уже знали друг друга и смотрели по сторонам, не подойдет ли еще кто. И ведь сколько лет миновало, а подходили, прибивались новые. Кружили около, потом приближались осторожно, неуверенно, переспрашивая. И вдруг: «А ты кто? Да мы же, да мы же...» И всякий раз в такой день он остро, зорко смотрел по сторонам, ждал, выискивал — час, два.

А затем ехали на другой конец, на ВДНХ, в «Золотой колос», сидели за столиками, выступали, вспоминали, цели, но он бывал тих, у него уже не хватало сил и возбуждения.

Но насколько не похожи друг на друга три названные мною безусловно главные сказки Пушкина. Даже тем, как по-разному они написаны. «Сказка о рыбаке и рыбке» — энергичным белым стихом-сказом. «Балда» — к нему мы еще вернемся — удивительно свободно и смело в смысле ритмики и рифмовки. «Сказка о царе Салтане» — наиболее напевная, если угодно, изящная, прелестная вещь. И сколько в ней всего — первым делом ассоциаций, связей, внутренних нитей,

В сияем небе звезды блещут,  
В сияем море волны хлещут;  
Туча по небу идет,  
Бочка по морю плывет.

— Ну что там, Шумилов?

— Извините, Виталий Андреевич. Это я ей объясняю, что большинство читателей запоминают не «хлещут», а «плещут». Так проще.

— Ну хорошо,— недовольным тоном согласился Суханов и продолжал:

Эти строки всегда смутно напоминают мне другую тревожную картину:

Кто при звездах и при луне  
Так поздно едет на коже?

Чей это конь неутомимый  
Бежит в степи необозримой?

И ведь действительно «Полтава» написана раньше.

В аудитории стояла тишина, которую физики могли бы назвать абсолютной.

Поразительную сладкую тоску всегда испытывал я при волшебной повторяемости строк:

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!  
Что ты тих, как день ненастный?  
Опечалился чему?» —  
Говорит она ему.

Однако потом, в третий раз, диалог между ними уже не повторяется, а лишь подразумевается — чтобы не стать утомительным.

А какое веселое, свободное стихотворное повествование:

Все в том острове богаты,  
Изоб нет, везде палаты.

И сколько здесь заложено всего, что развилось впоследствии в отечественной литературе. Дядька, предводительствующий тридцатью тремя богатырями, объясняет Гвидону:

«...А теперь пора нам в море,  
Тяжек воздух нам земли».

Думаю, в то время мало кто мог это по достоинству оценить. Отсюда пошло — уже в нашем веке — множество фантастических романов и рассказов («Человек-амфибия» и прочее).

Тяжек воздух нам земли.

А то, что написано все это не для детей, не только для них, подтверждается то и дело, хотя и не столь очевидными примерами, как приведенные мною вначале.

«Что я? Царь или дятя?» —  
Говорит он не шутя...

Не отсюда ли десятилетиями гремевшее с русской сцены:

Царь я или не царь?..

А строки:

Но жена не рукавица:  
С белой ручки не стряхнешь  
Да за пояс не заткнешь —

неожиданно напоминают нам, что автор сам незадолго перед этим женился.

Под самым окном прошуршала и остановилась машина. Он сперва еще нарочно прошелся в другую сторону, затем, не убыстряя шага, обратно до окна и, продолжая говорить, мимолетно глянул наружу. Люся в аккуратных вельветовых брючках протирала лобовое стекло. Задерживаться хотя бы еще на миг было рискованно — несколько голов уже с готовностью повернулось за его взглядом, — и он столь же степенно направился к противоположной стене.

Повторяю, три названные сказки Пушкина удивительно не похожи одна на другую. Но, разумеется, в них есть и об-

щее. Это прежде всего замечательная энергия зачина и столь же блистательная краткость концовки, развязки. И то и другое глубоко свойственно природе русской сказки.

«Уже в рифму заговорил», — подумал он о себе с невольной усмешкой.

И еще — во всех трех фактически одним из главных действующих лиц, а не только пейзажным фоном, является море.

Море вообще произвело сильнейшее впечатление на поэта и с момента первой встречи присутствует во многих пушкинских стихах. Он возвращается к нему в мыслях бесконечно.

Среди прочих гениальных формул искусства существует и такая: «Певец зимой погоды летней». Знаю, Алексей Иванович, знаю, не волнуйтесь. Это написал, как принято говорить, тоже Александр Сергеевич, но только другой, а именно — Грибоедов. Причем у него это сказано в ироническом смысле:

Был спрятан человек и щелкал соловьем,  
Певец зимой природы летней.

Алексеем Ивановичем он называл Лешу Лаптева, другого своего корифея и доку. Тот уже отслужил в армии, и Суханов почти подсознательно всегда ставил ему это в заслугу.

Так вот возьмем в данном случае только вторую строку. Необходимость для художника временного отступления от описываемого предмета.

Быть может, отчасти благодаря известному полотну Репина и Айвазовского, где поэт изображен стоящим на морском берегу, у нас остается впечатление, что стихотворение «К морю» там и написано. А как же еще?

Прощай, свободная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
И блещешь гордою красой.

А написаны эти стихи лишь потом, в Михайловском. Пушкин как бы задним числом выполняет обещание, выраженное в последней строфе:

В леса, в пустыни молчаливы  
Перенесу, тобою полн,  
Твой скалы, твой заливы,  
И блеск, и тень, и говор волн.

И не только реальное, дорогое сердцу море перенес он в свою и в нашу жизнь, но и море необыкновенное, населенное благородными богатырями, неотесанными чертями, всемогущими золотыми рыбками.

Суханов опять мимоходом глянул в окно. Люся сидела за рулем и читала книгу.

Понятно, что без моря не могло быть ни «Сказки о царе Салтане», ни «Сказки о рыбаке и рыбке». Есть море и в «Сказке о попе и работнике его Балде». Но сперва о другом.

Эта вещь написана с совершенно необычайной свободой, редкостным разнообразием разговорных интонаций, варьи-

рованием стиха. А рифма! И абсолютно точная (по лбу — полбу), и так называемая корневая (полбы — полный), столь распространившаяся у нас начиная с середины пятидесятых годов нынешнего века. Зачин:

Жил-был поп,  
Толоконный лоб.

Может быть, не все знают, что толоконный лоб — выражение идиоматическое, означающее дурак. Таким образом, с самого начала заявлено, что поп — дурак. Балда — и по имени видно — тоже дурак, но иного склада и толка, он вроде Иванушки-дурачка, который на поверку оказывается умнее многих.

Поп ищет «служителя не слишком дорогого». Однако ему требуется в одном лице «повар, конюх и плотник», то есть работник с обязанностями весьма разнообразными. Но Балда делает еще больше: пашет, «нянчится с дитятей». И везде оказывает «свое усердие и проворье».

Люся стояла, прислонясь к машине, и тут же помахала ему.

Перечень работ и употребляемых в доме продуктов, лексика и весь строй вещи показывают, что дело происходит в типично средней полосе. И вдруг запросто:

Балда, с попом понапрасну не споря,  
Пошел, сел у берега моря...

То есть море оказывается рядом. На то и сказка. Тут, у моря, она в большой степени и проявляется: невероятность положений, недалекость чертей, смекалка Балды. Но, строго говоря, море в этой сказке в отличие от тех двух обязательно. Соревнование Балды с чертями могло проходить в любой обстановке.

Выиграв у чертей, Балда тем самым выигрывает и у попа. Предварительный совет попадьи коварен, особенно если вспомнить наши предположения о ее отношениях с Балдой. Но хотя

Ум у бабы догадлив,  
На всякие хитрости повадлив,—

победителем выходит Балда.

И теперь о трех щелках — об этом совершенно сказочном и действительно детском уговоре. Зачем Балде понадобилась такая плата? Ответ вижу один: исключительно из ненависти вообще к церкви. Поп не в состоянии тягаться с Балдой.

...с третьего щелка  
Вышибло ум у старика.

А был ли он прежде, ум-то? По сути, поп и черти оказываются одинаково несообразительными перед веселой и естественной народной смекалкой. Вот так.

Он вытащил из кармана клетчатый платок и вытер лоб. Они дружно ему захлопали. Он внимательно и с любопытством смотрел на них, дивясь, какие они еще дети. Даже Леха Лаптев.

— Да,— сказал он, кивая на доску.— Шумилов, я все гадал, что сие значит.

— Извините,— объяснил Шумилов, вставая и встряхивая своими девичьими кудрями,— не стерли. Это на экскурсию на телебашню. Я же профорг. Со скидкой.

— Но не с башни,— вставил кто-то.

— Так, хорошо. Кто готовит сообщение для следующего семинара? Слушаю вас, Алексей Иванович.

— Я бы хотел,— чуть смущаясь, сказал Лаптев,— сделать краткое сообщение «Птицы в русской поэзии».

— Замечательно, просто замечательно. Диссертацию можно написать. Ну, не диссертацию — диплом. Знаете, как в научной литературе полагается алфавитный указатель названий или имен, так можно подготовить аппарат и к некоторым художественным произведениям — скажем, перечень птиц, зверей, растений в той или иной книге. Но, разумеется, в работе должны быть не просто эти списки, а система, динамика сравнения, находки. Только давайте договоримся — без соловьев. Те слишком уж на поверхности. Пойдет? Или хотите с соловьями?

— Без соловьев! — отвечали все, кроме Лаптева.

— С соловьями будет громоздко,— утешил он Лаптева.— Для вас же слишком просто. Ведь про соловьев все знают. Все, хотя и не всё. Давайте попробуем вспомнить...

— «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат»,— вдруг сказала одна из девиц с первого стола.

— Точно,— обрадовался Суханов.— Эти фатьяновские соловьи — песня моей молодости...

— «Томительные наши соловьи»,— раздалось из середины.

— Кто? Дудин?..

— «Соловьиный сад» Блока...

— А у Твардовского помните?

И успел услышать я  
В тишине минутной  
Ровный посыл соловья  
За оградкой смутной.

— Молодец, Шумилов. Это ранний Твардовский, «Станция Починок».

— «Соловей мой, соловей, голосистый соловей»...

— А это чье?

— Алябьева?

— Алябьева музыка. А стихи Антона Антоновича Дельвига. Ну а теперь вы, Алексей Иванович. Вам и карты в руки.

— Я прочту из Пастернака:

А на пожарище заката,  
В далекой прочерни ветвей,  
Как гулкий колокол набата,  
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник  
Клонила, свесивши в овраг,  
Как древний соловей-разбойник,  
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе  
Предназначался этот пыл?  
В кого ружейной крупной дробью  
Он по чащобе загустел?

А потом:

Земля и небо, лес и поле  
Ловили этот редкий звук,  
Размеренные эти доли  
Безумья, боли, счастья, мук.

— И-да,— помолчав, произнес Суханов.— И ведь что примечательно: обыкновенного соловья он сравнивает с соловьем-разбойником. И то, что сам народ соединил эти два слова, поразительно. Ну и соловей! Разбойник! Вот какой соловей! Его колдовская сила оборачивается противоположностью. У раннего Исаковского «в перелесках

щелкал стальной семизарядный соловей». То есть наган. Дальнейшее развитие — и какое! — соловья-разбойника. А то, что вы прочли, это поздний Пастернак, ясный, классический. Но ведь есть и ранний. Кстати, одно из его определенных поэзии — «это — двух соловьев поединок». Но вот соловей у раннего Пастернака, по-моему девятнадцатого года, верно, Алексей Иванович?

Разрывая кусты на себе, как синок,  
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,  
Горячей, чем глазной Маргаритин бедок,  
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Каково! А? Может, правда, зря соловьев из вашего сообщения вытолкнули? Как из гнезда. «...и сиял соловей»... Но и это детский сад по сравнению с тем, что уже было. И когда! — в первой половине прошлого века!

И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей.

Знаете, кто это? Нет. Это Николай Михайлович Языков. Нет-нет, Шумилов, здесь вы не правы. Дело не в первом глаголе и не он его придумал, тогда так говорили. Похоже, будто он тащит вас тралом? Ну, это пожалуйста, сколько угодно. Главное во втором глаголе. Соловей в здыха л. Я прямо-таки ахнул, когда впервые натолкнулся на это.

— Виталий Андреевич, — опять поднялся Лаптев, — можно, я еще строфу?

Соловьи монастырского сада,  
Как и все на земле соловьи,  
Говорят, что одна есть отрада  
И что эта отрада — в любви.

— Молодчина! — похвалил Суханов. — А какая человеческая интонация! Чьи? Если не знать — не угадаешь. Северянина.

— А посвящены Рахманинову, — с некоторой гордостью добавил Лаптев.

Перерыв со своим двойным электрическим треском прошел уже давно. Нужно было заканчивать. Суханов снова мельком выглянул — Люся опять читала книжку. «Кажется, Сименон, — вспомнил он. — Тогда ничего».

— У меня есть маленькая внучка, чуть старше года, — неожиданно сказал он.

— Вы дед? — с нарочитым изумлением спросил под общее оживление высокий девичий голос.

— Да, и вы знаете — она ко мне очень привязана. И вот как-то раз ее внесли на руках в мой кабинет, а я лежал на диване и читал. Так она не хотела воспринимать меня лежащим, не желала этого понимать, нарочно смотрела мимо. Так и с этим бедным вздыхающим соловьем. Теперь-то мы восхищаемся, мы знаем все, что было потом, и не такое еще. Но тогда этого, конечно же, не могли и не хотели понимать и принимать. Это как бы из нашего века.

— Виталий Андреевич, разрешите вопрос тоже по поводу птиц, — сказал один из парней, не очень ему знакомый. — О кукушке. Ведь когда хлеба наливаются, кукушка больше не кукует — говорят, колосом подавилась. А у Николая Рубцова написано: «Коротаем осень меж болот» — и тут же: «Не кричи так жалобно, кукушка». Как понимать?

— Есть, по-моему, ложные кукушки, — разъяснил кто-то.

— Но не те дрозды, не полевые?

— Затрудняюсь ответить, — улыбнулся Суханов. — Не такой уж я орнитолог. Но сегодня же позвоню Василию Михайловичу Пескову, спрошу, если, конечно, он в городе... Ну что же, всё? Или еще вопросы?..

— Виталий Андреевич, есть ли бог?

В аудитории засмеялись.

— Бог? Что вы имеете в виду под этим понятием? Нравственное

начало в жизни или некие силы, законы, фактически управляющие мирозданием?

— Силы.

— Разумеется, есть очень многое, чего мы не знаем и постепенно открываем, даже на Земле. Разумеется, все более, и чем дальше, тем быстрее, будут расширяться рамки вторжения во Вселенную. Узнать, открыть предстоит еще необыкновенно много. Инопланетяне и прочее — это все будет. В этом нет сомнений, беда в другом. Вот, грубо говоря, каждый из нас состоит из каких-то клеток и микрочастиц. Так вот, если даже предположить, что такая клетка мыслит, она мыслит только в своем измерении, в своем же круге, и не может знать, что сама является составной частью, скажем, Шумилова, не в состоянии его увидеть целиком именно по этой причине. Так же не только наша Солнечная система, но и окружающие галактики являются мельчайшей частью чего-то еще более грандиозного, живущего и находящегося как бы в другом масштабе, о чем мы можем лишь догадываться. Это основная трагедия человечества на пути к познанию.

— Мудрено, — сказала со вздохом одна из девиц. — И почему-то грустно.

— У физиков есть выражение: «Эта теория недостаточно сумасшедшая, чтобы с ней всерьез считаться», — спокойно ответил ей Суханов. — Боюсь, что и у меня все слишком ясно...

Пора было идти, но что-то словно удерживало его. Словно ему жалко было с ними расставаться. И они это чувствовали.

— Расскажите еще что-нибудь, Виталий Андреевич! — попросил Лаптев.

— Рассказать? — Он взял сухую, пыльную от мела тряпку, стер зачем-то призыв о сдаче денег Шумилу и задумался.

Далеко за окном, за сквером звучал город, доносились слабо обрывки песен, это опробовали уличные репродукторы.

И он впервые сегодня открыто позволил себе вспомнить о том, что не отпускало его все эти два часа — с момента, как он увидел стенд фронтовиков в коридоре.

— Хорошо, — сказал Суханов, — я вам расскажу одну историю. Одну балладу. На прекрасной студеной северной реке стоял маленький районный городок. Это был старый городок, но в нем не было никаких достопримечательностей. А вот поблизости находился не старый, а старинный городок, еще меньше и тише, но именно он отнял у первого всю славу — там был музей ссыльных революционеров и два замечательных собора, хотя последнее обстоятельство стало цениться гораздо позднее. А в том городке, о котором я рассказываю, — ну ничего. Кроме реки, чистой, широкой, металлически-серой, какие бывают только на Севере. И вдруг в одной семье рождаются два мальчика. Близнецы! И представляете, они тоже становятся городской достопримечательностью. Его гордостью. Ведь раньше там близнецов не было. Это вообще не такое уж частое явление. А близнецы оказались без обмана — как один. Не только отец — мать не различала. Ну, вы знаете, в детстве принято одевать близнецов одинаково. Однако времена были трудные, со снабжением худо, и матери не всегда это удавалось. Но они что придумали — начали надевать вещи друг друга нарочно, чтобы запутать. Особенно когда пошли в школу. Директор даже однажды приказал им иметь каждому какую-нибудь приметку: прическу, скажем. Они не согласились: «Это нарушение Основного Закона...» — Он засмеялся: — Ну стервецы!.. В школе и на улице если их били, то только обоих, на всякий случай. Но они умели за себя постоять. Исключительно дружные были братья. Потом они выросли, стали юношами. И вот девушка, хорошая девушка, она была приезжая, гостила у родственников, понравилась одному из них, он гулял с ней, сидел однажды, обняв, над рекой, и тут они увидели второго, и она не поняла, кого же из них она полюбила. Хотя в принципе это, вероятно, не имело значе-



ния, если она не различала их. Она сказала: «Вам нужно разъехаться!» Они только посмеялись. Они смотрели друг на друга как в зеркало... В одинаковое их одели в сорок первом году. И в полку, куда они попали, они тоже были какое-то короткое время достопримечательностью. Командиру роты очень нравилось, что у него два одинаковых солдата. Но ведь не до этого было. Прибыли на фронт, и одного тут же ранило. Отправили в тыл. Потом второго — тяжелое ранение в кость, в ногу. Завезли черт-те куда, в Сибирь. Госпитали тогда большей частью помещались в школах, палаты — в классах с такой же доской. За окном снега, мороз. Первый вернулся в свою часть, второго — нет. А второй лежал семь месяцев, потом под Сталинград.

В аудитории стояла ничем не прерываемая тишина. Суханов вдруг заторопился.

— Они бы совсем потеряли друг друга, если бы из дома им не писали — кто где. Потом опять их обоих ранило, а одного дважды. А война — к самому концу. И вот приходит ему, ну, какая разница, тому, которого в ногу, уже после войны, сразу после войны, в самые радостные дни, письмо из дома. И сообщает ему отец, не мать, а отец, что получена ими казенная похоронка и еще письмо от друга, что пал его брат Валентин смертью храбрых и похоронен в Венгрии в братской могиле на окраине города Чаквара. И страшно поразило, что похоронен он именно в б р а т с к о й могиле. Да. А второй брат вернулся домой к родителям, побыл немного и уехал учиться. Второй близнец. Собственно, один — он уже перестал быть близнецом. Вот так.

Теперь он открыто подошел к окну, знаком показал Люсе, что идет. Никто и не посмотрел в ту сторону.

— Значит, обо всем условились, — сказал он, взял «дипломат», который так ни разу и не раскрыл, громко попрощался и вышел.

Внизу на вахте был Иван Афанасьевич — видать, только заступил. На полувоенной гимнастерке сверкала белая крупная медаль «За отвагу» еще старого образца, до февраля сорок третьего, на маленькой красной колодочке. Суханов всегда уважал боевые солдатские награды и не был подвержен в этом смысле сдвигам моды, но он считал, что им место на гимнастерке или кителе, а не на кожаном пиджаке или замшевой куртке.

— С праздничком, Виталий Андреевич, — сказал вахтер, поднимаясь. — С наступающим...

— И тебя тоже, Иван Афанасьич, с нашим солдатским, — ответил Суханов, приобнимая его одной рукой за плечо. — Только не с праздничком. Праздник это! Разница ясна?

— Все понятно, Виталий Андреич.

Люся похаживала около «Жигулей», как ямщик вокруг застоявшейся тройки, одновременно с нетерпением и достоинством. А от калитки вышагивал замдекана Петр Михайлович с туго набитым портфелем, он еще издали махал свободной рукой и, приблизившись, торжественно выкрикнул: «Доблестному воинству!» — протянул руку, но тут же, саовно опомнившись, отдернул ее и дощечкой подал Люсе:

— Сначала с дамой.

Суханов бросил свой вишневым плоский чемоданчик на заднее сиденье и с чувством усталости сел рядом с женой.

— Пристегнись, — приказала она строго и стала выруливать со двора. — Все хорошо?

Он сидел справа от нее, испытывая блаженное облегчение. Он был, как всегда, еще несколько возбужден лекцией. Больше, чем всегда.

Люся плавно вела машину. Откуда это пошло? От подсознательного желания мужчины доверять женщине, жене? От стремления женщины самоутвердиться? Но водила она хорошо — в меру осторожно и в меру решительно. И еще умела выбирать удивительно верный тон в разговорах с инспекторами ГАИ при мелких нарушениях.

— Я ехал сегодня в троллейбусе, впереди сидят двое малых, и один другому что-то рассказывает. Вдруг слышу — говорит: «Взял ее за абордаж». Что он имел в виду, я так и не понял.

Она засмеялась:

— Вечно ты замечаешь какие-нибудь глупости.

— Куда едем?

— Сначала в Столешников. А потом мне нужно на Семеновскую, там в аптеке есть ноотропил.

— Там, где Семеновский полк, — сказал он.

— Что?

— Семеновский полк. А на Преображенке стоял когда-то Преображенский полк Петра. Я после войны, еще, по сути, солдатом в душе, ехал в трамвае и вдруг вижу: «Улица Девятая рота».

— Да, есть такая.

— Там, видимо, рота и стояла. Я прямо сойти хотел. А то, о чем я говорю, тот Семеновский полк находился в Петербурге. Баратынский **БЫЛ** в него зачислен в восемьсот девятнадцатом году.

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,  
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.  
Тихо жили они, за квартиру платили не много,  
В лавочку были должны, дома обедали редко.

Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,  
Шли они в дождик пешком в панталонах трикотевых, тонких,  
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели),  
Шли и твердили шутя: какое в р о с с и я н а х чувство!

— Это Баратынский?

— Нет, Дельвиг. Но с участием Баратынского. Шуточные стихи.

— Это я уж как-нибудь поняла. Даже то, что это гекзаметр.

— Я потрясен и вполне бы взял тебя в свою группу. И, без дураков, ты бы ее украшала. А каковы стихи! Вся картина, весь **БЫТ** в **ВОСЬМИ** строках!

Так они ехали по междупраздничной Москве в свежей зелени, красных флагах и фонарях в виде громадных гвоздик. Над улицей из репродуктора вдруг пробно прогремел хриловатый голос Бернеса: «Эх, путь-дорожка фронтная, не страшна нам бомбежка любая» — и тут же прервался.

— Пушкин писал когда-то, кажется в «Метели», о возвращении нашей армии из Франции после победы над Наполеоном: «Музыка играла завоеванные песни». «Да здравствует Генрих Четвертый», тирольские и что-то еще. Правда, здорово — «завоеванные песни»? А мы пели свои, да и сейчас поем тоже. Ну что там слышно у них?..

— Я всегда дивилась твоей памяти. — Она мягко остановилась у светофора и так же мягко двинула машину дальше. — Звонят утром: мебель не устанавливается. Валька одно, Рита другое. Знаешь, есть такая четырехугольная игрушечка, забыла, как называется, где квадратики с цифрами нужно расположить по порядку? У одних сразу получается, у других никак. Так и с мебелью. Тьфу, опять только направо... Я им по телефону: «Не помещается? А вы тахту к другой стене, а шкаф на ее место. А стол не посередине, а по диагонали». Звонят: вроде выходит.

Он восхитился:

— Вот это класс! Ты как шахматист, играющий, не глядя на доску...

Он поерзал, невольно ища удобного положения, слегка развернувшись корпусом к ней, наискосок перехваченный ремнем.

— Ты чего? — спросила она, отметив это мгновенно.

Он медленно стал опускать руку в карман и вынул тонкую стеклянную трубочку с нитроглицерином.

— Ты чего такой бледный? — крикнула она.

«А ты?» — хотел спросить он, но тихо сказал вместо этого: — «Там, где Семеновский полк...»

Молодой бравый постовой, пружинисто похаживающий по осевой и ритмично помахаивающий пестрым, черно-белым жезлом, полный возмущения, потрясенно засвистел, увидев, как почти на него круто вырывают через сплошную линию бутылочного цвета «Жигули».

Большеглазая осунувшаяся женщина крикнула, опуская стекло: — Срочно нужна реанимация!..

### Из бумаг профессора Суханова

#### 1. Письмо (оригинал).

Дорогой сын Виталий!

Пишет тебе твой отец Андрей Иванович. Худую сообщая тебе весть. Получили мы с матерью извещение-похоронку, что наш дорогой сын Суханов Валентин Андреевич пал 16 марта 1945 года в бою и похоронен в братской могиле на окраине города Чаквара в Венгрии. Командир его и заместитель по политчасти пишут, что мы можем гордиться таким сыном, которого воспитали. А через два дня пришло письмо от Валиного друга сержанта Пинаичева Алексея, который описывает, что было очень тяжелое сражение у озера Балатон и Валя наш был убит наповал осколком снаряда в голову, совсем не мучился. Он прислал две фотокарточки, одна где вы вместе перед войной, и еще с этим сержантом Пинаичевым Алексеем. Мать день и ночь плачет, писать не может. Я пишу, рука дрожит, почерк свой не узнаю совсем. Напиши, Виталий, поскорее, успокой нас о себе. Всю войну промучились, и в конце такое горе.

Кланяемся тебе.

Твой отец и мать Сухановы.

#### 2. Письмо (оригинал).

Здравствуй, Виталий!

Это пишет тебе Люся Дроздова, если, конечно, ты такую помнишь. После долгого перерыва я приехала снова на несколько дней к тете и узнала, что Валя погиб. Я никак не могу поверить в это. Мы переписывались с ним почти полтора года, но потом он перестал отвечать на письма и мне сообщили из части, что он опять ранен, и больше он не писал. Я была дома у ваших родителей, и они дали мне твой адрес и сказали, что ты поступил учиться в Москве.

Коротко о себе: была в эвакуации, оканчиваю медицинский институт. Куда распределят, неизвестно, но хотелось бы в отдаленную область страны. Мой дядя и двоюродный брат Станислав, которых ты знал, тоже погибли. Какое страшное время нам пришлось пережить!

Мне бы очень хотелось повидаться с тобой, посмотреть на тебя, хотя бы недолго. Если это возможно, напиши, пожалуйста. Я поеду обратно через Москву.

Если не захочешь или не помнишь меня, можешь не отвечать, я не обижусь.

26/ХІ-1946 г.

Люся.

#### 3. Заметки к семинару (ориг.).

Вопрос: Какое слово в стихотв. «Там, где Семеновский полк...» откровенно лишнее? «Шутя»! Ведь это и так ясно.

Типичный пример столь распространенного в литературе недоверия к читателю.

4. (Отдельный лист)

«Лебедь тешится моя» («Сказка о царе Салтане»).

5. Из письма другу Чугунову Л. И. (черновик), осень 1965 г.

...Вместе с женой и сыном ездил хоронить отца. Отец умер в одночасье дома, лег перед ужином на диван, задремал и не проснулся. Счастливая смерть. Ему было шестьдесят девять лет. Всю жизнь он проработал в судоремонтных мастерских. Через его руки прошло множество речных судов самых разных систем, с самыми причудливыми названиями.

Были и причитания, и слезы матери, и долгий рокот по всему городу духового оркестра, от чего мы давно отвыкли в столицах, и речи, и свежая могила в венках, и поминки. Все как положено. Но тяжелее и страшнее всего — первая весть и дорога туда, ожидание всего перечисленного. Это сначала. Ну а потом — не сразу — другая, уже столь знакомая мне полоса: бесконечные воспоминания, возвращения — только еще острее — в детство, в юность, в мой город, в мою судьбу — уже навсегда...

---

Примечание. Архив профессора Суханова В. А. пока еще почти не разобран.



---

МАРК СОБОЛЬ

★

## ТРЕПТОВ

*Рассказ*

**К**ажется, перед Трептовом был Деммин. На путевых указателях название этого городка то через два «м», то через одно. Не знаю, как правильно; солдаты называли его Дёмин. Сколько таких промелькнуло — аккуратных, игрушечных, почти не тронутых войной немецких населенных пунктов. Мы, армейская редакция, задерживались в них лишь потому, что на ходу печатать газету затруднительно. А сегодня в том отделе мозга, где откладываются воспоминания, у меня вообще вся Померания перепуталась. Кроме, конечно, Трептова.

Он был уже весь на виду, когда мы влипли в дорожную пробку. Меня, младшего по званию, послали поглядеть, что там делается впереди, у моста.

На въезде застряла телега. Асфальт кончился метров за двести до реки, но и он был вдрызг раздолбан танками и тягачами. Дальше начиналось месиво. Тяжело нагруженную телегу старались вырвать два здоровущих битюга явно иностранной породы. А на возу надрывался маленький пожилой обозник, багровый от натуги. Хлестал битюгов кнутом, остервенело дергал вожжи и орал, перекрывая рев клаксонов и всеобщую ругань:

— Цурйк! Цурйк, твою мать!

Шоферы кричали по-гусиному: «Вагу, вагу!» Вага — это, если по науке, рычаг первого и второго рода, а вообще-то обломок ствола, бревно или оглобля — словом, любая штукавина, которую можно концом подсунуть под телегу или машину и сдвинуть груз.

После такой дороги приятно было оказаться в чистеньком, уютно обихоженном городке, где каждая плитка тротуара влажно поблескивает после утреннего омовения. Еще идет война, в Берлине рвутся снаряды и обрушиваются дома, мучаются и гибнут наши ребята. А тут по утрам чуть солоноват легкий, с холодинкой ветерок — полтора перехода до Балтийского моря, — вовсю цветет сирень, и мы трудно отвыкаем от долгой-долгой сумятицы фронтového бытия. Лично для нас война, постепенно затихая, кончилась неделю назад.

В Трептове мы живем какой-то двойной жизнью.

Едваходишь в редакцию, тебя оглушают сводки, сообщения ТАСС, астрономические цифры потерь противника в людях и вооружении, нерусские названия городов, железнодорожных узлов, форсированных рек... Чуть ли не каждый день в Москве гремит салют, а то и по три сразу. Первая полоса газеты — сплошь из набранных жирным шрифтом документов славы, подписанных именем генералиссимуса. С утра по радио чеканный голос Левитана; ночами его размеренно дублирует начисто лишенный интонации диктор: «Овладели городом Нойхаммер. Передаю по буквам: Николай, Ольга, Иван краткий...». Здесь мы еще на фронте — в третьем или четвертом эшелоне.

но все-таки на войне. Кажется, будто за окном обгорелые здания, ошметки дыма, горький, душный запах отгрохотавшего боя.

А выйдешь на улицу, особенно после ночного дежурства по номеру, — тишина, птички, понимаете ли, чирикают, дышится великолепно... Прелесть! Только не во сне ли это? Странное ощущение тверди под ногами: мы привыкли, что земля вздрагивает. Хочется постучать копытом, убедиться, что она — такая — реальна.

Пока еще не пришел день, который история навеки утвердит Днем Победы (именно так было произнесено еще в сорок первом), пока длится Великая Отечественная, наша жизнь здесь какая-то... неестественная, что ли. Колеблются, порой чуть не рушатся выработанные сами собой за годы войны устои.

Вот, к примеру, еду на редакционном «виллисе» в гвардейскую часть. Навстречу по обочине шагает немецкий солдат. Почему я не хватаюсь за пистолет? И немец, черт его побери, идет не таясь. Пистолет в руках, ремень под пузом. Володька Турбаев, шофер, все-таки тормознул.

— Стой! — кричу солдату. — Куда маршируешь?

Этот старый фриц — взмокшие сивые волосенки, почти лысый — ничуть не смутился, даже осклабился:

— Нах хаузе. (Я про себя перевел — «до дому».)

— Ты что — пленный?

— Никс пленный.

— А где твоя часть? Дайне батальон?

— Капут.

— А ты хенде хох?

— Никс хенде хох. Нах хаузе.

Спрашивается, что мне с ним делать? Он же все-таки противник, его надо в плен брать. Фашист он, гитлеровец, хотя произносить эти слова ему в лицо мне почему-то неловко. К тому же я выполняю срочное задание, денек выдался на славу, немец старый и безоружный, да и вообще я газетчик... Поехали, Вовка!

Немец только лапкой помахал вдогон, как доброму дальнему знакомому: «Видер...». Даже «ауфвидерзейн» не выговорил, обломок третьего рейха!

Пишу сейчас и ловлю себя на том, что вспомнился он мне впервые за тридцать пять лет.

Я уже сказал, что был в редакции младшим по званию. Я принадлежал к сержантскому составу. В нашем боевом коллективе на мои беззвездные плечи почти не давил гнет субординации, однако если наступала праздничная дата или предстоял масштабный сабантуй, дежурить по номеру неукоснительно назначали меня. Правила очередности были не для меня писаны.

Поэтому когда дежурство выпадало на обычную, ничем не примечательную ночь, я всякий раз подозревал, что это неспроста: либо в мое отсутствие решаются какие-то на высшем уровне вопросы, либо товарищи-офицеры разжились трофейным ромом.

Вечером 8 мая 1945 года я, наоборот, был уверен, что ничего существенного не произойдет. Конечно, мы ждали грандиозных вестей с часу на час. Но если б хотя бы дыхание великого мига Победы, хотя б слухок о предстоящей капитуляции донесли в Трептов, черта с два я бы дежурил по номеру! Кто уступил бы мне честь лично отправить в набор историческое сообщение? Вся редакция толклась бы в радиорубке капитана Чистова, все ходили бы с расстегнутыми кобурами, готовые по мановению волшебного слова разрядить в Млечный Путь обоймы трассирующих. Нет, нынче предстоит длинная и хлопотливая ординарная ночь. В пятом часу утра я пошлю готовые полосы редактору, он окинет их сонным оком и подпишет, а дальше мне остается гадать: явится ли «свежая голова» вычитывать утренний номер дейст-

**вительно свежей или придется совать эту голову под водопроводную струю?**

В ту пору мне все было еще в новинку: рабочая суета, празднество создания газеты, когда из разрозненных обрывков гранок выстраивается четкий, отлаженный номер. Меня пьянил дух типографии, я смаковал похожие на имена героев Александра Грина слова: гарт, реал... Дразнила острая смена запахов: типографский металл, окалина — и трофейные духи вольнонаемной корректорши. Потом мне все это поднадоест, но тогда я еще не знал, что после победы по приказу командующего нацеплю на погоны серебристые звездочки и застряну в редакции на три с лишним года...

Я носился из комнаты в комнату — а на берлинском аэродроме уже приземлились самолеты, проехали в Карлхорст делегации союзного командования. Кейтель-лакейтель помахал коротким жезлом, воображая, что он все еще регулировщик. Я ругался с метранпажем — а в просторном зале бывшего военно-инженерного училища побледневшие гитлеровцы уселись за невзрачный, на три персоны отдельный столик. И, может быть, уже клюнуло бумагу дрогнувшее перо, чтобы готическим шрифтом удосконалить акт о безоговорочной капитуляции, — та самая ручка, которую потом, если верить легенде, умыкнул один известный наш писатель...

Капитан Чистов не вошел — он возник. Никогда не снисходил он со своей эфирной вышки, дежурные и курьеры бегом поднимались к нему. Все, кто был в комнате, вскочили. Не знаю, как выглядела немая сцена, но отчетливо помню, что она была. Никто ни о чем не спросил — все замерли в ожидании одного слова. Только одного. И оно прозвучало.

— Да, — сказал капитан Чистов.

Все дальнейшее ясно вижу лишь с той секунды, когда я очнулся как после контузии. Кто-то кричал «ура», кто-то плясал, зареванная корректорша оттирала с моей щеки губную помаду. Со всех редакционных окон были содраны маскировочные шторы (потом мне за это попало). Загрохотали лестницы, на улице затрещали выстрелы. Донесся и тут же окреп ликующий шум; на мгновение показалось, что я в Москве во время салюта. За войну мне довелось лишь единожды побывать в Москве — после госпиталя; салютов на мои семь суток не выпало...

Робко, по одному стали высвечиваться цивильные окна Трептова.

Я все-таки довел номер до конца, никому не уступив этого права. Немалых сил стоило хотя бы выглядеть деловитым. Победа! Победа! И я к ней лично причастен! Именно я дал команду воплотить ее в печатное слово, я здесь первым назвал ее по имени, я вычитал первые гранки новой эпохи!.. Голова у меня, по необходимости трезвого, кружилась.

Как только загремела ротационка, братья-славяне поднесли победную чару; я вышел на улицу в состоянии, сказал бы сейчас, невосомости. Навстречу бежал толстый немец и восторженно вопил на весь Трептов: «Дер криг цу энде!» Конец войне! Случилось невероятное — мы расцеловались.

Легчайшее чувство беззаботности охватило меня. Все! Теперь — все! До этой минуты по саперному своему прошлому я твердо знал закон: захватил высоту — закрепись! И вот наконец мы на такой вершине, где ни черта не надо окапываться.

Поумнеть мне пришлось в тот же день. Точнее, не то чтоб сразу поумнеть, но всерьез насторожиться.

Я только еще намеревался, как говорится, придавить минуток шестьсот после бессонной ночи, когда вошел Володька Турбаев: машина подана, прошу садиться! Подполковник Борис Сергеевич Рюриков требуют немедленно к себе.

— Противник получил приказ о капитуляции в семь ноль-ноль.—

Мой редактор обожал военную терминологию.— Сборный пункт: пятнадцать километров юго-западнее Трептова. Ваша зарисовка пойдет прямо в номер.

Приказ отступан, теперь можно расслабиться.

— Хорошо бы,— мечтательно сказал редактор,— неплохо бы найти какого-нибудь ихнего боевого офицера, разочаровавшегося в Гитлере и фашизме. Такого, что выполнял служебный долг вопреки собственной совести. Если убедительно раскается — на все про все дам, не пошплюсь, три колонки подвала...

Сегодня в семь утра... Я посмотрел на часы: было уже четверть десятого.

Немцы капитулировали четко, словно они заранее отрепетировали, отмуштровали эту процедуру по всем правилам. На разостланные плащ-палатки ложились один к одному фаустпатроны и пистолеты, в кузова грузовиков аккуратно складывались автоматы. Наши ребята принимали под расписку ценные личные вещи: кучками, тоже на плащ-палатках, вырастали подобия муравейников из часов, медальонов, колец. Это происходило, так сказать, по инициативе снизу: немцы не без основания опасались, что их в плену раскурочат — может, свой брат, а может, и рус иван; отовсюду тихонько шелестело: «Сибир, Сибир...». Никакой охраны, по сути, не было, но гитлеровцы — впрочем, какие уж сейчас они гитлеровцы, — сдав оружие, никуда не разбрעדались, теснились на полянке; несмотря на команду «вольно», солдаты сохраняли подобие строя. Ничего не скажешь, дисциплинка на высоте.

Я заметил, что младшие офицеры потихоньку стреляют у славян сигареты. Мне эта мелюзга не годилась. Мне нужен был офицер и рангом повыше и по экстерьеру крупнокалибернее — редактор точно поставил задачу: добыть боевого! Вот этот высокий молодой майор с бурым от загара лицом — когда и где успели его обработать солнце и ветер? — был бы в самый раз. Держится вроде бы в тени, но властно — тут его явно слушаются. Разочаровался ли он в Гитлере? Непохоже. Слишком спокоен. На виске и около подбородка следы, как от сабельных ударов. Видно, тот еще рубака, дуэлянт в юности, матерый волк в зрелые лета. Для подвального трехколонника ах как подошел бы! Рискнем?

— Герр майор, их бин...

— Вам, наверно, легче говорить по-русски.— Майор вежливо поднес два пальца к козырьку. — Я знаю этот язык.

Как берут интервью у вчерашнего противника? Мне и со своими ребятами не сразу удавалось попасть в яблочко: журналистского опыта кот наплакал. Начинать с анкеты, или, как говорят в армии, с социодемографических данных, тут не в жилу — нарушится контакт. Майор покосился на мой блокнот. Может быть, ухмыльнулся, но я этого не заметил. Он смотрел на меня равнодушно и как будто уважительно. Это был хорошо воспитанный офицер.

— Когда вы получили приказ о капитуляции?

— Сегодня в семь утра.

— Как лично вы восприняли его?

— Приказ есть приказ. Я военный в третьем поколении.

— Тем более. Для вас это катастрофа.

Майор спокойно согласился: да, катастрофа. А понимает ли он, спросил я, кто привел к ней Германию, задумывался ли он над этим?

И тут майор меня восхитил. Он четко, как бы отдавая рапорт — правда, негромко и неторопливо, — перечислил мне виновников всех бедствий немецкого народа: Гитлер, фашизм, мировой империализм. Нападение на Советский Союз — ошибка, если не преступление. Гитлеру следовало брать пример не с корсиканца Бонапарта, а с пруссака Бисмарка — тот предостерегал: не сорьтесь с Россией! Военные



существуют для того, чтобы охранять мир, и вообще есть войны справедливые и несправедливые...

Я недоумевал: марксист он, что ли? Успевая записывать, я изредка подбадривал его направляющими вопросами. А он размеренно шпарил прямо-таки на передовицу нашей газеты, вставляя привычные мне лозунги и цитаты. Весьма подкованный товарищ, совсем уж весело подумал я, однако мне пора закругляться. Материал идет в сегодняшней номер.

Чтобы подвести черту, у меня оставался один-единственный вопрос. Его я и задал:

— А когда вы все это поняли?

— Как когда?! — Майор вскинул на меня не по-арийски темные глаза. Он словно бы не ожидал от меня такой наивности. Он демонстративно изумился. И, глядя мне прямо в переносицу, коротко отчеканил:

— Сегодня в семь утра!

Два пальца под козырек, поворот кругом. Мне оставалось лишь козырнуть ему вдогонку.

Подполковнику Рюрикову я доложил, что желаемый офицер среди сдавшихся немцев не обнаружен.

Вечером 9 мая ребята палили в звездное небо, ликовали и пели, а мне трофейный шнапс вдруг показался горек и не пьянил.



---

САВВА ДАНГУЛОВ

★

## ЗАУТРЕНЯ В РАПАЛЛО\*

Роман

**В**от материал для раздумий, Николай Андреевич: какими путями должен идти художник, чтобы, оставаясь подданным своего времени, стать и гражданином грядущего? Для Моцарта это трагическая материя, причины трагедии здесь. Заметьте: современники отвернулись от него в тот самый момент, как он написал многое из того, что заслужило признание потомков. Страшно сказать: исполнилось худшее из предсказаний Леопольда Моцарта, отца композитора, заклинавшего сына не порывать с тем, что он называл традицией, и грозил сыну худшей из кар — забвением современников. Горько сознавать: общая могила, могила бедняков, в которую опустили тело гения, стала на годы и годы могилой забвения... Моцарту дорого стоило его стремление быть понятым потомками, быть может, далекими потомками, но он шел на это: поздний Моцарт, как мне кажется, лучший Моцарт, при внешней простоте был сложен. Это сложность первооткрытия, сложность новизны... Пусть разрешено будет мне раскрыть смысл такого парадокса: тему скорби, нет, не личной, а мировой, влияние которой испытывает человек на длинном пути от одной зари до другой, Моцарт показал во всей мощи, не отняв у нас веры в будущее, больше того — эту веру вызвав, а вместе с нею и радость. Это и в самом деле парадоксально: у Моцарта скорбь участвовала в рождении радости? Да, пожалуй, так, и в этом немалое новаторство композитора. Оно тем более значительно, что обращено к человеку, складу его души, психологии. Помните, мы говорили о близости Моцарта к Рембрандту? Так разрешите мне высказать и иное. Наверно, с этим согласятся не все, но я вижу в Моцарте предтечу великих романистов девятнадцатого века. Да нет ли тут усиления: скорбь участвовала в рождении веры? Да, именно веры, которая является родной сестрой подлинной революционности. По мне, Моцарт не просто созвучен революции — он ее храбрый глашатай...

У драматического действия, которое вынесено сегодня на подмостки Генуи, новый герой: Уркарт.

Если быть точным, то он, этот герой, не очень-то нов. Больше того, в веренице делегатов, избравших своей резиденцией виллу «Альбертис», его место едва ли не рядом с Ллойд-Джорджем. Даже как-то не очень понятно, что старый валлиец прибыл в Геную без Уркарта. Нет, во всем сказанном нет усиления.

Уркарт — сиятельный британец, знающий толк в южноуральских землях. Эта женская рука, тонкая в запястье, обнаруживала силу, когда надо было удерживать южноуральские земли, впрочем не только

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

ожноуральские: движения хрупких пальцев было достаточно, чтобы колчаковское воинство полонило Сибирь,— душой похода был Уркарт...

Конечно, Уркарт мог и не приезжать в Геную, ибо его приезд сюда — зримое свидетельство того, что скорострельная артиллерия не лучшее средство для разговора с новой Россией.

Но Уркарт приехал, и к тому же не скрыл своего приезда.

Что это могло бы значить?

— Вчера мне сказали, что Лесли Уркарт приехал в Геную едва ли не по подсказке Черчилля... Этому можно верить, Георгий Васильевич?

— Вы слышали притчу о Клеоне и Алкивиаде?— Он хлопнул ладонью по столу.— Нет, что ни говорите, а этим зловредным тори нельзя отказать в меткости глаза: истинно Клеон и Алкивиад!

— Ллойд-Джордж и Черчилль?

— Да, их политическое побратимство: знатный афинянин Алкивиад, перебежавший к спартиатам, не прототип ли Черчилля, а протолудин Клеон, сын сапожника и сам сапожник, не слепок ли нашего героя?... Но вот вопрос: не в союзе ли Ллойд-Джорджа с нынешним Алкивиадом таилась погибель Вавилона, того самого Вавилона, над сооружением которого без устали хлопотал старый валлиец всю жизнь?— Чичерин открыл ящик, и на стол лег лист бумаги, на ярко-коричневой поверхности стола лист очерчивался особенно четко.— И вот итог, как мне кажется, закономерный: к концу войны тори раздели либералов, оставив их в чем мать родила, раздели на глазах честного народа, и народ, как говорят записные политики, не заставил себя ждать — он отказал либералам в поддержке. Но тори продолжали дуться на Черчилля — известная притча о Клеоне и Алкивиаде никогда не была так популярна, как в эти дни. Они продолжали поносить Черчилля и предавать его анафеме, а ведь им надо было его благодарить: никто больше его не сделал, чтобы превратить британских либералов в консерваторов, а существо процесса, пожалуй, было в этом — пока продолжалась война, либералы предали забвению прежде всего принципы либерализма, при этом Ллойд-Джордж выступал не столько как либерал, сколько как консерватор...

— А приехал в Геную в каком качестве?..

Чичерин встал — это мой вопрос заставил его подняться. Даже человечески было интересно: что побудило старого валлийца приехать в Геную и как было сообразовано это его желание с тем главным, что он начертал на своем партийном штандарте?

— Если мне будет позволено обратиться к образу, который так любили наши отцы, то я скажу, что своей лебединой песнью Ллойд-Джордж хотел бы сделать Геную.— Георгий Васильевич засмеялся, запрокинув голову, да так далеко, что клинышек его бородки устремился едва ли не в зенит.— Нечего сказать: старик знает толк в прекрасном, если прибыл на берег Лигурийского моря, чтобы пропеть эту свою песнь...

— Ллойд-Джордж — Черчилль — проблема проблем?

— Англия, бывшая очевидицей самых невероятных союзов, тако-го, казалось, не видывала, и Черчилль это понял,— сказал Чичерин.— Он своеобразно титуловал Ллойд-Джорджа, назвав его лучшим боевым генералом либеральной армии, а чтобы это не прозвучало голословно, как бы породнился с ним, пригласив его быть посаженным отцом на своей свадьбе...— произнес Георгий Васильевич, пододвинув лист, он смотрел в него как в зеркало, все, что хотел сказать, должен был увидеть в этом зеркале.— Казалось, Ллойд-Джордж обрел завидную возможность сделать из тори либерала. Первое время все выглядело именно так. Призыв к реформам, всесильным реформам, сообщил деятельности Черчилля и содержание и страсть. Однако это продолжалось лишь до тех пор, пока грозный лик войны не возник на небо-

склоне. Короче, пока либерал обращал тори в свою веру, последний тоже не терял времени даром... Дело кончилось тем, что доверие между тори и либералами достигло такого уровня, что главой правительства, которое теперь представляло две партии, стал Ллойд-Джордж... Не исключаю, что Черчилль этому процессу способствовал немало. Если и этот факт сравнить с соответствующим прецедентом знатного прошлого, то на память придет тот деревянный конь, с которым греческая легенда связывает падение Трои...

— Это как же понять: половинчатость не признак силы?

Чичерин задумался.

— Да, вступило в действие известное правило: побеждает цельность и, пожалуй, целеустремленность. Хотя тори были и порядочными ретроgrадами, они были в известный момент бескомпромисснее, а поэтому сильнее...

Чичерин обратил все в шутку, но в этой шутке был свой большой смысл: конечно, Ллойд-Джордж приехал в Геную, чтобы решить проблему, которая была не под силу даже всеильному Версалю. Эта задача была главной, и старик не покладая рук работал над ее решением. Но рядом с этой задачей была вторая, хотя и личная, но для валлийца не менее значительная: Генуя должна была вернуть старому либералу его прежнюю шерсть, которую, казалось, он сбросил окончательно. Это понимал Ллойд-Джордж, но это в не меньшей степени было доступно и Черчиллю — не исключено, что Лесли Уркарт, явившийся нынче в Геную, в сущности, был черчиллевским лазутчиком и призван был не столько осведомиться о происшедшем, сколько предупредить происходящее...

По мере того как приближается встреча в доме Маццини, бес, поселившийся в душе моей дочери, начинает тихо бунтовать. У этого бунта определились свои циклы, поэтому есть смысл проследить за ними — иначе, пожалуй, мою дочь не поймешь.

В преддверии встречи с турецкой делегацией в Санта-Маргериту пожаловал гонец из Стамбула и вызвал переполох. У него была алая, как босфорская вода на восходе солнца, шевелюра и правильно округлый, подобный молодому месяцу на турецком штандарте нос. Рыжий турок! Да есть ли такие? Оказывается, есть, и наш гость был одним из них. Вопреки возрасту, почти юному, он был неторопливо сановен и осанист. Но вот незадача: он был безъязык по-русски, как, впрочем, по-французски и по-английски.

При виде этакого дива большой дом в Санта-Маргерите объяла легкая паника: где добыть бедным россиянам турецкий? Но замешательство продолжалось только минуту.

— А может, надо призвать на помощь Марию Воропаеву? — осенило Литвинова.

— Но показать Машу Воропаеву турку, не обрядив ее в чадру, не безопасно ли? — улыбнулся Чичерин.

— Вы находите, что в природе есть сила, которая может заставить Марию Николаевну надеть чадру? — улыбнулся Литвинов: он имел элементарное представление о характере Маши.

Короче: когда турецкий гость увидел рядом с русским министром толмача в гарусовом платье, турка точно подошло и его огненная шевелюра, казалось, мигом померкла. Но еще большее впечатление произвел на гостя турецкий Маша — она блеснула таким знанием стамбульского диалекта, какого турецкий гость в Европе не слышал. Пока турка сжигал пламень смущения, Мария не теряла времени даром. Она не без иронической упряминки взглянула на турка, не забыв задать мне дежурный вопрос:

— Какие ассоциации вызывает у тебя гость?

— Молодой Гейне, — ответил я не задумываясь. — Да, совсем молодой, времен «Книги песен». Литография Оппенгейма была после

— Люблю точность,— одобрила она.

Но итог этой встречи не очень-то воодушевил нас: когда пришла пора турецкому гостю покидать Санта-Маргериту, он недвусмысленно дал понять, что предпочитает это сделать не сегодня. А когда все-таки удалось с ним проститься, он показался вновь, правда уже с делегацией, которую своим приездом предварил. Турецкие делегаты говорили по-французски, можно было обойтись без Маши, но молодой был неукротим. Он дал понять, что ее участие обязательно, так как есть нужда в переводе турецких текстов, и в знак доказательства такие тексты предъявил. Все, кто наблюдал за происходящим, пришли в немалое смятение, раздумывая над тем, как отвадить турецкого гонца от гостеприимного дома в Санта-Маргерите, пока об этом не узнал энергичный Литвинов.

— Поручите это самой Марии Николаевне — лучше ее это никто не сумеет сделать, надо только предупредить ее, чтобы все, что она имеет сказать турку, не нанесло ущерба нашим отношениям с Кемаль-пашой,— заметил Максим Максимович: как было уже отмечено, он-то знал натуру Марии лучше остальных.

А суеверный Хвостов, для которого все относящееся к Маше имело особый смысл, произнес смятенно:

— Господи, откуда еще взялся этот басурман? Гоните его прочь, гоните!..

Одним словом, до сих пор остается тайной, что сказала Мария турку, но он вдруг забыл дорогу в Санта-Маргериту, при этом отношения с Кемаль-пашой не претерпели существенных изменений.

Так или иначе, а с этого самого дня образ жизни моей Марии в Генуе заметно изменился. Весь круг ближневосточных стран, говорящих по-арабски и по-турецки, занял в наших делах такое место, какого он прежде не занимал. Генуя нам представлялась средоточием европейских дел, поэтому восточный крен генуэзского судна был для нас неожиданным. По понятным причинам я счел необходимым предупредить мою девочку: «Не возомни, Мария, не переоцени сил своих!» К чести Марии надо сказать, что в переводах бесед, которые проходили в Санта-Маргерите, она дальше арабского и турецкого не пошла, хотя могла попробовать себя и в фарси — впрочем, несколько текстов с фарси она перевела, и безуспешно.

Конференция — это турнир знаний. Нет более популярных книг, чем энциклопедические словари, они все время в работе. Но иногда словарь выбрасывает белый флаг и молит о снисхождении. Тогда единственная надежда на живого человека. Мудрено выказывать себя, когда кругом сонм эрудитов. Но рыцарственный Чичерин всегда рыцарствен. Когда его одолевают вопросами, он вдруг произносит, и это звучит без тени иронии: «А почему бы вам об этом не спросить Марию Николаевну — держу пари, она ответит... Нет, нет, мне даже интересно, если вы проверите меня». Надо сказать, что при этих словах Чичерина Мария взрывалась: «Этого позора мне еще не доставало — зачем он это делает?» Но все заканчивалось благополучно для Маши, хотя моя дочь объясняла это случайностью, счастливым случаем да, пожалуй, добротой, которую старшие питали к младшей.

Мне в этом нелегко признаваться, но это суцая правда: иногда я ловлю себя на мысли, что мне трудно ей возразить, что ее несогласие повергает меня в уныние, а ее согласие воодушевляет меня. Иначе говоря, мы точно меняемся с нею ролями: моя кротость и моя податливость — это кротость и податливость не старшего, а младшего. В этом есть нечто необычное: Мария, которую я помню несмышленишем из несмышленишей, вдруг обрела надо мной власть, какой не имел надо мной никто, стала моим господином. В такую минуту я начинаю сомневаться в том, что в природе есть сила, способная влиять на нее или тем более ею руководить.

Впрочем, такая сила есть. Вошел в светелку, которую отвели Ма-

ше, как это было в поезде, на расстоянии трех дверей от меня, и увидел, как в ее руках захлопнулась книга, именно захлопнулась с такой быстротой и, пожалуй, силой, что фотография, лежащая в книге, выскользнула... Однако чем ревнивее ты бережешь тайну, тем она менее прочна: то была фотография молодого Рерберга. Надо знать мою Марию, чтобы понять: даже в столь безобидной форме она старается не признавать власть другого человека над собой. Но вот что любопытно: убедившись, что тайну сохранить не удалось, она раскрыла книгу, показав снимок.

— Ты взяла фотографию с собой? — спросил я.

— Как видишь, — ответила она, дав понять, что так же открыто и прямо готова ответить и на другие мои вопросы.

Вот рассказал и поймал себя на мысли: достаточно ли это серьезно, чтобы быть обращенным к ней, о ней ли я говорю? То, что зовется пафосом характера, то он иной. Какой именно? Если говорить о Марии, то он в математике восточных языков. Именно математике. Ключ, который она обрела в итоге этих расчетов, в какой-то мере математических, способен открыть многоступенчатый замок языков, возникших в этом секторе Средиземноморья. В том храбром самозабвении, какому она отдает себя, когда начинает колдовать над постижением нового языка, мне видится нечто фанатичное, что, наверно, есть в ее натуре.

Мне трудно быть беспристрастным, когда я думаю о Маше, но пусть мне будет разрешено сказать: ее знание языков может быть полезно и нашей науке и грешной наркоминдельской практике. Когда Георгий Васильевич говорит: «Спросите Марию Николаевну, она наверняка знает», он, надо думать, имеет в виду и это.

Но у самой Марии есть один бог, власть которого она признает и которому готова превозносить безмерно: Игорь. Это важно установить в преддверии тех испытаний, которые нас с нею ожидают, нас...

В шестом часу мы собрались к Маццини.

— Ты так и поедешь? — спросил я Машу, оглядев ее более чем будничным наряд — она всего лишь сменила свитер, вместо бордового надела черный.

— Так и поеду, а что? — едва ли не изумилась она.

— Нет, ничего.

Наверно, она хотела показать, что в предстоящей встрече для нее нет ничего чрезвычайного.

— Ты... не боишься, Мария?..

Ее левая бровь, в изломе которой мне виделась всегда ирония, пришла в движение.

— Это так похоже на меня?

Похоже ли на нее? Пожалуй, непохоже. Но и картина событий, надо признать, неординарна.

— Прости меня, но я должен был спросить тебя об этом.

— Прощаю.

Точно желая дать понять, что все слова исчерпаны, она полунаклонилась, закрыв лицо рукой. Можно представить, как трудна была ее мысль. Издавна любовь рисовалась людям игрой страсти, а тут явилась единоборством, в котором участвует железо. Ну, неколебимая натура Маши мне известна, но и Рерберг кремень порядочный. Какая тут игра страстей, когда коса нашла на камень?

Мне показалось, что Маццини проник в смысл встречи с точностью завидной, представив себе все ее повороты, — может, поэтому он ограничил состав гостей ближайшими учениками. Были все те же «апостолы», которых я заметил в тот первый вечер в парке отеля: лысый атлет, на обнаженном черепе которого покоилась бог весть откуда взявшаяся прядь волос в виде вопросительного знака, юноша

в комбинезоне из фрезентовой ткани и постолах, безбородый человек с гладким, почти детским лицом и челкой седых волос.

Рерберга еще не было, и Маша ушла к «апостолам», которые расположились под многослойной кроной старой сосны, они тут тенисты, эти сосны. Тот час, который мы провели с Маццини, прогуливаясь вдоль дома и обсуждая все аспекты геноуэзского форума, я не отрывал глаз от старой сосны и «апостолов», расположившихся под нею. Мне казалось, что Рерберг, появившись у Маццини, не минет «апостолов» — Маша была там. Но на какой-то миг я ослабил бдительность и, обратив взгляд к сосне, не увидел там моей дочери, что безошибочно указывало: Рерберг пришел. Судя по времени, когда она покинула «апостолов», их беседа с Рербергом продолжалась минут сорок пять.

Да не произошло ли с Машей чего-то недоброго? Я уллучил минуту и поспешил яблоневым садом к ручью. Мне не очень хотелось, чтобы, обнаружив мое отсутствие, хозяин принялся меня искать. Сад еще не зацвел, но его ветви уже были обременены бутонами, готовыми распуститься — цветение должно начаться вот-вот. У яблонь обильная крона, она низко свисала к земле, кое-где выстилая ее ветвями, — не просто было пробиться к ручью... Сознаю, что я готов был увидеть все, но только не это. Как некогда в Петровском парке, моя дочь вскарабкалась на вершину дерева, которое росло у ручья, а Игорь, упершись плечом в ствол, пытался его раскачать и вынудить Машу сойти на землю. Дерево скрипело, его ствол обратился в маятник, ветви тряслись, как при ознобе, моей дочери было не очень-то удобно наверху, но она была довольна.

— Ну что ж так немощно? — кричала она с высоты. — Ну еще чуть-чуть! Ну еще!..

Мне стало неловко, и я бежал.

Можно подумать, что, встретившись после столь долгой разлуки, они начнут выяснять отношения, а они обратились к своим детским играм, забыв все происшедшее. Легкость, с которой они решили все свои проблемы, и вызвала изумление и порожидала мысль трудную. Оказывается, все, что обрели они за годы и годы, было для них столь весомо, что все остальное уже не имело значения. По крайней мере так это мне показалось, когда я впервые увидел их вдвоем у Маццини. В тот день я не мог себе представить, что могло быть и иное мнение. В самом деле, что должно было произойти, чтобы это мнение было иным?

Я вновь увидел их, когда гостям предложили отведать горячей пиццы, украшенной разнообразием трав, на которые так щедро итальянская земля и в апреле, а к пицце было подано вино, белое и ощути-мо студеное, что косвенно свидетельствовало, что хранилища вина у Маццини расположены глубоко в горе. Теперь я уже не отрывал глаз от Маши и Рерберга, не скрывая своего желанья понять происходящее. Они шли от эвкалиптовой рощицы, что смыкалась с именем Маццини, и вели веселый разговор, время от времени заглядывая в книгу, которую держал перед собой открытой Рерберг, — вид у них был достаточно беззаботный. Вот она, современная молодежь: когда у нее легко на душе, она плачет, когда тяжело — смеется. А может быть, бес противоречий всего не объясняет, просто тут участвует железо, о котором я имел случай говорить...

Не было никаких надежд, что мне откроет глаза на происходящее Маша. Поэтому я решил действовать напропалую: я взял свою пиццу, не позабыв и вино, пошел к Рербергу, дав понять, что хочу говорить с ним. Его изумление, надо отдать ему должное, было искренним: он не ожидал такого.

На слова, предваряющие разговор, я затратил самую малость времени.

— Не скрою, Игорь, что я был изумлен, увидев тебя в особняке «Секоло»...

Он был занят своей пиццей и не поднял глаз, ему было удобно их не поднимать.

— Если это на меня не похоже, Николай Андреевич, то, может быть, вы объясните почему?

— Ты мне виделся врагом политики, вечным, а тут именно политика, при этом в ее не самом чистом виде, не так ли?

Он победил пиццу и положил тарелку на траву у своих ног, взяв бокал с вином, который расположил на пяточке, образованном срезом молодого дерева.

— Я этих фанатиков повидал в России достаточно, мне отца моего хватит на всю жизнь...— неожиданно произнес он и посмотрел на пустую тарелку: он был очень голоден.— У меня все будет иначе, Николай Андреевич! Мне говорят мои здешние друзья: «Не будь дураком, Рерберг». И не буду дураком! «Делай так, как мы тебе говорим». И буду делать так, только так!.. А их советы не так глупы! Вникните в то, что я скажу: если есть у тебя копейка в кармане, то она тебе не враг, а друг... Я говорю дело: останешься на бабах, никто тебя не выручит, а копейка выручит! — Он взял тарелку и, подобрав кусочек пиццы, торопливо и жадно съел.— Простите меня, но писаниной не проживешь ни в России, ни в Италии. У писателя, как и у ученого, должен быть тыл. У одного кирпичный завод, у другого мыловарня, у третьего маслобойка... Вы думаете, что собственность меня компрометирует? Ничуть! Если она кормит меня, почему я должен ее стыдиться? Я же не краду эти деньги, Николай Андреевич, как не крали их мои деды в России... Знаете, Николай Андреевич, я тут много думал, и, простите меня, мне открылось такое, что было скрыто от меня в России... В великом споре между отцом и дедом Петром я пойду не с отцом...

— Погоди, а какое отношение ко всему этому имеет «Секоло»?

— Понимаете, Николай Андреевич, тут действуют иные законы, совершенно иные...— Единым махом он испил почти весь бокал, видно его мучила жажда.— Как вы полагаете, был бы Рафаэль Рафаэлем, если бы не было папы?

— Надо было продать душу дьяволу, и этим дьяволом стал местник бога на земле?

— Если хотите, то да. Вот откупаюсь и вернусь к своим рукописям...

— Дьявол не покупает душу на время, Игорь...

Он поднял с травы тарелку, поставил на нее бокал: этот разговор стал для него неудобен.

— А разве только Италия — прибежище дьявола?..

— Оставим в покое дьявола,— заметил я, пытаюсь вывести разговор из мира иносказаний, которые были больше удобны ему, чем мне.— Как я понимаю, главное решение ты уже принял?

Он молчал.

— Знаешь, Рерберг, как мне говорили в свое время итальянцы на апельсиновых плантациях Сицилии, право быть боссом завоевывалось не доблестью, а преступлением... Прости меня за это сравнение, но я имею на него право — я не считал тебя чужим...

— Не считали?

— И все еще не считаю, Игорь...

Его рука, в которой он держал тарелку со стоящим на ней бокалом, подпрыгнула, бокал опасно накренился, и, предупреждая падение, он снял его с тарелки — вот так, держа в одной руке тарелку, а в другой бокал, он бежал от меня.

Как ни смятенен был его ответ, он был ясен: вопроса о возвращении на родину для Рерберга не существовало.

Вечером я постучал к Марии. Она уже обрядилась в халат и шлепанцы, приготовившись ко сну.

— Входи, но, чур, ненадолго.— Она указала взглядом на раскры-



тую книгу, что лежала на стуле, придвинутом к кровати: час чтения перед сном был для нее дежурным.— Чаю хочешь? Вот тут и галеты есть...

С той сноровкой, какая мне и прежде казалась красивой, она налила мне чаю и придвинула вазу с галетами, определив мое место. Я сел.

— Как ты нашла Игоря? — спросил я и налил чай в блюдечко: чай был сладок, если я пил его из блюдечка.

Я вдруг услышал, как у меня за спиной остановились ее руки, освобождаящие волосы от шпилек.

— Знаешь, я хочу, чтобы тут все было у нас с тобой ясно... — произнесла она, и я ощутил, как гнев отнял у нее дыхание — ей не достало воздуха.

— Ну что ж, сделай милость и внеси в этот разговор ясность, — заметил я.

Я слышал, как шпильки упали на стеклянную поверхность туалетного столика, просыпавшись на пол, но она не подняла их.

— Пей свой чай, пей, пожалуйста, — произнесла она и села на тахту, стоящую от меня справа. — Самое трудное для меня — не отдать себя во власть неприязни и быть справедливой до конца...

— Это как же понять, Мария?

— Очень просто: предположим, он решил остаться... Я не знаю его решения, но предположим, что так. Согласись, что этого достаточно, чтобы не иметь с ним дела, больше того — чтобы лишить его возможности объяснить свой поступок... Так ведь?

— Так, разумеется.

— А вот я так не думаю. Понимаешь, не думаю. Если даже я почувствую, что он уже принял решение, принял бесповоротно, я его выслушаю, как будто бы он этого решения не принял... Должен действовать этот закон древних, забытый закон: бей, но выслушай!

— Ты выслушаешь — и что ты для себя добудешь, Мария?

Она пересела на стул, стоящий напротив, уперев в меня глаза, — никогда в них не было столько неприязни, сколько сейчас.

— Я вижу, что обида душит его, понимаешь — обида.

— То, что ты называешь обидой, обида ли?

— И все-таки я выслушаю его — не склоняй меня быть к нему несправедливой, я не прошу себе этого...

Я поднялся, оставив чай недопитым, она не встала.

— Не ломай меня! — крикнула она мне вслед.

В последних ее словах было признание слабости.

По моим расчетам, Чичерин уже переговорил с Хвостовым, но тот все еще пребывал затворником в своей келье под матицами — видно, жестокая простуда не отпустила Ивана Ивановича.

Я постучал к Хвостову.

— Это вы, Воропаич? — отозвался он из глубины комнаты. — Входите.

Я открыл дверь; темнота и все тот же запах валерианового корня — он боялся за свое сердце.

— Что-то с моим ночником, не закрывайте двери, — произнес он, и я услышал, как неистово заскрипели пружины его кровати. — Если не возражаете, выйдем под открытое небо...

— Ну что ж, готов, — произнес я и отступил в коридор.

Он накинул реглан, который делал его и без того богатырские плечи основательно покатыми, а фигуру широкой, и мы стали спускаться. Когда он шел к лестнице, протянув руки, мне показалось, что его колеблет ветер.

— Надо ли выходить из дому? — спросил я. — Может быть, посидим в холле?

— Нет, нет... Выйдем, воздух мне показан, — настоял он.



полагает, что поставил русских в безвыходное положение. Он небось уснул сегодня с улыбкой на устах — безвыходное!.. Его небось посетил сон, какой он ждал все эти дни и не мог дожидаться: Парис наконец внял слову старого валлийца и изменил свой выбор, остановив внимание на той скромной девственнице, что расположилась поодаль и, как могло показаться, так приглянулась старому волоките. Ему, Ллойд-Джорджу, невдомек, что в этот полуночный час кроткий Чичерин, еще с достопамятных лондонских времен обрешив себя на бессонницу и превративший ночь в день, населил зеленый сумрак своего кабинета совсем иными тенями. И, подобно тому как это было многократно, неяркий, но устойчивый пламень возник в глазах Чичерина: мысль столь же неожиданная, сколь смелая, вторглась в его сознание и лишила покоя — нет, ночь не для него... Не случайно все его великие идеи рождались в тот заповедный час, когда мир обретает миг абсолютного покоя: тишайшая полночь, тот час тишины, когда даже птица в своем сонном забытии умолкает, даже прибрежная волна замедляет свой бег, даже звезды как бы окаменевают.

Наверно, великое благо, что не утратил здорового сна Ллойд-Джордж. Впрочем, не только он, но и динамичный Барту, намаевшийся за день, и меланхоличный виконт Исси, и целеустремленный Шанцер, и обстоятельный Факта, которому по праву хозяина спать не положено даже тогда, когда все спят... Впрочем, спит, сладко посапывая и самозабвенно вздыхая, не только представительная Антанта. Если выйти на веранду, можно рассмотреть в первозданной тьме апрельской листвы особняк немцев — и он, этот особняк, погружен в дремотную мглу: спят и Вирт и Мальцан... Да что немцы! Уже давно улеглась на покой смятенная в эти апрельские дни двадцать второго года Санта-Маргерита, а вместе с нею и Кава де Лавания, и Сестри Леванте, и Сан-Ремо... Спит побережье. И не только побережье; спит знатная Генуя: спят сном праведников ее палатцы и доходные дома, ее пристани и доки, ее биржевые и нотариальные конторы, ее ломбарды и похоронные бюро. Сон — благо. Отдайся ему безраздельно — и проживешь сто лет... Повинуясь добродушному инстинкту, спит, поверженное многозвездной итальянской ночью, все живое, кому дана долгожданная отлучка от пустой суеты житейской самой природой. Бессонница да страдная мысль только Чичерину не дали покоя — бодрствует русский...

Было без малого два, когда ко мне постучали:

— Вас просит к себе Георгий Васильевич.

Он поднял на меня изумленные глаза, точно хотел спросить: ну кто спит в эту рань? Горела зеленая лампа, но он был один. Перед ним лежал томик Вольтера — его максимы, прижизненное издание, — он брал его иногда и в дорогу.

— Позвоните, пожалуйста, немцам, — произнес он, не выпуская из рук Вольтера, и кивнул в сторону окна, за которым был красный особняк. — Я не оговорился: позвоните немцам и пригласите к телефону фон Мальцана... — Сейчас я заметил, что его указательный палец разделил томик Вольтера надвое, удерживая то место книги, на котором он прервал чтение. — Скажите ему, что мы хотели бы видеть немцев у себя к завтраку, намереваясь продолжить переговоры, прерванные в Берлине. — Он извлек защемленный палец, дав понять, что сказал почти все и намерен приняться за своего Вольтера. — Завтра пасхальное утро, и он скажет, что хотел бы пойти в церковь, но вы постарайтесь настоять...

В то время как я шел к двери, боковым зрением, смятенным, но достаточно точным, я уловил, как Вольтер был отодвинут в сторону и Чичерин вышел на веранду, — наступил тот самый момент, когда и всемогущий Вольтер не мог отвлечь его от происходящего: нарком волновался.

Я открыл дверь соседней комнаты, где находился телефон, и позвонил. Оперативная служба в красном особняке была отлажена с чисто немецкой пунктуальностью — телефон ответил тотчас:

— Господин фон Мальцан? Давно спит, разумеется... Поднять и позвать к телефону? Да можно ли нарушать сон министра?.. — Для него Мальцан, разумеется, «министр». — Если вы обращаетесь к министру, то, разумеется, государственной важности... Неотложное?.. Все неотложные дела господин министр делает днем... Поручение господина Чичерина? А господин Чичерин разве не спит? Одну минуту...

Было слышно, как заскрипел паркет под шагами человека, шаги были размеренные, могуче-тяжкие, каждый шаг — вечность, человек и в самом деле казался великаном. Но шаги возникли и пропали. Только остался удар клюва о мембрану, точно над трубкой сидела большая птица и клевала вибрирующую пластину. Но вот заскрипел паркет и птица улетела, а в трубке возник петушиный голос Мальцана:

— Погодите, но завтра воскресенье и я не могу не пойти в церковь!.. Нет, нет, это решительно исключено — не просто воскресенье, а воскресенье пасхальное! Господин министр Чичерин так и сказал: прерванные в Берлине? Он не спит и ждет ответа? Тогда погодите...

Вновь к телефону слетела вспугнутая птица: тук-тук...

— Хорошо, мы будем... Однако что делать с пасхальным воскресеньем?.. Будем, будем...

Из окна комнаты, откуда я говорил по телефону, была видна чичеринская веранда и на ней в этот полночный час Георгий Васильевич, задумчиво глядящий в темноту парка. Когда мой разговор с Мальцаном закончился, я выключил в комнате свет и подошел к окну. Чичеринская веранда была шагах в пяти от меня, да и он был почти рядом. Луна, народившаяся за час до этого, казалась скрытой толстым слоем облаков, но ее свечение разбавило полуночный сумрак. В этом свете, сейчас сизо-синем, лицо Георгия Васильевича побелело — наверно, то был миг волнения, какого и он не знал, волнения, в котором была и тревога и, возможно, радость — шаг сделан, ему сопутствовал немалый риск и надежда на успех. А сейчас на земле хозяйничали полночь и неизменный слуга ночи — тайна. Да, та самая тайна, которую, хотим мы этого или нет, мы бережем не без сладости. (Быть может, она схожа с призраком, эта тайна; и незрима и властна.) Ты можешь сделать вид, что ее нет, но пренебрегать ею не в твоей власти. Вот она народилась вместе с этой полночью и след в след пошла за тобой, и у тебя нет сил остановить ее — ты постоянно слышишь ее дыхание, ее шепот внятен...

Русские позвонили немцам за полночь, и окна красного особняка, только что застланные тьмой, залило электричество, все окна — эта ночь будет у немцев бессонной. Как ни прозорливы итальянцы, вряд ли они могли предусмотреть такое: русские встревожили немцев полуночным звонком и теперь имеют возможность, дав волю фантазии, не просто представить, какое действие произведет их полуночная акция, а увидеть все это воочию — вон какой ореол возник над кирпичными стенами особняка, а вместе с ним над холмистой зеленью парка. Русские не голословны в своем предположении, что эта ночь будет у немцев бессонной. Позже полуночное совещание в немецком особняке сами немцы назовут пижамным.

Как ни близок особняк, не просто проникнуть в секрет того, что происходит сейчас за его толстыми стенами. Но, может быть, то, что недоступно физическому зрению и слуху, может быть доступно мысли? У русско-немецких контактов, сложившихся в Генуе, есть своя психология. Как было замечено еще в Берлине, немецкий дипломатический олимп явственно разделен на два лагеря: прорусский и проанглийский. В первом главенствует фон Мальцан, во втором — Ратенау. Еще в Берлине было установлено: там, где Мальцан говорит «да»,

его оппонент склонен сказать «нет». Если бы шансы сторон были равны, то у Мальцана была бы надежда на выигрыш. Но в данном случае шансы распределены неодинаково: Ратенау — полный министр, в то время как Мальцан всего лишь министр-субсекретарь, директор департамента. Поэтому договор, который принял едва ли не окончательную форму еще в Берлине, был остановлен. Но, оказывается, не все определено положением на иерархической лестнице. Имеет значение и сила характера, как, впрочем, и сила момента. Воздадим должное Мальцану, он в отличие от своего министра не столь эмоционален и в большей мере расчетлив и целеустремлен.

Надо сказать, что Генуя не усилила позиций Ратенау, больше того — она эти позиции заметно ослабила. Ратенау очень надеялся на благоволение англичан. Собственно, если кто-либо и удерживал Ратенау от более тесного контакта с русскими, то только англичане. Никто не внушал немецкому министру такого страха и почитания, как англичане. Как можно было догадаться, англичане знали о комплексах немецкого министра и в меру своих сил поддерживали их. Это воодушевляло министра и, пожалуй, поощряло в его антирусских акциях. То, что произошло в Берлине, было очень похоже на Ратенау.

Но Генуя обнаружила и нечто неожиданное. Немецкий министр, едва ли не глядевший англичанам в рот, вдруг почувствовал, что те пренебрегают им. Никто не вел так точно счет приглашений, которые русские получали на виллу «Альбертис», как это делал Ратенау. Что же касается Мальцана, то он достаточно постиг недуг своего министра и делал все, что от него зависело, чтобы этот недуг принял хронический характер. Встретив русских, он полусерьезно-полухуля спрашивал: «Значит, Ллойд-Джордж попросил Чичерина быть у него? В какой раз? В третий?» И, разумеется, никто не гарантировал того, что, возвратившись в красный особняк, он не говорил своему министру: «Этот старый хитрец Ллойд-Джордж повлек русских на генуэзский холм... Представьте, за последнюю неделю в пятый раз!» Ратенау истолковал это по-своему: англичане отступились от него.

А что произошло на самом деле? Вопрос многосложный, и нет такого ответа, который бы единственно объяснил его, но у меня тут есть свое мнение, которое я выскажу без колебаний. Конечно, русская проблема важна для англичан. Допускаю, что она много важнее проблемы немецкой. Но и в этом случае режим внимания, какое англичане, а вместе с ними и вся делегация Антанты уделяли русским и немецким представителям, должен быть иным. Можно допустить, что тут имел место эмоциональный момент... О, как свидетельствует опыт, эмоции часто деформируют линию поведения и бывалого политика. Погодите, если эмоциональный момент, то какой? Повторяю, это мое личное мнение и все издержки его я беру на себя. Итак, вот мой ответ: Чичерин, а если быть еще более точным, то чичеринская речь в Сан-Джорджо. Смею предположить, что эта речь не на шутку взволновала Ллойд-Джорджа. Впечатление от речи и, конечно же, от человека было сильным. Смешно думать, что после этой речи Ллойд-Джордж хотел видеть Вирта или Ратенау — он хотел видеть Чичерина и только его, при этом первая встреча не остановила его, а поощрила на встречи новые, вторую, третью, четвертую... Наверно, многое тут не только в достоинствах Чичерина, но и в натуре самого валлийца, человека, жадного до людей, но тут не следует недооценивать и данных русского министра.

Итак, когда в полуночный час вспыхнуло электрическое зарево над немецким особняком в Рапалло и началась многочасовая баталия, можно было только гадать об ее исходе. Мало что прибавил к этому и звонок из немецкого особняка, раздавшийся на рассвете и оповестивший, что, как просили русские, немцы готовы быть у них ровно в одиннадцать... По стечению обстоятельств, которое могло показаться почти фатальным, известное событие произошло в пасхальное ут-

ро. Звонили колокола, и их устойчивое гудение, подобно ветру, обдувающему землю, стлалось над горами и равнинами Лигурии...

Само собой получилось, что вся наша документация у Литвинова. Деятельный и в какой-то мере педантичный Литвинов и точен и обязателен. Как мне кажется, дочь моя эту особенность литвиновского характера усвоила, когда делегация была еще в пути. Мне даже показалось, что ей пришлось по душе литвиновская обязательность. Мария как-то сказала мне о Максиме Максимовиче: «Приятно работать с человеком, который каждое дело доводит до конца». Но я не думал, что этот разговор явится своеобразным вступлением к диалогу, которому я буду свидетелем. Разговаривала Мария с Литвиновым — начало разговора, как обычно у моей дочери, было чуть-чуть неожиданным, в том, как разговор был завязан, была свойственная ей прямота, резковатая прямота. Она спросила: «Максим Максимович, вы помните тургеневского Литвинова, героя «Дыма»?» Литвинов, казалось, оробел: «Да, конечно». «Помните, как он уехал за границу, чтобы набраться там опыта и поднять имение, которого уже коснулся тлен запустения? Как мне кажется, Литвинов был единственным тургеневским героем, о котором можно сказать, что он гордится своей судьбою и радуется ей как делу рук своих». Толстые губы Литвинова тронула улыбка, едва заметная: «Машенька (он звал ее так иногда), чего ради вам припомнился этот тургеневский Литвинов?» Она не растерялась: «А вот почему, Максим Максимович: если бы вам предстояло выбрать фамилию, вы не раздумывая могли бы позаимствовать ее у тургеневского героя — она бы вас не обманула...» Теперь уже толстые губы Максима Максимовича расплылись в откровенной улыбке: «Как знать, может быть, я так и сделал...» Мне показалось: как ни своеобразен был этот диалог, он их устроил.

До заветных одиннадцати, когда должны были прибыть немцы, оставалось минут сорок, и делегация собралась в чичеринских апартаментах.

Георгий Васильевич работал в соседней комнате над текстом договора, и делегаты должны были с этим считаться — нет-нет а делегаты поглядывали на дверь, умеряя голос.

**Воровский** (лучше его никто не умел начать спор). Как мне кажется, у немцев все еще нет единодушия. Вот мои наблюдения: когда в семь я выглянул в окно, при полном солнце у них еще горело электричество... Если они не заметили белого дня, значит, им было не до него... Однако до чего?

**Литвинов** (отстраняя газету, которую читал). Неубедительно. (Меланхолически.) Это же немцы! Они договорились в первый же час и разошлись по своим комнатам, поручив сторожу выключить свет, а тот взял и уснул...

**Воровский.** Все верно: сторож, надо думать, был итальянцем!

Смех, заметно сдержанный. Засмеяться громче значит признать, что первенствует Воровский.

**Красин.** Предлагаю на этом остановиться. (С уверенностью арбитра.) Все будет написано на лицах немцев. (Взглянув на часы.) Вы увидите эти лица минут через пятнадцать...

**Воровский.** Жаль бросать на ветер пятнадцать минут! А может быть, немцы отдали ночь, чтобы соединиться с Ллойд-Джорджем и попросить у него совета? Именно с Ллойд-Джорджем или, на худой конец, с Уайзом?

Пауза. Последние слова Воровского произвели впечатление. Так было у Воровского и прежде: шутка, подчас самая безобидная, давала возможность нащупать ядрышко проблемы.

**Литвинов.** Значит, Ллойд-Джордж или Уайз? Ну что ж, это, по-

жалуй, не лишено резона: Ратенау не сделает шага без англичан, а? Как вы полагаете, Леонид Борисович?

**Красин.** М-да... есть смысл поразмыслить...

**Литвинов** (выглянув в окно). Есть смысл, если бы немцы не были на пороге... (Наклонившись, чтобы видеть происходящее внизу.) Помоему, это немецкий автомобиль. Вот и Ратенау собственной персоной, а вслед за ним и Мальцан, при этом выражение лиц у них отнюдь не пасхальное — ночь была бессонной...

**Красин.** Я же сказал: все должно быть написано на лицах немцев.

Немцы были в палаццо д'Империале ровно в одиннадцать. У Ратенау было шафранное лицо — не иначе его пытали этой ночью бессонницей. Наоборот, Мальцан старался сберечь энергию. Такое впечатление, что до приезда к русским немцы успели побывать на пасхальной службе, заручившись поддержкой всевышнего, — так одеваются, когда в пригласительной карточке есть неумолимая строка: форма одежды — парадная. Но могло быть и иное: парадное платье соответствовало представлению немцев о значительности встречи. Такое предположение тем более верно, что эскорт больших и малых чинов, обремененных пудовыми портфелями, указывал, что у визита немцев деловые цели — в церковь, как можно предположить, с портфелями не ходят.

Чичерин вышел гостям навстречу и пригласил их в большую гостиную, служившую своеобразным конференц-залом делегации. Сумеречными коридорами, изредка прерываемыми островками солнца, немцы и русские последовали за Чичериным. Шли молча, лишь поскрипывали ботинки немцев, казалось бы сегодня надетые впервые.

Только когда вошли в конференц-зал, большие просветы которого давали много солнца, и Мальцан, ослепленный светом, отнял от глаз платок, русские увидели, что лицо и у Мальцана отдает восковостью — по всему, минувшая ночь действительно была у него тяжелой.

Прямоугольный стол, стоящий посреди конференц-зала, точно разделила по оси незримая черта, определив суверенное поле одной и другой делегации. Сподвижники Чичерина освоили свое поле стола с чисто русской сноровкой и непритязательностью, не придав этой церемонии большего значения, чем она того заслуживает. Наоборот, Мальцан и коллеги были обстоятельны — пришли в движение сложные запоры их портфелей, были извлечены из карманов окуляры делегатов в массивных футлярах, пахнущих наспиртованной кожей. На столе появились вечные перья, тоже в массивных футлярах, а вслед за этим, разумеется, и знатные тексты, многократно перебеленные на рисовой и меловой бумаге. Все это, будь то портфели в нарядных бляхах или окуляры, заключенные в твердую кожу, точно было заряжено энергией, которая имела целью если не убивать, то заколдовывать.

Чичерин повторил, что, впрочем, было известно немцам по ночному звонку: русские хотели бы возобновить переговоры о заключении договора, прерванные в Берлине. Если же немцев такая перспектива не устраивает, у русских и в этом случае должна быть ясность. Из короткой реплики Мальцана следовало, что немцы согласны продолжить переговоры, — в том случае, если переговоры будут успешными, тексты могут быть подписаны сегодня же Чичериным и Ратенау. Кстати, Ратенау сегодня в первой половине дня будет у себя и не заставит себя ждать. Очевидно, успех дела решит работа над текстами, в частности мнение одной и другой стороны по поводу статьи шестнадцатой договора.

Мальцан точно говорил: «Проявите покладистость — и о русско-немецком договоре сегодня же можно оповестить мир».

Но Чичерин предложил читать договор, его русский и немецкий тексты, статью за статьей.

Итак, переговоры начались.

За столом остались только те, кто работал над текстами прежде, остальные удалились — если дело так пойдет, то работы тут часа на два — два с половиной.

Как ни велика была тайна переговоров, русские люди, поселившиеся в палаццо д'Империале если не знали, то догадывались: происходит значительное.

Наверно, все в человеке. В его восприятии момента, в том, как он взглянул на окружающее, каким увидел его в это апрельское утро и соотнес с происходящим в палаццо д'Империале. Именно в восприятии момента. Нужно было убедить себя, что неколебимость кипарисов, точно окаменевших в это утро, глубина небесной сини, особая рельефность облаков, которые будто остановились в зените, не имеют отношения к тому, что сейчас происходило за столом переговоров.

Прошло часа два с начала переговоров, и к подъезду вновь подкатили немецкие лимузины, приняв в свое сумеречное лоно Ратенау с Мальцаном. Казалось, отъезд их из палаццо д'Империале не предусматривался, и это могло навести на раздумья печальные. Первая мысль: да не произошло ли непредвиденное? не дал ли большой разговор за прямоугольным столом неожиданной осечки? Но за мыслью первой последовала вторая — она успокаивала: тяжелые лимузины увезли не всех немцев — значит, работа продолжается. В этом можно было убедиться, поднявшись наверх: прием французских парламентариев, назначенный накануне на час, был отменен, как была отменена у Чичерина работа со стенографистом, которая обычно начиналась во втором часу. Все указывало на то, что у работы, которой были заняты русские и немцы, есть дистанция времени достаточно ограниченная.

Когда к подъезду гостиницы вновь подкатили «мерседесы» и на большой лестнице, ведущей в салон, появились Ратенау с Мальцаном и их коллеги, не было сомнений: предстоит подписание договора. Но об этом можно было всего лишь догадываться, смутно, но догадываться: всеильная тень тайны все еще укрывала русский особняк в Санта-Маргерите. Но таково, видимо, свойство тайны: она имеет возраст. Едва на хрусткую бумагу, украшенную водяными знаками, легли два имени, русское и немецкое, обратившие бумагу в документ, тайна перестала быть тайной.

«Самое драматическое событие конференции: русские заключили сепаратный договор с немцами!» — возвестили вечерние газеты.

Утром я застал Георгия Васильевича за письменным столом: видно, текст, который он дописывал, потребовал времени — фирменная бутылка от минеральной воды, сейчас пустая, указала мне, что работа продолжалась не один час.

— Вы спали нынче, Георгий Васильевич? — спросил я.

— Еще посплю, — сказал он и дал понять, чтобы я не уходил.

Он запечатал письмо и надписал адрес — я не успел отвести глаза и, кажется, воспринял имя адресата.

— Мысль становится четче, когда ты доверишь ее бумаге, — произнес Чичерин, заметив мое смущение. — Всегда полезно подвести итоги, даже самые предварительные...

— Рапалло? — был мой вопрос: о чем писать сегодня, как не о договоре с немцами?

— Рапалло, — подтвердил он и, приоткрыв дверь на веранду, пригласил меня последовать за ним: начиная ответственный разговор, он



старался вывести его за пределы дома — он не очень-то доверял чужим стенам, для него они имели уши.

Солнце уже было высоко и дороги успели побелеть, но парк еще хранил сумеречность и свежесть раннего утра.

— Все письма, которые пришли этой зимой из Горок, — произнес он, дав понять, что не намерен скрывать имя адресата, к которому обратил письмо, написанное ночью, — были отмечены одной мыслью: нужен договор истинно равноправный, на который мы могли бы сослаться в наших отношениях с Западом...

— Рапалло — такой договор, Георгий Васильевич?

— Мне так кажется, по крайней мере эту мысль я пытался развить в письме Владимиру Ильичу, — подтвердил он, кстати не скрыв и имени адресата письма.

— Равноправие двух систем собственности — ленинская формула, не так ли, Георгий Васильевич?

— Да, разумеется, — в Рапалльском договоре эта формула преломилась и полно и убедительно, — согласился он.

— Вы полагаете, что Рапалло — шаг первый?

— Расчет Ленина был таким, хотя у событий может быть и своя черда и свои сроки...

— Главное, первый шаг, Георгий Васильевич?

— Так полагал Владимир Ильич: самый первый.

— Он сделан?

— Несомненно: в Генуе.

Мы расстались: не ясно ли было, что Чичерин осторожно коснулся содержания письма, написанного этой ночью Ленину?

Поздно вечером я выглянул в сад и на неблизкой аллее увидел Красина. Покров облаков застил небо, но не в силах был упрятать полукружье луны, ее диск хотя и был усеченным, но давал достаточно света, чтобы высветлить аллею и фигуру Красина, остановившегося в раздумье.

О чем он мог думать сейчас? То, что совершилось сегодня, было доблестью всей могучей кучки дипломатов, собравшихся в Санта-Маргерите. Но у Красина тут была своя немалая ноша, которую он пронес через годы, видя цель. Наверно, эта цель могла и не соответствовать в полной мере всему, что произошло сегодня, но, приняв дух и формы Рапалло, внушила уверенность. Это всегда дорого, но тем более дорого, когда жизнь не так бесконечна. Знал ли это Красин в этот апрельский вечер двадцать второго года, знал, мог прозреть, мог предвидеть?

К тому, что скажет время, трудно что-либо прибавить: оно точно открывает тебе глаза. Познать истину значит провидеть? Но как проникнуть за горы лет, нет, не десятилетий, а хотя бы лет?.. А может, неведение иногда лучше провидения и время не столько скрывает доброе, сколько защищает от недобра?.. Провидишь — и упадешь замертво... Все началось с головокружения — поплыла земля. Нет, в ветре, что возник и легко качнул тебя, не было могучести — тихий ветер... Он сказал себе: «Это, кажется, было и прежде, обычная слабость...» — и, нащупав стул, сел, закрыв глаза. Розовые круги, бледно-розовые, взмывали и падали, их ткань была ветхой, она расплзалась на глаза... Он открыл глаза, и новый порыв ветра, все такого же тихого, повалил его — он едва не опрокинулся навзничь. Потом долго сидел присмиривший, отсчитывая секунды... Больничная койка. Разговор с врачом, требовательно-доверительный... «Кровь, кровяные шарики...» Он и прежде умел вышибать у врачей запретное, самое запретное. Цифра была названа. Остальное было вопросом умения оперировать цифрами, не думал, что его инженерный дар сослужит ему такую службу. «Число кровяных шариков уменьшалось в энной про-

порции...» И в какой связи это находится с количеством дней, отпущенных человеку? Карандаш обломился, и не было сил его очинить, впрочем остальное уже можно было сосчитать и в уме. Цифра, которую он получил, ошеломляла: ему осталось жить девяносто два дня, даже не сто, а девяносто два. Он выбрался из госпитального заточения. Девяносто два дня — это много или мало? Наверно, у всех смертельно раненных мысль идет одной дорогой: разобрать бумаги, разобрать, разобрать... Он уединился, наказав, что никого не хочет видеть; день и ночь шелестит бумага, сухая, пыльная. Он заточил себя в «одиночку», в цитадель одиночества, у которой стены едва ли не аршинной толщины. Но оказалось, что и эти стены могут пасть: вдруг явился человек, да, человек из тех, которых посылает сама судьба, недаром та же судьба облекла его именем врача... И вновь операционный стол, ампулы молодой крови, заветное обновление... Хорошо бы сейчас в Италию, к теплому морю, в сухую тень прибрежных роцц... В Сан-Ремо, Кава-де-Лавания, Санта-Маргериту... Тут сами названия благословенных этих мест, само звучание этих имен — Сан-Ремо-о-о!.. Кава-де-Лавания-я-я!.. Санта-Маргерита-а-а!.. — способно вдохнуть новые силы, исцелить. Он устремляется к теплому морю, лазурному морю... А может, дело не в море, а в человеке, в его способности сшибить недуг? Ведь это же не легенда: атаковать недуг иным недугом, еще более жестоким, и сшибить его. Врачи говорят: «Возник новый вирус, и он сглотнул старый...» Сглотнул?.. Но, быть может, человеческая воля, всесильная воля, не слабее этого нового вируса? Быть может, в силах человека спалить злое жало, поселившееся в тебе? Ну, если и недоберешь собственных сил, в твоей власти призвать силы солнца и воды? Ну, кликнуть клич и воззвать к их доброй воле?.. Эй ты, великая благодать юга, помоги человеку! И вы, горы! И вы, роцци,— не зря же у вас слава райских! И ты, царь-море!.. Помогите, помогите!.. Но это был не столько гром сотрясающий, сколько тишина первозданная, она располагала к самоуглублению. «Видно, каждый Моисей должен умереть у входа в землю обетованную. Сlepая, злая, проклятая судьба...» Он вернулся в Лондон к повседневным делам, к труду — страдная красинская вахта. «Когда болеешь, когда чувствуешь на своем лице дуновение последнего часа...» Он так и написал: дуновение последнего часа. В канун октябрьской даты в посольстве был прием — собрался весь Лондон. Да, сотни гостей стеклись в русский дом, как называли посольство, но среди них не было ни одного, кто бы не знал, что за стенами приемных залов умирает посол, умирает с тем храбрым терпением, с каким прожил жизнь... На пределе одиннадцати, когда остались только свои, впервые открылись нижние двери и все, кто был в доме, медленно сошли в сад. Посол услышал голоса внизу, тронул створку окна. «Подойдите сюда, все подойдите, — попросил он. — А не спеть ли нам ту тревожную, что пели в начале века?..» Тревожную? Песня, точно большая лодка, идущая наперекор волне, набирала силу медленно: «Вихри враждебные, взвейтесь над нами, черные тучи...» Чужое небо принимало русскую песню — в ней, в этой песне, было прозрение России, способное исторгнуть слезы счастья и укротить боль... В Лондоне умирал русский посол.

Но, может быть, в прозрении надо черпать только радость — победа одержана и пусть она помогает человеку жить.

Два послеобеденных часа, приходившиеся на ранний вечер, Ллойд-Джордж отдавал сну — по английскому обычаю старый валлиец обедал в семь. Но сегодня у старика разболелись десны, и сон не шел. Он пододвинул к себе комплект «Иллюстрайтед Лондон ньюс», который брал в поездки, и принялся листать — светская хроника в фотографиях, что может быть в большей мере показано характеру и возрасту английского премьера? Обычно на исходе получаса жур-

нал выглядал из слабых рук валлица, и Ллойд-Джордж засыпал. Но в этот раз не возымела действия и светская хроника в фотографиях — не спалось... Неизвестно, как бы долго продолжалось единоборство со сном, если бы не пришел секретарь и не сказал: его просит к телефону Барту. Это было почти чрезвычайно: Барту знал режим британского премьера и никогда не позволил бы звонить в часы, когда премьер спал.

— Антанта дала себя обмануть русским и немцам, господин премьер-министр, — произнес француз тишайше: в минуту волнения Барту терял голос. — Германия пошла на сепаратный договор с Россией — документ подписан и завтра будет опубликован...

— Это же бог знает что!.. — вырвалось у Ллойд-Джорджа, и он осторожно положил трубку. — Значит, подписан, — сказал он себе и опустил с кровати ноги.

Он сидел, уставившись в стену. Солнце уже давно зашло, и комната была освещена отраженным светом, который давало сейчас генуэзским холмам море. В мерцающем этом свете его глаза уперлись в стену, украшенную фреской, изображающей Париса, выбирающего себе суженую. На память пришел разговор с Чичериным, и он, этот разговор, обрел смысл, какого не имел прежде.

— Парис выбирает, Парис выбирает... — произнес старый валлиец и отвернулся от фрески, впервые он не ощутил иронии, с какой смотрел на эту фреску прежде. — А как наш разговор с русскими? — произнес он едва ли не громогласно, нащупал шлепанцы и пошел к окну. — Должен продолжаться?

Часу в одиннадцатом вечера Чичерин постучал ко мне — я знал этот его стук, точно отбивающий такт марша.

— Да, Георгий Васильевич...

— Нет настроения постоять под открытым небом? По-моему, прошел дождь и пыль прибило...

— Ну что ж, охотно.

Видно, дождь был небольшим и всего лишь окропил землю. Пыль и в самом деле прибило, но земля была суха. Зато зелень еще удерживала влагу — молодая листва деревьев дышала свежестью, ощути-мо холодной.

— Вы видели вечерние газеты? — спросил Чичерин, когда мы вышли; парковая дорожка привела нас на поляну. — Вот мысль: русские превратили Геную в Брест... — Он засмеялся, коснувшись ладонью затылка, в этом жесте была бравада. — Никому не удастся поставить нас в угол!

Он поднял голову, точно желая объять звездные просторы, — взгляд был жадным, в нем мне виделось сознание силы.

— А знаете, Рапалло — первый равноправный договор с Западом, первый! — Его взгляд все еще мерил просторы неба. — Если нужен пример деловых отношений с Западом, то это Рапалло... хотя тут есть и издержки... — Он запнулся, внимательно посмотрел на меня.

— Какие, Георгий Васильевич?

Он молчал, точно оценивая: да понимаю ли я, о чем идет речь?

— Ллойд-Джордж... — Он не торопился высказать то, что хотел сказать. — В идеале я за договор и с Германией, и с Антантой... То, что мы зовем равными правами для двух систем собственности, предполагает добрые отношения и с Ллойд-Джорджем. Без крайней нужды нет необходимости рвать отношения с ним.

— Но после Рапалло захочет ли он продолжать переговоры?

— Мы захотим...

Это и есть Чичерин: он уже поставил перед собой следующую задачу — не порвать с Ллойд-Джорджем. Рапалло — это хорошо, но есть резон сберечь возможность прямого разговора и с Антантой.

Кремлевская формула предполагает только такое равноправие двух систем собственности: общий язык, однако не только с Германией. Но как найти пути к продолжению диалога? Говорят, Барту неистовствует, для него Рапалло — это почти двуличие. Какие пути найти тут, не жертвуя достоинством? Именно, не жертвуя достоинством?

— Как я понимаю, Георгий Васильевич, эта же задача стоит и перед Ратенау.

— Немцу легче.— Отсвет звездного неба коснулся лица Чичерина, его глаза блестели.— Что ни говорите, немец представляет тот же мир, что и Ллойд-Джордж.

— Вы сказали: легче. А я не уверен.

Его вздох, казалось вырвавшийся против его воли, выражал изумление.

— Не уверены? Почему?

Не мог же я ему сказать: то, что под силу Чичерину, под силу только ему. Нет, это не гипноз личности, хотя именно о достоинствах человека надо говорить. О масштабах его опыта, чистоте его душевных устремлений, не в последнюю очередь его верности идее. Не мог же я ему сказать все это в тот необыкновенный вечер, когда мы стояли посреди парка и старались объять нашими растревоженными глазами необъятность итальянского неба.

У Чичерина есть свой план познания Генуи. В этом плане свои дороги, своя перспектива. Сегодня он увлек меня на северо-восток от Генуи, столкнув с горой, по склонам которой раскинул свои бело-мраморные палаццо неведомый город. Впечатление такое, что перед тобой город и его темно-зеленая хвоя оживлена мрамором. Да не загородная ли это Генуя, горное приволье, куда принцы города бегут от генуэзской страды? Предположение твое почти верно — бегут, чтобы никогда больше не вернуться: кладбище, знаменитое генуэзское кладбище.

Еще в Генуе ты замечаешь: дворцы, возникающие в разных концах города, напоминают бой великанов — один дворец грозит другому на расстоянии, разделяющем один холм от другого,— если идет бой, то не ближе чем на дистанции пушечного ядра.

На кладбище принцы города пошли врукопашную. Могила придвинута к могиле, и знатные покойники схватились со свирепостью завидной, обратив в действие все, что когда-то имели: титулы, чины, состояния. А те, у кого нет титулов? Их место здесь? Оказывается, здесь, при этом в опасной близости от мраморных див, место временное, всего на три дежурных года,— по всему, и покойники умеют стоять затылок в затылок.

Скоро вечер, садится солнце, и, хотя его не видно, мрамор меняется от минуты к минуте, как бы отмечая все стадии заката: камень становится розоватым, бледно-синим, потом лиловым. Вечернее небо, быстро тускнеющее, и тишина, кладбище почти безлюдно. Точно знатные родственники снесли сюда своих близких и разбежались.

Только слышно, как свистит, зарывшись в крону пинии, неведомая птица да стучит по каменному полу галереи державная палка, стучит с неотвратимой настойчивостью, ее стук возник, казалось, только что и приблизился со стремительностью ракеты — по всему, обладатель громогласной палки не обманывается насчет истинной ценности мраморных див.

Уркарт? Да, это он: только пальто заменено плащом да женская рука, сжимающая набалдашник палки, не так бела, как прежде,— не иначе побывала в эти дни на генуэзском солнце, а может дала себя перекрасить заре, в руке есть предвечерняя розоватость мрамора.

Уркарт прошумел точно **облако пыли, увлекая за собой стаю**  
~~святских.~~

Тихо, может быть даже тише, чем было прежде,— кажется, уход Уркарта воодушевил и неведомую птицу, зарывшуюся в крону пинии, она вдруг засвистела самозабвенно.

— Ничего не скажешь — деятелен,— кивнул Чичерин в сторону, где затих не очень охотно стек англичанина.— Мне иногда видится в происходящем закон всемирного тяготения: позиция небесного тела, называемого в просторечии Ллойд-Джорджем, во многом зависит и от того, как действует такая фигура, как Уркарт...

— Уркарт или Черчилль, Георгий Васильевич?

Он остановился:

— Не приемлю слишком прямых аналогий, но тут... В палате общин Алкивиад сидел рядом с Клеоном. Когда я решил обосноваться в Лондоне, первое, что сделал, пошел в Вестминстер. Помнил наказ дяди Бориса: из всех заморских чудес самое большое — британский парламент... И, в частности, вот это: Ллойд-Джордж и Черчилль, сидящие рядом, чувствующие локоть друг друга...

— У друзей все шло как по маслу, если бы не русская закавычка? — заметил я.— Не страх ли перед русской революцией вернул Черчилля к тори?

Чичерин стал строг — наверно, ненароком я коснулся существа.

— Знаете, кого винил Ллойд-Джордж в русской революции? — спросил Чичерин.— Антанту! Есть смысл приглядеться к доводам, которые излек валлиец, они должны быть нам интересны.

Мы покидаем галерею и вступаем на тропу, полого спускающуюся. Солнце удерживается на вершине горы — там мрамор еще белозуб, а здесь он уже стал синим, быть может густо-синим, здесь уже вечер... Да и в голосе Георгия Васильевича есть интонация вечера — вечер располагает к раздумью.

— Ллойд-Джордж был убежден, что русская революция — это гнев и скорбь России по миллионам погибших, брошенных под немецкий огонь безоружными,— произнес Георгий Васильевич и пошел тише, в походке Чичерина была и неторопливость его рассказа.— Именно безоружными, что можно было предотвратить, если бы Антанта снабдила Россию оружием. Ллойд-Джордж был не голословен: он добыл переписку начальника российского генштаба со своим военным министром, в которой первый просил второго прислать снаряды даже без боеголовок — не беда, что снаряды не нанесут урона неприятелю, польза будет хотя бы и от того, что их увидят солдаты. Надо сказать, что англичане не оставляли Россию без внимания и позже. Когда революция произошла, возникла новая проблема: а нет ли возможности как-то свести революцию на нет, сделать так, будто бы ее не было? И объявился Черчилль. Известна энергия Черчилля, как и его административные таланты. Ни одно дело не вызывало у Черчилля такого воодушевления, как вторжение в Россию. Презрение, что копилось в нем по отношению к простому люду Англии, он излил на революционную Россию. Клеймить английского рабочего как-то непатриотично, предать проклятию русского рабочего куда удобнее. Казалось, это неистовство было сильнее его. «Я, победивший тигров, не потерплю, чтобы меня побили обезьяны!» — стонал он. Но ему и его армии пришлось испытать горечь поражения, если это сделали «обезьяны», то тем хуже для него.

Чичерину, как мне показалось, стоило усилия заметного, чтобы сдержать смех,— он решил закончить рассказ в тоне строгого раздумья, в каком начал.

— Поводом для вторжения явился известный вердикт о признании Колчака верховным правителем России. Черчилль полагал, что вердикт предоставлял ему свободу рук. Он ошибся. Именно в те дни редился мятежный лозунг «Руки прочь от России!». Я был в Англии и могу свидетельствовать: английские рабочие воспользовались этим лозунгом, чтобы навести порядок и в своем собственном доме. И как

навести порядок! Говорят, что Ллойд-Джордж, которого волна рабочих стачек застала на мирной конференции в Париже, жаловался своим коллегам, что новости из Лондона сводятся к сообщениям о новых забастовках. Но произошло такое, что и для Англии было открытием: крамола перебросилась в армию — восстали войска. Нет, не в североафриканских или индийских гарнизонах, а в самом Лондоне. Красный флаг видели над лондонскими казармами. Для английских обывателей не было ничего страшнее: армия, имперская твердыня и красный флаг — оказывается, может быть и такое. Кстати, красный флаг над лондонскими казармами видел и я... Первым утрашился старый либерал. Он заклинал Черчилля не ввергать Англию в чисто сумасшедшее предприятие из-за ненависти к большевистским принципам. Трудно сказать, как себя чувствовали теперь Клеон и Алкивиад, расположившие свои депутатские места рядом, но, надо думать, им теперь было не очень удобно. Премьер склонил кабинет к отзыву английских войск из России, учинив разнос своему военному министру прямо на заседании кабинета — такого не бывало. Есть мнение, что с возрастом человека одолевает все большее желание сблизить расстояние, отделяющее грешную практику от совести. Надо очень хорошо думать о старом валлийце, чтобы допустить подобное, но не следует игнорировать и фактов: главным оппонентом по многотрудной русской проблеме у Черчилля теперь стал Ллойд-Джордж...

Мы возвращались в Санта-Маргериту уже вечерней дорогой — в приморских отелях зажгли огни. Мне казались интересными раздумья Георгия Васильевича, хотя было в них нечто такое, что трудно было постигнуть: почему он обратил внимание к Черчиллю, которого в Генуе не было и который, по-моему, не очень-то влиял сейчас на генуэзские дела англичан? Нельзя же всерьез принимать тут Лесли Уркарта и его миссию? Не было ли иной причины чичеринского интереса к Черчиллю, а если была, то какая?

Рерберг явился в Санта-Маргериту. Да, прямо так, в открытую, при этом не к Маше, а ко мне.

Гостиничный служака, доживший о его приходе, заметил:

— Синьор Рерберг просил сказать, что ждет вас в холле...

Я работал весь день, разбирая прессу, которая почтила своим вниманием Рапалло, и поход к морю был благом.

— Не гневайтесь на меня, Николай Андреевич, пожалуйста, что я пришел вот так, — хочу разговора... Я пришел, чтобы сказать вам нечто такое, что вам никто не скажет...

Никогда прежде он не был так категоричен.

— Да?..

Мы достигли камня, точно вытолкнутого из самой утробы земной, и Рерберг опустился на него, оставив меня стоять, — видно, чтобы сказать мне все, что он хотел сказать, он должен был запастись силами.

— Знаете, что меня удивило? Это то, что вы привезли сюда Манию. — Он звал ее так еще давным-давно, в Сестри. — Простите меня, если я скажу книжно: так можно сделать, если веришь в человека, а значит, веришь в себя. Вот я и сказал вам все, что хотел сказать...

Я не сдержал смеха:

— Нет, Игорь, ты не все сказал, честное слово, не все!

Он смутился:

— Тогда слушайте остальное: скажите ей, чтобы она осталась, — вы-то знаете, Николай Андреевич, что я люблю ее.

— А почему бы тебе не переговорить с нею самому, Игорь? Не веришь в свои силы?

Он встал и, подняв камень, замахнулся и пустил его над водой. Штилевое море с полированной гладью будто стало холмистым, и

это обнаружил летящий камень: он сшибал маковки этих холмов, при этом получился пунктир очень точный.

— Нет, я верю, но лучше, если скажете ей вы, Николай Андреевич... Если трудно, я помогу.

— Как ты мне можешь помочь, Игорь? — не сдержал я смеха, наверно, смех мой прозвучал издевкой над Рербергом, грубой издевкой. — Ты понимаешь, что говоришь?

— А я сейчас покажу, как я могу помочь вам, вот читайте. — Он сунул руку в левый боковой карман пиджака и извлек газету; судя по тому, как заученно он это сделал, он рассчитал все периоды этой операции, как и ее нехитрое исполнение. — Читайте, читайте, Николай Андреевич...

У меня в руках была газета «Секоло», ее вечерний номер, допускаю, что он взял его с машины часа за полтора до нашей встречи — разворачивая газету, я испачкал руки, краска не просохла.

— Читайте, Николай Андреевич, не бойтесь... — Он упер палец в свое имя, набранное крупно: Рерберг. Никуда не денешься, надо читать.

«Мнение русского — письмо в редакцию» — гласил аншлаг. Рерберг комментировал договор в Рапалло. Но как он комментировал! «Чтобы понять русских, надо влезть в их шкуру!» Он как бы говорил от имени новой русской дипломатии, проникнув в ее огорчения и надежды. Он говорил если не от имени Чичерина, то от лица человека, который связал себя с чичеринской позицией и ее разделяет. «Поймите русских: они все еще прорывают блокаду, в данном случае дипломатическую». Его письмо было обращено в два адреса: к итальянцам и русским. Итальянцам он сказал: не осуждайте их, они вынуждены были так действовать. Русским: разве вы не поняли, что я говорю и от вашего имени? имею ли я право? если говорю, то имею.

— Ну как, Николай Андреевич? Что можно сказать после этого?

Я засмеялся:

— Силен Рерберг!

— Вот так-то, Николай Андреевич!

Мы пошли от берега. Надо отдать должное Рербергу, он усложнил задачу. Решение, которое он избрал, было в его положении едва ли не единственным — сам выбор этого средства требовал и ума и опыта жизненного, видно у Игоря все это было. Он точно выдернул из-под меня землю. Чтобы что-то сказать, мне надо было собраться с мыслями, но не скажешь ему об этом.

— Ну как, Николай Андреевич? Не ясно ли, что ваше слово для Маши закон?

— Нет, для Маши ее собственное слово закон...

Я вернулся в отель и рассказал Марии о Рерберговом письме русского.

Мы стояли с моей дочерью в холле гостиницы, отыскав глазами полукресло, Мария придвинула его, села.

— Как ты понимаешь все это? — спросила она.

Холл был полуосвещен, и свет паркового фонаря, ворвавшись в здание, осветил лицо и Маши.

— Я вижу тут его предприимчивость, — сказал я. — А разве не так?

— Нет, нет, — не согласилась она и закрыла лицо руками.

— Почему «нет»? — был мой вопрос. — Я хочу понять...

Она открыла лицо, и оно мне показалось зеленым — оказывается, парковый фонарь, вставший у окна, был зарыт в листву.

— Ты понимаешь... все это вынужденно, — произнесла она. — Он увидел в этом выход из положения. Поставь себя на его место...

Я сделал попытку отойти от окна.

— Прости меня, но я не вижу себя на его месте... Не вижу и никогда не увижу.

— Будь справедлив к нему,— произнесла она.  
Она встала. Мы молча поднялись к себе.

Разговор в чичеринском кабинете.

**Чичерин.** Старое правило — хорошая дипломатия не увеличивает числа своих врагов: надо продолжать диалог с Ллойд-Джорджем.

**Красин.** А если он не захочет?

**Чичерин.** Надо идти на риск и начать этот диалог.

**Красин.** Вы готовы на этот риск?

**Чичерин** (не без смятения). Если речь идет обо мне, пожалуй, готов.

**Красин.** Коли риск, то расчет — без расчета рисковать нет смысла.

**Чичерин.** Расчет есть.

**Красин.** Какой?

**Чичерин.** Узнав, что мы хотим продолжения разговора, Ллойд-Джордж решит, что в нашем понимании проблемы возник новый элемент, и на диалог пойдет — расчет тут...

**Красин.** А на самом деле должен быть этот новый элемент?

**Чичерин.** Должен быть, разумеется. Иначе нет повода к возобновлению диалога.

**Красин.** Значит, новый элемент? Какой?

**Чичерин** (задумавшись). Хорошо, когда есть вопрос к задаче, легче дышится.

**Красин.** Насколько я понимаю, на менделеевской таблице нашей дипломатии эта клетка пуста? Но в природе этот элемент есть?

**Чичерин.** Если есть убеждение, что в природе этот элемент имеется, надо искать — будем искать вместе...

Нет, Уркарт не сидит сложа руки, как не сидит сложа руки и Ллойд-Джордж, — делегация Антанты сзывает прессу. Мир прессы. Видно, разговор пойдет о Рапалло. Этим определены и его значение и, пожалуй, масштабы: предполагает быть корпус корреспондентов, аккредитованных на конференции, да еще подкрепление из больших итальянских газет. Пятисот перьев. Такое не возникает стихийно. Не случайно встреча состоится в Сан-Джорджо. Ассоциация сознательна: как бы вторая конференция...

Чичерин просил быть с ним в поездке по городам, лежащим на побережье: издавна эти города были обиталищем гонимых русских. До того, как русские обосновались на Капри, они сидели в Санта-Маргерите, Сестри Леванте, Кава-де-Лавания.

Мы снарядили стосильный «ланча» и отправились в дорогу. Не все еще выветрилось из моей памяти; я мог показать Георгию Васильевичу дом, где жил Кропоткин, свести его с семьей, которая помнила Лопатина. Но, видно, наши души не созрели для такого путешествия, всесильная Генуя полонила их. Поэтому, воспользовавшись тем, что день погас, а дорога спустилась в долину, обширное днище которой было выстлано виноградниками, мы покинули наш автомобиль, намереваясь остаток пути одолеть пешком.

— Очевидно, почин к возобновлению диалога с англичанами должен быть сделан нами? — спросил я Чичерина: не было для него дела более насущного, чем это.

Чичерин поднял на меня строгие глаза — казалось, и он думал в эту минуту об этом:

— Да, наверно.

— А какую форму следует придать обращению: просьба о встрече, нет, не прямая, а посланная через третье лицо, или, быть может, письмо?

— Письмо, в нем есть преимущество, какого в данном случае не имеет устная просьба о встрече... Все-таки письмо.



— В таком письме должен быть этот новый элемент, о котором как-то шла речь?

— Да, конечно, при этом не обременяющий нас.— Его увлек этот разговор, я чувствовал, как разогревается его голос.— Не очень обременяющий нас,— уточнил он.

— Тогда... за чем же остановка?

— Надо выбрать момент... Мы же знаем, что ошибка в выборе момента может погубить все.

— Время работает на нас, Георгий Васильевич?

— И против нас.

— И все-таки этот момент не настал?

Мы стояли сейчас посреди долины. Где-то справа жгли костер батраки, работающие на виноградниках. Шипело масло, пахло жареным луком.

— Я бы считал, что этот момент настал, если бы не завтрашнее действие в Сан-Джорджо.

— На ваш взгляд, оно имеет отношение к Рапалло?

— Да, уверен.

— Нам надо быть в Сан-Джорджо, Георгий Васильевич?

— Конечно.

— Вам кажется, что Ллойд-Джордж завтра не одобрит Рапалло?

Мы минули рабочих, сидящих у костра. Они сидели недвижимо — это усталость сковала их.

— Определенно не одобрит, при этом он может даже выступить резче, чем хотел бы...— Он ухмыльнулся.— Когда он говорит и от имени Барту, у него получается резче...

Я шел в Сан-Джорджо и думал об этой беседе с Чичериним. Ллойд-Джордж запаздывал, и Зал Сделок выражал нетерпение — многоголосый гул был тревожным. Казалось, британский премьер не идет в зал, дожидаясь, когда напряжение достигнет своего апогея. Наконец толпа гостей, стоящая у входа, пришла в движение и нехотя раздалась, послышались приветственные хлопки. Они были как беспорядочная стрельба, выражая не столько единый порыв, сколько смятение.

То ли бессонница тому виной, то ли зубная боль, которая одолевала британского премьера все эти дни,— лицо его мне показалось больше обычного одутловатым. Но седины, ярко-серебряные, подсвеченные сильным светом моря, лежащего за окнами Сан-Джорджо, придавали его облику некую торжественность. По крайней мере сама внешность человека во многом способствовала тому, чтобы внимание заметно сконцентрировалось на нем.

Вслед за Ллойд-Джорджем шли его коллеги по делегации Антанты: Барту, Теннис, Шанцер. Видно, те четверть часа, которые они провели вместе в непросторных апартаментах дирекции Сан-Джорджо, были использованы в полной мере, чтобы распечь друг друга. Это им удалось вполне: гнев клокотал в них. Зал, настроенный празднично, готов был разразиться аплодисментами, но, рассмотрев их лица, точно поперхнулся.

— Страны Согласия едины в своем мнении: русско-германский договор — проявление крайней недояльности...

Как ни грозен был британский лев, он не вызывал страха. Тебе очень хотелось бы, чтобы я умер с перепугу, но мне не страшно — хотелось сказать старому валлийцу. Наверно, это почувствовала аудитория — она набралась храбрости, чтобы задать вопрос почти кощунственный:

— Русско-германский договор явился совершенной неожиданностью для англичан, совершенной?

Вопрос точно рукой снял с лица британского премьера выражение гнева. Нет, он не то что улыбнулся, но лицо изобразило бедовую решимость, больше того, лукавство, какого не было на лице до

этого. Когда же настало время отвечать на вопрос, то валлиец переступил эту честь одному из своих подручных. Повторяю: из впечатлений, которые дарило событие в Сан-Джорджо, именно этот момент требовал особого осмысления.

Нет, дело совсем не в заявлении Ратенау, который отводил обвинения Ллойд-Джорджа, утверждая, что Рапалло готовилось едва ли не при открытых дверях и никакого секрета не представляло. Имелись иные доказательства того, что Ллойд-Джордж если не знал, то догадывался о грядущем событии. Догадывался и молчал, как бы благословляя Рапалло? Благословляя? С какой целью?

— Какими играми вы увлекались в детстве, Николай Андреевич? Нет, не только когда рядом был брат или одноклассник, но и тогда, когда вы были одни? Наверно, повинно это мое страдное житье-быть: любил играть в игры, в которых я один во всех лицах. Как за анализом шахматной партии: чуть-чуть фантазии и представь, что тебе противостоит некто, кто на голову сильнее тебя,— отдай ему все преимущества, не бойся, отдай!.. Наверно, и пианисту инструмент дан, чтобы создать иллюзию нерасторжимости с людьми?.. Но в ряду этих игр есть одна, совершеннее которой я не знаю: игра-признание, может быть даже игра-исповедь, хотя нет слов более противоположных, чем эти... Среди тех вопросов, которые можешь задать себе, ты отбираешь вопросы-опоры, они держат твое «я». Должен сказать, что я был не одинок и, пожалуй, не оригинален, обратившись к этой игре,— в нее играл весь круг молодых Чичериных, который в свое время был не так уж мал. Недавно я совершил своеобразный эксперимент, заставив память как бы реставрировать эти вопросы. А знаете почему? Любопытно соотнести их с тем, что условно ты мог бы назвать твоим мироощущением. Любопытно взобраться по лестничке этих вопросов — кстати, у них один общий знак: любимый художник, поэт, архитектурный стиль, язык, героиня?.. Итак, художник и поэт? Леонардо и Верхарн. Архитектурный стиль? Монументальный, заключающий в себе человеческий океан. Язык? Латышский язык народных песен. Героиня в литературе? Мадам Бовари, ненасытная. Любимые качества в героях литературы? Проблематичность, амбивалентность. Философия? Философия вечного долга, вечного возобновления, всемирной взаимозависимости, познаваемой действительности и творческой деятельности. Философия количественного изобилия. Мои качества? Избыток восприимчивости, гибкость, страсть к всеобъемлющему знанию, никогда не зная отдыха, постоянно быть в беспокойстве. Величайшее счастье? Сцепления. Неутоленные и вечно живучие желания, недостижимые и вечно сияющие горизонты, неизгладимые и вечно страстные воспоминания, испытывать вторжение пронсящих ветров и трепет всемирных веяний. И принимать участие в созидательном огне... Эпикуреизм выполненного долга и ирония преодоленных контрастов. Одна борозда в степи бескрайней. Наверно, существует формула, которая способна объять все. Иногда мне кажется, что я нашел ее: «У меня была революция и Моцарт».

Если есть нечто такое, о чем ты хотел бы спросить себя в связи с Чичериним, то оно уместилось в ответах Георгия Васильевича. Ну, разумеется, это чичеринская исповедь, единственная в своем роде по своей лаконичности, выразительной силе и искренности. Не знаю, говорил ли он обо всем этом, значительном и сокровенном, в ином месте. Полагаю, что не говорил. Однако тут вот, в этой исповеди, даны ответы на такие вопросы, без которых нет Чичерина. Нет, речь идет даже не об эстетических пристрастиях Георгия Васильевича, что само по себе не ново, а о той сфере заповедной, где эти пристрастия соотносятся со взглядами на жизнь, борьбу, призвание, образуя то, что принято называть политическим идеалом. Этот идеал благороден:

«Философия? Философия выполненного долга». Приняв этот идеал, Чичерин точно отдает себя в жертву вожденной цели — никакой пощады. «Мои качества?.. Страсть к всеобъемлющему знанию, никогда не знать отдыха, постоянно быть в беспокойстве». Давно замечено: мечта человека тем выше, чем больше он сохранил в себе идеалы своей молодости. Наверно, особенность того, что есть Чичерин, и в том, что он пронес через десятилетия своего земного бытия многое из того, что исповедовал на заре дней своих. На его формуле о счастье точно лежит отблеск зоревой поры. «Величайшее счастье?.. Недостижимые и вечно сияющие горизонты, неизгладимые и вечно страстные воспоминания, испытывать вторжение пронзающих ветров и трепет всемирных веяний...» И вот что хочется осмыслить: он избрал этот образ жизни не потому, что его кто-то ему навязал. Нет, так надо и так хочется ему самому. Поэтому, как ни трудна была жизнь, он воспринял ее, по слову почтенной старины, как дар небес. Для него счастье — это прикосновение к созидательному огню, это эпикуреизм (вон как характерно для Чичерина!) выполненного долга, это ирания преодоленных пространств, а значит, тот зримый след в жизни, который, впрочем, имеет и иное название: «Одна борозда в степи бескрайней».

Я вернулся в Санта-Маргериту и, не заходя к себе, пошел к Чичерину. Мне показалось, что он ждал меня: предвечерние часы он отдавал сну, чтобы высвободить для работы ночь, а тут сон был отменен. Он стоял у окна, листая томик в коричневой коже, едва ли не без остатка уместившийся в не столь уж великих чичеринских ладонях. Тютчев или Баратынский? (Вспомнилось любимое чичеринское: «Я обхожусь малым: Тютчев, Баратынский да, пожалуй, Моцарт — с меня хватит...») В этот раз — Баратынский.

Я видел у Чичерина этот томик. Он не столько читал весь том, сколько перечитывал полюбившиеся десять — пятнадцать стихотворений: их было достаточно ему, чтобы встревожить мысль.

«Освобожусь воображеньем и крылья духа подыму...» — он читал мне эти стихи и прежде. Потом прочел еще, пушкинское, тоже не впервые: «Ты царь: живи один...» Казалось необычным: человек, посвятивший себя единению людей, начинал петь хвалу отшельничеству. Точно он ищет оправдания своему бобыльному житью-бытью, ищет оправдания и объясняет. Отыскал же он у того же Баратынского: «И один я пью отныне! Не в людском шуму, пророк...» Думалось: вот эта жажда самопознания, наверно, характерна для человека, который привык быть наедине с собой.

Он вернул Баратынского на письменный стол, но не захлопнул, а положил как бы ничком на раскрытые страницы, приберегая для себя возможность вернуться к нему.

— Как старик Ллойд-Джордж? — спросил он, искоса посмотрев на меня.

Я рассказал, какое смятение объяло старика, когда его спросили: весть о Рапалло была для него внезапной?

— Вы думаете, что он знал об этом? — Взгляд чичеринских глаз был пытливым.

— Мог знать и благословлял, мог знать, — сказал я, не остановившись перед тем, чтобы пояснить. — И благословлял...

— Благословлял! Почему?

Я понимал, что пошел далеко в стремлении объяснить позицию Ллойд-Джорджа, но хотел, чтобы Чичерин знал: мне виделись в нем, в этом мнении, свои резоны.

— Он понимает свою поездку в Геную так: англичане считают, что это его, Ллойд-Джорджа, миссия, если хотите, его предназначение. Как убеждены они, никто, кроме него, не может найти общего языка с большевиками. Поэтому успех Генуи для него в первую оче-

редь его личный успех. Да, у Рапалло есть свой срок созревания, оно возникало давно, и человек такого опыта, как Ллойд-Джордж, должен был это предвидеть, а предвидя, сказать: если это и совершится, надо сохранить спокойствие. Нет, внешне он может, конечно, гневаться, и сегодня он показал в Сан-Джорджо, как он это умеет делать, но по существу... должен демонстрировать спокойную уверенность, умение скрепить оборванную нить...

— А что предстоит делать нам? Понимать это и идти ему навстречу.

— Пожалуй, идти навстречу.

— Каким образом?

Он молчит, предоставляя мне самому решить, какой форме обращения к Ллойд-Джорджу он отдал предпочтение.

— Письмо, Георгий Васильевич?

— Да, письмо.

Он говорит «письмо» и указывает взглядом на конверт, сооруженный из ярко-белой, заметно беленной бумаги, который он привалил тяжелым пресс-папье точно из опасения, что конверт сдует ветром,— видно, копия письма, посланного Ллойд-Джорджу, здесь.

— Значит, письмо?

Принесли почту, пришедшую с дипкурьерами (они явились сегодня в обед), и разговор прервался. Он прервался в тот самый момент, когда оставалось выяснить самое существенное: каким было это письмо и включило ли оно тот самый новый элемент, о котором последний раз говорил Чичерин.

Разговор на большой террасе палатцо д'Империале: Воровский, Красин.

**Воровский.** Конечно, каждое обещание относительно, но уместен вопрос: не много ли Чичерин посулил Ллойд-Джорджу?

**Красин.** В каком смысле?

**Воровский.** Сказать, что мы вернем иностранным владельцам их собственность в России, значит дезинформировать и их и в какой-то мере себя. Оправдан этот шаг?

**Красин.** А мы спросим Чичерина — вот он... (Входят Чичерин и Рудзутак.) Георгий Васильевич, мы о письме Ллойд-Джорджу... Да есть ли в нем смысл, в этом письме?

**Чичерин** (задумался — он точно разговаривает сам с собой). Надо понять: не в наших интересах прерывать диалог с Антантой. Чтобы он был продолжен, в нашей позиции должно возникнуть нечто новое... Именно это новое может явиться внешним поводом к возобновлению диалога...

**Красин.** Но может оказаться, что мы исчерпали наши резервы и нет возможности отыскать это новое...

**Чичерин.** Надо дать себе отчет: тогда у нас нет надежд возобновить диалог... Совершенно нет надежд. Это нам надо?

**Красин.** Нет, разумеется, но это новое не должно стоить нам принципов...

**Рудзутак.** Все верно: не должно стоить нам принципов...

Я не видел Хвостова целую вечность, но сегодня, когда очередная почта уходила в Москву и в чичеринском кабинете начался аврал, Хвостов пришел со связкой пакетов как ни в чем не бывало. Он ответил на мой поклон весьма дружелюбно и выпростал из связки один за другим все пакеты, пододвигая их Георгию Васильевичу.

— Вам не следует беспокоиться, Георгий Васильевич, все будет отослано вовремя,— произнес он, склонившись над пакетами.— Нет сопроводительного письма? Я все сделаю, для меня это не проблема, как не проблема и для вас, Георгий Васильевич,— в сравнении с вашими бессонными ночами что значит моя одна?

Он принял из рук Чичерина связку с пакетами и вышел, мы остались одни.

— Я думал, что наши отношения с Хвостовым испорчены навсегда, оказывается, нет,— произнес Чичерин, будто бы склоняя меня поддержать его, он был очень заинтересован в том, чтобы я его поддержал.— А знаете, в чем дело? В доброй воле! Добро может победить все... Вы так не думаете?

— Нет, Георгий Васильевич.

— Почему, простите? Разве добро не всеильно?

— Хочу верить, что добро всеильно, хотя не следует умять и силы зла.

Чичерин выключил свет настольной лампы — он мешал ему думать.

— Это обида?

— Хуже, Георгий Васильевич.

— Злопамятство?

Мне трудно было ответить на его вопрос утвердительно — такой ответ разил прежде всего Чичерина, но, наверно, такой ответ был ближе всего к истине.

— Георгий Васильевич, наверно, зрелость — это способность человека не дать себя обмануть...

Он пододвинул настольную лампу.

— Знаете, я много раз замечал: добро может сшибить и предвзятость,— произнес он, глядя мне прямо в глаза.— Главное не ожесточиться и сохранить способность влиять на человека, зная, что он был к тебе несправедлив. По-моему, у меня есть эта способность...

Я смолчал, но мне и не следовало возражать: у него действительно, как показывали мои наблюдения, была эта способность.

Итак, его поединок с Хвостовым продолжался — как долго он продлится?

Позвонил Маццини:

— Не могу ли я обременить вас беседой, короткой? Кстати, это будет интересно и вам.

Он казался мне в этот вечер напитанным своей удушливой парфюмерией. Мы шли с ним каменистой санта-маргеритской улицей, и сладкий запах одеколона протянулся за ним.

— Отнеситесь к тому, что я скажу вам, с доверием, господин Воропаев,— произнес он, когда над нами возникла каменная ограда сада; казалось, стена оберегала нас от постороннего взгляда и постороннего слуха.— Вчера на вилле «Альбертис» был Лесли Уркарт, как говорят, был второй раз. Речь шла о последнем письме Чичерина британскому премьеру. Письмо напечатано, и есть возможность рассмотреть его содержание с беседой, которая была на вилле..

Стена, вдоль которой мы следовали, как бы вогнулась, образовав подкову, мы стояли сейчас с Маццини внутри этой подковы: казалось, итальянец намеренно привел меня сюда, сейчас стена оберегала нас едва ли не со всех сторон.

— Уркарт все еще считает южноуральские недра своими?

— Да, конечно, взывая к международному праву и к всевышнему.— Указательный перст Маццини был поднят к небу; ограденное каменной стеной, оно было сейчас с овчинку.— Он винит Ллойд-Джорджа.

— В чем, синьор Маццини?

— В том, что тот дал большевикам обмануть себя.

— Рапалло, синьор Маццини?

— Мне так кажется.

— Только отказ от Рапалло предполагает продолжение диалога, синьор Маццини?

— Не думаю — при всей своей агрессивности Уркарт реалист

— Но что означает его реализм?

— Признание долга, только признание долга,— ответил Маццини, но с места не тронулся, хотя, по всему, разговор подошел к концу.

Да, синьор Маццини продолжал стоять, точно дожидаясь, когда быстро сгущающиеся сумерки южного вечера заполнят каменный колодец, в который он меня заманил,— как ни знатен был Лесли Уркарт и дело, которое он представлял, по всему, не он был главной персоной, о которой хотел бы говорить со мной итальянец.

— В Генуе говорят: чем больше у тебя седых волос, тем больше ты должен делать добра.

— По-моему, это желание похвально в любом возрасте, синьор Маццини,— заметил я и умолк: реплика Маццини, как мне казалось, была бы лишена смысла, если за ней не следовало бы больше, чем обычное слово.

— Да, но в нашем возрасте это почти обязанность,— возразил он и поднес руку к глазам: как ни сумеречен был свет, он точно мешал ему сейчас.— Синьор Воропаев, мы знаем друг друга не первый год, и, смею думать, я могу быть с вами искренним?

— Конечно, синьор Маццини,— откликнулся я: простая корректность обязывала меня поддержать собеседника.

— Так вот мое слово: дайте понять Марии, что она свободна в своем выборе!

Мне стоило труда не издать вздоха изумления: однако издали начал этот разговор синьор Маццини!

— Погодите, но я же не говорил ей «нет»...

Он засмеялся. Его смех прозвучал здесь неожиданно громко, поколебав, казалось, и каменные стены.

— Вы должны сказать ей «да».

— Но это как раз и лишит ее той свободы, о которой вы говорите.

Он помрачнел: его не устраивал мой ответ.

— Согласитесь, синьор Воропаев, что испокон веков такой шаг требовал не просто родительского согласия— он требовал благословения. В Генуе говорят: если нужно согласие отца, то оно необходимо на рождение и свадьбу, смерть уже этого согласия не требует.

— Но согласие может быть дано, когда его просят, не правда ли?

— Вы хотите сказать, что Мария такого согласия не просила?

— Нет, разумеется.

— А если попросит?

Я молчал.

— Если попросит?

Я пошел прочь из каменного дворика.

— Не в ее характере, синьор Маццини.

Он усмехнулся откровенно:

— Значит, не в ее характере?

Было часов одиннадцать, когда Мария вернулась в отель. Едва пожелав мне спокойного сна, она ушла к себе.

Красин сказал мне как бы невзначай:

— А вы знаете, Воропаев, Ян все-таки не преминул высказать Москве свое мнение относительно чичеринского письма Ллойд-Джорджу.

— И Москва не заставила себя ждать?

— Да, разумеется: телеграмма пришла сегодня ночью...— Он помедлил.— Зайдите к Георгию Васильевичу, скажите ему слово доброе, да и его выслушайте. Дайте ему такую возможность, дайте... Я заметил: объясняя, он убеждает чуть-чуть и себя. Поверьте мне, твердокаменных в природе нет— ему необходим этот разговор.

Вот он, Красин, добрая душа. Небось его самого не часто успокаивали в жизни, а он развил вон какую деятельность. Я знаю, что сегодня с утра он послал к Чичерину с той же целью Воровского, был сам,

а сейчас подвиг меня. Но Георгия Васильевича на инспирации не проведешь. Поэтому надо пойти к нему с делом, по возможности насущным.

Но каким может быть это дело? Я вспомнил вчерашний разговор с Маццини о Лесли Уркарте — англичанин действительно был у Ллойд-Джорджа, сегодняшние газеты не обошли этого. У меня была справка об Уркарте, справка, в которой уральские сокровища предприимчивого британца были описаны с той лаконичностью и мерой анализа, какая в такой справке не пуста. Мне казалось, что в поле зрения Чичерина мог быть и Уркарт, поэтому каждое новое слово о нем было бы Георгию Васильевичу интересно. Я взял справку об Уркарте и пошел было к Чичерину, но остановился едва ли не на пороге: а к чему эта мистификация и не оскорбляет ли она мои отношения с Георгием Васильевичем? Нет, я этого не сделаю. Тут нужно иное, однако есть ли в природе это иное? Не знаю, как долго бы я единоборствовал с самим собой, если бы, уже за полночь выйдя в парк, не увидел света в крайнем, чичеринском, окне — там находилась смежная с кабинетом комната. Мы иногда работали в этой комнате с Георгием Васильевичем над текстами. Не без раздумий я решился.

— Вот хорошо, что вы пришли, — произнес он, вставая из-за письменного столика, придвинутого к окну, и снимая с колен клетчатый плед. — По-моему, я не видел вас целую вечность.

Нужно было приглядеться, чтобы отыскать в комнате следы происходящего... Стояла чашка с недопитым кофе. Крышка кабинетного пианино, которое накануне по просьбе Чичерина подняли с первого этажа, была открыта, и щюпитр хранил тетрадку с той самой партитурой, что он купил накануне на генуэзском развале. Играл, как всегда в полночь, едва касаясь пальцами клавиш, вполголоса. На письменном столе лежала раскрытая тетрадь, видимые страницы были заполнены чичеринским почерком, чуть прыгающим, в нем есть нечто от походки, свойственной людям прошлого века. Не заметки ли о Моцарте, которые он накапливал изо дня в день? Он как-то сказал мне: каждый лечит себя по-своему — когда тревожно на душе, хорошо уйти в рукопись. Так-то: уйти.

— Ян сказал мне: «Георгий, я с тобой не согласен и не хочу делать из этого секрета». — Его веко чуть подергивается. — Короче, он захотел, чтобы нас рассудил Ильич.

— И он рассудил?

Веко все еще трепещет, и как бы невзначай Георгий Васильевич касается его большим пальцем левой руки, поглаживая, — кажется, глаз поутих.

— Вот, взгляните...

Он идет к соседнему столу и приносит белый квадрат бумаги с убористым машинописным текстом — видно, текст печатался на портативной машинке. Да, это телеграмма Ильича, в ней все Ильичево — и энергия мысли и прямота, хотя в оценке поступка заметна осторожность, телеграмма щадит.

— Как вы помните, мне казалось существенным отыскать прецедент для продолжения диалога... Отыскать...

Чичеринская реплика исполнена убеждения: отыскать прецедент для продолжения диалога. Но был ли его образ действия единственно верным, единственно?.. Убеждая меня, он имеет возможность оглянуть критическим оком и свою позицию. Он слишком опытный политик, чтобы эта его позиция казалась ему безупречной. Однако что он должен сказать себе? В больших делах ум хорошо, а два лучше? Пожалуй. Совет и еще раз совет, тем более что в Генуе собрался синклит советчиков отменней? Кстати, его формировал Ильич, при этом еще в ту пору, когда собирался в Геную сам. Формировал Ильич, полагая, что в таком деликатном деле, как Генуя, синклит советчиков показан и ему. Надо ли пренебрегать этим? Непреклонный Ян мог бы высказать

свое мнение и раньше, если бы был спрошен. Но вот вопрос, не последний: как воспримет объяснения Чичерина Ильич? Если он согласился с Яном, то в его положении легко учинить такой разнос, что небу будет жарко. Однако вопрос действительно не последний: как воспримет объяснения Чичерина Ильич?

— Я замечал многократно у Ильича: как ни сложен вопрос, медленно, но верно добираться до его глубин, видеть его второй и третий планы,— говорит Чичерин, будто проникнув в существо моих раздумий.— Протест Рудзутака, по всему категорический, зовется опасением: «Считаем опасение Рудзутака... вполне правильным».

Чичерин пододвинул торшер, и белый лист бумаги, лежащий на столе, точно прибавил света комнате, бумага светит, от нее не отнять глаз.

— Садитесь рядом со мной, я вам объясню,— говорит он, приглашая к столу. Да, Красин прав: у него потребность посвятить тебя в суть замысла. Объясняя, он точно убеждает и себя, для него это сейчас важно.— Поймите особенность момента. В чем она? Не дать стихии неприязни полонить конференцию, предупредить разрыв... Предупредить! — Он смотрит на меня, оценивая, какое впечатление его слова произвели на меня и проник ли я в их смысл.— Помните, я говорил вам о новом элементе? Он не может быть легковесным, этот новый элемент! Допускаю, что можно было найти и лучше, но я нашел этот... Мне, например, было очевидно, что эта формула не устроит делегатов Антанты, ибо их программа-минимум — возвращение большого долга. А коли не устроит, они передадут эту новую формулу подкомиссии, уложив ее в долгий ящик, самый долгий, что нас устраивает — мы хотим выиграть время. И потом: вера в человека. Бесценно, когда с человеком эта вера!

Он стоит сейчас прямо перед окном. Ночь, только что аспидно-черная, будто разверзлась. Вызрел рассвет. Солнце было еще за лигурийским хребтом, но оно уже коснулось своей длинной десницей зенита и подошло к облаку. Ночь была на ущербе.

— Нет, не смотрите на меня так: все чудеса, сотворенные на земле, согревались верой в человека.

А вот это он сказал, точно разговаривая сам с собой, и произнесенное было для него в эту минуту сокровенным.

Меня пригласили к Чичерину. Я взглянул на часы: восемь утра. Для Георгия Васильевича с его ночными вахтами это почти чрезвычайно — в это время он спит. Тем более необычно было застать его в обществе Красина — утренний променад был в правилах Леонида Борисовича.

— Мы побеспокоили вас, Николай Андреевич, по обстоятельству не совсем ординарному,— произнес Георгий Васильевич, приглашая занять второй стул у письменного стола.

Чичерин, казалось, сегодня не ложился спать — к его обычно шафранному лицу, которого так и не коснулся лигурийский загар, была примешана желтинка. Красин, наоборот, выглядел хорошо отдохнувшим, его приятно загорелое лицо казалось в это утро чуть-чуть обветренным — последние дни знойные ветры, дующие с гор, были в Санта-Маргерите свирепы. Но, по всему, это не испугало Красина — вот и сейчас он собрался на прогулку — короткая куртка, украшенная квадратными пуговицами, и просторные бриджи, схваченные у щиколоток резинками, прямо указывали на это.

— Уркарт возвращается в Лондон, завершив свою генуэзскую миссию,— сказал Георгий Васильевич, в его тоне была некая заученность: видно, все, что мне предстояло сейчас услышать, только что было обсуждено в деталях.

— Или не завершив, впрочем...— вставил Красин, он внимательно следил за ходом разговора.



— Согласен, Леонид Борисович: или не завершив,— подхватил Чичерин.— Нам бы хотелось прояснить: с чем уезжает Уркарт? Знание этого даст точное представление о сегодняшней позиции англичан...

— Не столько Уркарта, сколько Ллойд-Джорджа,— осторожно вставил Красин.

— Готов даже усилить вашу формулу, Леонид Борисович: не столько Уркарта, сколько Ллойд-Джорджа,— тут же отозвался Чичерин.— Короче, надо повидать Уркарта и по возможности вызвать его на разговор. Но вот вопрос едва ли не самый трудный: повод. Тут у Леонида Борисовича есть идея... Достоинство ее: она нас ни к чему не обязывает и даст возможность сохранить лицо...— Чичерин взглянул на Красина, точно приглашая его изложить свой план.

— Все просто, Николай Андреевич,— как бы подхватил последнюю чичеринскую фразу Красин, в его репликах была стремительность реакции.— В Лондоне, когда надежда на соглашение с Уркартом еще оставалась, англичанин прислал мне поименный список предприятий, которыми он владел, и краткое описание их — сейчас мы можем вернуть все это Уркарту...

— Это и есть... повод к встрече, Леонид Борисович? — спросил я, не скрыв улыбки.

— Небогато? — взволновался Красин.

— Не очень,— признался я.

— Чем богаты, тем и рады,— ответил Красин.— Если у вас есть побогаче, готовы принять. Есть?

Я не скрыв смущения:

— Боюсь, что не скоро добуду.

Красин встал, одернул куртку, выражая нетерпение — для него беседа эта явно затягивалась, он уже начинал терять интерес к ней.

— Тогда с богом... Только, чур, на русский Уркарта я не надеюсь, поэтому вся надежда на ваш английский.

— Ну, тут я за Николая Андреевича спокоен,— поддержал меня Чичерин.

Чем малозначительнее повод, тем больших усилий он требует — надо было действовать. Я позвонил на виллу «Альбертис», где, по моим данным, должен был пребывать сегодня Уркарт, назвал себя и сказал, что у меня есть пакет для англичанина, который я хотел бы вручить ему лично; очевидно, несколько слов, произнесенных мною, были окутаны таким туманом, что приглашение посетить Уркарта последовало тут же.

Я приехал на виллу, как условлено, в три пополудни и был немало обескуражен, когда мне сообщили, что Уркарт просил искать его на птичьем дворе усадьбы — он там кормит цесарок. Птичий двор не очень подходящее место для встречи с британским магнатом, но выбор у меня был ограничен и я пошел — не думаю, что Уркарт избрал столь необычное место для встречи со мной, чтобы дискриминировать меня, скорее он хотел сделать эту встречу по возможности неофициальной.

Уркарт сидел на корточках, раскрыв перед собой ладони, полные проса: стая цесарок окружила англичанина, споро работая сильными клювами. Маленькие ладони британца, нежно-белые, действительно женские, были в бордовых пятнах, но это его не смущало, он стонал от удовольствия.

— Ты, ты... хромой разбойник, не дам тебе, прочь! — В его русском не было беглости, но все слова были на своих местах.— Уходи, уходи... подобру-поздорову...

Я смотрел на Уркарта, как он грозил цесаркам тонким пальцем, и думал: «Да тот ли это Уркарт, могущественный покровитель Колчака, глава теневого мира, отважившихся покорить и покарать новую Россию?»

— Вот посмотрите, как боятся этого хромого! А почему? Не пото-

му что сильный, а потому что смелый! — Он сейчас смотрел на меня снизу вверх, смотрел не без боязни, ожидая ответа. — Все-таки власть — это смелость, так я говорю?

Он встал, сбросил просо с ладони — то, что он хотел сказать на птичьем дворе, он сказал.

Боковой аллеей мы вошли в парк, и зеленые великаны, обступив, укрыли нас тенью и холодной свежестью.

— Сядем вот здесь, — сказал он, указывая на скамью, свитую из ивовых прутьев, и положил между нами пакет, который я ему вручил. — Русские сегодня говорят: было ваше, стало наше! — Он засмеялся, засмеялся громко, смех был нервным. — По-моему, вы должны говорить по-английски, так? Угадал! — Он стал серьезен — то, что он сейчас хотел сказать, его русскому языку было не под силу. — Как мне кажется, чичеринская формула о двух системах собственности ничего хорошего не обещает... — Перейдя на английский, он разом обрел преимущество, которого не имел, — уверенность пришла сама собой.

— Почему не обещает, мистер Уркарт?

— Когда русские говорят о двух системах собственности, они формулируют свои принципы, а это значит, готовы стоять насмерть. Мы-то знаем, что они гибки во всем, но только не в принципах...

Он вскрыл пакет и, распушив на ветру пучок тонкой рисовой бумаги, испещренной машинописными литерами, окрашенными в свирепый ультрамарин, тряхнул им и небрежно возвратил в конверт — он опознал документ по ультрамарину, такая машинописная лента была только у него.

— Так восприняли эту формулу вы, мистер Уркарт?

— Не только я, вы тоже... — Он взял пакет, лежащий между нами, сделал усилие сесть ближе. — Но, быть может, я не прав?

— У дипломатов есть выражение «найти общий язык» — надо его искать, мистер Уркарт...

Он запрокинул голову, откинувшись на спинку скамьи, обратив печальные глаза на маковку сосны, что встала напротив, сказал не столько мне, сколько ей:

— Я готов этому способствовать и только сегодня сказал об этом мистеру Ллойд-Джорджу. — Он простер руку, обратив мое внимание на человека в сером свитере, стоящего на террасе. Характерный абрис фигуры валлийца опознавался без труда. — Хотите, спрошу?

— Нет, не надо, мистер Уркарт.

Человек в сером свитере точно услышал нас — он покинул террасу.

— Нет, я не оговорился: я готов этому способствовать.

Когда наш автомобиль скатился с холма, который венчала вилла «Альбертис», и, подняв глаза, я увидел темно-зеленую шапку парка, мне пришла на ум такая мысль: в том, что сказал Уркарт, могла быть и мера искренности. Надо понять и Уркарта: у него действительно не осталось иного средства, как искать общий язык с русскими. И еще я подумал: хорошая штука — сила в руках правого. Она, эта сила, способна если не обратить злодея в иную веру, то заставить его признавать ее. Как сейчас.

Все сорок сороков, если бы они были в благословенной Генуе, явили сейчас свой голос: звонят колокола.

Каждый раз, когда накатывается медный гул, взмывают, забирая все выше, стаи голубей, неистово разномастных, единоборствующих в своем многоцветье разве только с пестротой праздничных штандартов, в которые с утра запелената Генуя. Веселый переполох, во власть которого сегодня отдала себя Генуя, имеет свои резоны: древний город осчастливил своим присутствием итальянский монарх.

Приезд короля связан, разумеется, с конференцией. На это указывает протокольное действие: король устраивает завтрак для делегатов

на борту яхты «Данте Алигьери». Правы, наверно, те, кто утверждает: в участи дипломата есть нечто от существа бессловесного: светло у тебя на душе или сумеречно — улыбайся, друг мой! Наверно, нынешний день не самый подходящий для торжеств. Даже наоборот: он меньше всего соответствует этой цели: но в Геную приехал итальянский монарх. Так или иначе, вереница осанистых лимузинов устремляется к порту. И почетная стража, представляющая все роды королевской гвардии, встречает их у трапа. И маршал двора, одетый по этому случаю в парадную форму, приветствует их на борту яхты от имени короля. И гул голосов, едва ли не ликующий, сопровождает тебя, пока ты шествуешь на верхнюю палубу, где гостей представляют монарху. И, склонившись над бледной рукой монарха, ты можешь считать, что обязательные обязанности гостя его величества ты уже выполнил и в предвкушении трапезы можешь посвятить предстоящие полчаса беседе. К твоим услугам и Ллойд-Джордж — его похудевшая за страданий генуэзский апрель спина обозначилась у окна.

Точно не было трудных вахт и бессонного санта-маргеритского бдения: черный фрак, безусловно сшитый лучшим наркоминдельским портным в самый канун отъезда в Геную, фрак, надетый едва ли не впервые, был очень хорош на Чичерине — оказывается, годы жестокого житья-бытья в лондонских флигелях и полудачах не отняли у Георгия Васильевича умения носить парадное платье.

А как итальянский суверен?

Будто две недели труднейшей генуэзской маеты принял на свои плечи он и только он — монарх смотрел устало. Его голос воспринял эту усталость, когда в его дрожащие ладони лег лист веленовой бумаги с текстом речи и король произнес без видимой охоты:

— Дамы и господа...

Праздный писака, набивший руку на сочинении речей монарха, и в этот раз не дал себе труда вложить в уста суверена хотя бы единое живое слово, не дал себе труда, шельма! Все та же тягомотина насчет солидарности держав Согласия, повергших ниц агрессора, и готовности человечества в ближайшие сто лет петь хвалу доблестной Антанте. Короче, всемиловитейший монарх хотел дать понять всем, кто еще не понял, что именно эти слова, вызванные к жизни скучающим пером придворного писаки, жаждут услышать люди в своем четырехлетнем походе по терниям минувшего столпотворения.

А Чичерин, занявший свое место за монаршим столом, внимательно и печально смотрел на британского делегата, сидящего напротив. «Что будем делать, почтенный делегат? — точно спрашивал он вальщика. — Как вам видится завтрашний день наших отношений и есть ли он у нас? И что сулит грядущее нам? Легче нам будет или труднее? Да неужто труднее, коли в нашем ранце рапалльский жезл?»

Чичерин просил меня быть вместе с Воровским в его поездке в порт Генуи, где заканчивалась погрузка итальянского судна, уходящего в Одессу, — наши друзья не теряли надежды, что груз семян, которые они закупили в Италии, еще успеет к севу.

Мы прибыли на судно, когда погрузка была в самом разгаре; по совету капитана мы обошли судно, повидав едва ли не каждого моряка, успев сказать ему и слово благодарности и слово напутствия — перед отплытием судна в Россию это было более чем уместно.

Когда мы сошли с судна, был уже поздний вечер, безветренный, теплый и в такой мере темный, что дорога к порту, где дождалась нас машина, угадывалась по ударам прибрежной волны да едва приметным огням впереди. Но, странное дело, это как-то не беспокоило нас — беседа завладела нами.

Если быть откровенным, то я ждал этой минуты — мне казалось, что нет более подходящего собеседника, чтобы **рассеять мои сомнения**, чем Вацлав Вацлавович. Не скажу, чтобы я **осторожно подбирался к**

сути — с таким человеком, как мой собеседник, можно было говорить напрямик:

— Не предполагаете ли вы, что дипломатию сближает с искусством не только то, что ее сутью является душа человека, а братьями кровными — весь круг гуманитариев, не только это?

— А что еще? — спросил Воровский, остановившись: как мне казалось, первой же фразой я припечатал его к прибрежному песку, который мы сейчас преодолевали во тьме.

— А вот что, Вацлав Вацлавович: подобно художнику, композитору, может быть даже писателю, дипломат единствен и суверенен, все достоинства, как, впрочем, все недостатки в нем самом — именно его одного жизнь склоняет к единоборству со всеми злыми силами мира, и он принимает этот бой, одерживая или не одерживая победу, так?

— Пожалуй, так... — последовал ответ Воровского.

— Но тогда что есть Генуя и каково место в ней храброго одиночки? — спросил я безбоязненно.

Воровский стоял в двух шагах от меня, но был едва видим — когда мой спутник умолкал, казалось, и он смыкался с ночью и исчезал, оставив только дыхание, да и то в виде прерывистого и тяжкого гула прибрежной волны; но время от времени ветер менялся и точно отнимал дыхание моря — в такую минуту было желание крикнуть.

— Я все-таки считаю, что сила дипломатии в силе личности дипломата, именно личности, — произнес он, точно воспользовавшись наступившей тишиной. — Всех достоинств человека, образующих личность, и прежде всего воли, интеллекта... Должно быть убеждение, что человек этот возьмет верх, какие бы дьяволы ни шли на него войной! Если искать сравнения в природе, то надо говорить об орле, чья сила в обретенной высоте. Ну что ж, и это верно... А как Генуя, коллективный разум Генуи?

— Да, как коллективный ум и, пожалуй, коллективная воля Генуи? — повторил я вопрос Воровского.

— Да разве это опровергает сказанное? — Он сдвинулся с места, и вновь я услышал гудящее дыхание моря — оно было могуче-торжественным, это дыхание, и стойким. — Поверьте мне, Николай Андреевич, сила этого коллективного ума в достоинствах личностей, образующих коллектив. Вы помните этот красинский поход в логово зверя — я говорю о поездке к Людendorфу? Вот она, единственность человеческого поступка, и вот она, суверенность!.. Человек — крепость? Именно. И тем более, когда речь идет о дипломате. Его сделали крепостью не только воля и интеллект, но и доверие. Без доверия не очень-то обретешь неуязвимость крепости!.. Говорить о нем в единственном числе даже как-то неудобно: он один в своем многотрудном плавании по океанам мирового ненастья, но за ним отчая земля. Когда речь идет о дипломатии, есть резон вспомнить: «Орлы летают и в одиночку!»

— А речь в Сан-Джорджо — это что?

— И это поиск высоты...

Мы уже далеко отошли от моря, огни впереди разгорелись, стала видимой фигура Воровского, чуть склоненная, осторожно опирающаяся на палку.

— Однако где объяснение того, что мы зовем силой личности?

— Для меня... где объяснение?

— Для вас, Вацлав Вацлавович.

Он продолжал идти; шум моря приумолк, и сделался слышным удар палки о песок — видно, недавно прошел дождь и, отвердев, у песка образовался своеобразный наст.

— Кто является верховодом у детей и подростков? У детей — этакий крепыш, безбоязненно идущий в драку: у кого крепкие кулаки, тот и главарь! Но у этого главаря век короткий. Подросли

сверстники и сместили своего кашевара, поставив на его место не столько самого сильного, сколько самого умного, а если быть точным, то самого знающего. Вы заметили? — самого знающего... В этом смысле: человек рано способен осознать — неколебим только авторитет знаний. И это куда как хорошо. Ну, разумеется, нет знаний для знаний! Знания как первооснова опыта, как первоядро труда, полезного человеку, но все качества от того всесильного корня, который зовется образованностью. Если говорить о существовании личности, существовании, способном дать удовлетворение, то надо признать: только знания могут дать такое удовлетворение, только в постижении знаний нет предела. Вы задумывались над таким фактом: что сделало для нашей делегации погоду в Генуе. сшибло спесь врагов, заставило с нами говорить как с равными, определило отношение всего круга людей, приобщенных к конференции? То, что я вам сейчас скажу, родилось не сразу — я возвращался к этой мысли вновь и вновь, вот мое мнение: во многом речь Чичерина в Сан-Джорджо. Поверьте мне: не было бы чичеринского дебюта в Сан-Джорджо, нам было бы многократно труднее...

— Высота... орлиная высота, Вацлав Вацлавович?

— Высота.

Разговор за утренним чтением прессы: Красин, Воровский.

**Воровский.** Я только что прочел новую телеграмму Ильича...

**Красин.** Он находит объяснение Чичерина резонным?

**Воровский.** Да, получается так: прав Ян, как, впрочем, не лишены известного резона доводы Чичерина... На чьей стороне Ильич?

**Красин.** Ну как тебе объяснить? У Ильича тут задача... педагогическая! Именно педагогическая!.. Ильич, разумеется, понимает: то, что мы зовем новой позицией Чичерина и выражено в его апрельском письме Ллойд-Джорджу, ошибочно. Тут прав Рудзутак и не прав Чичерин. На чьей стороне Ленин? Думаю, на стороне Рудзутака, и он это высказал недвусмысленно. Но Чичерин объяснил свою позицию достаточно убедительно, и Ильич не стал ему возражать. Почему не стал? Вникни, это интересно... Он понимает, что Чичерин уже все понял и нет смысла его колотить в загривок. Нет смысла не только потому, что речь идет о человеке, которому мы в немалой степени обязаны рапальской победой, не только поэтому, — Чичерин все еще на вахте... Надо понять: на вахте! А колотить часового все одно что колотить себя... К тому же, это — Чичерин... Все, что надо, Ильич уже сказал — сказать больше и сильнее значит не принести пользы...

**Воровский.** Как всегда у Ильича, очень точно понята психология момента...

**Красин.** Главное в этом понимании момента: если ты человеку веришь, не повергать его.

**Воровский.** Именно, Леонид, — не повергать значит сберечь. Это очень много — сберечь.

Мне показалось значительным то, что я только что услышал, в частности вот это Вацлавово: «Не повергать значит сберечь». Вот как это здорово: слова прикреплены к человеку. Ничто так точно не способно опознать человека, как произнесенное им слово. Однако что лежит в смысле сказанного Воровским? Нет, не только коренное, идущее от далеких первоисточков, от его польских предтеч, от его дома с гобеланами, небогатым фамильным серебром, крохотным Евангелием и таким же песенником-малюткой, по которому, как утверждали, в семье Воровских пели кандальные поляки на этапах... Не только это, а все то, что возникло в нашем веке, когда символом и русской и польской свободы стал этот молодой волжанин, собравший со всей русской земли себе подобных... «Друг Ленина», — услышал однажды Воровский горячий полупшепот и, обернувшись, увидел устремленные

на себя глаза молодого рабочего, в них, в этих глазах, был восторг молодости, но в них было и сознание силы. «Друг Ленина! — повторил Воровский самозабвенно, чувствуя, как волнение зажало грудь. — Так вот как нарекла тебя молва... Вот как!»

К тому, что скажет время, трудно что-либо прибавить, оно открывает глаза. Нет, тайна упряталась не за грядой лет, она схоронилась за ближним пригорком, до которого едва ли один год... Истинно обретешь способность провидеть и лишишься сознания... Когда же это стряслось? Если сейчас май двадцать второго, то через год будет май двадцать третьего? Сейчас 4 мая, а тогда 10-е? Истинно до пригорка чуть больше года... Когда он явился в Лозанну, его никто не ждал. Даже больше: его не хотели видеть. Ему дали знать об этом недвусмысленно: на городском вокзале он был встречен лишь советскими коллегами. Они повезли его в гостиницу. Он осведомился: в какую? Ему сказали: «Сесиль». «Значит, «Сесиль»?» Будь гостиница побогаче, его неофициальное положение было бы, пожалуй, не столь заметно. Друзья пытались успокоить: «Пять комнат с окнами на озеро, очень чистые, ресторан...» Да, ресторан был упомянут, хотя здесь нет гостиницы, в которой бы не было ресторана. Воровскому отдали самую просторную комнату: два больших окна на озеро. Оно здесь велико, с неоглядным зеркалом воды, именно зеркалом, в которое смотрятся черные камни. Окна так широки, что озеро точно входит в комнату, а его цвет фиолетовый не могут не воспринять стены комнаты. Но окна давали простор не только свету. Однажды в раскрытое окно влетел камень, брошенный сильной рукой. Ударившись об пол, он завертелся, точно высвобождаясь от шпагадины, которой был стянуг. Но шпагат перепоясал не только камень, но и бумагу, клочок бумаги. Можно было бы подумать, что послание является дружественным, если бы не размеры камня да, пожалуй, его вид свирепый — угоди такой камень в голову, раскроит... Воровский взял камень на ладонь, осторожно перенес его на письменный стол, а вместе с ним и квадратик бумаги. Да, все именно так, как предполагал Вацлав Вацлавович, — текст послания соответствовал свирепому виду камня: «Убирайтесь вон, пока целы!» Нет, это не перевод — написано по-русски. Ребристый камень с запиской, написанной по-русски, отыскал в Лозанне окно Воровского. Это наводило на печальные раздумья: те, кому враждебен Воровский, знают о нем достаточно. Но Воровский не покидал Лозанну. Даже наоборот, как ни скромны здесь были его возможности, он был, как всегда, деятелен. Он принял Исмета-пашу. Позже Чичерин скажет об этой встрече: это было нам очень полезно. Он разговаривал с корреспондентом «Кельнише цайтунг». «Не отступлю от директив, полученных из Москвы, и останусь в Лозанне до конца конференции», — сказал он корреспонденту кельнской газеты. Корреспондент еще будет иметь возможность написать: «Воровский отдавал себе отчет в той опасности, которая ему угрожала, и был готов ко всему. Он лучше, чем другие, способен защитить в Лозанне русские интересы, друг Ленина...» И еще раз было упомянуто давнее, идущее вместе с Воровским шаг в шаг: «Друг Ленина». Кстати, теперь это произнес человек, чья враждебная суть была известна. Имя его — полковник Полуниин; в событиях, которые приближались, роль полковника была едва ли не главной.

...Как было сказано, в предвечерние сумерки озеро было фиолетовым, как и стены комнаты, в которой жил Воровский, становились заметно фиолетовыми. Это было своеобразным знаком: по давней тюремной привычке Вацлав Вацлавович брал карандаш и обратным его концом ударял в стену. Получалось похоже на такой звук: та-та! та-та-та! Иначе говоря: ужи-нать по-ра, по-ра! Удар в одну стену и удар в другую — соседи в сборе. Внизу ждал их ужин. В этот раз зал ресторана показался им необычно безлюдным. Столы были сервированы, но в синеватых сумерках (видно, сюда уже не доставал блеск

воды и сумерки были синими) крахмальная белизна скатертей казалась не столь ослепительной. Как обычно, они расположились за столиком, который был придвинут торцом к окну. Воровский любил это место: оно показывало озеро в неожиданном ракурсе — вода точно становилась на дыбы. Казалось, еще минута — и вода начнет рушиться, но она не рушилась. В этом было ощущение и тревоги и радости, при этом каждый раз, когда ты смотрел на озеро, это ощущение как бы возобновлялось, все казалось, что ты смотришь на озеро впервые.

Они были так увлечены видом на озеро, что не успели внимательно оглядеть зал, а оглядев его, заметили, что далеко в стороне за маленьким столиком, такими обычно окружена стойка, сидит человек над рюмкой коньяка. Он точно специально расположен вблизи стойки, чтобы иметь возможность заказывать новую и новую рюмку коньяка. У человека было землистое, а в свете быстро сгущающихся сумерек почти черное, лицо и длинные ноги, которые ему никак не удавалось упрятать под маленьким столиком. В зале стало едва ли не полутемно, а кельнеры, увлеченные беседой, забыли включить свет. Наверно, это не обошел своим вниманием человек, сидящий над коньячной рюмкой. Он встал и, идя вдоль стены, неожиданно появился за спиной Воровского. Он это сделал с той точностью и сноровкой, которые выдавали в нем человека военного. Раздался выстрел, человек целился в затылок. Потом он выстрелил еще и еще — человека устраивала только смерть...

Он отдал себя в руки полиции, там была установлена его связь и с полковником Полуниным, тем, что сказал о Воровском: «Друг Ленина»... Но до Лозанны еще был год, долгий год, а сейчас всего лишь была Генуя, ее страдный апофеоз, и Воровский готов был повторять бесконечно: «Не повергать значит сберечь...»

Приехал Рерберг с приглашением посетить его владетельное имение в Специи. Мария сказала:

— Он приглашает и тебя — поедешь? Кстати, там будет и Рербергова Ксана — ты ведь был к ней привязан.

О Федоре Ивановиче, который переправил Ксану в Специю, она умолчала — быть может, была не очень уверена, что он тоже будет.

Мне показалось, что Маше хотелось, чтобы я был с нею, и я поехал.

Рерберг привел в действие свой старый «форд», и мы отправились. «Форд» шел вполне исправно, но Рерберг был встревожен — его юмор был каким-то нервным. Он обратился к ассоциациям, которые были наивны:

— Согласитесь, Николай Андреевич, что феодализм был прогрессивен: он высвободил энергию художников и ученых. Не было бы феодализма, не было бы Рафаэлевых мадонн...

— Ты хочешь сказать, что колодочная мастерская в Специи высвободила твою энергию, Игорь?

— Убеден.

— А как же быть нам, бедным, не имеющим колодочных мастерских, никогда мы не создадим Рафаэлевых мадонн?

— Смеетесь, Николай Андреевич?

Однажды мы даже сделали привал, остановившись у колодца, который был сооружен, как здесь это бывает, у скрещения дорог. Я расположился в тени старой черешни, где движение ветра было большим, чем у колодца, и дрема на какой-то миг заставила меня прикинуть к стволу. Когда я открыл глаза, картина, которую я увидел, меня чуть-чуть изумила. Меня разбудил голос Маши: «О, мои пантофели!» В следующую минуту действительно Машины туфельки упали к моим ногам, а моя дочь босая и простоволосая мчалась пыльным проселком, пытаясь уйти от бегущего по ее следу Игоря. Истинно бес поселился в Марии и сообщил ей силу неукротимую. Она

промчалась проселком, взлетела по этому проселку на холм, выбежала на поляну, перемахнула через канаву, полную воды, ворвалась в пределы подсолнечного поля, утыканного будыльями, при этом будылья трещали, будто на них налетел вал степного огня. Я же знаю, что такое эти будылья по весне! Они окаменевают, и их корой, как наждаком, можно полировать металл!

— Выбирайся на дорогу, Мария! — крикнул я. — Ты иссечешь себе руки!..

Но, видно, я только распалил ее. Вначале я видел на их лицах улыбку, а потом и она исчезла — злая игра!.. Она вбежала на мой пригорок первой и, рухнув у моих ног, припала к земле, разбросав руки, действительно иссеченные в кровь. Казалось, только земля, ее спокойная сила, ее холодное прикосновение, способна была утишить эти хрипы... Поодаль, опрокинувшись на спину, пытался смирить гудящее дыхание Рерберг. Я встал и отошел в сторону. Внизу лежало подсолнечное поле — они истолкли его так, будто там только что бывал табун лошадей.

И вновь я подумал: «Минувших двух лет недостаточно, чтобы ушло в небытие прежнее. Их игры кажутся мне дикими, но и в Петровском парке они не были иными... А может быть, я тут чего-то не понимаю? Чего-то не рассмотрел, чего-то не постиг? Иное расстояние требуется и мне, чтобы осмыслить происшедшее. И еще: какой смысл несут эти их игры, как их следует прочесть? Вижу ли я устойчивое пламя прежних отношений, которые ничто не может изменить, или это просто отблеск огня, отблеск преходящий?»

Когда далеко впереди на холмах обозначились темные на фоне сине-белесого здешнего неба сады, Рерберг заволновался:

— Вот они, Рерберговы Заломы! И где! В итальянской Лигурии! Неумирающие, вечные Рерберговы Заломы, которые ничто не берет: их убили в одном месте, а они как ни в чем не бывало объявились в другом!

Машина сбавила скорость, медленно въехала в пределы ограды, сложной из серого туфа. Человек, оказавшийся на дороге, отскочил на обочину, однако, узрев молодого хозяина, улыбнулся, снял кепчонку.

— Леониде, как у нас тут, старина? — заговорил Рерберг по-русски, на что человек ответил улыбкой и вновь снял кепку, на этот раз обратив поклон не только к Рербергу. — Ну, тут мы у себя дома и можем пойти пешком — Леониде поставит автомобиль сам... — Он простер руку в пролет аллеи. — Высадил прошлой весной два ряда сосенок — взялись на зависть! — Он свернул направо, переступил канаву, приглашая нас сделать то же самое. — Я люблю смотреть отсюда... — Он простер руку, однако тут же отнял: жест был рассчитан на большее пространство, чем то, которое сейчас лежало перед Рербергом, Игорь это понял. — Все, разумеется, скромно, однако для меня значительно... Прямо яблоневый сад, а перед ним огороды, за домом скотный двор: все как подсказано опытом... Заметьте: что-то успел сделать и я. Вот этот колодец под зеленой кровлей, кирпичный тротуар, что виден отсюда, железный козырек над парадным входом в дом — это все мое...

Я обратил взгляд на Марию: она шла, опустив глаза. Казалось, ей был не в радость и кирпичный тротуар, и железный козырек над парадным входом, но Рерберг не замечал этого — восторг застил ему глаза.

Стоял дом-сундук с немалым количеством окон, перечеркнутых крест-накрест переплетами. Дом не претендовал на красоту, он был грубо квадратным, без карниза, с низкой, полого спускающейся крышей, казалось, он стоит без головы.

— Каково Рербергово королевство? — Он смотрел то на дом, то на меня. — Не мрачен ли? Нет, нет, не говорите — мрачен, мрачен! Хо-



тел перекрасить, все искал колер: цвет морской волны, бордо, оранжевый. Но где найдешь столько краски — попробуй перекрась лигурийские горы! Леониде! Леониде! — окликнул он человека в кепчонке, которая своим легкомысленным видом не очень-то соответствовала возрасту человека. — Достался мне в наследство от тетушки — нет, не ключник и не эконо́м, а скорее главный приказчик, а может быть управляющий. Одним словом, министр уделов!

Леониде еще раз снял свою легкомысленную кепчонку, обнаружив красную лысину, на обширном пространстве которой точно размazаны были седые лохмы.

— Вот твержу Леониде: спиши ты этот веник и выбрось, ко всем чертям, — указал Рерберг на дерево, молодая крона которого едва ли не укрыла крышу сарая. — Железо не держит краску — ржавеет.

Только сейчас я заметил: под деревом сидели старики и играли в шашки; они улыбались и все пытались поймать взгляд Рерберга, но он не давался, отводил глаза, точно в этом и была его привилегия.

— Ксано-о-о! — крикнул Рерберг, да так, что старики вздрогнули и вновь улыбнулись. — Ксано-о-о, мы идем, мы уже идем!

Рерберг пошел к дому, провожаемый улыбающимися стариками — они продолжали улыбаться.

— Леониде! — возопил Рерберг. — А как же фабрика? Мы не показали нашим гостям фабрику! — Он повлек нас к зеленым воротам, встроенным в кирпичную стену дома, откуда доносился не столь уж мощный шум сверл и перестук молотков. — Веди, веди, Леониде!

Он обогнал нас и, ускоряя шаг, ввел в комнату, светлую, с неожиданно высоким потолком. Посреди комнаты на специальной подставке, сверкающей лаком, стоял граммофон, широкий раструб которого, казалось, вполне соответствовал высоте потолка.

— Вот страсть необъяснимая: скрипке предпочитает... граммофон! — Он указал взглядом на стеклянный шкаф. — Леониде, показывай колодки!

Леониде открыл дверцу шкафа и взял на ладонь прямоугольный брус, точно разграфленный пятью рядами металлических колышков, прямоугольных, похожих на подковные гвозди.

— Дай-ка сюда, Леониде! — Со сноровкой почти профессиональной Рерберг взял колодку на ладонь. — Одним словом, все в этих гвоздях. Пока расчесывается вата, гвозди стачиваются — нам надо их раскалить, оттянуть и вновь поставить на колодки, разумеется новые, — вот и все! Как это делается? Открой-ка двери, Леониде, открой, открой.

Леониде распахнул дверь, и возник пролет цеха, уходящего вдаль. От двери до задней стены протянулся верстак, за которым стояли рабочие, молодые, споро орудуя молотками, удар был рассчитан, гвоздь входил в колодку с одного взмаха — в руках юношей была сила. Никто не взглянул на открытую дверь, не оторвался от работы — в ударах молотка был ритм неколебимый.

— Дай-ка колодку, Альберто, — обратился Рерберг к юноше, стоящему ближе остальных, но тот не реагировал, продолжая вгонять гвозди. — Дай-ка сюда, дай! — настоял Рерберг.

Отдав колодку, юноша не поднял глаз, уперев их под верстак, где на полке, застланной газетой, стояла синяя бутылка с молоком.

— Вот взгляните, как ровно ложатся гвозди, — произнес Рерберг и вернул колодку юноше, который принял ее, продолжая смотреть на бутылку с молоком — он продолжал вбивать гвозди, не отрывая взгляда от бутылки. — Вот и вся механика фабрики! — восторжествовал Рерберг, осторожно прикрывая дверь. — Молоток и гвоздь — просто!

Мы поднялись к Рербергу, и нас встретила Ксана — о господи,

как же она похорошела: белая, курносая, с золотистой прядью на розовеющей щеке, истинно северная красавица.

— Не обижают ли тебя тут, Ксана?

— Как не обижать — обижают! — Слезы каждая в кукурузинку покатались по ее щекам, обгоняя друг друга. — Обижают.

— Ну вот, давно не ревела! — возроптал Рерберг и повел гостей в соседнюю комнату, большая стена которой была выстлана картой Черного моря; краски были неправдоподобно яркими, какими они бывают только на рекламных плакатах. — Вот здесь и творятся Рафаэлевые мадонны!

Ему доставляло немалое удовольствие показать, какую библиотеку он собрал в эти полтора года по Генуе и генуэзским колониям на Черном море, а заодно и коллекцию карт, при этом и старинных.

— Это же благо — отдать себя любимому делу и ни о чем больше не думать, — произнес он. — Если скажут «эксплуатация», готов согласиться: да, эксплуатация, но своеобразная — книга, которую напишу, будет моим оправданием и перед самим собой и перед богом!

Он говорил мне, но больше, чем мне, Марии. Она с угрюмой пристальностью смотрела на него. С тех пор как мы выехали из Санта-Маргериты, она произнесла не много слов. О чем она думала? Вот это как раз было и неизвестно. Не боюсь признаться: мне неизвестно.

Он распахнул дверь на балкон:

— Взгляните сюда: вы видели что-нибудь подобное? — Вид, который открывался, был действительно необыкновенным: слева зеленая зыбь лигурийских гор, справа молочная мгла залива. — Небось подумали: вон на какую высоту вознесло Рерберга. — Он обратил на Марию робкий взгляд, нескрываемо робкий, — она все еще была мрачна. — И еще подумали, Николай Андреевич: у этой башни железный фундамент. Подумали? — устремился он ко мне, рассмеявшись, в этом смехе было возбуждение нервное и было не много веселья.

Появился Федор Иванович — в его появлении была некая заведенность, больше того — обыденность, само собой разумеющаяся: вчера был в Риме, сегодня в Специи. Только вот не приберег свою дежурную улыбочку, был необычно печален — видно, в машине удач, которую с завидной уверенностью отладил Федор Иванович, выпало важное колесико и машина дала перебой.

— Скажи откровенно, что все увиденное и для тебя было неожиданностью? — спросил я Машу, когда хозяева оставили нас одних. — Только откровенно.

Она передернула плечами точно при ознобе — видно, ссадины, которыми она разукрасила руки на подсолнечном поле, давали о себе знать.

— А какое это имеет значение?

— Ты полагаешь, что не имеет значения?

— Ровно никакого.

Она меня озадачила: не имеет значения? Впрочем, в одном случае ее ответ обретает смысл. В каком? Если она выходит из игры. Да, если она выходит из игры, то тогда действительно все увиденное ею не имеет ровно никакого значения. Но то, чему я стал свидетелем, разве даже в отдаленной степени говорит, что она выходит из игры?

Ксана пригласила к столу — только щи, которые Ксана приготовила из свежей капусты, да грибная икра, сдобренная луком, и были русскими, все остальное итальянским: конечно, мясо в яйце, курица в винном соусе и, конечно, пицца, на этот раз прослоенная фруктами, сладкая. Была черешневая настойка, крепкая, и белое вино. Настойку больше пил Рерберг, казалось, пил рассчитанно, точно в его планы входило набраться храбрости и сказать то, что он хотел сегодня сказать. Когда подали курицу в вине, Рерберг с заметно раскрасневшимся и повлажневшим лицом решил, что его минута наступила. Рерберг

был навеселе, а слова его были трезвы, в них все было соизмерено, все акценты расставлены — конечно же, речь готовилась трезвым Рербергом, отложились в памяти и уже не могла быть изменена.

— То, что я скажу, это не просто мое мнение, это моя, так сказать, концепция,— сказал Рерберг.— Все, что я сделал, поселившись здесь, я сделал не по наитию, а по убеждению. Вот три параграфа этой моей концепции, три. Первый: я сумею написать то, что хочу написать, если освобожу себя от заботы о куске хлеба, пусть на меня работают они.— Он высвободил указательный палец и как бы ткнул им в пол: те, кого он назвал «они», сейчас находились там.— Второй: да, отныне я стал собственником — жил в двадцать первом веке, а вернулся в семнадцатый? Пожалуй, готов согласиться и с этим, но это меня не смущает...— Он взглянул на Марию — у него была потребность видеть ее глаза, но она сидела, наклонив голову, низко наклонив голову.— Третий: наверно, поступив так, я благословенную Специю предпочел Петровскому парку — ведь можно меня понять и так, предпочел... Но простите: как я понимаю, человеку хочется быть там, где солнце дарит ему свет и тепло. Да есть ли у меня причина жаловаться на итальянское солнце?...— Он умолк, взглянув на меня.— Николай Андреевич, хотите, скажу, о чем вы сейчас думаете?

— Скажи, Игорь.

— Вы думаете сию минуту: «Бедный Зосима!» Верно?

— Верно, Игорь: бедный Зосима!

Стало тихо, так тихо, что впервые, казалось, стало слышно, как шипит, вздымая прибрежный песок, волна.

— И еще вы думаете сейчас... хотите, скажу?

— Скажи, Игорь.

— Вы думаете сию минуту: наверно, нет ничего страшнее того, что произошло...

— Чего именно?

— Когда сын перекидывается на сторону тех, от руки которых пал отец... Верно, думаете об этом?

Ксана заплакала, не скрывая голоса.

— Понимаешь ли ты, что говоришь? — Она точно поперхнулась — жестокая икота ворвалась в ее грудь.— Ой, ой, да как ты можешь?— Она выпростала ладони, стремясь сдвинуть ими грудь, сдвинуть и сдерживать икоту, а заодно и плач.— Как ты можешь?..

Он оторопел:

— Ты сдурела, Ксанка? Скажи, сдурела?..

Ее лицо мигом стало мокрым от слез, мокрым и некрасивым, не похожим на нее.

— Да утрись ты — противно на тебя смотреть... Господи, вот ведь одарил на веки вечные...

Она заревела с новой силой и, закрыв лицо руками, выбежала. Рерберг встал, дотянулся до двери, хлопнул.

— Вот ведь глупа, ой глупа! — Он оглядел нас, точно взывая к состраданию — ему очень хотелось пожалеть себя.— Ну хоть ты скажи, дядя Федя,— взмолился он, обращаясь к Федору Ивановичу, но тот был темнее тучи, только ворочались заметно покрасневшие глаза — онпил сегодня много, при этом все больше настойку.— Скажи, дядя Федя...

— Ей или тебе, Егор?

Рерберг помрачнел: он недоуменно и робко посмотрел на Федора Ивановича, его сознание отказывалось понимать услышанное.

— Ну скажи мне, если хочешь, скажи, дядя Федя..

Федор Иванович отодвинул чарку с настойкой, точно она ему мешала сказать то, что он хотел сейчас сказать.

— Побойся бога, Егор, не кощунствуй!

Рерберг побагровел.

— Ведь ты же сам сказал, что готов драться из России!— взмолился Рерберг, но Федор Иванович только усмехнулся.

— Верно, готов был, пока тебя не увидел, а вот увидел и расхотел...

— И Николу не отпустишь?

— Да он и сам не решится, если расскажу про твои колодки...

— Ой, дядя Федя!

— Не пора ли нам?— сказал я и посмотрел в открытую дверь на море— залив Специи был волнист, точно хлебное поле перед жатвой.— Сегодня еще столько дел,— заметил я и посмотрел на Марию; она встала не сразу.

— Я все хочу сказать: этот ваш Чичерин не от мира сего,— произнес Рерберг, все-таки он был не так прост, как мог показаться: даже в нынешнем своем не очень завидном положении старался устоять.— Откуда он залетел такой в наш день?— Он рассмеялся с виду искренне.— Как будто ходит не по земле, а по небесам.— Он вновь взглянул на Марию: он ждал от нее ответа.— И потом, наивен диковинно... Поймите: по ним надо картечью да в упор, а он... Не от мира сего!

— Да, не от мира сего,— вдруг распечатала уста Мария.— Не от мира,— повторила она не без труда.

Мы возвращались в Санта-Маргериту, и молчание, нерасторжимое, было нашим спутником. У меня не было желания нарушать его и тогда, когда мы шли с Машей от машины к отелю, погрузившись в полутьму сосен. Но Маша точно дожидалась этой минуты, чтобы, схоронившись в тень, произнести смятенно:

— Наверно, навсегда останется тайной, как человек одного круга, одной семьи, одной крови принимает веру, которая является иной и для этого круга, и для этой семьи, и для этой крови, наконец...

— Ты хочешь назвать это тайной?

— Для меня это тайна, а для тебя? Разве нет?

— Бедный Зосима! — вырвалось у меня.

— А все-таки жестоко обошлась с ним судьба,— произнесла она, остановившись.

— Ты винишь судьбу?

— А кого еще?

— Тебе жаль его?

Она подняла на меня гневные глаза:

— Жалею его и, не боюсь сказать, люблю. Не боюсь...

Сегодня Чичерин пригласил к себе Хвостова, не преминув сделать это, когда я был у него в кабинете.

— Иван Иванович, как мне сказали, Факта выехал в Рим и пробудет там дня четыре, а мы не можем ждать...— Георгий Васильевич говорил это Хвостову, однако смотрел на меня: его интересовала моя реакция.— Не могли бы вы сегодня же выехать в Рим и пробиться к Факте?.. На итальянскую прессу может оказать влияние только он— надо склонить ее принять не столь воинственный тон. Вы поняли?

Я опешил: вот она, чичеринская терпимость,— он делает шаг, который, бьюсь об заклад, не сделал бы никто иной.

— Как вы, Иван Иванович?

Хвостов молчал— он явно не допускал, что у его отношений с Чичериным будет именно такое продолжение.

— Ну как, Иван Иванович?

— Благодарю вас, Георгий Васильевич, я готов.

— Тогда, как говорили наши старики, с богом...

Хвостов вышел (он был едва ли не счастлив), а Чичерин, взглянув на меня, ухмыльнулся:

— Не одобряете? Нет, нет, скажите искренне: не одобряете?

— Ни в коем случае, Георгий Васильевич.

— Почему, простите?

— Поверьте, Георгий Васильевич, у меня есть основания говорить так.

Он рассмеялся:

— Небожь Хвостов сказал что-нибудь?

— Сказал.

— Не переоценивайте этого! Надо понимать: его дебют в «Известиях» не удался и он наговорил глупостей. Кстати, тут и моя вина: не надо было говорить с ним в вашем присутствии и ставить его в положение, когда он должен стремиться сохранить лицо и перед вами. Вы не находите?

— В какой-то мере.

— К тому же статья требует известного дара, а поездка в Рим такого дара не требует... Одним словом, Ивана Ивановича надо сберечь — у него свои достоинства и было бы неразумно пренебрегать ими... Вы полагаете, что я не прав?

Я мог только сказать себе: вот он, Чичерин!..

И еще я хотел сказать себе: говоря о Хвостове, он, Чичерин, как бы самоотстранился. Чичерин не хотел знать, что сказал Хвостов о нем, Чичерине. Он не хотел всего этого знать в такой мере, что отказывался связывать это и с отношением Ивана Ивановича к делу, которое Чичерин возглавляет, а значит, с нравственностью Хвостова, хотя тут с Чичериным можно было и не согласиться.

Не знаю, пойму ли я Георгия Васильевича завтра, но сегодня не просто мне его понять, не просто понять прежде всего потому, что мне дорог сам Чичерин, на которого замахнулся Хвостов. Прощать этого, как я убежден, нельзя — почему же так легко его простил Георгий Васильевич?

Завидное качество памяти: все стоящее сберечь, не просыпать. У разговора о Черчилле своя важная зарубка. Вот уже и Лесли Уркарт покинул Геную, завершив свои переговоры на вилле «Альбертис», а Черчилль не отважился побывать здесь. Тот же вопрос: Генуя и Черчилль — не нарочито, не праздно ли? Однако как склонить к этому разговору Чичерина?

— Но осечь Черчилля даже в кругу коллег-министров — еще не покончить с ним: Черчилль жив! — произношу я: такое впечатление, что диалог, который я отважился продолжить, происходил сегодня утром.

Чичерину надо время, чтобы понять, что речь идет о делах, которых мы касались, помоги нам всевышний, добрую неделю назад.

— Да, такие, как Черчилль, не сразу свертывают знамена, если даже оказываются под щитом... — произносит он. — Но может быть и по-другому: свернуть старый стяг и выбросить новый...

— Но под новым стягом не может воевать старая армия, — возразил я, зная, что тут один шаг до чичеринского несогласия.

— Весь фокус в том, что речь идет о новой армии, — сказал Чичерин.

— Какой именно?

— Немецкой.

— Немецкой? — изумился я: ничего более необычного не мог сказать Георгий Васильевич: Черчилль, ведущий немецкую армаду на Россию.

— Это что же... новая идея Черчилля: покарать революцию силами недавнего врага?

— Да, верно.

— Погодите, погодите, тогда еще один вопрос: да не ставило ли Рапалло эту вторую цель — отнять у Черчилля возможность сшибить Германию и Россию?

— Можно допустить — ставило.

И это Чичерин: в его обращении к Черчиллю был этот дальний

прицел, но только сейчас он обнаружил его. Оказывается, Черчилль торил свою тропу в Геную.

Май, кумачовый май не за горами — одна эта мысль радует душу. Чичерин сказал с той веселинкой, с какой любил говорить с Вацлавом Вацлавовичем:

— А не устроить ли нам некий раут на манер... «Данте Алигьери»? Свой, разумеется, с красным флагом, первомайский? Честное слово, у нас будет не меньше гостей, чем у итальянского цезаря! Кстати, если необходим маршал двора, то вам и карты в руки.

И завертелось. Нет, не то что маршалом двора, но главным кашеваром праздника был назначен Воровский — старый палаццо д'Империале, бывший, как свидетельствовала книга его почетных гостей, спокойной гаванью для великого принца монакского и императора абиссинского, стал в этот предмайский вечер пристанищем красных и тех, кто им сочувствует.

Большой сундук языков, которым владела русские, в этот вечер был распахнут — пошел в ход даже чичеринский итальянский.

Его собеседник «скриторе» Джованни Джерманетто, имея в виду итальянские истоки родословной Георгия Васильевича, воодушевленно восклицал:

— Теперь я вижу, что язык можно пробудить и через столетия!

А Морис Кашен, молодецки расправив усы — они у французского комбатанта, как у запорожца, — пытался доказать, что человек, желающий познать языки, должен понять: дело не столько в грамматике, сколько в чем-то ином, что восходит к психологии.

Однако в чем именно? — вот вопрос.

— В преодолении барьера, который отделяет один язык от другого, в опыте преодоления... — несмело вторгся в разговор юноша, сидящий рядом, в его темных глазах была некая сладость (сладкие глаза!), а в английском — характерная для американцев твердость согласных; он говорил по-английски, но знал французский, иначе ему трудно было бы проринуть в смысл диалога.

— Опыт преодоления? Ну что ж, это немало, — произнес Чичерин, улыбаясь: ему была симпатична мысль молодого человека.

— Вначале падут границы, разделяющие страны, а потом языки, хотя первые охраняются, а вторые свободны, — произнес молодой человек со страстью, которая, если бы не его возраст, казалась бы в этот момент не очень понятной.

И вновь Георгий Васильевич задержал на человеке, сидящем рядом, внимательный взгляд. Сколько раз ловил себя на мысли Чичерин: «Не пренебрегай тем, что услышал, ведь это единственное, что может тебя заставить заглянуть в будущее человека». Обладая Чичерин способностью видеть завтрашний день молодого человека, а может для весны двадцать второго года и послезавтрашний, он бы подивился верности этой своей мысли: в этот предмайский вечер в палаццо д'Империале рядом с ним сидел молодой Хемингуэй...

А вечер обретал все большую задушевность, и этому немало способствовал его главный кашевар — с той веселой простотой, какая была свойственна умению Воровского разговаривать с аудиторией, Вацлав Вацлавович начал концерт и неподражаемо прочел Чехова — мудрая кротость и грусть, которые присутствовали в его чтении, казалось, отражали существо Воровского.

Пример Воровского воодушевил: большая делегация, состоящая из мужей почтенных, показала себя в неожиданном качестве — выступали все: читали стихи, плясали с самозабвенной страстью, делились воспоминаниями о поездках по белу свету; стихия доброго настроения завладела и хозяевами и гостями, все казалось значительным, остроумным, всем было весело.

А потом всеильный перст главного кашевара был обращен на

Чичерина, и Георгий Васильевич пошел к роялю. Он коснулся пальцами клавиш, и все, кто был рядом, поняли: как ни значительно было все, чем блеснула до сих пор завидная импровизация, не в этом главное. Короче: то, что не сумели победить слова, сделала музыка. Да, именно музыка, лишенная конкретности слова, заставила мысль обратиться к существу. Точно возникла возможность сказать то, что не было до сих пор сказано.

Я сидел далеко от Георгия Васильевича и не рассмотрел его лица, но мне были доступны его глаза — в них мне виделась и доброта и храбрость, всемогущая сестра мудрости. И вот интересно: вечер, который начался столь бурно, завершился тишиной первозданной. Эта тишина чуть-чуть смутила и Чичерина.

Казалось, что это не музыка, а доверительный разговор. Все, что Чичерин хотел сказать, он приберег к этому вечеру. В этом монологе была та зрелость ума и чувства, которая единственно убеждает. Странное дело: не было произнесено ни единого слова, а добыты слова, которые обращали разум к неизведанному. Именно музыка делала твою мысль значительной. То, что ты был способен постичь сейчас, лежало за пределами твоих возможностей прежде. Будто только теперь ты понял существо происходящего. Волнение, которое дарил стихия звуков, очищала. Ты виделся себе больше, возвышеннее, сильнее, способным свершить такое, что до сих пор было для тебя не по силам. Человек, сидящий за инструментом, точно объяснял тебе происходящее, явилась та ясность видения, которую обретает человек не часто. Все казалось: отныне ты уже не сможешь говорить, как говорил прежде, иной образ мысли, сам язык иной... Наверно, это был тот род волнения, который способен и встревожить и открыть глаза. Музыка вытолкнула тебя за пределы мира, к которому тебя приковало время. Ничто не могло тебе показать огромность этой новой вселенной, которую ты увидел, — музыка смогла... Было ли это достоинством человека, сидящего за инструментом, или музыки, которую он вызвал к жизни? Хотелось верить: и человека... Он жил в том же мире, что и ты, общался с тем же кругом предметов, понятий и слов, что и ты, а способен был сказать несравненно больше тебя... Когда человек перестал играть и сидящие в зале взглянули друг на друга, они увидели иных людей... Не отдал ли я себя во власть восторгу неумному, не преувеличил ли все, чему только что был свидетелем? Наверняка преувеличил, но это то самое преувеличение, которое приближает нас к правде. По крайней мере так это понял я...

— Да надо ли было играть Бетховена? — спросил он, когда на исходе ночи я понес ему прессу: в предутренние часы, когда усталость подступала и к нему, он отдавался чтению прессы.— Не слишком ли это сумеречно для праздника, а? — Он точно встрепенулся, поняв, что говорит о собственной персоне, что было не в его правилах.— Вот получил телеграмму от Д'Аннунцио, приглашает посетить его на Фиуме. Как вы полагаете? Д'Аннунцио — враг, но кто сказал, что надо избегать встречи с врагом? Надо ехать, но вот незадача...

— Да?

— Условие, обязательное, — разговор, но только... тет-а-тет...

— И как вы, Георгий Васильевич?

— Поеду.

— Один поедете?

— Один, разумеется.

— Совершенно один?

— Один.

Поздно вечером пришла Мария:

— Игорь тебя ждет внизу...

Я взглянул на часы: без малого одиннадцать.

— Не поздно ли? Завтра бог знает какой трудный день... — Я был

близок к истине: начали паковать наше непростое имущество — отъезд был не за горами.

— Он просит, а ты как знаешь.

Мария вышла — она была верна себе: категоричность не в ее правилах.

Я пошел.

Он встретил меня у старой туи, которая стала местом наших свиданий с ним.

— Видно, это последняя наша встреча, Николай Андреевич, — сказал он мне тихо, увлекая к выходу. — Не пожалейте же драгоценного часа — тут есть немудреная корчма, она сейчас открыта...

Я понял, что мне от Рерберга не отвертеться, и пошел.

Корчма была действительно немудреной: стойка с батареями вин и дюжина столиков, в этот поздний час пустых. Старик хозяин, чью дремоту мы нарушили, принес глиняный кувшин с вином и, включив над нашей головой деревянную, в три рожка люстру, поковылял к стойке. Глиняный кувшин уберег вино от тепла — оно было холодным и утоляло жажду — апрельские вечера уже казались знойными.

— Я не питаю иллюзий, что сегодня вы будете ко мне добрее, чем вчера, но я все-таки хочу сказать то, что сказал час назад Марии. — Он не без азарта схватил кружку с вином, но не опрокинул ее, как прежде, а всего лишь пригубил: видно, наказал себе быть трезвым, что немало настораживало. — Скажу откровенно, Николай Андреевич: я пожалел, что пригласил вас и Марию в дом. Не стесняюсь сказать: пожалел... Вы, конечно, подумали: хозяин хочет быть хозяином, вошел во вкус. Нет, скажите — подумали... И этот дом и эта фабричка. «Фи! — сказали вы. — Гадко!» Однако хотите знать мое мнение? Не гадко! Согласитесь, Николай Андреевич: в том, что я показал вам все это, есть не только плохое, но и хорошее. Согласитесь, что можно подумать и так: Рерберг дал понять обо всем этом как на духу, значит, он совестлив и чист, значит, ему нечего скрывать и нечего бояться, а? — Он взял кувшин и, убедившись, что мое вино отпито, наполнил кружку. — Вот вам задача, Николай Андреевич: почему вчерашний пролетарий, у которого сроду не было ни кола ни двора, овладев состояньицем, в одни сутки становится капиталистом и ведет свое дело с такой охотой, а может и умением, как будто владеет этой недвижимостью всю жизнь? Нет, нет, вы ответьте мне: почему?.. Не хотите отвечать, тогда отвечу я: этот инстинкт собственный в природе человека! Нет, не только у меня и у того, что сидит сейчас за стойкой, но и у вас, Николай Андреевич... Разница только та, что у меня он пробудился, а у вас ждет своего часа, чтобы пробудиться. Мы ничего не знаем о человеке, Николай Андреевич, на чисто ничего не знаем. Вы только оглянитесь вокруг: идет великая перековка людей, но только не та, о которой говорите вы там, у себя, а иная — рабочие становятся лавочниками! Да, токари, слесари, плотники, все те, кого вы именуете классом пролетариев, кто составляет вашу опору и суть вашего представления о современном мире, сколотив кругленькую сумму, становятся владельцами бакалейных, москательных, галантерейных лавок, держателями акций, пайщиками — они стригут купоны, черт побери, и им наплевать на мировую революцию!.. Если вы думаете обратное — простите меня, Николай Андреевич, вы не знаете жизни, а вот те, другие, эту жизнь знают: они сознательно превращают их из пролетариев в лавочников. Короче: человек не так бескорыстен, как вы думаете. И он не в такой мере лишен расчета, как это представляется вам. И он отнюдь не так далеко ушел от своего прошлого, как вы это возомнили... Все ваши просчеты, которые были и которые еще будут — вы слышите, Николай Андреевич, будут! — вот здесь... Короче: вы в своей догме наивны и, простите меня, недалновидны! Скажу больше: вы все еще донкихоты, Николай Андреевич. Смешному племени донкихотов, в наш радио-



нальный век истребленному дотла, вы дали жизнь, не сообщив ему смысла жизни. И первый из этих донкихотов — ваш Чичерин... Я думал все эти дни: кого, черт побери, он мне напоминает? Ну слепок, точный слепок. Кого? А сегодня точно прозрел: так это же батько мой бесценный! Такой же, простите меня, фантазер неукротимый! Вы говорите, что он, ваш Чичерин, пришел из завтрашнего дня и на веки веков останется его верноподданным, а по мне он — странный человек, который, простите меня, так и проживет свой век, не дав себе труда спуститься с небес на землю...

Во мне все стало дыбом.

— Чичерина ты не тронь! — закричал я на него. — Слышишь, Рерберг: не тронь Чичерина!

Он оторопел — действительно, я никогда не говорил с ним так, но я уже не мог ничего с собой поделать.

Мы уже расстались с Игорем, когда он неожиданно возвратился, дав понять, что сказал не все, что хотел сказать.

— Сейчас вспомнил: как мне говорил отец, в тот свой приезд в Лондон он был с Чичериным в церкви со стрельчатыми окнами, где коммунисты-россияне собирались в начале века на свой партийный съезд... — Он помедлил, глядя, какое впечатление это произведет на меня, и добавил поспешно: — Тут в одном доме есть нотная тетрадка Моцарта — быть может, она будет интересна Чичерину, все-таки подлинный Моцартов манускрипт...

— Подлинный Моцартов? — Мне живо представилось, с каким воодушевлением примет эту весть Георгий Васильевич.

— Ну, разумеется, подлинный... это в личной библиотеке хозяина нотного магазина, недалеко от площади Феррари, я вам это мигом изображу... — Он выхватил из записной книжки листок и вписал в него адрес. — Синьор Умберто Кассола младший сочтет за честь...

Рерберг исчез, оставив мне листок с адресом Кассолы. Первая мысль: Рерберг ничего не делает зря, в этом приглашении есть некий замысел, в значение которого еще надо проникнуть. Но я тут же отверг это опасение. В перспективе было нечто очень приятное для Георгия Васильевича — надо ли лишать его этой радости?

Готов сознаться — желание обрадовать Чичерина победило все остальные чувства — я сказал Георгию Васильевичу.

— В Париже я видел Моцартов манускрипт, но, к сожалению, под зеркальным стеклом витрины, а хотелось взять его в руки, в самом дыхании бумаги есть запах времени, не так ли? — Он затих, улыбаясь. — К тому же ничто так не передает характер человека, как почерк, — одна строка может рассказать о сути человека больше, чем книга. И не только это: никогда не играл непосредственно с Моцартовой рукописи. Согласитесь: заманчиво сыграть, заманчиво! Если нотный магазин, наверно, есть инструмент, можно положить тетрадку на пюпитр, как вы полагаете?..

Разом был решен вопрос о поездке на площадь Феррари — оставалось уточнить время генуэзского визита. Я позвонил синьору Умберто Кассоле младшему. У Кассолы был баритон, медленно гудящий, казалось, загустевший. Мне представился большой человек, не старый, но чуть сутуловатый. Если он иногда садился за инструмент, то исторгал звуки, которым мог позавидовать оркестр, под ударом таких рук хорошо звучат басы...

Одним словом, Кассола-младший дал понять, что на площади Феррари уже знают о приезде господина министра Чичерина и ждут его — было условлено, что мы явимся в четыре пополудни. Уже после того как трубка легла на рычажок, возникла мысль не предусмотренная вначале: а может быть, взять Марию?

— Нет, нет, это не по-товарищески! — решительно заявил Георгий

Васильевич.— Смотреть Моцартов манускрипт, и без Марии Николаевны,— да возможно ли это?

То, что звалось нотным магазином Умберто Кассолы, оказалось сооружением монументальным и по-своему красивым. Здание было возведено лет сто назад и в точном соответствии с правилами, существовавшими тогда, разделено на торговые помещения и апартаменты хозяина: в цокольном этаже был склад, на первом и втором этажах собственно магазин, на третьем личные покои хозяина.

Три непросторных зала магазина говорили не столько о мощи торгового дома, сколько о той особой атмосфере, которая должна быть свойственна характеру заведения: здесь было не оченьлюдно и почтительно торжественно. Навстречу гостям вышел Кассола-младший — он лишь отдаленно напоминал человека, которого я нарисовал в своем сознании. Кассола был велик, широкогруд, с розовой лысиной, которая позволяла воспринять как бы слепок головы с ощутимо глубокой бороздкой по темени. В руках Кассолы была палка, на которую он не столько опирался, сколько наваливался при ходьбе, при этом правая нога неловко выбрасывалась не сгибаясь, как ни искусен был протез, скрыть его не удавалось; из того немногого, что я узнал, направляясь на площадь Феррари, мне стало известно, что Кассола-младший был офицером армии его величества, удостоившись чести быть зачисленным в гвардию короля Италии, сражался в минувшую войну на перевалах Альп, однажды был застигнут бураном, чудом спасся, но лишился ноги...

Как истинный офицер гвардии, он был высокомерен и снисходителен — внимания удостоилась лишь Мария, перед которой Кассола неожиданно низко склонил свой обнаженный череп, притопнув с таким изяществом и силой, с какой это делал, когда нога была цела. Наверно, Марии мы были обязаны тем, что путь к Моцартову манускрипту оказался длиннее, чем он был на самом деле. Кассола счел необходимым показать нам магазин, не минул круглого, напоминающего опрокинутый фужер концертного зала, ввел в библиотеку, где, заключенные в кожу, тяжелую ткань и клеенку, как в вечность, были замурены голоса скрипок и флейт, заглянул в комнату-шкатулку с крохотным пианино посередине, к которому допускались избранные посетители этого музыкального царства, и в виде особой почести, которую гостям еще надо было оценить, сообщил, что мог бы представить русских Кассоле-старшему, первоотцу торгового дома.

Умберто Кассола старший только что принял ванну и казался точно слепленным из розового зефира, исключением был, пожалуй, его нос, сейчас бледно-синий, вздувающийся, неровен час пойдет гулять по лицу.

— Своей речью в Сан-Джорджо, господин министр, вы обрели право открыть в Италии любую дверь,— произнес Кассола-старший.— Скажу больше: если Италии предстоит постичь новую Россию по Чичерину, это не худший вариант...

Он засмеялся, махнув рукой, при этом его нос осторожно дернулся.

— Ну, покажи, Умберто, гостям твое сокровище,— произнес старик и, дождавшись, пока сын исчезнет в сумерках соседней комнаты, пошел к окну и раздвинул пошире портьеры. В том, как он это сделал, все было разбито на правильные периоды, все имело свой ритм, он шел так, будто бы в нем все еще жила мелодия и он подчинил себя ее власти — наверно, эту походку сообщает музыка, долгое общение с нею. Дверь, в которую вышел сын, находилась у Кассолы-старшего за спиной, но он точно уловил, когда сукна, скрывающие дверь, пришли в движение,— старик повернулся к сыну, протянув руки, кожаная папка легла в раскрытые ладони.

— Все, что тут есть, господин министр, сегодня ваша собственность,— произнес Кассола-старший и передал папку Чичерину.— В ва-

шей власти вернуть мне, как в вашей власти ее и оставить,— засмеялся он, и его синий нос пошел гулять по лицу.

— Если бы это сказали на нашем Кавказе, это были бы не просто слова, синьор Кассола,— там у гостя привилегия и просить и брать,— отвечив Чичерин и, смеясь, передал папку Марии, дав понять, что может ее и не вернуть; моя дочь приняла папку, просияв — ей был приятен жест Чичерина.

— Вольнолюбивый Кавказ? — заявил о себе Кассола-старший.— Ну что ж, вольнолюбия нам как раз и недостает...— В его словах, нарочито уклончивых, ответ на чичеринскую фразу, разумеется, начисто отсутствовал.

Мы спустились на первый этаж и раскрыли папку. Да, это несомненно был Моцарт, его нотная тетрадь, вариант фортепианного концерта, вариант, быть может, первый, писанный быстрой рукой композитора, перо не держало чернил, где-то нажим был жирным, где-то чернила скатились с пера и разбрызгались, в письме было нетерпение, если это страницы фортепианного концерта, то он полон диссонансов — Моцартовы диссонансы!

Кассола-младший пододвинул стул к роялю, точно приглашая Георгия Васильевича воспользоваться им, и, поклонившись, вышел. Чичерин сел за инструмент. Это было похоже на нечто фантастическое. Пять ветхих страничек, отдающих прелью, чуть пригорклой, пять страничек, передаваемых из рук в руки, призваны были словно обнажить голос человека, жившего полтора столетия назад. Зал был невелик, но построен так, чтобы звук не ушел в стены — стены отражали звук, иначе бы зал взорвался.

Наверно, и у Марии было ощущение того, что явится чудо,— она странно замерла, отодвинула кресло в затененный угол и там затихла. В том, как Георгий Васильевич воспринял Моцартову мелодию с листа, в самом начале была скороговорка, потом речитатив, неторопливый, потом родилась мелодия, родилась как поток солнца, размывший проталину в тучах,— солнечный ветер обвил тебя своим теплом, он обтекал лицо, его воспринимали глаза и губы.

Чичерин кончил и тихо закрыл крышку.

— Bravo!.. Ничего не скажешь — bravo!

Портьера, скрывавшая дверь, раздвинулась — на пороге стоял Игорь... Не скажу, чтобы это явилось для меня полной неожиданностью, но в какой раз я должен был подумать: вот он, Рербергов расчет, как всегда точный, стремительный, застающий врасплох.

Но Рерберг, казалось, уже вошел в роль — он понимал, что его внезапный приход обескуражил гостей и им нужно было время, чтобы прийти в себя.

— Георгий Васильевич, я Рерберг, сын Зосимы Петровича Рерберга, что был у вас в Лондоне в девятьсот шестнадцатом, того самого Надеждина-Рерберга, которому вы показывали в Лондоне церковь со стрельчатыми окнами.

Чичерин долго и устало смотрел на Рерберга — Моцарт потребовал от Георгия Васильевича сил немалых.

— Это какого же Рерберга? Надеждина-Рерберга? Того, что сидел в Таганской, а потом бежал?

— Да, того самого, вашего давнего знакомца, вашего друга, Георгий Васильевич.

Чичерин поднес тыльную сторону руки попеременно к одному и другому глазу: рукопись Моцарта требовала хорошего зрения, глаза слезились.

— Простите, вы здешний житель, так сказать... русский генуэзец?

Рерберг вздохнул — не думал он, что разговор так быстро коснется самой основы.

— Я живу в Специи...— произнес Рерберг, заметно смешавшись, в его ответе было видно желание увести разговор в сторону.— Не в самой Специи, а в пригороде,— уточнил он, обнаружив все то же намерение не говорить по существу.

Однако есть некая неодолимость в движении человеческих судеб, подумал я. Да, именно неодолимость. Точно по законам небесной механики: в урочный час разминутись, в урочный встретились. Ничто не могло отвлечь этой встречи, как и этого диалога. Но вот вопрос едва ли не ключевой: зачем Рербергу эта встреча? Да не затем ли, чтобы в конфликте, который возник у него с нашим приездом в Геную, участвовала и доброта Чичерина?

— И давно вы в этой вашей Специи?

Чичерин пододвинул разговор к сути — Георгий Васильевич был не в такой мере несведущ, как могло показаться, его оборот «в этой вашей Специи» обнаруживал иронический подтекст.

— Я приехал сюда в прошлом году...

— Приехали из России?

— Да.

Расчет подвел Рерберга. Встреча, которую он инспирировал, не обещала ему выгод. Видно, он уже понял это — нет, его заломовское первородство, как и заломовская гордость, были при нем, но терпения уже не хватало.

— А почему вы решились на такой шаг?

— У каждого своя стезя! — произнес Рерберг почти воодушевленно.— Умерла тетьа и оставила именьице — вот так...

Чичерин достал платок и вытер им лицо.

— Вы сын Зосимы Петровича?

— Сын.

Чичерин вздохнул — вздох восприняли и отразили стены, сообщив такую безнадежность, какой, быть может, в этом вздохе не было.

— Жизнь что дорога, Георгий Васильевич, дорога в бочагах и рытвинах...

— Дорога... и из России?

«Разумей, Игорь, кого зрят очи твои! — готов был произнести я, да остановил себя, наверно остановил вовремя.— У Чичерина, как и у твоего отца, жизнь и в самом деле можно было отождествить с дорогой, но на веки вечные с дорогой в Россию... Наперекор всем невзгодам — в Россию, невзгодам, которые были как удар бури: и лондонский сыск, и холеное иезуитство российского посольства на Чешемплейс, и брикстонское заточенье...»

— Не всегда в жертву идее надо приносить человека,— вымолвил Рерберг почти кротко и заключил неожиданно: — Не стыжусь: моя философия.

— Ну что ж, каждая философия хороша, если в её существо не лежит корысть,— был ответ Георгия Васильевича.

Нет, не Чичерин, а Зосима Петрович, восставший из праха и пришедший вот сюда, на генуэзскую площадь Феррари, говорил сейчас с Рербергом, стремясь досказать то, что недосказал в свое время.

— Мне это решение нелегко далось! — вырвалось у Рерберга.

Чичерин наклонил голову: мне казалось, что в его глазах, сейчас обращенных к свету, собралась боль.

— И все-таки, молодой человек, дайте себе труд подумать: правы ли вы? — сказал Чичерин и отвернулся.

Рерберг вышел.

Он вышел, так и не обнаружив, что невольной свидетельницей разговора стала и моя Мария.

Утром Чичерин уезжал на Фиуме. Он хотел уехать, не делая шума, но произошло событие, для него непредвиденное... Одним словом,

едва рассвело, он явился ко мне. Он пришел ко мне, экипированный вполне — в одной руке у него был портфель, в другой браунинг.

Он поставил портфель и, обратив руку с пистолетом к свету, произнес, смущаясь:

— Как быть с этой штукой? Ведь я еду один. Наверно, надо взять ее.— Он переложил пистолет в другую руку.— Но, право, я никогда не имел с нею дела.— Он скосил глаза на пистолет.— Как вы полагаете: взять?

— Взять, конечно, Георгий Васильевич.

— Но, право, я не держал ее в руках... Как это... делается?

Я взял браунинг, извлек магазин с патронами, осторожно нажал на спусковой курок, клацнул раз, другой, вложил магазин.

— Вот так, Георгий Васильевич.

— Ну что ж, тогда скажите мне «ни пуха»,— произнес он, поспешно сунув пистолет в карман пальто.

— Ни пуха...

Он двинулся к выходу, и я долго видел, как он шел парковой дорожкой к автомобилю. Он дошел до середины дорожки и, неожиданно обернувшись, улыбнулся мне, осторожно положив руку на карман пальто, в котором лежал браунинг. Потом он заторопился к автомобилю, пошел быстро, чуть приподняв портфель, точно опасаясь, что он коснется земли. Карман, где лежал браунинг, набух — при ходьбе этот карман с пистолетом был неудобен, но Чичерин, казалось, не замечал этого...



---

---

ЛЕОНИД БЕЖИН

★

## МАСТЕР ДИЗАЙНА

Рассказ

Я впервые познакомился с творчеством Леонида Бежина на семинаре в подмосковном Софрине. Стояли тогда крепкие морозы, в помещениях, где проходили семинары, иной раз приходилось заниматься чуть ли не в пальто. Зато было жарко от споров и полемических схваток. Но я хорошо помню напряженную тишину, наступавшую в те минуты, когда выступал Леонид Бежин. Говорил он негромко, доброжелательно, и даже самые резкие отзывы о том или ином произведении были преисполнены интеллигентского уважения к критикуемому, а потому всякое слово в устах Леонида звучало очень убедительно.

Способность увлечь, убедить в правоте собственного суждения о литературе, а стало быть, своего взгляда на жизнь, присуща прозе Бежина. Герои рассказов Бежина — его сверстники. Это студенты, молодые ученые, художники, музыканты, ищущие не только свое место в жизни, но и ее смысл. Писатель язвителен и насмешлив, когда речь заходит о прагматизме, суперменстве и прочем — от них, чего греха таить, несвободен путь некоторой части нынешней городской молодежи.

Только что в издательстве «Советский писатель» вышла первая книга рассказов молодого автора «Метро «Тургеневокая». В этой книге явственно проглядывает озабоченность проблемами бытия в высшем смысле слова. Не холодная рассудочность, за которой прячется безразличие и отсутствие гражданственности, но активная человечность, духовность — вот качества, без которых невозможен человек, работник, начинающий свою самостоятельную жизнь на рубеже 80-х годов. Эти качества, не подчиненные, так сказать, здравому смыслу, который, увы, диктует порой только выгодные или полезные нам поступки, уводит от риска и замуровывает душу в скорлупу обывательского мирка. Говоря так, я вовсе не хочу опорочить или хотя бы бросить тень на понятие «здравый смысл», нет! Но я глубоко убежден и в том, что настоящий человек должен порой поступаться здравым смыслом, подтверждая, таким образом, свое высшее предназначение на земле, воспитывая в себе человеческое достоинство и призывая к этому других людей личным примером.

Именно эти проблемы и составляют суть, ядро рассказа «Мастер дизайна», который вы, уважаемые читатели, сегодня прочтете.

Георгий СЕМЕНОВ.

**У** то-то странное было в этом знакомстве.

Юра Васильев, поднимаясь в лифте на десятый этаж главного университетского здания, заметил мужчину в джинсах и свитере. Потом они встретились в столовой и улыбнулись друг другу. Естественно, что мужчина сел за один столик с Юрой, а пообедав, они вместе оделись и вышли.

Мужчина вскочил в автобус вслед за ним и даже взял два билета, что Юру несколько озадачило. Чем объяснить интерес к себе незнакомца, он не знал и довольно отрывочно отвечал на вопросы, все чаще отворачиваясь к окну, но тонкая улыбка мужчины, замеченная им в отражении стекла, заставила его обернуться.

— Вы, вероятно, решили, что я вас преследую? О, уверяю, нет!— сказал незнакомец, продолжая улыбаться.— Это был маленький эксперимент.

Юре стало досадно, что его уличили в каких-то подозрениях, и, чтобы разуверить в этом незнакомца, он согласно кивал, принимая как должное все, о чем тот говорил. Но через минуту, вдумавшись, он обнаружил нечто странное в словах мужчины.

Незнакомец как будто ждал этого и с готовностью произнес:

— Я хотел проверить вашу контактность.

— Что-что?

— О, тут долго объяснять, а мне пора выходить.

Незнакомец встал.

— Нет, извините,— Юра преградил ему дорогу,— я не подопытный кролик и желаю знать, какие надо мной проводят эксперименты!

— Вкратце: контактность с людьми у вас низкая, в общении вы неактивны, погружены в себя и попытки сближения с вами воспринимаете как агрессию. Я прав?

Юра забеспокоился, не обнаруживая аргумента, способного поколебать правоту незнакомца.

— Как вы догадались?!

— На догадках далеко не уедешь,— сказал тот.— Тесты, милый, тесты.. То, о чем я вас так назойливо спрашивал, было скромным научным тестом. По предварительным данным, у вас есть комплексы, вы застенчивы и не слишком счастливы в жизни. Прощайте...

Незнакомец стал пробираться к двери. Юра двинулся следом.

— Вот видите, преследуете-то вы меня! — наставительно произнес незнакомец.— Уверяю вас, теперь вы от меня не отстанете!

Он шествовал по улице, любуясь мелким снежком и лишь поворотом головы обозначая, по какую сторону должен находиться его спутник. «Гипнотизер он, что ли?» — подумал Юра, невольно убистря шага.

— Ну хорошо, давайте ваш телефон,— со вздохом сказал незнакомец, когда Юра с ним поравнялся.— Но предупреждаю — я сейчас завален работой.

— Какой работой? — не понял Юра.

Тот усмехнулся.

— Зачем вы за мной тащитесь?

— Из любопытства.

— Правильно. Какого любопытства? Вам хочется узнать что-то о самом себе? Так вот это и есть моя работа. Меня зовут Кирилл Евгеньевич. Диктуйте ваш телефон.— Он достал книжечку с алфавитом.— А сейчас прошу извинить, у меня урок.

И он скрылся в подъезде дома.

У Васильевых гостили родственники, и, вспомнив об этом, Юра с досадой приготовился улыбаться и быть приветливым. В стенном шкафу висел целый ворох одеяний, и он едва впихнул туда пальто. Конечно же, не оказалось его домашних тапочек, кем-то уже надевших, и с улыбкой бодрости типа «лишь бы вам было хорошо» Юра в носках зашлепал по паркету.

Всюду стояли чемоданы, а из ванной раздавались плеск воды и фырканье.

— Юрочка, ты пришел? А мы разговариваем,— сказала мать с кухни, хотя никакого разговора до этого не было слышно и после ее слов снова воцарилось молчание.

Юра заглянул на кухню, чтобы поздороваться.

— Тебе положить картошки? — спросила мать и спохватилась, что оставила без внимания тетю Зину.— Ты не в курсе: сейчас возможно попасть в Третьяковскую галерею?

Юра страдальчески отвел глаза. Разумеется, мать сама знала то,

о чем спрашивала, и притворялась наивной, чтобы найти тему для светской беседы.

— Говорят, можно, а что? — спросил он вызывающе, ставя мать в тупик своей прямолинейностью.

— Я думаю, Зинаиде Федоровне и ее супругу было бы интересно посетить... — Мать была в замешательстве. — Там, вероятно, легко достать билеты?

Она внушала Юре, что не прочит его в сопровождающие.

— Конечно, легко, — смилостивился он, убедившись, что ему не грозит роль гида. — Просто прийти к открытию...

— А что там сейчас выставлено? — Своим подчеркнутым вниманием к его ответу мать как бы призывала гостью в свидетели образованности сына.

— Эти, как их... — он сделал жест, рисуя методичное толкание воображаемой тачки, — передвижники!

— Юринька, ты же искусствовед! Поподробнее! У вас же был практикум в Третьяковке! — Под видом урезонивания сына она сообщила самую лестную информацию о нем.

— «Боярыня Морозова», «Бурлаки», «Явление Христа народу»...

Его злила эта вечная реклама, и он нарочно называл то, что известно любому дебилу.

Мать же расцвела, сопровождая каждое его откровение восхищенным вздохом. Тетя Зина улыбалась как вежливый слушатель и слегка отворачивалась, чтобы с нее не спрашивали большего.

— Юринька, а вот ты рассказывал — у них Репин почти осыпался и Куинджи, правда?

— Ну! — Юра соорудил мину авторитетного идиота. — Сплошные голые холсты!

Он был преисполнен такой самоуверенности, что мать решила лишь робко его поправить:

— А ты говорил, их реставрируют...

Юре вконец надоело дурачиться, и он обреченно вздохнул, изучая синенькую кайму на тарелке.

— Да были мы в Третьяковке! Цел ваш Репин! Цел! — успокоила мать тетя Зина.

Юра перевел тоскливый взгляд с синенькой каймы на окно, за которым уже темнело.

— Ты не болен? — привычно спросила мать.

...Хотя Юра Васильев берег свое здоровье, занимался с эспандером и всю зиму плавал в бассейне, это не излечивало его от недуга, который он сам именовал болезнью жизни. О, болезнь его имела множество проявлений, главный же симптом состоял в ощущении, будто ты проболел каникулы: полмесяца полнейшей свободы, а ты взял и бездарно провалялся в постели с гриппом.

Это ощущение потерянных каникул распространялось у Юры на месяцы и даже годы. Он каждый раз обещал себе: «Завтра начну по-новому!» — строил соблазнительные планы, но они рушились и по-новому ничего не выходило. «Нужен жесткий режим, — решал он. — Буду с вечера планировать завтрашний день и жить до предела насыщено. Спорт, книги... Надо развивать свою личность!»

Но не выходило, не выходило! Всей его решительности хватало только на то, чтобы решить, спланировать, а вот выполнить... тут он чувствовал себя словно впряженным в тот воз, на который с бездумным весельем наваливал тонны поклажи.

Тогда он бросал режим и планы, обещая себе: «Буду делать лишь то, к чему есть желание» — и начиналось как бы выживание желаний: сидел он, Юра Васильев, с удочкой и ждал, когда клюнет. Но как нарочно желаний-то и не наклеивалось, и он с тоской оглядывался назад, жалея, что поторопился бросать режим и систему.

Шутки шутками, но это было мучением, и иногда ему хотелось воскликнуть: «А есть ли она вообще, жизнь?!» В отчаянии Юре ка-



залось, что те механизмы, в которых должна кипеть работа жизни, на самом деле стоят накрытые брезентом, словно аттракционы в парке культуры.

Вот, к примеру, семья. Сколько раз он слышал: «Семья — ячейка... восторженная любовь между близкими, как в романах Толстого... домашнее тепло и уют». У него же было подозрение, что в их семье Васильевых лишь где-то сверху набегаёт мелкая рябь жизни, а загляни чуть глубже — холод, оцепенение, безмолвие...

Или, к примеру, дружба... Он вспоминал: «Прекрасен наш союз, он, как душа...» Было ли у него, Юры, такое? Правда, он дружил с Гришей Ованесовым, они вместе слушали Бартока, но вот этого — «прекрасен наш союз...» — у них не было, не было! Они лишь соревновались в эрудиции и оттачивали свой интеллект.

Или те же увлечения... Он, конечно, влюблялся в университетских девушек, но скорее по убеждению, что так надо, так полагается, и подчас его охватывал ужас: «Я женюсь, у меня будут дети — и неужели все?!»

Кроме главных симптомов болезни, был и набор второстепенных. Особенно причудливым был симптом, связанный с дачей взаймы.

На курсе у Юры постоянно занимали по трешке, по пятерке, когда накануне стипендии факультетские кутилы успевали начисто опустошить карманы и обедали одной капустой, бесплатно выставленной в столовой как приправа и закуска. Юра же очень следил за своим рационом, принимая пищу строго в установленное время и обедая непременно с горячим. У него всегда имелась в кошельке дежурная десятка, и среди сокурсников как бы негласно считалось, что Васильеву и не на что тратить деньги, поэтому у него не только занимали, но и частенько не возвращали долг.

Юра не отличался жадностью, но в таких случаях в душе у него обозначалась какая-то червоточинка и ныла, ныла... Он убеждал себя: «Какого черта?! Ну что мне эта пятерка?» Но оказывалось, пятерка-то была ему нужнее всего, нужна позарез, просто-таки необходима как жизненный заменитель, без коего он не мог обойтись, словно астматик без кислородной подушки.

«Я серая личность, — думал он. — Наверное, таким родился и мне себя не исправить!» Это примиряло его с собой, он успокаивался, но иногда, сравнивая себя с другими личностями — хотя бы в том же университете, — он ощущал явное превосходство над ними и в уме, и в доброте, и в честности. Наедине с собой Юра вообще чувствовал себя великаном, и лишь перед другими ему казалось, что великан этот лишь тень, отбрасываемая крохотным человечком.

Кирилл Евгеньевич позвонил и назначил встречу.

У Юры было чувство участия в какой-то странной затее, почти авантюре, но когда он увидел Кирилла Евгеньевича, одетого в бежевое полупальто, вязаный картузик с мушкой — ни дать ни взять рядовой московский служащий, — ему стало скучно, и он улыбнулся со скептическим выражением человека, позволяющего себя развлечь, но не уверенного в успехе.

— Здравствуйте, Юра, — сказал Кирилл Евгеньевич. — Предыдущая наша встреча была беглой, и вы, вероятно, желаете знать, с кем имеете дело? Ну что ж, отчасти я врач, отчасти педагог-воспитатель. Но если точнее, я дизайнер.

Юра хотел не удивляться, но заметил, что собеседник рассчитывает на возглас поощрительного удивления.

— Дизайнер? — спросил тогда Юра.

— Да, дизайнер, похожий на тех, кого приглашают в дом, чтобы создать интерьер. Точно так же я создаю из человека личность.

— И вам удастся?! — У Юры перехватило дыхание.

— Смею думать... Поймите, дорогой мой, дизайнер — это не ме-

бельщик, он не сколачивает табуретки, а добивается гармонического сочетания между готовыми предметами обстановки.

— И вы каждого можете сделать личностью?!

— Абсолютно каждого.

— И меня?! — от волнения пискнул Юра.

— Уже задавая этот вопрос, вы как бы выделили себя из ряда подобных, то есть подсознательно признали личностью. В вас есть материал, с которым можно работать... Но вы еще далеко не личность. Вам недостает формы, если можно так выразиться.

— О, мэтр, простите... но... сколько вы берете за сеанс?

— Нисколько. Мой метод еще не прошел достаточной апробации. Хотя мне и следовало бы брать деньги, потому что без этого я слишком велик. Уверю, в будущем целые институты ринутся по моим стопам.

— Боюсь спросить... — Юра покраснел от жгучего и навязчивого вопроса. — А вы не с летающей тарелки?

— О нет, нет! — Кирилл Евгеньевич рассмеялся. — Я самородок и к вземным цивилизациям не имею никакого отношения. Я существо сугубо земное, рядовой преподаватель кафедры... Правда, доцент, — добавил он с выражением смущенной гордости. — В объявлениях так и пишу: «Опытный преподаватель, доцент дает уроки воспитания чувств. В целях удобства занятия проводятся на дому учащихся».

Гриша и Настенька пригласили его просто так, хотя и был официальный повод для встречи: недавно их дочке исполнился год. Кроме того, Гриша проходил военную службу в оркестре морского флота, бывая дома лишь по воскресеньям, и это тоже было поводом для встречи старых друзей.

По сему случаю Юра купил в «Детском мире» кукленка, а у метро «Сокольники» прихватил торг и гвоздики. До поворота улицы ему удавалось поддерживать в себе состояние легкой безмятежности, но стоило повернуть — и его снова охватили сомнения, нужен ли этот визит и выйдет ли из него что-нибудь путное.

С тех пор как Гриша Ованесов женился, Юра бывал у него все реже и реже. Им обоим хотелось поддерживать традицию былой дружбы, но странным препятствием этому служила Настенька. Не то чтобы она была элементарно против — упаси боже! — но она в силу своего характера создавала вокруг мужа непроницаемую среду.

Настенька постоянно была накалена. В ней происходило круговращение смутных душевных паров, разряжавшихся то в черной меланхолии, то в бурных эксцессах и истерии. Невозможно было понять, чего ей надо. Чаще всего она слонялась в могильных настроениях по квартире, снимала пылинки со шкафов и твердила, что она «не выносит...». Настенька не выносила свекровь, которая оставила им с мужем отремонтированную квартиру, переселившись в кооператив, не выносила музыку, постоянно звучащую в их доме, не выносила стулья из гарнитура, табуретки, диваны, не выносила дождь и хорошую погоду.

Юру она тоже втайне не выносила, так как он догадывался, что за всеми ее стонами и жалобами пряталось заурядное эгоистическое существо, не способное никого любить и поэтому всем и вся раздраженное. «Болезнь жизни», — поставил он обычный диагноз...

— Поздравляю! — сказал Юра шепотом, опасаясь, что девочка спит. — А где молодой папа?

Настенька равнодушно приняла подарки и, взглянув на этикетку торта, сказала:

— Не выношу с кремом... А Гриша еще не появлялся.

Они вошли в большую комнату, и Настя смахнула пылинку с подзеркальника.

— Ну, что будем делать? — Она взглянула на Юру выжидательным долгим взглядом.

— Посидим, поговорим, — предложил он с максимальным энтузиазмом. — Как живете?

— Не живем, а тлеем, — поправила его Настенька, и Юра слегка улыбнулся, боясь ей противоречить.

Возникла пауза. Юра смущенно кашлянул.

— М-да, где же Гришка? — Его беспокоил взгляд, которым Настя продолжала его изучать. — Он не звонил?

— Звонил. Ему не дали увольнительную...

— Значит, его вообще не ждуть?

— Значит, вообще...

Снова возникла пауза.

— М-да, — сказал Юра, — девочка спит?

Настя не ответила.

— Мы ей, наверное, мешаем?

Настя молчала.

— Пожалуй, мне пора двигаться, — сказал Юра, опасливо косясь в ее сторону. — Грише привет от меня.

— Господи, как тошно, как тошно! — проговорила Настя и усмехнулась. — А ты двигайся...

— Чем ты расстроена?

Своим в меру участливым голосом Юра как бы преуменьшал степень ее расстройства, чтобы не быть обязанным на слишком щедрое сочувствие.

— Я?! Нисколько! Это все чудачества, чудачества! Я же для вас дама с причудами!

— Напрасно ты... — начал Юра, но Настя его перебила:

— Ах, уйди...

Он молча стал собираться, показывая обиженным видом, что уходит не по собственной воле.

— Нет, останься, останься! Прошу, побудь со мной!

Он приблизился к ней, подчеркивая, что делает это охотно и без принуждения.

— Понимаешь, эти стены, шкафы, пианино, я же здесь одна, постоянно одна! Подруги все куда-то делись, у родителей своя жизнь, Гришка в армии! Понимаешь, как невыносимо?!

— Старайся как-то... — заикнулся было Юра и тотчас замахал руками, готовый возненавидеть себя за эти слова. — Я понимаю, понимаю! Она смотрела на него, как бы колеблясь, верить или нет.

— Юра, я же мужа не люблю. Хотела бы... но не люблю, нет! Сначала нас что-то связывало, не знаю, любовь ли, а теперь он прилипнет к своему пианино, маленький, в очках, и я смотрю... смотрю...

— Успокойся, — сказал он мягко.

— Он музыкант, а я кто? Что у меня есть? К музыке я равнодушна, ко всему равнодушна! Я просто женщина и хочу быть счастливой как женщина!

— Ты счастлива, только не замечаешь, — с усилием произнес Юра то, во что он сам едва ли верил.

— Юра! Юра! — Она все теснее и в то же время безнадежнее прижималась к нему. — Ну почему, почему?! Мне бы глоток настоящей жизни! Почему с другими что-то происходит?! Хоть бы ты меня соблазнил, что ли! — сказала она и резко от него отодвинулась. — Ладно, прощай... Передам ему твои приветы.

Глаза у нее сразу высохли.

Моросило...

— Где бы выпить кофе, а то я не завтракал, — сказал Кирилл Евгеньевич, и они перешли на ту сторону улицы, где был кафетерий. — Вчера снег, сегодня дождь! Терпеть не могу такой погоды, а вы?

Юра почувствовал желание согласиться.

— А эта маникюрша в парикмахерской,— раздраженно продолжал Кирилл Евгеньевич,— мне она внушает безнадежную тоску... Стекло залито дождем, она как-то застыла, оцепенела, взгляд пустой...

Юра едва успел взглянуть на маникюршу, но ему показалось, что он полностью разделяет впечатление мэтра.

— Вчера привезли арбузы, и на них еще не растаял снег,— сказал Кирилл Евгеньевич, переводя взгляд со стекла парикмахерской на арбузный лоток и ожидая, что скажет Юра.

— Да, зябко, грустно,— сказал он, угадывая мысли учителя.

— Вы считаете? — Вопрос прозвучал чуть насмешливо.— А мне, наоборот, весело... арбузы в снегу... в этом есть шарм.

Юра спохватился, что и он так думал, но теперь исправляться было поздно.

— Не знаю... просто белый цвет...— Он сделал вид, будто пытается выразить какое-то сложное ощущение, но оно ускользало от него.

Кирилл Евгеньевич достал книжечку и что-то вписал.

— ...минус три с половиной... минус восемь,— бормотал он.

— Что это? — спросил Юра, но Кирилл Евгеньевич качнул головой, показывая, что ответит позже.

Они нырнули в кафетерий. Кирилл Евгеньевич занял столик, а Юра принес две чашечки.

— Любите завтракать в городе? — спросил мэтр, ссылая из облачки в кофе крошащийся сахар.— Утро... никого народу... столики чистые, а?

Юра задумался, чтобы теперь уже не допустить оплошности.

— Да, очень люблю,— сказал он.

— И вас не угнетает дождь?

— О, что вы! — воскликнул Юра, убеждаясь, что морозящая погода не доставляет ему ничего, кроме довольства и умиротворенности.

— ...шкала сорок шесть и три,— занес мастер в книжечку.

— Что это? — настойчивее спросил Юра.

— Цифра сорок шесть и три означает, что эмоционально вы очень податливы. В течение десяти минут мне удалось внушить вам два противоположных настроения. Это свидетельствует о текучей неустойчивости вашего «я». В вас пока отсутствует настоящий костяк.

Юра сокрушенно вздохнул.

— Не огорчайтесь... Лучше обсудим программу.— Кирилл Евгеньевич склонил бугристую голову с кольцами волос на лбу, придававшими ему сходство с Платоном.— Полный курс дизайнера занимает месяц-полтора, но учитывая, что вы довольно запущенный материал, продлим этот срок до двух месяцев.

— У нас будут лекции?

— В основном практические занятия. Я вообще не полагаюсь на теоретические источники, хотя кое-какой опыт дизайнера зафиксирован в романистике.

— А в конце? Экзамен?

— Как полагается... Вернее, зачет, потому что экзаменующимся я выставляю лишь две оценки: «счастлив в жизни» и «несчастлив в жизни».

— И выдаете диплом?

— Видите ли, я лицо частное, да и зачем он вам?

— А как же я узнаю, что я личность?!

— Ну, прежде всего это замечу я, потом другие, а потом и вы сами заметите... Впрочем,— внимание мэтра отвлекла неожиданно пришедшая на ум мысль,— я бы спрашивал подобный диплом при приеме на работу, потому что производительность труда тоже зависит от счастья человека. У счастливых она выше.

Они допили кофе и вышли на улицу.

— Если вы не утомлены, я мог бы сегодня прочесть вам вводную лекцию, а потом провести сеанс у меня в мастерской. Согласны?

Юра с жаром заверил, что даже не начал утомляться.

— Хорошо, только мне надо предупредить жену, чтобы она приготовила аппаратуру. Жена мне ассистирует,— сказал Кирилл Евгеньевич.

Они приблизились к будке телефона-автомата.

— Наташа?.. Не беспокойся, я позавтракал в городе... Нет, не промок...— Кирилл Евгеньевич со вздохом улыбнулся Юре, показывая, что вынужден давать подобные отчеты.— Золотце мое,— мягко прервал он жену,— сегодня у меня ученик, ты, будь любезна, зажарь индейку, купи бутылочку сухого и что-нибудь к чаю. Мы будем через час с четвертью.

— Аппаратура! — решил напомнить Юра, заметив, что мэтр уже вешает трубку.

— Не беспокойтесь, я все учел.

Трубка легла на рычаг.

— Итак, прошу внимания,— начал Кирилл Евгеньевич кафедральным голосом.— Современный индустриальный мир выдвинул новые критерии личности. Их сущность в том, что отдельная человеческая личность не является значимым элементом социологии. Современное мышление оперирует такими понятиями, как семья, государство, трудовой коллектив. Личность же как таковая является скорее статистической, чем понятийной единицей. Это понятно?

Юра вежливо пожал плечами, показывая, что оценивает глубину мысли учителя, но еще не проник в ее суть.

— Ну, к примеру, раньше строили дома из кирпичей, а сейчас из готовых блоков.

— Сейчас тоже есть кирпичные дома,— поправил Юра.

— Правильно, правильно! Но я говорю о тенденции. Население земного шара столь велико, что никакой ум не охватит его во всем множестве. Кроме того, мой друг, совершается научно-техническая революция, индустрия развивается невиданными темпами, и порою просто некогда в централизованном порядке решить все те личные проблемы, которые в изобилии возникают у каждого. Каждый решает их самостоятельно, но ведь это подчас не менее трудно, чем уладить межгосударственный конфликт. Поэтому я считаю, что должен был появиться институт частных учителей жизни, ну, скажем, типа меня. Я человек не особенно занятый, и у меня есть время подробно вас выслушать, посоветовать, помочь. Ко мне приходят письма, у меня скопился известный опыт. Я даже пишу книгу, которую озаглавил «Искусство познавать себя».

— Вы необыкновенный человек! — восхищенно воскликнул Юра.

— Без ложной скромности — да. Хотя должен признаться — я не сразу стал тем, что я есть. Я по капле выдавливал из себя раба.

Юра с сомнением задумался.

— Что вас смутило? — спросил Кирилл Евгеньевич.

— Но ведь это слова Чехова.

— Правильно. Я же сказал, что кое-какой опыт дизайна зафиксирован романистикой — и Чеховым, и Флобером, и Бернардом Шоу. Прочтите «Пигмалиона»... А сейчас не будем рассуждать, а приступим к делу. Кстати, вот мой дом.

Они оказались на Сретенке, завернули в старый дворик, взбежали по деревянной лесенке, и Кирилл Евгеньевич пригласил Юру в заляпанную мансарду, похожую на голубятню.

— Нас скоро будут ломать,— сказал он.— Здесь что-то предусмотрено по генеральному плану реконструкции.

Кирилл Евгеньевич снял картузик и сунул в гнездо калошницы.

Юра тактично кашлянул.

— Вы думаете, я по рассеянности? О нет! Я просто выключился

из бытовых логических связей, чтобы освежить мозг. Я бы назвал это гигиеной абсурда... Мы с вами сейчас проделаем похожее. Идемте...

Кирилл Евгеньевич распахнул перед Юрой дверь, а сам перебрислся парой слов с женой.

— Через тридцать минут нас позовут к столу,— сказал он Юре,— а пока для профилактики проведем с вами диалог ни о чем. Я буду подавать вам реплики, а вы говорите любую несурзацу, что в голову придет. Мне необходимо проверить ваше подсознание.

Кирилл Евгеньевич усадил Юру на поджарый, продавленный диван, невыносимо заскрипевший пружинами.

— О, пружины судьбы, ваша сила неведома смертным! — сказал дизайнер и добавил: — Видите, даже стихом...

Юра попробовал ответить, но сразу запнулся.

— Говорите, говорите... Все что придет на ум!

— О, ленивая кошка, бегущая завтра по краю! — несмело выговорил Юра и застеснялся.

— Прекрасно! — одобрил его Кирилл Евгеньевич.— Но вы заимствовали у меня начальное восклицание «о!» и стиховой размер. Давайте дальше....— Он приложил ладонь ко лбу.— Сахар, сахар... безумие белого цвета... вот мелькнула сорочка унылого клерка... шепот листьев... слышу хлопанье крыльев над бездной... зажигает конфорку и чай согревает жена... истребитель растаял в бирюзе бесконечного неба... и грохочет метро, и туман рассекают созвездья... обезьяны в питомнике виснут на мокрых качелях... Ленинград, Петропавловка, галстуки в Доме моделей... виноградные косточки прямо на белой салфетке... поцелуй, эти руки, обвившие шею... и лиловый шнурочек настенного бра...

Кирилл Евгеньевич опустошенно откинулся в кресле.

— Это стихи! — выпалила Юра.

— Ну что вы! Правда, на Западе этим психологическим механизмом пользуются некоторые шарлатаны. Такого рода поэзия чересчур откровенна, и если бы вы владели ключом к тому, что закодировало здесь мое подсознание, я бы считал себя раздетым догола. Однако давайте вы.

— Нет, я не сумею...

— Давайте-давайте, это легко... Раскрепоститесь.

— А вы владеете ключом к коду?

— Я врач, и вас это не должно беспокоить. Ну?

— Самолет, тишина...— робко попробовал Юра.

— Стоп! — Кирилл Евгеньевич хлопнул в ладоши.— «Самолет» вы опять взяли у меня.

— Стадо диких туманов, кочующих в зелени сада.

— Тоже что-то похожее... Не надо в стихах.

— Люблю танцевать... танцы приносят мне удовольствие,— забормотал Юра.

— Отлично. Дальше.

— Хорошо бы, мать купила мне мотоцикл... где взять конспекты?... духовое ружье бьет недалеко... устал от любви... симфония...— У Юры полилось рекой.

— Еще немного.— Кирилл Евгеньевич держал перед собой секундомер.

— Неприятно оранжевый мотороллер соседа... тир, мелкашка...

— Достаточно. Вы уже повторяетесь,— остановил его Кирилл Евгеньевич.— Кое-что для меня проясняется. Во-первых, вы не умеете танцевать и вас это мучит... Во-вторых, вам бы хотелось влюбиться... В-третьих, вы тяготитесь духовной зависимостью от матери... Еще какое-то неопределенное соперничество с соседом, вы ему завидуете...

— Как вы... как вы догадались?!

Кирилл Евгеньевич строго взглянул на Юру.

— Я же предупреждал, на догадках далеко не уедешь. Я пользуюсь методом научного тестирования.

— И что же теперь?

— А теперь к столу,— сказал Кирилл Евгеньевич.

Стол был накрыт под низким абажуром с кистями. Посреди стола дымился самовар, пузатый чайник, накрытый полотенцем, и купеческие чашки с розанами. Маленькая жена Кирилла Евгеньевича куталась в шаль.

— Наташа,— представилась она Юре.

Мастер дизайна вытащил из тостера поджаренные хлебцы.

— Как у тебя прошел день? — спросила его Наташа.

— Читал в университете лекцию, зашел в «Полуфабрикаты», потом встретился с Юрой. А ты?

— С утра ужасно болела голова, и этот дождь...

— Ну что ты, дорогая, просто ты переволновалась из-за вчерашнего.

— Да, я приняла случившееся вчера слишком близко к сердцу. Не надо было...

— Вот видишь! — Мастер протянул ей через стол руку, и она прижала его ладонь к щеке.

— Укутайся получше, боюсь, у тебя жар,— сказал он.

— Ничего, милый, уже прошло.

— Договоримся, ты никогда не будешь переживать из-за моих неприятностей.

— Хорошо, милый. Я сама себя ругаю.

Он вышел из-за стола, чтобы обнять ее.

Юре показалось, что о нем забыли, и он зашевелился на скрипнувшем стуле.

— Как я ждала тебя, господи! — сказала жена мужу.

— Мне тоже хотелось поскорее вернуться,— ответил муж жене, и Юра подумал, не уйти ли ему.

— Удивительно, что ты у меня есть, что мы нашли друг друга,— продолжала жена.

— О да! — отвечал муж.

— Я руки вымою,— сказал Юра.

— Сейчас... я покажу, где раковина... — Кирилл Евгеньевич встал вместе с ним. — Вы в замешательстве? — спросил он, прикрыв дверь.

— Немного... В вашей семье вчера что-то случилось?

— О нет... то есть действительно произошло небольшое событие — я потерял расческу.

— И из-за этого...

— Вы не совсем поняли... Само событие не важно, главное межлюбящими — это сопереживание.

— И ваша жена из-за расчески...

— Что вы, что вы! Мы как бы нарисовали перед вами воображаемый рай. Это был сеанс дизайна.

— Значит, вы нарочно? Для меня?!

— Отчасти... Но ничего противоестественного для себя мы не делали.

Юра стоял растерянный, жалкий, с мокрыми руками, с которых капало на доски пола.

— Не мучьте, не мучьте меня больше! — взмолился он. — Я уже созрел для дизайна...

Родственники были дальние, из северного городочка Кемь, где Юра однажды бывал, путешествуя по Соловкам. Тетя Зина с мужем его встретили, накрыли стол, откупорили наливку, и Юру как бы овеяло добрым семейным уютом. Все ему нравилось в этом доме — и сами хозяева и их домашний уклад. Муж тети Зины работал в рыбнадзоре имел в своем распоряжении два катерка, служебный и соб-

ственный, на вид неказистый, но с мощным навесным мотором, и вот по воскресеньям брали припасов, солений и варений, прихватывали ракетки с воланчиками, транзистор и отправлялись на острова. Рыбачили, тетя Зина была мастерицей на уху... Костер, сладкий дым от разваристой картошки... Юре это казалось праздником. Он не сомневался, что тетя Зина счастлива, и далекая Кемь рисовалась ему мифической Атлантидой.

На этот же раз родственники отдыхали на юге и на обратном пути — оставался кусочек отпуска — проездом остановились в Москве. Юра не узнал тетю Зину... Ее муж оформлял перевозку в контейнерах мебели, купленной в Москве, а в ней появилась странная тяга к музеям. Тетя Зина целыми днями пропадала в Третьяковке, подолгу стояла у картин и почти вплотную, словно она была близорука, рассматривала их. Встречая ее в музейных залах, Юра озадаченно скреб затылок: «Феномен!» Он вовсе не ожидал в тете Зине, вечно занятой огородом, хозяйством, курами, такой тяги к изящному и однажды попробовав объяснить ей, что масляной живописью лучше любоваться на расстоянии. «И правда... Надо же!» — удивилась она, послушно отойдя от картины подальше. Юра исподволь следил за ее лицом, за сумочкой, прижатой к груди, за тем, как она поминутно спохватывается, на месте ли номерок в раздевалку, и возвышенные мысли о великой силе искусства, о его власти над людьми сами собой рассеивались, и он невольно подумал: а может быть, люди ходят в музей потому, что им чего-то не хватает в жизни?

— Тетя Зина, сводить вас в Пушкинский? Могу даже в запасники, у меня знакомые.

— Спасибо... Говорят, у вас есть музей в усадьбе.

— Кусково? Это надо на электричке, — разочарованно протянул Юра, воздерживаясь разжигать в тете интерес, который стоил бы ему слишком дорого.

— С какого вокзала?

— Вообще-то с Курского, но вы одна не найдете.

— Найду, найду. Ты меня не провожай.

— Понимаю, — сказал Юра как человек, уважающий в людях каждому свойственное стремление к одиночеству. — Тетя Зина, а вы переменялись...

— Постарела, наверное.

— Да нет, сникли как-то. — Юра почувствовал, что тетя Зина смутилась, и перевел разговор на другое: — Значит, с Курского вокзала до Кускова.

— С Курского... до Кускова, — повторила она, чтобы лучше запомнить, повторила еще раз, еще и вдруг усмехнулась: — Раньше в церковь ходили, а я в музей. Красиво, всюду золото, тихо. И жизнь на картинах разная...

После новой встречи с Кириллом Евгеньевичем Юра окончательно уверовал в дизайн. Мэтр в кратких тезисах набросал программу, которой суждено было превратить скромного и незаметного Юру в блестящую личность. Кирилл Евгеньевич полагал, что ему более всего подходит негромкий, но респектабельный стиль ироничного интеллигента, в меру образованного, имеющего постоянный круг интересов и склонного к традициям, проявляющего себя не бурно и не крикливо, но между тем умеющего властвовать и подчинять.

— Избавляйтесь от стыдливости, мой дорогой, — наставляла мэтр. — Внушите себе, что окружающие будут рады любому вашему слову. Расположены вы сообщить им, что вчера молотком ушибли ноготь, — сообщите. Не сдерживайте в себе никаких желаний — и уверяю вас, это будет воспринято самым должным образом. Только побольше уверенности — и в том, что представлялось вам мелким и незначительным, люди обнаружат невероятные глубины. Научитесь это-



му — и вы станете всеобщим любимцем, душою общества. Люди падки на то, чего им самим не хватает, а ведь этот секрет я сообщаю вам одному. Пользуйтесь!

— О, вы Мефистофель! — воскликнул Юра, и Кириллу Евгеньевичу это понравилось.

— Платите мне лестью, — сказал он. — Эту плату я принимаю. — Он продолжал: — Далее же, Юра, проникнитесь мудростью ритуала. Его часто недооценивают, и он почти изгнан из нашей жизни. Принимая гостей, мы повторяем фразу: «Только без церемоний... Пожалуйста, не церемоньтесь... Что за китайские церемонии! Будьте как дома!» Нам кажется, что тем самым мы облегчаем себе общение, но мы заблуждаемся! Люди не зря придумали ритуал, и это великое благо. В человеке не так уж много душевных сил, и, растрчивая их по любому поводу, вы очень скоро станете похожим на разряженный конденсатор. Ритуал же помогает поддерживать в себе энергию, и уверяю вас — люди дороже ценят владение ритуалом, чем необузданную искренность и порывы. Если вы подадите женщине пальто, преподнесете цветы, дадите опереться на вашу руку, сойдя с троллейбуса, она будет вам благодарнее, нежели когда вы утомляете ее признаниями в неземной любви, хрипя в телефонную трубку. Не надо проявлять ваших чувств полностью, достаточно намекнуть на них, остальное же ваша избранница дорисует в воображении. Помните наш застольный разговор с женой, ведь он недаром привел вас в недоумение. С одной стороны, мы оставались в рамках приличий, но, с другой стороны, вы ощущали себя допущенным в святая святых семейных отношений. О. Наташенька мастерица на этот счет... — Кирилл Евгеньевич на минуту задумался и продолжал наставлять Юру: — Ритуал, юноша, делает жизнь устойчивой. Я не буду углубляться в историю, хотя, поверьте, здесь масса примеров. Давайте говорить о вас конкретно. Каким образом я бы внес в вашу жизнь элемент ритуала? Вы говорили, что обожаете слушать пластинки, так закрепите эту традицию! Вы любите пройтись от Покровских ворот до Большой Никитской, заглядывая в букинистические магазины, — пусть же и эта прогулка станет традиционной! Традиция — это как бы изящная оправка для жемчужины удовольствия. Культивируя традицию, вы уходите от хаоса единичных поступков. А ведь заметьте, любое страдание единично, неповторимо! «Каждая несчастливая семья несчастлива по своему...» «Сырое и вареное» — назвал свою книгу один современный ум, так варите, варите же, мой друг, не гнушайтесь кухни, зато вас ждет изысканное жаркое, а не куски непрожаренного мяса!

— Вы сверхчеловек, — польстил Юра, и Кирилл Евгеньевич, как бы попробовав на вес искренность его похвалы, заключил:

— Пожалуй... Во всяком случае, во мне есть задатки.

Третье высказывание мэтра носило характер антитезы предыдущему.

— Но имейте в виду, — сказал Кирилл Евгеньевич, — нарушение ритуала тоже бывает необходимым. Вы, Юра, консервативны в ваших привычках, а это ошибка. Уайльд где-то сказал: «Не создавайте себе привычек» — и тут, мой милый, заложен большой резон. Хотите стать личностью — умеете выйти за черту привычного. Если вы неделю носите синий костюм, в воскресенье надо надеть зеленый.

«В воскресенье надеть зеленый костюм» — записал Юра.

— Не буквально, мой друг, не буквально! — воскликнул Кирилл Евгеньевич. — В данном случае я использовал символ. Привычка — это своего рода рефлекс: вы получили удовольствие однажды и вам хочется повторить это же в следующий раз и так до бесконечности. Но если три витка спирали работают на вас, то четвертый — против. Удовольствие переходит в свою противоположность, и надо успеть это почувствовать. Почувствовав же, вы как бы смешиваете домино —

разрушаете цепочку, чтобы затем выстроить ее заново из тех же звеньев. Вот это стоит записать: «То же, но по-новому».

Юра занес в тетрадь слова мэтра.

— И еще... «Мудрец не строит планов». Я прочел это в древнем даосском трактате. Какая очаровательная книга, Юра. Там, знаете ли, этой мысли придан некий вселенский смысл: мудрец не строит планов, а полагается на естественный ход вещей, и у него все выходит само собой, естественно... Впрочем, это уже философия. Вы, Юра, усвойте лишь то, что не надо записывать в календарь, кому позвонить, к кому зайти. Это не по-дизайнерски. Дизайнер не мудрец, но он тоже не строит планов, а подчиняется собственной прихоти. Интеллигентный человек, Юра, имеет право на каприз. Никогда не живите по расписанию... Это тоже к умению нарушать традиции.

— Вы продиктовали тезу, антитезу, а синтез? — спросил Юра, выждав минуту, необходимую мэтру для отдыха.

Мастер дизайна слегка поморщился.

— Антитеза, синтез... Проще, мой друг, проще. Не смешивайте дизайн с философией. Философии нам с вами никогда не достигнуть. Ну уж если вы хотите, синтез самый простой. Ваша личность находит завершение в форме. Вы сейчас спросили: «А в чем же синтез?» — но вы не придали вопросу законченной формы, дружище. Ясно, о чем я говорю? Вопрос прозвучал неуверенно, с оглядкой. Он возник на крайних орбитах вашего мозга и скользнул словно летающая тарелка.

В Юре опять заняло забытое подозрение.

— Человечество веками развивало изящные искусства. Зачем, спрашивается? Не только же для того, чтобы ими овладевали единицы избранных! Милый, творите искусство в быту, придавайте форму вашим жестам, словам, поступкам! Когда просите в магазине: «Взвесьте мне сыру», произносите это так, чтобы чувствовалась ваша личность, подспудно, разумеется! Давайте зайдём в гастроном и по очереди зададим вопрос о сыре продавщице. Вы поймете, какую роль в дизайне играет форма.

Юра с тетрадкой в руке двинулся за Кириллом Евгеньевичем.

— Спрашивайте, — приказал мастер дизайна, указав Юре на рыжую накрашенную девчонку в отделе молочных продуктов.

— Взвесьте, пожалуйста, сыру, — со старанием произнес Юра, стараясь подключить к своей просьбе все ресурсы интеллигентности, ума и такта.

Девчонка удивленно взглянула на него, стала нарезать сыр, а потом еще раз взглянула и прыснула.

Юра залился краской.

След за ним к прилавку подошел мэтр, и Юра замер от восхищения. Кирилл Евгеньевич произнес те же самые слова, что и он, но его просьба нарезать сыр звучала чуть грустно, насмешливо и иронично. Он как бы говорил: «Милая девушка, мы с вами два усталых человека. Я такой же, как и вы, москвич, стою в вагоне метро вечерами, покупаю в ларьке сигареты, и у меня тоже свои удачи и свои неприятности, так улыбнитесь, улыбнитесь же мне, мне нужна ваша улыбка... Ну?!»

Девушка улыбнулась.

— Какого вам сыру? — спросила она и улыбнулась еще раз.

— Все равно, — сказал Кирилл Евгеньевич, опершись локтем о прилавок и как бы задумчиво любуясь ее работой. — До чего неудобная погода, льет, льет...

— На улице же снег! — захотела она.

— Быть этого не может! — Он с притворным удивлением обернулся к окну.

— Конечно, снег, — повторила она. Ей уже не хотелось, чтобы он надолго отворачивался.

— В такой снег хорошо сидеть дома, — сказал он.

— Дома скучно, и мать ворчит,— не согласилась девушка.— Тут новый фильм идет, посмотрим?

Юра про себя ахнул.

— Спасибо, но меня ждут... А какой фильм?

— Про заводное пианино... Не помню, название длинное.

— Я видел. Фильм очень грустный.

— А говорят, веселый.— Девушка попробовала улыбнуться, но на этот раз тщетно.

— Хорошо, диктуйте ваш телефон,— сказал Кирилл Евгеньевич, доставая книжку.— Только предупреждаю — вы у меня не одна. Условимся, что вы не будете требовать многого.

Когда Юра прорабатывал перед зеркалом элементы дизайна, зазвонил телефон в передней, и он услышал, как мать приглушила звук телевизора и взяла трубку.

— Кого? Юру?

— Слушаю,— сказал Юра, одним глазом косясь в телевизор.

Звонил Гриша Ованесов.

— Я звоню от дневального, это вообще-то не разрешается, поэтому слушай. У меня к тебе просьба, старик. Случилась ерунда какая-то... Настя из дому ушла.

— Как ушла?!

— Она сейчас у матери. Старик, прошу тебя, поговори с ней. Я пробовал туда звонить, но она не берет трубку.

В тот же день Юра был на Горького, где жили родители Насти.

— Тебя он послал? — спросила Настя, открывая дверь.

На руках у нее была девочка, сосавшая из бутылки.

Враждебная интонация ее вопроса вызвала в нем чувство неуверенности, но Юра вовремя вспомнил о наставлениях мэтра.

— Да, твой муж и мой друг,— ответил он.

Вышло как будто здорово, уверенно и веско.

— Зачем он послал тебя?

— Послал ради твоего же блага,— прокурорским голосом продолжал Юра.

Слова были круглые, обкатанные, он с гордостью ощущал их форму.

— Господи...— Словно сбрасывая с себя наваждение, Настя встряхнула головой, и челка закрыла ей глаза.— Господи, господи...

«Получается!» — в азарте подумал Юра. Он взял телефонную трубку.

— Я вызываю такси, и мы вместе возвращаемся в Сокольники. Вот это была решительность! Юра собой любовался!

— Так надо? — спросила Настя, измученно глядя на него.

Настоящий дизайн исключал сомнения.

— Это единственный выход,— ответил Юра.

Девочка, поев, стала засыпать, и Настя отнесла ее в кроватку.

— Подожди, послушай! — бросилась она к Юре.— Ведь если мы не нужны друг другу... если я не нужна ему, зачем же... зачем нам?! Может быть, я глупая, но ведь мне больно по-настоящему!

— Допускаю...— Юра склонил голову, как Кирилл Евгеньевич, но где-то внутри пробежал леденящий морозец: «Кто я такой, чтобы вмешиваться в их жизнь?» На помощь снова пришел дизайн.— Допускаю, что тебе больно, но ты сама виновата. Сбежала со слезами, с истерикой, а теперь засомневалась.

— Что же мне делать?! Вернуться?

На мгновение Юра растерялся. Он чувствовал себя способным придать одинаково блестящую форму любому варианту выбора.

— Возвращайся! — выпалил он, но тотчас же спохватился: — Нет, останься, останься!

Леденящий морозец снова пробрался внутрь. Оба варианта были равно близки его душе.

Настя подумала и осталась.

— Главное вы поняли,— сказал Кирилл Евгеньевич при очередной встрече с Юрой,— теперь усвойте две вещи...

Как обычно, они гуляли по центру. Был ясный день без снега, но с морозцем, и Кирилл Евгеньевич опустил наушники, вшитые женой в каракулевый пирожок.

— Искусством жизни владеет не тот, кто творит вещи, а тот, кто умеет ими пользоваться. Проникнитесь этим, Юра! Вам ясно? Если перед вами скрипка, не бейтесь над секретом ее устройства, а лучше научитесь на ней играть. Умение доставляет большее наслаждение, чем знание, оно сделает вас счастливым, знание же лишит последней иллюзии счастья. Постигнув все тайны мира, жить в нем уже невозможно. Страшиться знания, мой друг, его искус губителен! Зачем вам мудрость, которая состарит вас раньше времени? Пользуйтесь, пользуйтесь всем, что вас окружает... Может быть, на вашу долю не выпадет больших радостей, что ж, пользуйтесь малыми, ведь и это искусство! Я, Юра, пропагандирую на лекциях теорию маленьких радостей жизни, и это мой второй сегодняшний тезис. Видите ли, мы не герои... Эпос Эллады создал титанов, которым все отпущено по сверхчеловеческой мере, эпос же нашего времени повествует о чиновнике, мечтавшем о новой шинели, и никакой дизайн не поменяет их местами. Маленькие радости, Юра, цените их! Культивируйте! Лелейте! Пользуйтесь тем, что сегодня хорошая погода, что в трамвае вам досталось место у окна, что вы купили в булочной свежий ситник, и не пытайтесь, умоляю, перевернуть мир в надежде на несбыточное счастье. Человечество всегда обманывалось в этом, попутно лишая себя доступным ему радостей настоящего... Вот, кстати, вы умеете читать?

Гуляя, они спустились с Кузнецкого моста на Неглинку.

— Читать?! — изумился Юра.

— Именно, именно... Читать, подчиняясь прихоти воображения, читать творчески, я бы сказал.

— Нет,— откровенно сознался Юра.

— Тогда записывайте... Вы никогда не берете книгу только потому, что она новая и вам посоветовали ее прочесть. Ставьте ее на полку и ждите. Ждите внутреннего толчка... Вот в вас мелькнуло смутное желание перелестать несколько страниц — сделайте это, но не больше... Вот вам захотелось прочесть отрывок... и вдруг, читая нечто совсем постороннее, вы ощущаете страстную тягу вернуться к той, первой книге, о существовании которой вы вроде бы и забыли, и тогда вы проглотите ее с жадностью, она пробудит в вас поток свежих мыслей, вы как бы перевоссоздадите ее, то есть будете творцом, художником чтения!

— А как вы смотрите на коллекционирование книг? — спросил Юра.

— Не надо стеллажей во всю стену, мой друг! Только томик Монтеня у ночника, томик Монтеня...

Прислушиваясь к себе, Юра чувствовал, как прорастает в нем новый человек. Сначала ему стоило громадных душевных затрат контролировать себя в мелочах, и он говорил, двигался словно спеленатый. Внешне это выглядело смешным, и он вызывал улыбки. «Что это с тобой?» — спрашивали сокурсники, но это не смущало Юру. Он упорно учился придавать форму словам и жестам.

Главное заключалось в том, чтобы, уловив момент зарождения того или иного импульса, дать ему созреть, довести до кульминации и строго вовремя разрядить в жест или слово. Стоило поторопиться или опоздать — и импульс комкался, формы не получалось. Такого рода неудачи были знакомы Юре, и, проанализировав причины его оши-

бок, Кирилл Евгеньевич сказал, что у Юры сложилось превратное представление о воле. Юра понимал волю как внешнюю силу, побуждающую на те или иные поступки, но оказалось, что истинное искусство проявлять волю заключено в умении ждать, не прерывая естественному ходу душевных процессов. «Не подстегивайте себя, не топчите!» — учил мастер дизайнера, и мало-помалу Юра научился правильно применять волевой приказ.

С тех пор исчезли насмешливые улыбки. Юру не узнавали. Не было больше стеснительного мальчика, бесконечно зависимого от чужих мнений и всякую минуту готового себя презирать. Был артист дизайнера, галантный, остроумный и блестящий.

Кирилл Евгеньевич лишь внес завершающие штрихи в его костюм — Юра стал придерживаться в нем коричневых тонов — и посоветовал ему обставить интерьер с намеком на старомодность.

— Хам ценит модерн, а интеллигент антик, — сказал он и добавил: — Кстати, у моих знакомых есть ширма, девятнадцатый век, они ее то ли продают, то ли меняют... Я спрошу.

— О! — Юра не находил слов благодарности.

— Еще не все, — остановил его мэтр. — Хорошим дополнением к стилю служит оригинальная привычка, выделяющая вас из других. Для этой цели некоторые коллекционируют дверные замки, некоторые курят трубку... Впрочем, это уже неоригинально. Оригинальных привычек осталось мало... м-да... Признаться, у меня есть одна в запасе, но я берег ее для себя. Впрочем, сегодня я щедр, берите... Советую вам, Юра, употреблять в разговоре лишь старые названия московских улиц — Спиридоньевка, Маросейка, Мясницкая. Иногда это создает путаницу, ведь сейчас этих названий почти не помнят, но зато вы будете оригинальны и вам воздадут должное. Кстати, как раньше назывался ЦУМ?

Юра стыдливо пожал плечами.

— Мюр и Мюрелиз! — Мэтр значительно поднял палец.

Юра раскрыл Овидия и, предвкушая наслаждение, которое доставят ему строки, пришедшие на память сегодня в троллейбусе, стал искать по оглавлению нужное место... Да, да, те самые строки элегии, начинающиеся с описания душного полдня, затененной комнаты, полуоткрытых ставен, сквозь которые проникает полуденный жар... О, Овидий! Ведь Юра тоже пережил радость свидания, ее зовут Саша, Сашенька, она на курс младше, носит белую косу и влюблена в позднее Возрождение, еще не перешедшее в маньеризм. Они познакомились недавно и уже два дня встречались в Пушкинском музее, и Сашенька смотрела на Юру восторженно. Дизайн завоевал для него ее сердце...

Юра раскрыл Овидия и, обложившись диванными подушками, прочел:

Жарко было в тот день, а время уж близилось к полдню.

Поразморило меня, и на постель я прилег.

Ставня одна лишь закрыта была, другая — открыта,

Так что была полугень в комнате, словно в лесу, —

Мягкий мерцающий свет, как в час перед самым закатом

Иль когда ночь отошла, но не возник еще день.

Кстати, такой полумрак для девушек скромного нрава,

В нем их опасливый стыд нужный находит приют.

Вот и Коринна вошла в распусанной легкой рубашке,

По белоснежным плечам пряди спадали волос...

Юра перевернул страницу, но тут нагрянул Гриша. Он слышал, как мать открывала ему, приветливо сообщая, что сын пребывает дома. «Черт... Надо было предупредить, что меня нет», — подумал Юра.

— А, приветик, — сказал он Грише и, приподнявшись на локте, протянул ему руку.

Гриша с отсутствующим лицом сел рядом и устался в потолок.

— Овидия хочешь послушать? — спросил Юра, которого укололо неприятное подозрение, что сейчас будет исповедь. — Овидий, брат...

— Понимаешь, она страдает... — сказал Гриша, но Юру прихоть воображения уже перенесла к книжной полке, висевшей за спиной у Гриши. Он попросил друга чуть-чуть отклониться. — ...и все равно! — сумрачно досказал Гриша фразу, начала которой Юра не расслышал.

— А-а, — сказал он, отыскивая нужную страницу.

— А я ей: «Тем же самым способом можно было никогда этого не начинать». А она?! Не доводить же нам до развода!

— Разумеется...

Воображением Юры овладевал Мюссе.

— Что — разумеется? — спросил Гриша.

— Разумеется, Мопассана надо читать уже взрослым, — произнес Юра задумчиво и, вспомнив о присутствии друга, воскликнул: — А знаешь, у нас вышел отличный диалог абсурда!

Ощущение себя личностью изменило его взгляд на окружающее, и Юра понял, что только к личности относится понятие жизнь. Человек, не оформившийся как личность, живет словно бы с закупоренными порами, и это действительно болезнь, которую он раньше именывал болезнью жизни. Теперь он выздоровел. Жить стало необыкновенно просто. Сущность жизни состояла в выработке стимулов желаний и осуществлении их. Выработка и осуществление — вот что Юра твердо усвоил.

Постепенно он все явственнее ощущал в себе твердевший комок разумного эгоизма: «Если мне хорошо, то и другим хорошо со мной». Раньше он совершал явную ошибку, рассуждая: «Черт с ним, пусть мне будет плохо, зато другому помогу!» Ничего не выходило из такой помощи. Пытаясь сострадать и сопереживать другим, он лишь вместе с ними увязал в их же страданиях. Теперь же эти страдания отскакивали от него, как тугой резиновый мяч. Странное дело, один его вид довольного собой человека повышал тонус у окружающих.

Ничто не могло разрушить его твердого кома, он никому не позволял отнимать у него то драгоценное вещество, из которого состояла его, Юры Васильева, личность. Эта личность была его собственностью, и он позволял лишь издали взглянуть на нее, словно в детстве на подаренную дорогую игрушку.

Кирилл Евгеньевич радовался его быстрым успехам и на консультациях по дизайну лишь кое-что слегка подправлял. Он внушил Юре мысль, что дизайн оказывается плодотворным до тех пор, пока Юра не допускает проникновения на свою орбиту — мэтр упрямо придерживался межпланетной терминологии — чужеродных тел. В пример Кирилл Евгеньевич поставил себя.

— Умоляю, Юра, не расценивайте наши отношения как дружбу, не заблуждайтесь на этот счет. Я занимаюсь вами исключительно ради апробации метода. Не привязывайтесь ко мне, ради бога! Через месяц мы расстанемся навсегда. Учтите, я тоже верен правилу разумного эгоизма.

— Значит, я вам безразличен?

— Абсолютно...

— И моя дружба для вас...

— Ну какая дружба?! Во-первых, моего личностного уровня вам никогда не достичь, ведь я мастер, во-вторых же, содержите свой внутренний мир стерильно чистым, это залог вашей внутренней гармонии... И еще деталь, — сказал мэтр, оглядывая Юру прищуренными глазами. — Вы должны уметь танцевать.

— Танцевать? — спросил Юра, ощущая непреодолимое замешательство.

— Именно... Танец для дизайнера как тренировка пальцев для

пианиста. В танце воплощены теза, антитеза и синтез дизайна. Разумеется, в миниатюре...

С жестом, требующим минутного терпения, Кирилл Евгеньевич нырнул в телефонную будку.

— Завтра мой ассистент вами займется,— сказал он, кончив разговор по телефону.— Только, Юра...— мастер дизайна помедлил, желая еще что-то добавить,— не рассказывайте Наташе о той рыженькой из магазина. Видите ли, жена против того, чтобы я брал учениц. Она не считает женщин способными к дизайну.

Контейнеры с мебелью отправили в Кемь железной дорогой, и тетя Зина с мужем уже взяли билеты, чтобы ехать самим. Перед их отъездом Васильевы устроили чай с тортом. За столом разговор между родственниками зашел о том, как лучше расставить новую мебель, и мать Юры сказала, что сейчас для этого специально приглашают людей.

— Дизайнеров,— произнесла она с запинкой.

— Пускай кому надо, тот и приглашает, а мы обойдемся,— сказал муж тети Зины и, взяв салфетку, стал рисовать.— Вот комната... здесь ставим обеденный стол, вокруг него стулья, вдоль стен — шкафы...

Тетя Зина вздохнула с горьким сожалением:

— Всю жизнь так... посередке стол, вокруг стулья...

— Что ж, теперь все вверх дном?

— Не знаю я...

— Нет, подожди... Скажи, чего теперь тебе не хватает? Вечно тебе не хватает! Чего, Зина?!

— Дома поговорим...

— Я твое настроение не собираюсь домой везти.— Он пододвинул ей салфетку.— Как ты хочешь расставить?

— Ну хотя бы...— Тетя Зина попробовала что-то чиркнуть, задумалась и отложила карандаш с извиняющейся улыбкой.— Что-то никак...

— Оно и лучше,— сказал он, облегченно комкая салфетку.

Наташа встретила его приветливо, мягкой улыбкой женщины, которая немного скучала одна и поэтому рада неожиданному гостю. Она провела Юру в натопленные комнаты, усадила и сама села в кресло напротив, задумчиво забирая в ладонь нитку янтаря, надетого поверх черного свитера.

— Кирилл вас хвалит. Вы молодец,— сказала она мягко и грустно.— Что ж, начнем урок...

Она с неожиданной силой оттолкнулась руками от подлокотников, словно сидение в кресле причиняло ей боль. Юра двинулся в уже знакомую ему комнату, но Наташа остановила его:

— Нет, танцзал у нас дальше.— Заметив удивление на его лице, она добавила: — У нас целый комплекс помещений для тренировок в дизайне. Идемте...— Она повела его за собой, по очереди открывая двери.— Вот кресло для самовнушения... Вот зеркало для самоанализа... Здесь комната для воспитания желаний.

— Сказка! — не выдержал Юра.

— А это изображение идеального дизайнера.— Юра увидел холст и на нем титана с сияющим лицом.— Можете просунуть голову в вырез и сфотографироваться. Плата за фото идет на содержание обслуживающего персонала,— пояснила Наташа.— У нас домработница.

Наконец они очутились в комнате, служившей танцзалом. Наташа нажала невидимую кнопку, и зазвучала музыка.

— Начнем с медленных танцев,— сказала она.— Кладите руки мне на плечи... хорошо... слушайте музыку... отлично... переходим к быстрым танцам.

Юра был поражен, как быстро у него получилось то, что раньше казалось недостижимым.

— Вы чувствуете партнера, а это главное в дизайне. Дизайн учит воспринимать людей как партнеров в том или ином занятии.

— Партнеры бывают в игре,— неуверенно предположил Юра.

— Верно. Главная заповедь дизайнера гласит, что нельзя быть счастливым в жизни, а можно быть счастливым в игре.

Наташа выключила верхний свет, зажгла свечи и закурила сама.

— Сейчас... одна сигарета — и начнем...

Он с удивлением и испугом посмотрел на нее.

— Что с вами?

— Ничего, ерунда.

— У вас пальцы дрожат.

— В самом деле? — Она неприязненно взглянула на свои руки. — Нервишки что-то...

Грянула музыка. Наташа стала двигаться в такт, запрокидывая голову и сгибаясь в каких-то судорогах.

— Ну что ж ты? — крикнула она Юре.

Он пожал плечами, показывая, что еще не умеет. Наташа вытащила его на середину.

— Вот так... вот так... ну?!

Он попытался повторить. Она наблюдала за ним, и взгляд ее делался все более странным, застывшим, отсутствующим.

— Юра, я боюсь, со мной что-нибудь случится,— сказала она. — Я смертельно устала... от игры. Кирилл выдумал этот дизайн, и мне кажется, что мы не живем, а только самоусовершенствуемся.

— Вы же мастер, вы должны...

— Устала, Юра.

— Неужели и вы несчастны?!

— Я несчастна в игре. Я жить хочу.

Музыка кончилась.

— Я хочу ребенка,— сказала Наташа.

Когда Юра овладел быстрыми и медленными танцами, Кирилл Евгеньевич сказал:

— Вам надо влюбиться. Полагаю, что для вашей избранницы подошел бы стиль тихого, безропотного существа, обладающего нетронутой душой, преданного, искреннего. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Есть,— ответил Юра и на следующий день показал Кириллу Евгеньевичу Сашеньку.

Сашенька стояла у огромного университетского окна, маленькая, в черном свитере с глухим воротом, и ее белая коса была перекинута на грудь. Она держала книгу.

— Что она читает? — спросил Кирилл Евгеньевич, и Юра ответил не сразу:

— Кажется, «Овод». А что?

— Очень важно, мой друг, что читает женщина до замужества. Всегда обращайтесь на это внимание.

— Вы по ошибке назвали меня другом, учитель!

— Ах да... Спасибо, что напомнили. Впрочем, я тоже к вам привязываюсь... — Тень грустной понурости легла на лицо дизайнера. — Дома неприятности,— сказал он в ответ на немой вопрос Юры.

— Значит, вы тоже... тоже испытываете минуты...

— Только минуты,— поспешно перебил его Кирилл Евгеньевич, и Юра почувствовал, что эта тема для него нежелательна.

— А как вам Сашенька? — спросил Юра.

— Хорошо, что она читает «Овод»,— загадочно ответил мэтр.

Стоял солнечный лыжный декабрь — всего минус десять, — занятый в университете не было (отпустили на сессию), и Юра позвонил Сашеньке:

— Жду тебя с лыжами, поняла? На Виндавском вокзале!



— На каком?

— На Рижском, на Рижском! Надо знать старые названия!

Сашенька послушно примчалась и была все в том же черном свитере, в рукавицах, коса заправлена под шапочку. Сели в вагон...

— Как сессия? — спросила Сашенька.

— Нормально. Всего один экзамен, остальные зачеты...

— И у меня один зачет остался. Кириллу Евгеньевичу. Этот, говорят, режет... Одна девчонка примчалась сдавать из больницы — родила недавно... А он даже не посочувствовал, трояк вклеил! А еще всех злит, какой он спокойный. Ставит пару, а сам спокойный-спокойный...

— Это результат тренировок... А ты-то что злишься, отличница?

— За девчонок...

— Кирилл Евгеньевич — человек науки.

— А мне он что-то не нравится... Обними меня, — попросила она.

Он обнял.

— Тебе хорошо? — спросила Сашенька и закрыла ему губы ладошкой. — Не говори, не надо.

— Почему? Я могу сказать. Мне с тобой хорошо...

— Не надо. Пусть лучше я сама за тебя скажу, ладно?

— Как хочешь...

— Тебе хорошо, тебе очень хорошо со мной... ты со мной счастлив.

— Это уже похоже на сеанс дизайнера, — заметил Юра.

Они впервые поспорили с мэтром.

— Учитель, вы все время говорите о форме, а содержание? — выразил свое сомнение Юра.

— Оно не имеет значения, — ответил мастер дизайнера.

— Значит, и плохой человек может быть счастлив?

— Это софизм... Не увлекайтесь софизмами. — Мэтр был не в духе, но его смягчила жажда познания, прозвучавшая в словах ученика. — Не важно, из чего высекать Моисея — из мрамора, гранита или песчаника. Современная наука, Юра, чаще имеет дело с законом построения материала, а не с ним самим. В человеке нет ничего таинственного, и его можно всего передать по телеграфу. Вот только создадим модель клетки — и... Мы живем в век структурализма, Юра, и я недаром стремлюсь смоделировать тип человека, отвечающего духу времени. Вы пока что мой наиболее удавшийся опыт. Гордитесь, Юра.

— Мэтр, я горжусь, — заверил Юра Васильев.

— Тогда я поделюсь с вами моей мечтой, — сказал Кирилл Евгеньевич торжественно, приходя во все большее возбуждение. — Людям, подобным вам и мне, необходимо братство... — голос мэтра замер перед головокружительным рывком ввысь, — братство дизайнеров! — Кирилл Евгеньевич пьянел от вдохновения. — Да, да, да! У меня все полностью продумано. Дизайнеры будут заняты только интеллектуальной деятельностью. Никакого быта, семьи... Радость отцовства они будут черпать из классической литературы — я уже составил список. Они будут влюбляться в героинь древнего эпоса. Представляете, Юра?! Сегодня ваша возлюбленная Пенелопа, завтра — Ярославна, послезавтра — сама Дамаянги!..

Как требовательный к себе дизайнер Юра был недоволен отношениями с Сашенькой. Он овладел формой поведения в заданной ситуации, и когда их с Сашенькой видели вместе, все были убеждены, что они прекрасная пара. Юра подавал ей пальто, дарил цветы и, сходя с троллейбуса, давал опереться на руку. Но у него возникало упрямое подозрение, что Сашенька ждет тех самых необузданных признаний, против которых предупреждал его мэтр. Он сетовал на женскую психологию, вздыхал, сокрушался, но никаких душевных импульсов, отвечающих ее ожиданиям, в нем не возникало. Он как перед загадочным спинксом останавливался перед Сашенькой, когда она искала в

нем признаки одной ей ведомого странного состояния, именуемого влюбленностью.

— Взгляни на меня. Ну где ты? Где ты?! — спрашивала она, и он недоумевал: чего она хочет?

Его руки деревенели, мышление затормаживалось, и он терял всякую форму.

— Вот таким ты мне нравишься! — приходила она в восторг.

«Ах, вот она, женская психология!» — восклицал про себя Юра, радуясь, что разгадал хитроумные козни Сашеньки. Она хотела разрушить его гармонию, смутить ясность его души, раздуть в нем угли смуты, хаоса и несчастья...

...подкрался к телефону, взял трубку, показавшуюся предательски легкой.

— Сашенька, это я!

— Подожди, я перенесу аппарат в другую комнату, — попросила она, и он несколько секунд оцепенело ждал. — Ну вот... Ты хотел со мной поговорить?

— Да, Саша, — произнес он, как телефонный робот.

В мозгу стучало.

— О чем же, интересно?

— Вопрос очень серьезный.

— Милый, как я люблю говорить с тобой по серьезным вопросам!

— Видишь ли...

«Мямлю, мямлю, идиот!» — стучало в мозгу.

— Видишь ли, мы должны... нам лучше... лучше расстаться.

В трубке смолкло даже дыхание.

— Ты там не умерла?! Ради бога, без сцен.

— Как же мне быть? — спросила Саша.

— Не знаю...

— Как же мне быть без тебя, Юра?!

— Не знаю, займись дизайном.

Больше всего он не ожидал застать дома Наташу.

Юра как раз собирался заняться интерьером и специально для этого принес старинную ширму, выменянную у знакомых Кирилла Евгеньевича на хрустальную вазу, издавна хранившуюся дома.

Наташа с мучительным усилием подняла на него глаза, смотревшие в пол.

— Юра... — Она хотела подняться с дивана, но лишь слабо качнулась и с трудом сохранила равновесие. — Юра... Юра...

Он подбежал к ней.

— Что?!

— Прежде чем я смогу говорить, мне нужен сеанс... небольшой сеанс дизайна. Ты умеешь?

— Конечно. Мэтр меня учил.

— Тогда внуши мне: «Жизнь продолжается... жить имеет смысл... имеет смысл». Повторяй.

Он стал делать, как она просила.

— Ну вот. — Наташа убрала ладонь с холодного лба. — Кажется лучше. Спасибо, Юра. А что это у тебя?

Она впервые заметила ширму.

— Старинная, — объяснил Юра. — У знакомых выменял...

— Куда ж ты ее поставишь? — спросила Наташа, рассматривая рисунок на створках.

— Сначала спрячу, чтобы мать не увидела, а потом... ну хотя бы к шкафу.

— Лучше будет вот здесь, — сказала Наташа, выдвинув ширму на середину комнаты.

Вместе с Юрой они отошли на шаг, она окинула взглядом интерьер и сдвинула ширму вбок.

— Ты вернул меня к жизни. Дизайн — великое дело, а?

— А что случилось? — спросил Юра.

— Да чепуха... Просто мне стало страшно одной. Знаешь, раньше я очень любила оставаться в одиночестве. Заберусь с ногами на пуф, укутаюсь пледом, подопру кулаком щеку и думаю, воображаю себя кем хочу... И вдруг такая тоска! А тут еще свет погас, я шарю свечи, а самой кажется, что я умерла и это вокруг могила...

— Могила?!

— Ну да. В том-то и абсурд. Знаешь, давай болтать. — Наташа забралась на кушетку и удобно устроилась на подушках. — Загородимся твсей ширмой и будем болтать. Хочешь, я расскажу, как у нас все получилось с Кириллом?

— Да, любая деталь из жизни мастера... — пробормотал Юра, напряженно о чем-то думая.

— Ну вот... Я была студенткой, а он читал нам лекции.

— По дизайну?

— Что ты! Самые обыкновенные академические лекции по психологии. Дизайн — это его хобби... А у меня тогда настроеныце было: «Зачем все это нужно?! Наука... книжки...» И я провалила у него зачет. А он был молодой преподаватель, для него незачеты — нож острый, и он растерянно спрашивает: «Как же так?» Я ему и выложила свою философию... Он слушает, глаза такие пронзительные, черные, кольца волос, как у Платона... Я и влюбилась. Девчонка была, дура, взяла и брякнула: «А пойдете в кино!» Он удивился: «Какой фильм?» «Смешной», — говорю. И пошли... Я была единственная женщина, которой он преподавал дизайн.

На слове «единственная» Наташа вздрогнула, и Юра поспешно попросил:

— Что-нибудь о детских и юношеских годах мэтра... Пожалуйста.

— Собственно, я и не... Кирила ведь очень скрытный. Знаю только, у него сложные отношения с семьей, деспотичный отец, слабая, ранимая мать — словом, как у всех великих... Кирилл сказал, что при таком сочетании получают наиболее чувствительные и уязвимые натуры.

— А как вы с ним жили?

— Сначала по-студенчески — он в общежитии, я в общежитии... Затем получили квартиру в университетском доме, но Кирилл ее обменял, чтобы оборудовать мастерскую дизайнера. Появилась эта мансарда. А знаешь, кто был ее первый хозяин? Старец... Да, да, самый настоящий, тоже жизни учил, болезни умел заговаривать, в одном и том же зимой и летом ходил и не простужался. Таскались к нему и старухи богомольные и профессора университета. Он босой, голову чешет, сморкается в нос, а дамы ему корзины цветов дарят, словно итальянскому тенору... Кирилл считал его своим антиподом, они друг друга терпеть не могли. И вот старец в наш блочный дом переехал, а мы в его голубятню. Кирилл стал преподавать дизайн, и у нас появились ученики. Видел бы ты их, Юра! Толчутся в передней этикие увальни, лица в возрастных угрях, краснеют при каждом слове... И Кирилл за них брался. Юра, это было чудо! Я глазам не верила! Через месяц-два бывшие неудачники и рохли превращались в розовощеких сангвиников. Они сыпали остротами, соревновались друг с другом в оригинальных хобби и хвастались успехом у женщин. Я уверовала в дизайн и сама стала ревностной ученицей Кирилла. Я боготворила его, Юра. Мне казалось, что дизайн сделает нас счастливыми и жизнь промелькнет словно волшебный сон. Но тут я почувствовала... Юра, ты прости, но я смотрела на этих счастливых и не могла справиться с мыслью, что они евнухи, что они не живут, а лишь тренируются в жизни, в любви, в счастье. И тогда начались эти припадочки тоски. Я готова была волком выть, оставаясь одна в мансарде. И однажды, знаешь, я поехала на старую квартиру к тому старичку

и чуть ли не бухнулась ему в ноги по глупости: «Помоги, дедушка!» Он меня словно маленькую по волосам погладил, кивает и твердит свое: «Всем улыбайся, всех люби, всем делай добро...» Я слушаю, и мне будто бы даже легче...

— А просто друзей у вас много?

— Нет, Юра... Кирилл целиком посвятил себя науке, он ведь диссертацию пишет. Не по дизайну, не по дизайну. Тема вполне респектабельная... Но все равно элементарное существование с чаепитиями, преферансом не для него. Ты искусствовед, Юра, ты должен знать слово «койнэ»...

— Разумеется... Койнэ есть нечто промежуточное... Пограничное...

— Вот-вот... Кирилл интересуется жизнь на грани науки и искусства. Жизнь как художественное произведение и научный эксперимент. Поэтому мы и детей не заводим...

— Да... — протянул Юра, чувствуя, что его вопросы иссякли.

Наташа напряженно выпрямилась.

— Мне снова не по себе, — сказала она. — Может быть, еще сеанс?

— Все хорошо... в вашей жизни все очень хорошо, — начал Юра внушение. — Жизнь безоблачна... вы счастливы... у вас все есть...

— У меня нет ребенка, — сказала Наташа.

Гриша и Настенька развелись.

Теперь уже ничто не мешало Юре навещать друга и слушать пластинки из его фонотеки. Как советовал Кирилл Евгеньевич, Юра закрепил эту традицию. Он приезжал к Грише каждое воскресенье, когда тому давали увольнительную. Гриша ставил пластинку и сидел как-то сторбившись, в очках, в военной форме...

— Да, — говорил Юра. — Моцарт, брат...

— Моцарт — это сила! — понуро соглашался Гриша и ставил другую пластинку.

Юра вздыхал:

— И Бах тоже.

— И Бах, — вздыхал Гриша.

Никто не жаловался на погоду, не смахивал соринку с мебели и не создавал вокруг Гриши водоотталкивающую среду.

— Ну, мне пора, — спохватывался Юра.

— Я с тобой. — Гриша тоже начинал одеваться.

— Не провожай меня! Что ты!

— Я не провожаю. — Гриша натягивал шинель. — Я в части переночую... Дома как-то невесело.

Ком твердел.

Юра удивлялся своей спартанской стойкости и хладнокровию. Теперь он неизменно сохранял ровную сдержанность и способность решительно действовать в самых экстренных случаях. Когда мать обнаружила пропажу любимой вазы, она долго искала ее, долго пыталась вспомнить, куда могла ее положить, и наконец спросила у Юры: «Ты не брал?» «Допустим, я взял... Не будешь же ты упрекать меня за какую-то стекляшку!» — ответил он с безупречным спокойствием, сразу обезоружившим мать. «Юринька, но ведь она дорога как память! Мы купили ее с твоим папой, когда тебе исполнился год!» «Мать, в вещах главное — стиль! Смотри, какую я достал ширму!» Юра с гордостью извлек на свет свое детище, и, не решаясь ему противоречить, мать лишь украдкой вздохнула. Она долго еще не могла успокоиться и когда вытирала пыль, рука с тряпкой замедляла движения там, где недавно стояла ваза, и мать снова вздыхала, переживая в глубине души ее утрату. Иногда Юра готов был сдать и раскаяться в нелепом обмене, но ком, твердый ком не позволял ему терять форму...

Проводили тетю Зину. На вокзале она изо всех сил улыбалась, приглашала к себе, просила писать. «И вы приезжайте. Снова по музеям походим», — сказал Юра, и у нее вдруг задрожали губы, она резко отвернулась и лишь с трудом справилась с собой. Муж ее упрямо молчал. Мать Юры чувствовала неладное меж ними и не знала, что говорить, что делать. И лишь Юра выглядел молодцом, и только когда поплыл вагон, поплыло тети Зинино лицо за стеклом, он ощутил слабый укол вины и раскаянья: «Как же так? Надо было...»

Он сравнивал действие на себя дизайнера с действием лекарства. В какой-то считанный срок с ним произошла разительная перемена. Однажды он изумился, встретив давнего знакомого, начавшего недавно заниматься культуризмом. Был щупленький, хилый мальчик, и вот перед Юрой возвышалась гора мускулатуры. То же самое теперь случилось с ним, только его преобразил душевный культуризм, и Юра словно ощущал, как набухла, округлилась и затвердела в нем сердечная мышца.

Иногда ему было жаль утерянной застенчивости, и он вспоминал историю из жизни золотоискателей, прочитанную где-то (он любил читать об экзотических странах). У одного клерка лежал на столе камень, странный, угловатый, — он пользовался им как пресс-папье, и вот знакомый купил его за ничтожную сумму. Клерк потирал руки, уверенный, что сбыл простой булыжник, но это оказался самородок, стойивший миллионы...

Выходило, что застенчивость, делавшая таким трудным его общение с людьми, помогала ему общаться с самим собой, со своими мыслями... Он шел, он видел присыпанные снегом яблоки у лоточницы, он радовался тысяче вещей, которые теперь оставляли его равнодушным. Теперь он боялся одиночества; как боялся его все общительные люди. Ему было скучно с самим собой, и, оставшись один, он всякий раз брал телефонную трубку: «Дружище, заходи... двинем куда-нибудь вместе... давай всей компанией...» Он рабски зависел от этого «вместе... всей компанией». Раньше у него был один друг, старый и проверенный, — Гриша, теперь же он словно коллекционировал знакомых, но странно: чем легче он сходился с ними, чем меньше задумывался, что им сказать, тем большее отчуждение к ним испытывал. Шумные сборище, все кричат, хохочут и вроде бы не разлей вода: «Наш Юрик!.. Наш Игорек!.. Наша Ларочка!» — а у него сосет и сосет внутри: нет, чужие... Он великолепно научился поддерживать в себе хорошее расположение духа, всегда был весел, остроумен, ему все удавалось, но он почему-то уставал от сплошных удач и побед. Ему предательски хотелось несчастья и невезения, наверное тоже необходимых в жизни. Тогда он понял, что упражнениями в самовнушении жизни не научишься. Застенчивость в человеке — это и есть то, что зовется душой, и терять ее страшно. Он овладел формой, как учил тому дизайнер, но прибавил ли он к этому новое содержание? Он счастлив, но добр ли он?

Когда курс дизайнера был пройден, Кирилл Евгеньевич устроил Юре зачет.

— Экзаменующийся, я надеюсь, владеет приемами ведения словесного турнира? — строго спросил Кирилл Евгеньевич.

— Да, владеет, — ответил Юра.

Его слегка лихорадило.

— Какие это приемы?

— Парадокс, намек, словесный прессинг.

— Раскройте последнее.

— Сущность словесного прессинга состоит в деморализации собеседника посредством массивного речевого удара. Для этой цели применяются: а) синонимические цепочки: «Дичайшие, необузданные, вакхические страсти гнездились в ее слабой, надломленной,

нежной душе»; б) раздражающие чередования шипящих: «Ужимочки шаловливой шатенки шокировали шумный шабаш прищуренных шутов»; в)...

— Bravo, — пробормотал мэтр. — Кажется, вы готовы к тому, чтобы предстать перед моими друзьями. Учтите, Юра, это будет ваш главный экзамен.

В дверях их встретил хозяин дома, которого Юра сначала принял за своего ровесника, но Кирилл Евгеньевич шепнул: «Ему пятьдесят. Чудовищно моложав» — и Юре показалось, что мэтр вкладывает в эти слова оттенок соболезнавания. Действительно, было нечто странное в том, что пятидесятилетний мужчина выглядел как юноша. В своей молоджавости хозяин дома напоминал заспиртованного эмбриона. Признаки старения почти полностью скрадывались его маленьким ростом и худощавостью: по внешним параметрам он был мальчик и мог покупать одежду в «Детском мире». Лишь вблизи становилось заметно, что у него лицо взрослого человека, и этот контраст вызывал в Юре смутное замешательство, словно в глазах обезьянки, юрко взбирающейся по канатам вольера, он увидел мудрую и печальную старость.

— Спросите, как он следит за здоровьем. Он это страшно любит, — шепнул мэтр, и Юра адресовал этот вопрос хозяину.

Тот стал монотонно рассказывать о значении утренней зарядки и режима питания.

Гости еще не собрались, и хозяин дома пригласил их в свою маленькую комнату. За окнами белела Москва...

— Когда вы успеваете это прочитывать? — спросил Юра, всюду находя раскрытые книги и изучая взглядом застекленные стеллажи, где самым старым фолиантам был отведен уголок с табличкой «На дом не выдаются».

— Профессия... Мир производит огромное количество книг. Сотни томов, миллионы! А много ли мы успеваем прочесть, спеша на службу? Одну-две странички в метро, и то по специальности. Спрашивается: кто же будет потреблять книжную информацию? Отвечаю: профессионалы вроде меня. У меня нет никакого специального образования, я нигде не работаю и живу на зарплату жены. Но зато я читаю все подряд от Медицинской энциклопедии до мемуаров Ллойд-Джорджа. Мой бог — информация. Я с гордостью считаю себя профессиональным читателем, правда мне еще не выделили штатной единицы...

Медленно собирались гости, и хозяин усаживал их в гостиной. Жена подала им очищенные орешки...

— Держитесь, Юра, — шепнул мэтр.

Начался разговор профессиональных читателей.

— ...я тоже поклонник мумий, но лечебное голодание...

— Говорят, Нефертити голодала регулярно.

— ...Фишер.

— Фишер Дискау?

— Нет, Фишер-шахматист...

— ...и вот я вижу — она висит прямо надо мной.

— Что?!

— Летающая тарелка!

У Юры занял затылок.

— Что же вы? Что же вы? Покажите себя личностью! Где ваша эрудиция? — шептал на ухо мэтр.

На противоположном конце комнаты возник разговор о Софье Андреевне Толстой.

— Любимая тема, — пояснил мэтр. — Вас хотят проверить. Парадокс, намек, прессинг — запомнили?

Кирилл Евгеньевич приободрил Юру, как тренер в углу ринга.

— Запомнил, — сказал Юра и потрогал затылок.

— Тогда первый раунд!

— ...влияние этой женщины было сугубо пагубное,— рассуждал кругленький старичок, напоминающий чеховского интеллигента.— Искания старца не находили в ней отклика! Старец хотел быть вегетарьянцем, а ему варили мясные бульоны!

Гости осуждающе зароптали.

— Хотел страдать, а вокруг насаждался уют! — Старичок блеснул стеклышками.

Ропот усилился. Старичок прищуренно смотрел на Юру.

— Но ведь она была мать,— сказал Юра.— Мать и жена...

Кирилл Евгеньевич тихонько тронул его сзади.

— Прессинг, прессинг,— напоминал он тихо.

— Она растила детей и заботилась о них,— упрямо продолжал Юра.— Так делают все матери...

Возникло оцепенелое молчание.

— М-да,— произнес старичок.— Говорят, Каренин, Каренин, а я считаю его образ положительным...

— Каренин сухарь,— ответил Юра.

— Каренин добр,— капризно настаивал старичок.

— Он погубил Анну,— не сдавался Юра.

— Каренин благороден и снисходителен, а вот Анна...

— Не смейте трогать Анну! — крикнул Юра.

Старичок попятился. Пора было применять прессинг.

— Шабаш прищуренных шутов! — выпалил Юра.

Старичок споткнулся, и его вовремя подхватили.

— Шуты, шуты, шабаш шутов! — выстреливал Юра пулеметными очередями шипящих.

Кирилл Евгеньевич затолкал его на кухню.

— С ума сошли! Что вы нагородили?! — воскликнул он в крайнем раздражении.— Я ставлю вам «неудовлетворительно»! Вы не сдали экзамен! Вы слишком серьезно относитесь к жизни!

Юра не ответил. Затылок ныл.

— Ах, как жалко! Как жалко! Учтите, Юра, я мягкий экзаменатор, но теперь с вас спросит сама жизнь, а это вдвое мучительнее. Вас ждет еще экзамен, Юра... Ну что ж, прощайте. Хоть это и не дизайнерски, но я признаюсь, что вы мне чем-то стали дороги,— сказал Кирилл Евгеньевич, и Юра крепко пожал ему руку.

В Москве выпал снег свежий и чистый. Юра по делам оказался в центре и решил заглянуть на Сретенку, в тот переулочек. Но не было старого дворика, деревянной лесенки и залатанной мансарды, похожей на голубятню. На их месте строили что-то новое, предусмотренное по плану реконструкции. Юра долго стоял рядом, стараясь вернуть себя к прошлому, вспомнить мастерскую, диалоги абсурда, дизайн, но воспоминания не вызывали в нем трепета. Юра оставался спокоен. Лишь мысль о спешащей жизни настойчиво тревожила его.



---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ЛЕБСКИЙ \*

★

## *Три стихотворения*

1

«Заяц сигает, сигает заяц!» —  
Это летит от окопа к окопу,  
Дым раздвигает, снег развевает  
И заглушает разрывы и топот.

Мы мушки сдвигаем, мы целимся  
Выше скользящего в сумерки зайца.  
Пусть заяц сигает и шерстью блистает:  
Ведь все это вовсе его не касается.

1942.

2

Передний край. Здесь ходят не кратчайшим —  
Нижайшим из путей.  
Вот этот куст — он наш, а дальше  
Тот куст — ничей.  
Ничья земля: белоголовик, донник,  
Пустой окоп.  
Все это близко, все как на ладони  
И все — как за морями — далеко.  
Все далеко: вокзал, свисток, платформа...  
«Прости... — Прощай...» За ней  
Москва, мелькнувшая за придорожным дерном  
Огнями москвичей.  
Прости-прощай и то село, где ночью,  
Среди пожарищ,  
Штыками и прикладом бой закончив,  
Мы задержались.  
Прошли село: высотка, перекресток  
Дорог степных.  
Здесь мы стоим; нам Родина — то место,  
Где окопались мы.  
Окоп глубок, на бруствере воронки,  
Следы опалин.  
Здесь все свой, а посторонних  
Мы закопали.

Август — декабрь 1942.

---

\* Борис Лебский был студентом Литературного института. Добровольно ушел на фронт. лейтенант Борис Лебский погиб 26 января 1943 года на Орловщине. Стихи представлены его матерью Р. С. Лебской.



## 3

Что героического в том,  
 Что встал, когда был должен встать,  
 Что под трехъярусным огнем  
 Не обратился вспять,  
 Что шел, когда шагнуть нельзя,  
 Что падал и вставал,  
 Когда и небо и земля  
 Валились наповал?  
 Но если встал он и дошел  
 В беспутницу, без всех,  
 То, значит, был с большой душой  
 Привставший человек.

8 декабря 1942.

## С. ОРЛОВ

*Весна в Ленинграде*

В плену у каменной ограды  
 Разбушевался черный сад,  
 Летит весна над Летним садом  
 И падает на Ленинград.

Деревья дышат мокрым ветром,  
 На юг глядятся за дома,  
 Там отступает метр за метром  
 Под натиском весны зима.

Ведет весна обстрел долины,  
 Дымятся на снегу, черны,  
 Проталины как бы от минных  
 Разрывов на полях войны.

На тротуарах мокроногий  
 Март сапогами наследил,  
 Пришел полями без дороги  
 И крикнул людям: выходи!

И видит, что, забыв о стуже,  
 Как ранний гром по мостовой,  
 Трамвай уже гремит по лужам  
 С листком зеленым под дугой.

А с крыш, лопатами сверкая,  
 Мальчишек рыжих веселей,  
 Повсюду дворники сгоняют  
 Снег, будто белых лебедей.

1947.

*Поезд Москва — Берлин*

Зори в реки глядятся,  
 Мчится среди равнин,  
 Мимо могил солдатских  
 Поезд Москва — Берлин.

Времени далью скрыты  
 Даты лет огневых,  
 Но никакой обиды  
 Нету на жизнь у живых.  
 Бечно юные, сильные,  
 С карточек вскинув взгляд,  
 В каждой избе России  
 Сверстники их молчат.  
 За пять минут до рассвета  
 И до команды «встать!»  
 Кто-нибудь им об этом  
 Мог ли в глаза сказать?  
 \* Если б они узнали!  
 Но ни к чему гадать.  
 Встали они над сталью,  
 Надо было вставать.  
 Было остаться надо  
 Верным себе самому,  
 А чины и награды  
 Мертвому ни к чему.  
 Юный, двадцатилетний  
 Ротный взмахнул рукой —  
 Это был их последний  
 И решительный бой!  
 Жгли все Европы мины,  
 Встали ребята в рост.  
 Было им до Берлина  
 Дальше, чем нам до звезд.  
 Но ни в лугах зеленых  
 Нету среди живых,  
 Ни в городах миллионных  
 Даже пылинки от них.  
 Есть только вся Россия  
 С ширью ее равнин,  
 С облаком в небе синем,  
 С поездом на Берлин,  
 С избами, где в багетах  
 Молча на белый свет  
 Всюду глядят с портретов  
 Мальчики грозных лет.

1966.

\* \* \*

Я не люблю того, кто мир винит  
 Во всех своих печалях и невзгодах,  
 Кто, чуть чего, кричит: «А все они!»  
 Не важно, кто они: кто — люди, годы...  
 Мне кажется, я сам тому виной,  
 Что счастье просто затерялось где-то,  
 Что в мире меньше радостью одной,  
 Чем быть могло, и я виновен в этом.  
 В долгу перед друзьями и землей,  
 Мне в жизни никогда не расплатиться  
 За небеса, за тот последний бой,  
 За вдохновенье, за любовь, за жизнь, что длится.

1953.

Публикация В. С. ОРЛОВОЙ.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ШАХНАЗАРОВ, Г. ОСТРОУМОВ

★

## ОСМЫСЛИВАЯ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

*Двадцать пять лет назад, 14 мая 1955 года неподалеку от вечного огня в память о жертвах, понесенных Польшей во второй мировой войне, в только что восстановленном из руин торжественном зале Дворца Правительства Польши состоялось событие огромной исторической важности. Представители социалистических стран Европы подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 5 июня 1955 года Договор вступил в силу.*

*Недавно Издательство политической литературы выпустило в свет книгу Л. Н. Толкунова «Главная революционная сила современности. Мировое социалистическое содружество: становление, развитие, возрастающее влияние». Авторы предлагаемой рецензии, анализируя книгу Л. Н. Толкунова, дают общую картину развития мира социализма, защите интересов которого уже четверть века надежно служит Варшавский Договор.*

**В**ряд ли в современной общественно-политической литературе есть тема, которая более широко и существенно затрагивала бы социальные судьбы человечества, чем тема роста сил мирового социализма, его воздействия на ход исторического процесса. Закономерен поэтому неослабевающий исследовательский и читательский интерес к этой теме. В ее освещении и разработку свой вклад вносит и новая книга Л. Н. Толкунова, в которой комплексно рассматриваются вопросы становления, развития и международного влияния мирового социалистического содружества.

Автор назвал свой труд «Главная революционная сила современности». И это не просто яркий, удачно найденный заголовок книги. Это вывод, к которому автор ведет и приводит читателей, ссылаясь на многие факты и документы, статистические данные и свидетельства участников исторических событий.

По своему жанру книга эта, пожалуй, скорее всего научно-публицистическая: строгие, порою суховатые страницы с колонками цифр и сносками — указателями литературных источников перемежаются полными горячего Политического темперамента суждениями партийного пропагандиста, пишущего о предмете исследования с острым пониманием его сложности и вместе с тем с глубочайшей убежденностью в правоте и жизненности свершающегося при самом активном участии нашей партии и страны дела международного социализма.

Работа Л. Н. Толкунова представляется интересной и полезной с нескольких точек зрения. Прежде всего с точки зрения потребности во все более глубоком осмыслении интернационального опыта социалистических революций и социалистического строительства в странах, отличающихся друг от друга своими социально-политическими, экономическими, духовными и общекультурными характеристиками. Возможности и основания для такого все более глубокого осмысления дает нам прежде всего время — те умножающиеся годы и десятилетия общественной практики, которые, отдаляя от нас революционные и последующие за ними события, тем самым позволяют оценивать их масштабнее, всестороннее, полнее. В наши годы это особенно важно потому, что практически во всех странах, вставших на путь социализма, к управлению делами общества приходят новые поколения, которые формировались уже после революции и не могут судить о ней по непосредственному собственному опыту.

В книге на значительном фактическом материале подтверждается и развивается марксистско-ленинский вывод о том, что народно-демократические и социалистические революции, следовавшие за Великим Октябрем в России, были подготовлены всем

историческим развитием стран, явились логическим результатом существовавших в них внутренних классовых противоречий.

Автор убедительно показывает, что при всех особенностях и порою весьма существенных различиях в политике эксплуататорских классов, например, Болгарии и Польши, Румынии и Чехословакии эти классы оказались неспособны отстоять национальные интересы своих народов перед нажимом со стороны империалистических держав. В тридцать пятую годовщину победы над гитлеровским фашизмом особенно поучительно звучат напоминания о катастрофических последствиях гегемонизма в Европе германского империализма, исподволь и открыто поощрявшегося англо-американскими правящими кругами к борьбе против Советского Союза.

Интересы сохранения собственности возобладали над национальными интересами у буржуазии и феодалов Болгарии, Венгрии, Румынии. Их правящие круги стали — так или иначе — прямыми прислужниками и пособниками гитлеровцев.

В книге вместе с тем убедительно отмечается также пагубность подчинения национальных интересов Польши и Чехословакии антисоветским целям английских, французских и американских империалистических политиков, всегда рассматривавших эти страны главным образом как материал для возведения пресловутого «антибольшевистского кордона» вокруг первого социалистического государства.

В ходе антигитлеровской войны стратегия англо-американского империализма предусматривала создание в Восточной Европе условий для того, чтобы плодами разгрома фашизма могли воспользоваться прежде всего консервативные силы. Им западные державы предоставляли всемерную, в том числе и военную, поддержку. Лишь благодаря мощи социалистического Советского Союза, самоотверженности его героической армии, отмечает автор, народы Юго-Восточной и Центральной Европы были освобождены не только от ига германского империализма, но и от замены одной империалистической оккупации другой.

На собственном опыте страны Восточной Европы убедились, что навязывавшийся им антисоветизм — будь то в откровенно антикоммунистических формах либо под прикрытием фальшивых забот о «единстве европейской культуры» — приносил их народам лишь национальные катастрофы, низводил их до роли орудия в антидемократической борьбе самых реакционных международных сил. Разумеется, это касается далеко не только стран Восточной Европы.

Банкротство политики антисоветизма на международной арене, его пагубность для прогрессивного развития народов и стран, для коренных интересов трудящихся стали в ходе и в исходе разгрома гитлеровского фашизма небывало ощутимыми, зримыми, очевидными для людей в различных частях света, на различных континентах. Симпатии к Советскому Союзу как к стране-освободительнице, вынесшей основную тяжесть борьбы против фашизма, превратились в огромную материальную силу, способствовавшую крупнейшему демократическому подъему во всем мире.

Во главе народно-демократических и социалистических революций в странах Европы и Азии стояли коммунистические и рабочие партии, завоевавшие право на руководящую роль своим мужеством в сопротивлении фашизму. В книге в этой связи приводится, например, такой факт: в борьбе против оккупантов погибла половина довоенного членского состава компартии Чехословакии. Весьма существенно и то, что коммунисты оказались теоретически подготовленными к пониманию содержания и движущих сил революционно-демократических перемен. В этом отношении немалое значение имела коллективная мысль братских партий, центром которой являлся в свое время Коминтерн. Программа Коминтерна, напоминает Л. Н. Толкунов, предусматривала в одних странах Центральной и Юго-Восточной Европы возможность более или менее быстрого перерастания буржуазно-демократических революций в социалистические, в других — возможность революций пролетарского типа, которым предстояло решить и множество задач буржуазно-демократического характера.

Плодотворность этих теоретических положений была подтверждена жизнью. Они получили творческое развитие и практическую реализацию в деятельности партий, чутко учитывавших общие и специфические условия борьбы против фашизма, изменения в соотношении классовых сил в послевоенный период.

В книге подчеркивается новаторский подход коммунистов к осуществлению политических и социальных преобразований в странах народной демократии. В результате международная практика обогатилась опытом создания правительств народных (нацио-

нальных) фронтов, опытом относительно мирного перехода от общедемократического к социалистическому этапу революции, своеобразной практикой создания смешанных государственно-частных предприятий, проведения обобществления хозяйств на селе без национализации земли, опытом объединения партий рабочего класса и сохранения многопартийной системы в условиях социализма, как и рядом других новых моментов переустройства общественной жизни на социалистических началах.

Практика социалистических революций и социалистического строительства в странах народной демократии, пишет Л. Н. Толкунов, вобрала в себя все многообразие исторически сложившихся национальных особенностей и традиций этих стран, что нанесло серьезный удар по догматическим шаблонам и доктринерским схемам. Живой, настоящий социализм оказался сложнее, разнообразней, чем это казалось еще несколько десятилетий назад. Вместе с тем в основе успеха всего этого исторического новаторства лежала верность фундаментальным ленинским принципам революции и социалистического строительства, впервые получившим проверку в творческой практике советского народа — первопроходца новой жизни. Об этом весомо, убедительно говорится в книге.

Не умалчивает автор и о трудностях, возникших в ходе строительства социализма. В этой связи говорится о контрреволюционном мятеже 1956 года в Венгрии, о выступлении правооппортунистических и антисоциалистических сил в 1968 году в Чехословакии. В книге приводятся оценки этих событий, данные ВСРП и КПЧ и имеющие принципиальное значение для понимания сложных процессов борьбы за упрочение позиций социализма.

Много внимания автор уделяет отходу от общих закономерностей социалистического развития в Китае. Истоки предательства маоистами интересов китайского и мирового рабочего движения коренятся, как отмечает Л. Н. Толкунов, в мелкобуржуазной социальной природе маоизма. Не оспаривая этот вывод по существу, хотелось бы отметить следующее. Более глубокому осмыслению процессов подрыва и перерождения народно-демократического режима в Китае способствует учет того исторического факта, что в этой стране в огромных масштабах сохранялись и образовывались новые массы деклассированных, пауперизированных социальных слоев. На значение этого факта для понимания маоизма уже указывалось в нашей литературе. Огромные деклассированные, люмпенпролетарские слои наряду с мелкой буржуазией и составляют ту социальную почву, на которой паразитирует маоизм. Во многом отсюда и бесконечная, непреодолимая фракционность маоистов, метания их идеологических и политических вождей от «большого скачка в коммунизм» до прямого антисоциалистического угодничества перед крайней империалистической реакцией. Главное, что объединяет различные соперничающие между собой маоистские фракции, это великоханьский шовинизм, прикрываемый претензиями на «китаизированный марксизм-ленинизм».

Маоисты — будь то «левые» или «правые», «идеологи» или «прагматики» — в противовес китайским коммунистам-интернационалистам относились к опыту социалистического строительства других стран свысока, критикански, нигилистически. Претендуя на открытие «особых», «скоростных» путей социалистического развития Китая, они на деле игнорировали и грубо нарушали общие закономерности социализма. В результате все большие зигзаги и провалы во внутренней и внешней политике, за которые пришлось и приходится расплачиваться китайскому народу.

Начав с самоизоляции от социалистического содружества, с противопоставления ему Китая, Мао и его последователи в конечном итоге скатились до прямого смыкания на международной арене с империалистической реакцией, оказались в одном стане с открытыми противниками реального социализма.

О той роли, которую в этом стане берут на себя наследники Мао, весьма выразительно свидетельствуют, в частности, приведенные в книге выдержки из отчета о поездке в Китай американского сенатора Г. Джексона, который он представил в 1978 году сенатским комиссиям по делам вооруженных сил и энергетики. «Растущее совпадение интересов, — докладывал Г. Джексон, — побуждает китайцев рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут играть решительную и активную роль в мировых делах как на стратегическом уровне, так и в областях региональной напряженности. Их сейчас беспокоит, что мы делаем слишком мало, а не слишком много». Подобные свидетельства крупного американского «ястреба» проливают немалый дополнительный свет на генезис новой вспышки претензий США на мировое лидерство. Вопреки намере-

ниям их авторов такие свидетельства вновь и вновь достаточно четко показывают, где и как проходит ныне главный рубеж размежевания сил: прогрессивных, революционных, с одной стороны, реакционных, антиреволюционных — с другой.

Трудно представить себе, однако, что китайский народ в конце концов согласится на роль пособника или младшего партнера империализма, на которую фактически толкают сейчас Китай те, кто хотел бы любой ценой сохранить над страной пресловутое «знамя Мао Цзэдуна», устранив с его изрядно потрепанного полотнища наиболее одиозные символы. Претензии на развитие по социалистическому пути при поддержке международной империалистической реакции и конфронтации с социалистическим сотрудничеством несостоятельны в самой своей основе. Это очередное проявление политического авантюризма, пусть даже четырёхжды модернизированного. Вряд ли никто не понимает этого сегодня в Китае.

Одно из достоинств рецензируемой книги — широкое, как бы панорамное отображение в ней тех высот, которые достигнуты братскими странами в тесном взаимодействии друг с другом на всех главных направлениях общественного развития.

А. Н. Толкунов предметно характеризует фундаментальные социально-экономические успехи братских стран, позволяющие многим из них продвигаться по пути строительства развитого социализма. В этой связи представляют интерес приводимые в книге данные о существенных изменениях в социальных структурах, происшедших за последние десятилетия. Главная тенденция этих изменений — усиление однородности общества, укрепление его единства. Это, конечно, важнейшее историческое завоевание братских стран, основной результат социально-политической стратегии правящих марксистско-ленинских партий, итог их многогранных, разносторонних усилий, закрепляя и умножая которые они могут уверенно направлять социалистическое строительство к более сложным рубежам. В этой связи следует отметить, что конкретное изучение реального процесса все большей консолидации социалистического общества во всей его сложности, осмысление возникающих и разрешаемых при этом противоречий — одна из перспективных задач социалистической общественной мысли. Практика братских стран во всем ее многообразии дает для этого богатейший материал. Очевидно, немалый интерес мог бы представить, например, сравнительный социологический анализ изменений, происходящих в рабочем классе, крестьянстве, интеллигенции братских стран, в таких общественных группах, как молодежь, женщины, лица старших возрастов и т. д.

В книге показаны весомые позиции, занимаемые странами СЭВ в мировом производстве: около 30 процентов по всей промышленной продукции, 21 — по вырабатываемой электроэнергии, 30 — по стали, 35 — по минеральным удобрениям, 26 — по цементу. За три десятилетия произошли заметные структурные сдвиги в индустрии. Совокупный удельный вес таких отраслей, как машиностроение, металлообработка, химия, производство электроэнергии, вырос с 14—32 до 36—48 процентов. В целом по странам СЭВ в 5 раз выросла производительность труда. За счет этого к настоящему времени получается примерно 80 процентов прироста промышленной продукции.

Весьма важен и тот факт, что достигнуты крупные успехи в социалистическом сельскохозяйственном производстве. Его показатели в таких странах, как Чехословакия, ГДР, Венгрия, Болгария, Румыния, по многим позициям находятся на уровне лучших мировых достижений.

Опыт социалистического строительства в братских странах, пишет А. Н. Толкунов, подтверждает важность постоянного совершенствования системы экономических отношений — форм организации производства и управления им, методов планирования и стимулирования.

Весьма существенно, что на первый план ныне выдвинулась качественная сторона развития производства — повышение его эффективности, технического уровня на базе НТР, добротности и эстетичности выпускаемой продукции.

Касаясь актуальных проблем экономического развития, автор пишет: жизнь опровергла представления о функционировании социалистического хозяйственного механизма как о раз и навсегда налаженном процессе, свободном от каких-либо осложнений и перебоев. Правящие коммунистические партии заботятся о своевременном анализе возникающих трудностей, приведении методов хозяйственного руководства в соответствие с реальными требованиями жизни. К сожалению, в книге хотя и емко, но, пожалуй, слишком сжато говорится об основных направлениях этой работы, имеющей неопределимое значение для дальнейшего успешного развития братских стран. Между тем

один из решающих резервов такого развития — это, несомненно, всестороннее обобщение и творческое взаимное использование всего лучшего, передового, что есть в практике совершенствования социалистической экономики.

Какую бы сферу этой работы мы ни назвали — будь то совершенствование планирования, организационных структур управления, материального стимулирования или участие трудящихся в решении производственных задач, — практически в каждой братской стране идут сейчас интенсивный поиск и опробование новых, более эффективных, более выгодных и рациональных для общества, трудового коллектива, для каждого труженика форм, методов, путей.

Созданию благоприятной атмосферы для все более высокой социальной и трудовой активности способствуют укрепление и совершенствование в братских странах правовых основ социалистической государственности, социалистической демократии. В книге говорится о конституционных реформах, предпринятых в 60-х и 70-х годах в социалистических странах. Анализ практики, конкретных результатов претворения в жизнь новых и обновленных основных законов стран социализма — это, конечно, многосложная задача, которая решается и, очевидно, еще достаточно долго будет решаться представителями многих общественных наук. Можно, однако, уже сейчас сказать, что основные, принципиальные направления развития государственности, определенные новыми конституциями, — это дальнейшее совершенствование и расширение социалистической демократии во всех ее формах и направлениях (представительных и непосредственных, собственно политических и конкретно-хозяйственных). Государственно-правовая и социально-экономическая практика братских стран показала, что знамя прав и свобод человека — это знамя социализма.

Достижения и проблемы стран социализма Л. Н. Толкунов рассматривает в тесной связи с опытом, возможностями и перспективами их сотрудничества. К вопросу о сотрудничестве социалистических стран, отмечает он, нельзя подходить упрощенно. Неправильно, например, считать, что с утверждением однотипных, социалистических производственных отношений во взаимоотношениях социалистических стран не может быть никаких трудностей. Завоевание власти рабочим классом и установление новых общественных отношений не снимает автоматически проблем, которые возникают между народами, не может быть абсолютной гарантией их сплоченности. В этой связи автор справедливо говорит об особой опасности пренебрежительного отношения к общим интересам социалистического содружества, использования возникающих трудностей в националистических целях.

КПСС и Советское государство твердо и последовательно выступают в защиту единства стран социализма.

Сила интернационалистов в реальности их позитивной программы дальнейшего развития социалистического содружества, в научном решении тех проблем, которые ставит жизнь. Ведь каждый новый этап социального развития требует разработки новых представлений, новых подходов к тем или иным явлениям общественной жизни. При этом на первый план выдвигаются те вопросы, от успешного решения которых зависят судьбы мирового социализма, темпы и размах социальных преобразований. Справедливость и ценность суждений автора на эту тему состоит, на наш взгляд, в том, что они помогают глубже и масштабнее оценить то поистине историческое творчество, которое представляет собою взаимодействие народов, государств и партий социалистического содружества.

Приведенный в книге большой фактический материал о сотрудничестве в рамках СЭВ дает конкретное представление о размахе и формах социалистической интернационализации производства, о новом типе экономических международных отношений, о выдвигаемых социализмом путях решения таких глобальных проблем, как энергетическая, сырьевая, продовольственная. Приведены убедительные данные о происходящем в результате экономического сотрудничества братских стран процессе постепенного сближения и выравнивания уровней их экономического развития.

Со знанием дела автор рассказывает об идеологическом сотрудничестве братских партий, в особенности в области пропаганды, средств массовой информации, культуры. Интересны в этой связи некоторые высказываемые в книге соображения о позициях и возможностях социализма на таком сравнительно новом поле идеологического противоборства, которое связывают с понятиями «качество жизни», или «человечность общества».

Широко освещаются в книге вопросы политического сотрудничества государств.

и правящих партий социалистического содружества. Особое внимание при этом, естественно, уделено характеристике содержания и форм деятельности Организации Варшавского Договора. Убедительно показана ее двуединая роль — служить надежным щитом против возможных агрессивных покушений империализма на революционные завоевания братских стран и в то же время инструментом конструктивного, взаимопользительного развития международных отношений в Европе. Автор рассказывает и о военном сотрудничестве в рамках ОВД, о политическом сотрудничестве на уровне ее Политического Консультативного Комитета. Характеризуются крупные миролюбивые инициативы, с которыми выступали и выступают государства Варшавского Договора.

Особое внимание в книге уделено такой доброй традиции в политическом сотрудничестве братских партий и государств, как дружеские встречи на высшем уровне. В этой связи отмечается огромное значение крымских и других встреч и бесед Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева с руководителями братских стран. На этих встречах обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества, достигаются важные договоренности, даются творческие импульсы всей системе взаимодействия братских партий и стран.

К сожалению, в книге не нашли отражения широко практикуемые, многообразные по своим формам дружеские связи, осуществляемые местными партийными органами. Между тем они охватывают сотни республиканских, областных, городских и районных организаций братских партий, партийные организации тысяч предприятий, учебных заведений, учреждений культуры.

Существуют и все более эффективно используются богатые возможности для взаимного изучения и применения конкретного опыта партийной работы, достижений трудовых коллективов, творческих союзов. Эти возможности растут по мере развития братских стран: каждой из них приходится со временем решать все более сходные, близкие по своему характеру задачи. На современном этапе это прежде всего дальнейшее повышение руководящей роли марксистско-ленинских партий в условиях ускоряющегося общественного развития, все более полное раскрытие социальных преимуществ нового строя, широкое использование интенсивных факторов экономического роста, воспитание молодых поколений, вступающих в жизнь в условиях социализма, формирование и удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей общества и его различных слоев, совершенствование социалистического образа жизни.

Высокий динамизм современного общественного развития в мире требует постоянного обобщения, теоретического осмысления интернационального опыта социализма. Такой опыт свидетельствует о богатстве и разнообразии форм и методов работы по социалистическому переустройству общества. Вместе с тем, как отмечается в книге, практика более чем трех десятилетий развития социалистического содружества убедительно свидетельствует, что решающий фактор успешного строительства социализма и коммунизма — единство и сплоченность братских стран.

Единство и сплоченность, справедливо отмечает автор, позволяют странам социализма оказывать растущее влияние на ход исторического процесса. Л. Н. Толкунов характеризует главные направления, по которым осуществляется такое влияние. Теоретическое и политическое обоснование этих направлений, как хорошо показано в книге, восходит к фундаментальным ленинским идеям о взаимоотношениях социалистической страны с остальным миром — к идеям мирного сосуществования государств с различным общественным строем и пролетарской интернациональной солидарности всех сил социального и национального освобождения.

Отношения между двумя мирами, тенденции и перспективы их развития — кардинальный вопрос современности, пишет автор. От того, как они сложатся, зависит в конечном счете, быть или не быть мировой войне.

В книге убедительно показано, что мощь социалистических стран, их активная согласованная политика являются важнейшим фактором, противостоящим агрессивным устремлениям империализма, удерживающим его от развязывания новой мировой войны.

Автор рассматривает различные аспекты мирного соревнования двух систем в экономической и социальной области, приводит ряд данных, свидетельствующих об определенных успехах социалистических стран в этом отношении, справедливо отмечает взаимовыгодный характер экономического сотрудничества государств с различным общественным строем. Важный вывод, который проходит через всю историю развития мировой социалистической системы, заключается, по мнению автора, в том, что



сотрудничество между капиталистическими и социалистическими государствами становится возможным благодаря достижениям социализма в экономическом соревновании с капитализмом, благодаря последовательному осуществлению социалистическими странами политики мирного сосуществования. Более того, расширение этого сотрудничества, пишет Л. Н. Толкунов, дает возможность вести глубже и шире само соревнование по всем его параметрам.

Подчеркивая свою приверженность ленинским принципам мирного сосуществования, строго соблюдая их на деле, братские страны никогда не скрывали при этом, что их симпатии, их солидарность и поддержка всегда находятся на стороне сил общественного прогресса, социального и национального освобождения.

Никому не дано отменить тот объективный исторический факт, что, победив в большой группе стран, социализм тем самым показывает реальный путь освобождения от эксплуатации и национального гнета сотням миллионов людей в странах капитала, в зоне бывших колоний и полуколоний.

В книге показан большой вклад, который вносят КПСС и другие марксистско-ленинские партии братских стран в сплочение и укрепление международного коммунистического и рабочего движения. О глубочайшей обоснованности и прозорливости позиций, с которых наша партия подходит к этой задаче, свидетельствует, в частности, история борьбы против навязывавшейся комдвижению в начале 60-х годов авантюристической «генеральной линии» маоистов, о чем весьма уместно напоминает в книге Л. Н. Толкунова.

Говоря о принципиальной общности коренных интересов марксистско-ленинских партий стран социализма и несоциалистической части мира, автор вместе с тем напоминает о стремлении буржуазных идеологов и политиков постоянно провоцировать противоречия, раскол в мировом коммунистическом движении, играя на противопоставлении национальных и интернациональных интересов его отрядов. В этой связи подчеркивается актуальное значение классового, ленинского подхода к анализу диалектики интернационального и национального в борьбе рабочего класса.

Отношение к опыту реального социализма, говорится в книге, имеет принципиальное значение. Мировой социализм определяет новый уровень требований, выдвигаемых рабочим движением. Даже в решении проблем экономического положения трудящихся к их социального обеспечения монополистической буржуазии приходится действовать внутри своих стран с оглядкой на силы социализма.

Солидарность с национально-освободительным движением, союз с ним — одно из важнейших направлений поддержки странами социализма дела социального прогресса в современном мире. В своем труде Л. Н. Толкунов убедительно показывает, что государства социалистического содружества последовательно проводят в жизнь ленинский курс в отношении народов, порывающих с остатками колониальной и полуколониальной зависимости. Первостепенное значение при этом имеет самая широкая, действенная политическая солидарность с молодыми национальными государствами и народами, борющимися за свою свободу. «Если бы не Советский Союз, не социализм и его надежная поддержка, — справедливо отмечается в книге, — империализм задушил бы в зародыше любые попытки освободившихся ныне государств добиться подлинной национальной независимости».

Надо сказать, однако, что автор использовал лишь скромную часть того богатейшего и интереснейшего фактического материала, который накоплен практикой взаимоотношений стран социалистического содружества и молодых развивающихся государств. Видимо, стоило бы уделить внимание в работе и отношениям социалистических стран с движением неприсоединения. Тем более что имеется немало охотников исказить эти отношения, повредить им.

Книга Л. Н. Толкунова — это, несомненно, полезный труд, помогающий полнее и глубже осмыслить кардинальный общественный процесс современности — процесс роста интернациональных сил социализма во всей его сложности и неодолимости.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВЛАДИМИР АБЫЗОВ



## ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

*Рассказ участника боев за Берлин*

Ночь на 16 апреля мне показалась очень долгой...

*В. И. Чуйков.*

**С**олдату не говорят, когда начнется наступление. Однако и скрыть это от него невозможно: по ночам к передовой подтягиваются танки и артиллерия, пополняются бойцами роты. А тут еще и старшина не скупится на боеприпасы, да и кашу заправят погуще, пожирней. Но другой раз и догадываться не надо — оперативно сработает беспроволочный окопный телеграф.

О предстоящем наступлении на Берлин были оповещены все вплоть до тех, кто находился в ячейках боевого охранения перед самым носом немцев. Приказ о решающем штурме, отпечатанный тысячным тиражом, и небольшие, размером в ладонь, листовки мгновенно разошлись по батальонам и ротам нашего 1-го Белорусского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза Жуков.

В ту сырую, темную апрельскую ночь, как всегда перед наступлением, мы говорили мало, скупо. В блиндаже, сооруженном в основании разбитого фольварка, было тесно от потных солдатских тел. И очень сыро — совсем рядом Одер, его воды недели две назад заливали этот подвал. Пахло прелым сеном, которое служило нам постелью в эти беспокойные дни и ночи. Сейчас на этом сене похрапывали десятка два солдат.

Многие из нас попали на Одерский плацдарм совсем недавно. Помню, выстроил нас, вновь прибывших, капитан Кобаев, в чей батальон мы попали, спросил:

— А знаете ли вы, в какой дивизии, в каком полку будете воевать?

Мы молчали. В моей красноармейской книжке значилось: «236 гв. стр. полк, 74 гв. стр. дивизия». Так и у остальных. Но эти номера нам ничего не говорили.

Комбат пояснил:

— Вы будете воевать в дивизии, которой когда-то командовал Николай Щорс. А полк наш — Богунский, хотя в армейских списках он значится как Двести тридцать шестой гвардейский. Ясно, товарищи богунцы? — энергично спросил он.

— Ясно! — ответили мы дружно.

Много дней спустя, уже после боев, нам рассказали о боевом пути нашей дивизии поподробней.

Год ее рождения — 1918. В то время молодая республика Советов вела кровопролитные бои с контрреволюцией и кайзеровщиной. На оккупированной немцами территории, на Черниговщине, бывший прапорщик царской армии Николай Щорс собрал повстанческий отряд, вскоре преобразованный в полк, названный Богунским. Одновременно с ним на Киев-

щине организовался еще один полк — Таращанский. Им командовал Василий Боженко. Эти полки объединились, получили пополнение, состоявшее в основном из рабочих Донбасса. Образовалась 1-я Украинская повстанческая дивизия, командиром которой стал Щорс. Полки дивизии громили немецких захватчиков и белополяков, банды Петлюры и Махно, освобождали от контрреволюции Чернигов, Винницу, Белую Церковь, Киев. Имена Щорса и батьки Боженко, погибших в боях с врагами Великого Октября, стали для нас легендарными.

В Великую Отечественную дивизия находилась в боях чуть ли не с первых дней. Познала и горечь отступления и радость первых побед еще в том тяжелом для нас 1941 году. Но свой истинно бойцовский, революционный характер она проявила в Сталинграде, за что и получила высокое звание гвардейской.

В составе 8-й гвардейской армии, которой командовал Василий Иванович Чуйков, Богунский, Таращанский и Донецкий полки громили гитлеровцев на Днестре, освобождали Запорожье и Одессу. Во время зимнего наступления 1945 года дивизии выпала нелегкая задача — взять город-крепость Познань. И она блестяще справилась с ней, еще раз доказав, что не зря ее зовут щорсовской, сталинградской, гвардейской...

Но вернемся в ту памятную апрельскую ночь, на Одерский плацдарм.

Мне не спалось. Я привалился к стене в дальнем углу, подстелив плащ-палатку. Хотелось написать домой письмо, но ни бумаги, ни карандаша. Я ждал, когда закончит писать молодой темноглазый солдат, пристроившийся на ящике возле коптилки, — собирался попросить у него и бумаги и карандаш. Но тот не очень-то торопился. Напишет несколько слов, чему-то улыбнется, а потом все это перечеркнет. Хорошенькое получится письмецо! А может быть, еще и набело вздумает переписывать? Нашел время!

Фамилия его Разуваев, а звать Юра. Но для всех нас он Юрка-музыкант. Он очень хорошо играет на губной гармошке, разумеется трофейной.

Вздрыгнул, кольхнулся язычок коптилки, которая скудно освещала наш подвал. Вошли трое. Среди них и Вася Медведев, мой земляк, москвич. Все трое в поблескивающих от влаги касках, набухших ватниках, с автоматами.

— Говорил, давайте организуем печку, — проворчал Медведев, бросая на сено каску и автомат. — Блиндаж без печки — могила.

— Отогреемся, Медведь, — ответил ему Юрка-музыкант. — Завтра жарко будет, как в Сахаре.

Медведев подошел к ящику, на котором стояла коптилка, устало присел на другой ящик, поменьше; потерев свой длинный хрящеватый нос, усмехаясь, спросил:

— Письмо турецкому султану?

— Султану! — скосил на него свои темные, с лукавинкой глаза Юрка-музыкант. — В нашу дивизионную газету. Опровержение.

Двое, что пришли с Медведевым, рассмеялись — они все еще стояли у входа, неторопливо освобождаясь от оружия и мокрой одежды.

— Чего ржете? — беззлобно бросил им Юрка-музыкант. — Талдычат и талдычат, что до Берлина семьдесят километров. А я, когда был в штабе батальона, самолично измерял по карте-трехверстке. Шестьдесят шесть получается! Ясно?

Медведев посмотрел на опровергателя, процедил:

— Дуралей ты, Юра, вот и все.

— А вот это ты зря, Медведь, — ничуть не обижаясь, произнес Юрка. — Подумай, что это такое — четыре лишних километра в наступлении. Да еще и в таком, какое нам предстоит! Знаешь, сколько тут наших ляжет? Я вот хочу точности. Надо знать, что похоронок будет меньше. Ровно на четыре километра.

Медведев посмотрел на Юрку-музыканта долгим, пристальным взглядом, затем, ни к кому не обращаясь, спросил:

— Ребята, есть у кого-нибудь шнапс? Хоть один глоток. Знобит.

Я никогда не держал такого припаса и сейчас пожалел, что не могу выручить земляка. Но кто-то из лежащих на сене протянул Медведеву флягу, сказал:

— Не все, однако.

Медведев запрокинул голову, сделал глоток, другой. Было видно, как ходит кадык на его шее. Взболтнул флягу возле уха — много ли осталось. Но пить больше не стал.

— Спасибо, дружище.— И вернул флягу в темноту.

За толстыми стенками подвала раздалось несколько взрывов, послышалась пулеметная дробь.

— Не спится им, гадам!

Медведев поднялся, посмотрел по сторонам, выискивая свободное местечко.

— Вася, ко мне,— позвал я его.

Он подошел, сбросил с себя ватник и сел рядом со мной на пятнистую, в разводах немецкую плащ-палатку. Прислонившись спиной к стене, устало закрыл глаза.

— Что с тобой? Может, заболел?

Медведев не ответил.

Я взглянул на Юрку-музыканта, но тот, по-прежнему улыбаясь, продолжал строчить свое дурацкое опровержение. Ладно, подумал я, напишу своим, когда прорвемся к Берлину. Вот-то будет новость!..

— Женьку Ныркова знал? — неожиданно спросил Медведев, не меняя позы и не отрывая глаз.

Я плохо знал Ныркова — он из другого взвода. Высокий такой, белобрысый. Тоже москвич.

Медведев сказал — нет, не сказал, а выдавил из себя:

— На моих глазах... миной... на куски.

Я молчал. Молчал и Медведев. Каждый день, каждый час подстерегала нас смерть. Пора бы и привыкнуть. Но нет, к смерти, наверно, привыкают только мертвые.

К Юрке-музыканту подсел Курбатов, пожилой рябоватый солдат. Мы знали, у Курбатова где-то под Курском семья, четверо ребят.

— Одолжи карандаш, Юра. Давно домой не писал. Я быстро.

Юрка-музыкант посмотрел на Курбатова, неожиданно рассмеявшись, скомкал испсанные листки.

— А ну их! Что теперь для нас какие-то километры! Садись, дядя, пиши.

Нет, не суждено мне написать сегодня своим. Смирившись с этим, я последовал примеру Медведева — спать!..

Очнулся я оттого, что чей-то голос произнес громко, на весь подвал:

— Двое со мной! Быстро, мужики, быстро!

Я открыл глаза. На пороге стоял старшина Катков — в одной гимнастерке, долговязый, небритый.

Зашевелился взвод, послышались чьи-то неодобрительные голоса.

— Разуваев, Жерехов, за мной!

Дверь за старшиной была раскрыта настежь, и в подвал вместе со звуками близкой беспорядочной перестрелки влетали клочья тумана.

— А куда, товарищ старшина? — спросил Юрка-музыкант, поднимаясь и потягиваясь.— Если, конечно, это не секрет.

— За харчем. Меньше часа осталось до артобстрела. Потом не до этого будет.

— За харчем — это мы с превеликим удовольствием! — дурачился Юрка-музыкант.— И водочка будет, товарищ старшина?

— Водки не будет. Водка после боя.

Юрка-музыкант и Жерехов принесли два ведра густого горохового супа, заправленного свиной тушенкой, и термос с чаем. Мы поели, даже сполоснули свои котелки — за дверью, в траншее было по щиколотку воды. Конечно, о том, чтобы поспать, никто уже и не думал, хотя самое время для сна — четыре часа с небольшим.

— Юра, заводи свою шарманку!

Настроение у нас явно повышалось. Перед самым боем всегда так, я заметил. Чем ближе минута предстоящей атаки, тем азартней, лихорадочней поблескивали у солдат глаза, тем громче, грубей становилась речь.

Упрашивать Юрку-музыканта было не нужно, и в подвале запела губная гармошка. Ей вторили вначале негромко и не очень-то стройно:

Дует теплый ветер, замело дороги,  
А на Южном фронте оттепель опять...

А затем солдаты грянули с веселым озорством:

Давай закурим, товарищ, по одной,  
Давай закурим, товарищ мой!..

Время шло. Медленно, неторопливо, но шло. Стрелки часов приближались к пяти. Пришел командир взвода лейтенант Киселев, немолодой, слегка расплывший, в довоенном прошлом школьный учитель. Присел, окинул всех неторопливым взглядом:

— Волнуетесь?

— А что нам волноваться, товарищ лейтенант! — разудало откликнулся Юрка. — Это фриц пусть волнуется!

— Заткнись, музыкант, — оборвал его Курбатов. — Повеселишься, когда дойдем до Берлина. — И Киселеву: — Да, обидно будет, ежели вот здесь, в самом конце войны...

Дубовую дверь подвала вышибло мощной воздушной волной, и тотчас же — ослепительная вспышка взрыва. В крошечной тьме что-то рушилось, гремело. И чей-то голос:

— Товарищи, помогите!..

Это случилось минут за пять до начала артподготовки. Еще не перейдя в наступление, мы потеряли четверых. Двух спешно передали санитарам, двоих унесла смерть.

С тех пор прошло много лет. но когда я слышу или читаю — «Одер», то мгновенно возвращаюсь в сырой, слякотный апрель 1945 года. Разве забудешь тот предрассветный час, когда мы, едва оправившись от неожиданного взрыва, выскочили из того растреклятого подвала в траншею и здесь на хлопающих под ногами жидких настилах, под беспросветно-черным небом с затаенным дыханием стали ждать артподготовки. И она началась...

Перой сейчас, когда сгущаются тучи и сверкнет молния, мы невольно прикрываем уши руками. Тогда разверзлись тысячи молний, загрохотали тысячи громов. Качнулась под ногами земля. Пальба сосредоточенных на Одере орудий, минометов и «катюш» слилась в сплошной грохот, в сплошной гул. Говорить бесполезно. Не боясь запрета, мы курили, смотрели друг на друга и улыбались, довольные тем, что происходит.

Уже потом стало известно, что в этот предрассветный час 16 апреля по врагу было выпущено 7 миллионов снарядов, мин и ракет. Трудно представить, что там творилось, во вражеских траншеях!

Мы улыбались. Нет, не злорадствовали — торжествовали. Кажется, вся наша боль, вся наша злость обрушивалась на гитлеровцев вместе со смертоносным грузом. Скоро, совсем скоро всему этому будет конец!..

Через полчаса адского грохота небо пронзил луч прожекторной установки, вспыхнули тысячи разноцветных ракет. И тотчас же позиции гитлеровцев высветились десятками мощных прожекторов. Там продолжали рваться снаряды и, несмотря на то, что земля, казалось, насквозь пропитана влагой, поднимались густые клубы пыли.

Киселев взмахнул рукой:

— Пошли!

Мы перемахнули через бруствер нашей неглубокой траншеи и побежали. Было светло, как днем, однако мешала пыль. Но мы бежали, бежали до тех пор, пока кто-то не крикнул над моим ухом:

— Вот они!

Артобстрел еще не прекратился, и наше появление в немецких траншеях вызвало там переполох. Мы поливали гитлеровцев огнем из автоматов, били, били их прикладами, острыми, как нож, лопатками. И снова — вперед, вперед!

Мы прошли три или четыре траншеи, не теряя из виду ни Киселева, ни командира роты Горбунова — они все время были рядом с нами. Огненный артиллерийский вал медленно перекатывался на запад, и мы старались не отставать от него. Он наша поддержка, он наше спасение.

В те предрассветные минуты мы прошли километров шесть—восемь, потеряв лишь троих. Но вот и первое непреодолимое препятствие — канал. Неширокий вроде, а попробуй перемахни! Мы залегли, ожидая саперов.

Кругом по-прежнему раздавались взрывы, в серое небо взмывали ракеты. Кто-то вдруг крикнул:

— Ребята, мост!

Горбунов вскочил — лицо его было выпачкано землей, — взмахнул автоматом. И мы снова побежали вперед, не чувствуя ни усталости, ни того, что промокли до нитки. Мы даже не заметили, как ночь перешла в день. Вперед, вперед!

За каналом уже не было хляби. Земля хоть и разрыта, вздыблена взрывами, однако местами зеленела шелковистой озимью. Мы бежали по этой озими до тех пор, пока на нас не обрушился шквал огня. Залегли, стали лихорадочно быстро окапываться. Стало жарко — первый раз за те дни, что я был на Одере, небо очистилось от туч.

Перед нами горы, невысокие, но довольно крутые, с острыми пиками колоколен-кирх вдали. Зеловские высоты. Зелов.

Рядом со мной, метрах в пяти—семи, окапывался Курбатов. Я поприветствовал его. А он мне в ответ:

— Только бы не пошли в контратаку, паразиты!

Мы у немцев как на ладони, и они не жалели на нас ни пуль, ни снарядов, ни мин. Но мы держались. Мы не отстреливались — бесполезно, автоматными очередями их не достать.

И вот тут я с тоской вспомнил нашу снайперскую школу в Гороховецких лагерях под Горьким. Учили, учили меня сверхметкой стрельбе, а вот воспользоваться этим так и не довелось. Ни во время зимнего наступления в Польше, ни вот сейчас, за Одером. Что делать?

Тем, кто окончил школу раньше меня, повезло, быть может, больше. На стенде, что стоял на плацу для общих построений, нет-нет да и появлялись боевые листки с сообщениями о том, как воюют наши выпускники. Назывались имена, отмечались заслуги. У такого-то на счету уже столько-то уничтоженных немцев, а у такого-то чуть ли не вдвое больше. Такой-то отличился при форсировании Днепра, а такой-то — в рейде по тылам врага. Сообщалось также о полученных наградах, и мы, откровенно говоря, завидовали тем, кто их получил. Был у нас в роте курсант Ринат Ибрагимов, татарин. Крупный, на вид неповоротливый, неуклюжий, большой любитель поесть и поспать — спал он даже во время пятиминутных перекуров. А вот на фронте оказался совершенно иным — куда только девались его неуклюжесть и привычка поспать! За время боев на Березине в канун летнего наступления наших войск 1944 года, когда была полностью освобождена истерзанная врагом Белоруссия, снайпер Ибрагимов уничтожил 20 с лишним гитлеровцев, за что получил боевой орден. А вот мне не повезло. Как только попал в полк, здесь, за Одером, говорил и Киселеву и Горбунову, чтобы мне выдали снайперскую винтовку. Но они, словно сговорившись, в ответ: «Получай автомат, там разберемся».

...Мы зарывались в землю и с нетерпением ждали темноты, когда к нам наверняка подойдет подкрепление.

Над Зеловом появились наши самолеты, по склонам высот ударила артиллерия. Стало легче. И все же мы несли потери. Командиру роты Горбунову раздробило ноги. Киселев, Юрка-музыкант и Жерехов кое-как перетянули ему ноги бинтами-жгутами, и он лежал теперь, постанывая. Дотянет ли до вечера?

А сбоку слева шли в обход высот наши танки. Мы жадно смотрели на них — вот бы туда! Дали бы жару немцам!..

Кое-как скоротав ночь, снова пошли на высоты. И мы, и наши соседи, и даже артиллеристы. В тот день солнце снова скрылось за низкими и темными тучами, шел дождь, однако наши летчики ухитрились прорываться к Зелову и бомбили, бомбили его. Высоты окутаны клубами дыма и пыли.

Мы медленно, но упруго продвигались вперед. Немцы защищались остервенело. И все-таки мы продирались сквозь их огонь. От воронки к воронке, от едва заметного выступа к другому. Все ближе и ближе Зелов. Но и в этот день мы не взяли высот.

А наутро бой вспыхнул с новой силой. Отличились артиллеристы. Особенно Георгий Дюдюкин, старшина, командир противотанкового орудия. Удивительно удачливым был этот человек! Скуластый темноглазый чуваш пролежал вместе с дивизией от Волги до Одера, участвовал в десятках сражений, да еще и каких! И ни разу не был ранен. Вот и сейчас он выкатил свою пушчонку прямо в нашу цепь и бил, бил по немецким огненным точкам прямой наводкой. А потом на виду у всех его расчет поволок орудие еще выше. Как оно тогда держалось на такой крутой горе?..

Забегая вперед скажу: Дюдюкин стал Героем Советского Союза, отличившись в боях за Познань.

Рано утром ударили наши «катюши», загрохотала артиллерия из-за канала. И мы ворвались в траншеи гитлеровцев...

18 апреля Зеловские высоты были наши. Однако передышки не последовало. Наскоро перекусив и пополнив боеприпас, мы оставили аккуратный, чистый, правда несколько побитый нашей артиллерией и авиацией Зелов и пошли дальше. На Берлин! Передвигались на танках, почти не встречая сопротивления.

Но вот и еще какой-то населенный пункт — то ли большая деревня, то ли небольшой город. Мы с ходу ворвались на его окраины, завязалась ожесточенная перестрелка. Немцы сопротивлялись так яростно, что мы за полдня не продвинулись ни на метр. Мы видели, как в батальоне появился командир полка полковник Шулагин, слышали, как он отчитывал капитана Кобаева за нерасторопность, медлительность действий.

Но что поделаешь, если перед тобой танки, врытые в землю. И не один-два, а десятка полтора. Решили ждать темноты, чтобы скрытно подобраться к ним. Но неожиданно за позициями немцев загрохотали взрывы, застрочили пулеметы. Оказывается, то подошли батальоны соседней дивизии. Городок пал, и нам дали долгожданную передышку. Это было рядом с автострадой, кольцом охватывающей Берлин.

Дело шло к вечеру. Накрапывал дождь, мелкий, нудный. Мы облюбовали двухэтажный особняк в западной части городка, собравшись отдохнуть. Наш основательно поредевший взвод вольготно и спокойно расположился в нем.

Обедали сообща в просторной столовой на первом этаже, выливая и перекладывая содержимое котелков в полупрозрачные и звонкие фарфоровые тарелки. Выпили что положено. За тех, кого не было с нами, за близкую победу. И пошел разговор. Кто-то вспомнил, как ели конину в окружении в далеком 1941-м, кто-то заговорил о довоенном житье-бытье, о детях. Пошло-поехало...

Молчал лишь Киселев, сидевший, как и положено командиру, во главе стола. Вид у него был усталый, под глазами мешки. Нелегко ему дается война.

Юрка-музыкант вытащил свою гармошку, но приложить ее к губам не успел: в коридоре послышались чьи-то торопливые шаги. Мы настороженно повернули головы: неужели приказ выступать?

В дверях столовой появился Саша Дымшиц, наш батальонный писарь и переводчик. — Богунцы! — крикнул он, не переступая порога. — Кто хочет посмотреть, как наши боги будут бить по Берлину, — за мной!

— Так до Берлина километров двадцать, если не все тридцать! — зашумели мы.

— Ну и что? — скавал Дымшиц. — Артиллеристы сказали: достанем!

Загремели стулья, кто-то смахнул со стола тарелку, и она, не разбившись, позванивая, покатила по полу.

Идти далеко не пришлось. Домов через пять на краю сада стояло орудие. Возле него подполковник-артиллерист, солдаты, сержанты. Мы было двинулись туда, но, увидев группу офицеров, стоявших в сторонке, ступешались.

— Давайте, давайте, хлопцы! Смелей! — крикнул полковник Кутовой, начальник политотдела нашей дивизии. — Пока еще такого не было, чтобы вот так по Берлину! — рассмеялся он.

Рядом с ним командир нашего полка Шулагин, командир таращанцев — молодой, улыбчивый подполковник Колмогоров, еще кто-то.

Подходили солдаты и офицеры, все тесней охватывая полукольцом приготовленное к стрельбе орудие. На поблескивающих от смазки снарядах, чинным рядом стоявших на лафете, мелом выведено: «Привет от сталинградцев», «Гитлер, держись!», что-то еще. Кого-то поджидали. Подполковник-артиллерист поглядывал на часы.

Но вот наконец послышался гул моторов, и к орудию, круто притормаживая, подкатили два «виллиса». Из машин вышли несколько человек. Среди них наш комдив Баканов, подтянутый, статный. Всю войну прошел он с дивизией — от государственной границы до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина. Командовал нашим Богунским полком, был заместителем командира дивизии, а теперь вот комдив. Вместе с Бакановым из машины вышел немолодой военный с трубкой в руке. Никто не обратил тогда на него внимания. А жаль! Лишь потом мы узнали, что это был известный советский писатель. Его статьи мы регулярно читали в «Звездочке».

— Разрешите приступить, товарищ генерал? — спросил подполковник-артиллерист.

— Приступайте! — взмахнул Баканов рукой в перчатке.

Послышались четкие слова команд, засуетились солдаты.

— По логову врага Берлину — огонь! — взволнованно, гневно крикнул подполковник-артиллерист.

Раздался оглушительный выстрел. Мы были так возбуждены, так взвинчены, что не стовариваясь пальнули в небо из автоматов, крикнули «ура». Еще один выстрел, еще... Смеялись, радовались солдаты, смеялись, радовались офицеры, наш комдив и немолодой военный с трубкой. А команды все раздавались, и снаряды летели, летели в хмурое небо, чтобы разорваться там, в Берлине.

Не знаю почему, но мне в тот момент больше всех запомнился подполковник Колмогоров. Может быть, потому, что он был среди старших командиров самый молодой? Лет двадцать пять, не больше. а уже командир полка! Честно, я завидовал ему, его судьбе.

А через несколько дней мы хоронили гвардии подполковника Колмогорова в Берлине. И это же самое орудие стреляло над свеженасыпанным холмиком в районе Ангальтского вокзала.

День и ночь идут бои... Гудит, грохочет артиллерия, с остервенением отплеваются минометы, и справа, и слева, и откуда-то сверху звонко строчат автоматчики.

Город в огне. Тяжкий, смрадный дым витает над крышами, стелется по исковерканной земле, проникает в дома, в подвалы — в каждую щель. Дышать нечем. И все-таки мы дышим, чтобы бежать, падать среди завалов, подниматься и снова бежать — через дворы, вдоль и поперек улиц, — швырять лимонки в зияющие глазницы окон и врваться во все то, что зовется Берлином.

Шестые сутки наш гвардейский полк ведет уличные бои. Все далеко не так, чему нас учили в военной школе в лесах под древним Гороховцом: нет ни строгой линии фронта, ни тыла, ни рассчитанных до мелочей заданий. Ты на втором этаже — вот он, твой фронт, внизу твой тыл. Но так было пять—десять минут назад. Сейчас же все смешалось: под тобой почему-то оказались немцы, а на третьем клокочет пламя. Где фронт, где тыл с точки зрения БУПа — Боевого устава пехоты?..

В первые дни уличных боев мы еще как-то старались маскироваться, припадать к земле — рыли лопатками окопчики. Теперь не до лопаток, не до окопчиков. Вперед! Вперед!.. Однажды, правда, о лопатках вспомнили. Когда брали Темпельхофский аэродром. Мы на одной стороне взлетной площадки, немецкие танки, врытые в землю, — на другой. Танки стреляли болванками. Снаряды плюхались впереди и позади нашей цепи гулко, не взрываясь, словно и не снаряды это, а жирные осенние куропатки, падающие на стерню. Мы разрывали землю ножами, ладонями, ногтями — зачем побросали лопатки?..

Врываемся в пятиэтажный дом. Все идет как по маслу: швыряем — для профилактики — гранаты, прочесываем комнаты, занимаем один этаж, второй, третий. Половина дома наша, другая половина — немецкая. А дом разделен толстенной стеной, брандмауэром — только тогда я узнал, как это называется. Пытаемся выбраться на крышу, но верхний этаж обрушился, одни стены торчат. Не стены, а скалы — попробуй одолей! Бежим вниз. На втором этаже встречаем Медведева, у него фаустпатрон. Комвзвода-два младший лейтенант Сорокин, у которого на груди сверкает новенький орден Ленина — получил за бои в Лодзи, — кричит Медведеву:

— Бей по стенам!

Медведев становится в дверном проеме, поднимает фаустпатрон. Пламя. Грохот. И пыль. Ничего не видно. Пробираемся туда, где, по нашим расчетам, брешь. Но бреша нет — небольшая выемка. Видно, фаустпатрон годится для металла, для танковой брони, кирпич ему не по зубам.

Выскакиваем на улицу, кричим Сорокину:

— Что делать?

— Берем другой дом, вон тот, подальше!

— А этот?

— Потом разберемся! За мной!

И опять мы бежим, швыряем гранаты, перемахиваем через высокие подоконники. Нап-



ряжение достигает такого накала, что, как мы потом узнали, один из наших бойцов, Жерехов, широкоплечий, кряжистый сибиряк, влетев в какую-то квартиру и увидев в полумраке прихожей фигуру человека в немецкой плащ-палатке, не раздумывая вскинул автомат. А в ответ лишь звон разбитого стекла. Оказывается, стрелял он в зеркало, не узнав в нем самого себя.

Вперед, быстрее вперед!..

...Рота ведет бой в доме, что выходит на улицу, по которой наступали ночью. Падаю на кирпичи рядом с Медведевым. Немцев не видно, хотя пальба кругом страшная. Сквозь полуразрушенную стену виднеется изгородь из массивных остроконечных пик, а за изгородью серая глыба огромного здания.

— Что за дом? — спрашиваю у Медведева.

— Имперская канцелярия. Говорят, там сам Гитлер окопался. И Геббельс и Ева Браун.

— Брось врать...

— За что купил, за то и продаю.

В нашей кирпичной коробке мы застряли до самого вечера. Стал накрапывать дождь, посвежело. А мы в одних гимнастерках. Худо будет, если застрянем здесь под дождем.

Однако ночь нам суждено было провести в подвале этого дома. Мы забрались туда все, кроме троих, что оставались наверху в боевом охранении. Киселев пересчитал нас, загибая пальцы. Ровно двадцать, не считая Сорокина, прибежавшего к нам попрощаться, — его перевели командиром роты в другой батальон. Во время передышки на автостраде нас было сто четыре.

В подвале сыро, но тепло. Валяются какие-то ящики, стружка. Откуда-то появились свечи — натякали их по всем углам. Прямо против каменных ступеней обосновался телефонист — тот самый, с которым глотали пыль в Ангальтском вокзале. Узнал меня, крепко стиснул мою руку. Улыбается. А тогда злой был, как дьявол.

Появился Катков. Приволок два эмалированных ведра, прикрытых крышками, и мешок сухарей. В одном ведре разбавленный спирт по случаю Первомая, в другом мясной борщ и рисовая каша с изюмом, первое и второе навалом. Мы клянем старшину на чем свет стоит, а ему хоть бы что:

— Дак ведь две руки.

— Оставил бы спирт!

— Нельзя без спирту. Праздник.

Смеемся. Что с него возьмешь! Конечно, к ведру с борщом и кашей никто не притронулся, как, впрочем, и к ведру со спиртом.

В первом часу ночи, когда мы с Медведевым и еще одним бойцом продрогшие, вымокшие спустились из боевого охранения в подвал, зазуммерил телефон. Киселев взял трубку, отозвался. Отвечал он однообразно, скуп. Все мы смотрели на него — невысокого, в мешковатой гимнастерке из английского сукна, седого, усталого. Какую дадут команду? Неужели вылезать из этого подвала в дождь, в темь?

Киселев передал трубку телефонисту, сел на ящик, проговорил:

— Ровно в два артподготовка. Продлится до пяти. А в пять штурм имперской канцелярии. Отдыхайте.

Катков, собираясь вернуться на КП батальона, сказал:

— Может, письмо у кого есть?

Я вспомнил, что не писал домой целую неделю.

— Погоди, старшина.

Но не только я захотел написать письмо — все зашумели:

— Погоди! До артподготовки целый час!

Симонов дал мне листок бумаги и толстый коричневый карандаш. Я пристроился возле телефониста, написал, что жив-здоров, что все пока хорошо, что Берлину капут, что еще одна атака — и мы уже не будем считаться фронтовиками. Сложил листок в треугольник, написал адрес. Не знал я тогда, сколько треволений доставит это бесхитрое солдатское письмо моей матери и безнадежно больному отцу. Они получают его в день победы. Кругом будут смеяться, ликовать люди — победа, победа! А в письме — еще одна атака. Чем-то она закончится для меня, единственного сыночка?..

Первые разрывы снарядов раздались ровно в два. Все загудело, задрожало вокруг. Артиллеристы били по имперской канцелярии, по Тиргартену — он от нас в трехстах метрах, левой; нет-нет да и залетал снаряд-недоносок и в наш двор. С потолка сыпалась земля, дрожало пламя свечей, позвякивали крышки ведер, которые приволок сюда недотепа старшина. У меня и без того гудело в ушах, но тут стало просто немого. Мы сидели, лежали на стружках молча, не глядя друг на друга. Один Киселев был на ногах — прохаживался по подвалу. Туда-сюда, словно маятник. О чем он думал, этот добродушный, далеко не военный человек? О предстоящей атаке, из которой нам вряд ли удастся выкарабкаться живыми? О семье? О школе, где он преподавал русский язык и литературу?

Там, наверху, продолжала гудеть канонада. Скорей бы она кончилась! В пять часов уже будет светло, и мы еще поспорим с немцами, жить нам или умирать.



# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

М. КРУПНИКОВА

★

## ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСКИ

Автор предлагаемых записок — латышская писательница М. Крупникова. Во время Великой Отечественной войны она в звании гвардии старшего лейтенанта работала инструктором-литератором по работе среди войск противника, ответственным секретарем дивизионной газеты. «Фронтовые записки» — страницы из ее военных дневников.

Джованни

Среди ночи, продрогшая, я добралась до населенного пункта, где двое суток назад стояли итальянские части. В пустой хате я залезла на холодную печь и задремала. Рано утром меня разбудил шофер полковника Иван.

— Полковник вас требует, итальянца в плен взяли.

Полковник сидел за столом в уже протопленной хате. Как всегда, он был подтянут, свежавыбрит.

— Вот, — сказал он и протянул мне солдатскую книжку.

«Джованни Сэвэро, рядовой, 23 года, родом из-под Триеста» — прочитала я.

Ввели пленного. Высокий, широкий в кости молодой мужчина, русоволосый и голубоглазый. Строго по-военному приветствует, стоит навытяжку.

— Спросите-ка у этого Джованни, как он попал в плен.

— Я не Джованни, а Иван, — сказал пленный по-русски с незнакомым акцентом. — Иван Север, словен. Я прятался в сарае, чтобы к вам перейти. Долго ждал. Уснул.

На вопросы полковника о численности солдат в его части, о количестве и роде вооружений — словом, обо всем, имевшем военное значение, пленный отвечал толково, спокойно, а мне не терпелось приступить к своим вопросам инструктора-литератора. Вошел Иван и поставил на стол два стакана горячего чая, хлеб, масло... Пленный бросил на еду быстрый взгляд и тут же отвел глаза.

— Как долго вы просидели в сарае? — спросил полковник.

— Два с половиной дня и две ночи. Я пришел к вам, чтобы сразиться против нацистов, — сказал он.

— Иван, — обратился полковник к своему шоферу, — распорядись, чтобы твоего тезку накормили... Пусть умоется, побреется, отдохнет... Потом поговорим.

— Пошли, браток. — Иван хлопнул Ивана по плечу.

— Спасибо, товарищ полковник, — сказал Иван Север.

— Э-э, да... Профессия у вас довоенная какая?

— Часовщик.

— Ну идите, идите...

Оба Ивана вышли.

— Жаль, что не наборщик, — сказал полковник. Поглядел на меня и засмеялся. — Листовку помните?

Где-то полковник разжился набором латинского шрифта и был одержим желанием раздобыть печатную машину и выпускать обращения к солдатам вражеских армий. Случай представился недавно в очищенном от врага районном центре.

— Отпечатаем воззвание к итальянским солдатам в районной типографии, — решил полковник.

Заведующий типографией сказал:

- Электростанция еще не дает тока.
- Работайте вручную. Пришлю бойцов в помощь.
- Наборщица не знает латинского шрифта.
- Старший лейтенант научит.

Полковник ушел.

Я разместила литеры по гнездам наборного ящика. Текст диктовала, называя русские буквы, чтобы наборщица знала, из какой ячейки вынимать незнакомые ей литеры.

Наконец листовка набрана, исправлена, и я в сопровождении заведующего типографией понесла пробный оттиск полковнику.

— Не годится,— заявил он, — не внушительно: шрифт текста почти не отличается от заголовков. Перебрать!

— Помилуйте!— взмолился заведующий.— Двенадцатый час ночи! Я наборщицу отпустил.

— Верните.

— На три часа работы. Не успеем к утру отпечатать,—попробовала возразить и я.

— Приказы не обсуждаются.—Начальник посмотрел на часы.—Даю час времени. Все.

— Есть выполнять.—И я взяла со стола оттиск.

— Переберем только заголовки, да покрупнее, — утешала я на обратном пути заведующего.

— Заметит.

— Авань..

Заголовки мы вдвоем с заведующим типографией перебрали вразбивку минут за десять.

Ровно через час перед начальником лежал новый оттиск.

— Совсем другое дело! Разве не лучше?—Полковник пристально глядел мне в глаза. Но я взгляда не отвела.

— Конечно, лучше, товарищ полковник.

— А вы говорили: три часа! Ступайте печатайте. В пять ноль-ноль тираж должен быть готов.

Вот об этой-то листовке и вспомнили мы с полковником — каждый по-своему.

## Ян

К тыловому подразделению, где Ян служил шофером, передовая приблизилась при одном из стремительных наступлений советских войск.

Грузовик, на котором Ян развозил продукты по тыловым подразделениям, застрял в кювете, и Ян, подняв капот, копался в моторе. «Барахлит», или «колесо спустило», или «бензин кончился» отвечал он тем, кто, уходя, зарился на его машину.

Как только Ян остыл на шоссе один, его мотор перестал барахлить. Ян вырулил из кювета, развернул машину с запада на восток и под красным флагом въехал в расположение советской воинской части. К исправной, заправленной бензином машине с продуктами он приложил рапорт с требованием зачислить его в чешскую воинскую часть, которая действовала в составе советских войск.

Ян — чех. Ему лет тридцать пять, и был он в расцвете зрелой мужской красоты: жгучий бронет, под густыми бровями яростно сверкали черные глаза. Фашистов ненавидел люто, военнопленным себя не признавал. «А кто меня в плен брал?»

Рапорты Яна передавались наверх, но вопрос о зачислении его в чешскую часть пока не решался. Яна передали в распоряжение полковника, который разжился наконец печатной машиной — «американкой». Для ее обслуживания необходима была рабочая сила. И Ян оказался как нельзя кстати: крепкий, умелый, к тому же первоклассный водитель. Под «американку» полковник выпросил трофейный грузовик, Ян с Иваном-Джованни перебрали мотор, пристроили к кузову крышу, ступеньки, приладили скамьи, поставили печурку.

С Иваном Ян сдружился быстро. При резкой разнице темпераментов и характеров их объединяло и активное трудолюбие и горячее стремление бороться против фашизма. Оба были из породы «мастера — золотые руки» и не умели сидеть без дела.

Наборщица среди пленных найти не удалось. Пришлось полковнику скрепя сердце передать латинский шрифт в типографию фронтовой газеты, и листовки по-прежнему набирались там. Но печатали мы их сами.

Случилось так, что на какое-то довольно продолжительное время наш отдел расположился километрах в восьми от типографии.

— Одному из инструкторов надо будет остаться возле типографии. Ну, хотя бы вам, старший лейтенант,— распорядился полковник.— Нажимайте на типографщиков, чтобы не задерживали набор. При вас останутся Иван и Ян.

Я поселилась в чистой светлой хате. Хозяйка — колхозный бригадир, женщина при ветливая, спокойная и работящая,— на ночь ложилась на печи, а мы с молоденькой ее дочкой Галинкой спали на широченной кровати со множеством пышных подушек и подушечек. Иван с Яном ночевали в небольшой пристройке. С утра хозяйки уходили на работу, а я садилась за стол: составляла тексты листовок, разбирала и переводила неприятельские письма и документы, писала обзоры и отчеты, правила оттиски гранок; или ходила в типографию ругаться с наборщиками. Иван и Ян курсировали между типографией и отделом, носили гранки, печатали, таскали отдела тиражи листовок, почту, продовольственные пайки. Свободное время использовали по-разному: Иван в своей каморке возился, оживляя старые часы, будильники, швейные машинки. Слава о нем уже шла по окрестным селениям. Ян слесарил и плотничал, предпочитая выполнять заказы на дому у хозяев.

Я не спрашивала, как расплачивались заказчики с Яном. Знала лишь, что Иван платы не требовал. Кому за спасибо старался, у кого брал что принесет: яички, шматок сала... Вечером, когда мы с хозяйками садились ужинать — я, конечно, свой паек вносила,— Иван щедро делился с нами этими дарами. Но сесть с нами за стол отказывался.

— Негоже,— твердил он, улыбаясь застенчивой белозубой улыбкой.

Иногда Ивану казалось, что я занята какой-то сугубо секретной работой, и он сам себя назначал в караул: занимал пост у крыльца. Его винтовка не была заряжена, но ведь об этом никто не знал.

Однажды начштаба фронта остановил машину возле хаты и поинтересовался:

— Что за объект? Кого охраняете?

— Гвардии старшую лейтенантшу, товарищ генерал.

— Кого-о? А сам-то ты кто такой?

— Гвардии военнопленный Иван Север, товарищ генерал.

Ни удивиться, ни рассердиться генерал не успел.

Кличка «гвардии военнопленный» так к нему и прилипла.

### Янек

Он не скрывал радости, оказавшись в плену.

— Напишите мне, прошу пане, удостоверение, что я не взятый в плен, а сам пришел. А в немецкую армию — мобилизованный.

— Зачем это вам? Думаете, что в лагере для военнопленных вам льготы будут?

— Так! Но не то есть главное...

Главной была мысль о будущем: русские победят, освободят Польшу, Янек вернется домой, в Варшаву. Скажут ему: «Ты с немцами против русских воевал». А он удостоверение покажет. Совсем другое будет к нему уважение послевоенных властей. Вся жизнь у Янека еще впереди, ему всего двадцать четыре года. Как знать, быть может, после войны осуществится его великая мечта.

— О чем же вы мечтаете, Янек?

По профессии Янек официант. Не где-нибудь он работал — в одном из первоклассных ресторанов Варшавы. Будет доверие к Янеку, который не захотел воевать против русских,—то как знать! Может быть, станет Янек хозяином собственного ресторана.

— Вот придет после войны пани до нас в Варшаву — уж так обслужу, так обслужу!

Янек был высок ростом, узок в плечах, худощав. Его светлые глаза под бесцветными бровями глядели доверчиво и радостно; Янек был доволен: он в плену, его жизнь спасена, его будущее в надежных руках Советской Армии.

Полковник включил Янека в состав команды и отдал его под начало Ивана Севера. А я, задумавшись над мечтою Янека, до вечера просидела над листом бумаги. И предложила полковнику проект новой листовки:

«...Кто займет почетное положение в государственной и хозяйственной жизни новой Германии?

Тот, к кому народ будет питать доверие и благодарность за избавление от произвола кровавой военщины...

Как может военнослужащий гитлеровской армии заслужить доверие и благодарность соотечественников и содействовать скорейшему окончанию войны?..

Простейший и вернейший способ—это добровольная сдача в плен...»

### Жан

Немецкий солдат переплыл неширокую речку, на пологом берегу которой стояли наши части, на крутом — немцы. Еще из воды солдат заорал: «Гитлер капут!» Все остальное, что он произнес, выйдя на берег, звучало бы (переведенное на русский язык и подвергнутое некоторой литературной правке) примерно так: хватит с меня этого дерьма, пусть драпают без меня, покуда в штаны не наложат, ну их к... За бравадой крылся страх: вдруг да права немецкая пропаганда и русские пленных расстреливают.

Его не расстреляли. Его накормили, переодели в шинель. Он, помогая себе жестами, сообщил, что на той стороне на ничейной полосе, под забором крутого берега сидит Жан, который-де тоже хочет в плен, да плавать не умеет. Два наших бойца вызвались доставить этого Жана, поплыли под прикрытием нашего огонька.

Жан прибыл к нам дрожащий, в чем мать родила. Жан не кричал «Гитлер капут!», не произносил неприличных слов. Он вежливо говорил «мерси» и «данке шён», благовоспитанно шаркал ножкой, аккуратно застегнул все пуговицы на бывшей в употреблении гимнастерке, старательно, как прилежный ученик в школе, ответил на все мои вопросы. О нет, он не немец! Он люксембуржец, он одинаково хорошо говорит и по-немецки, и по-французски. Да, итальянский язык он тоже знает. Он единственный сын своего папы—коммерсанта. Ему восемнадцать лет. Он учился в коллеже. Три недели назад его мобилизовали в гитлеровскую армию и сразу направили на Восточный фронт. Он с первого дня стремился сдаться в плен, наконец ему это удалось.

— Благодаря таким храбрым русским юношам...

— Почему решили сдаться в плен?

— Видите ли, мы дома слушаем радиопередачи из Лондона. Да, разумеется, это запрещено немцами. Но по радио из Лондона выступает герцогиня Люксембургская! Мой папа говорит, что мы обязаны выполнять ее распоряжения, а не приказы немцев. Герцогиня призывает всех люксембуржцев, которых немцы мобилизуют в свою армию, переходить на сторону союзников. А ведь русские — союзники англичан... Сражаться на стороне союзников значит бороться за освобождение Люксембурга. Так объясняет герцогиня. И мой папа с ней согласен...

### Иоганн

— Разведотдел передает нам еще одного перебежчика,— сказал полковник.— Это немец, в армии с полгода по тотальной мобилизации. Служил писарем в тыловой санчасти. Привел в плен группу в шесть человек. Немного знает русский язык. Говорит, что был членом германской компартии.

— Мало ли что они говорят,— пренебрежительно бросил капитан, старший инструктор отдела, на гражданке агроном подмосковного совхоза, человек категоричных суждений, полный недоверия ко всему немецкому.— У них как «Гитлер капут!», так либо папаша социал-демократ, либо зять мужа двоюродной сестры сидит в концлагере... А один так и вовсе пострадал от нацистов: гитлерюгенды окна в его лавчонке камнями разбили...

— Разберемся,— сказал полковник.

— Он из рабочих?

— Музыкант. Играл в духовом оркестре в какой-то рабочей кнейпе... Столовка это, что ли?

— Вот так коммунист!— расхохотался капитан.— Дударь из забегаловки.

Я возразила:

— Кнейпе — нечто вроде пивной или кафе при рабочем клубе. Таких оркестров в Германии много. А то, что музыкант — коммунист, ничего удивительного, ведь компартия в Германии была легальной...

Восемь месяцев службы в действующей армии не придали Иоганну военной выправки. Небольшого роста, коренастый, с заметно поредевшими волосами и кругленьким «пивным» брюшком, он казался старше своих сорока шести лет и вид имел весьма гражданский. Он куда больше знал о быте военного Берлина, о настроениях в тылу, о письмах, получаемых солдатами из Германии, чем о расположении и вооружении воинских частей, и беседа наша велась на темы сугубо гражданские.

— Вам трудно меня понять, конечно! До вас меня допросил другой офицер. Он не поверил, что я состоял в компартии. А вы? Верите?

— Да,— сказала я,— да, я верю, что вы были коммунистом.

— Что я был? А теперь считать себя коммунистом? Партия ведь не исчезла в Германии. Она существует, живет. Я никогда не занимал в партии никаких постов, был рядовым членом. Посещал собрания, платил членские взносы. Ну, еще русским языком в кружке занимался... Перебивались мы кое-как с женой эти годы. И вдруг — мобилизация. Что делать? Можно было укрыться в деревне у родственников. Ну хорошо: спас бы я шкуру. А потом? Кому потом эта трусливая шкура понадобится? У партии, думал я, наверно, имеется установка в вопросе о мобилизации в армию. Но мне не с кем было посоветоваться... Я надел эту форму—пусть хоть семье будет легче. А себе дал клятву — оружие против братьев по классу не поднимать. Никогда ни при каких обстоятельствах... Я выполнил клятву. Вы мне верите?

— Я верю вам.

— В плен я мог бы сдать раньше, была такая возможность. Значит, спрятаться за ваши спины и в полной безопасности ждать, пока русские освободят мой народ? Я по-другому хотел, я думал—фронт, общая опасность как-то сближает людей. Я надеялся: может быть, налажу какие-то связи. Но, оказывается, человек может преломить с тобой кусок хлеба, может делиться подробностями интимной жизни. Но пугливо умолкает, как только касаться хоть намеком того, что называется политика. Ничего я не добился, ничего не сделал...

— Вы привели с собой шесть человек.

— Ах, это не то! Они не перешли сознательно на вашу сторону. Они просто сдались в плен потому, что перестали верить в победу германского оружия. В тыловой части они бы отсиделись до конца, но нашу роту тотальников перебросили на передовую. Вот они и согласились спасти свои жизни. А я... Нам оружие выдали... Передовая... А оружие на передовой — оно не может не стрелять. Стрелять по вашим? Нет! Поэтому...

### Команда

Джованни, Ян, Янек и Жан встретили Иоганна настороженно: немец! Однако очень скоро они признали его не только своим, но и главой всей команды — команды пяти Иванов, как они сами себя прозвали.

— Он старше их всех,— пояснил авторитет Иоганна капитан.

Дело было все же не только в возрасте: из всех пятерых только Иоганн был коммунистом. Ему безоговорочно доверяли, в политических спорах его слово было решающим.

Пять Иванов жили дружно, работали слаженно. Питались с разрешения полковника сообща. Готовили по очереди. Джованни и Ян вносили в общий котел свои «зарботки». Между собой, с нами и с местным населением они говорили (не желая пользоваться немецким языком) на чудовищной, хотя и вполне удобопонятной смеси русских, польских, чешских, словенских и украинских слов. Этому «русскому» языку они старательно учили Жана.

### Ганс

Ганс в плен сдаваться не помышлял, но и сопротивления, когда его брали, не оказал: послушно поднял руки, послушно отвечал на вопросы в разведотделе.

Полковника прельстила его грамотность — он был бухгалтером по профессии — и интеллигентская внешность: благопристойные манеры, очки в золотой оправе, непривычные к физическому труду, ухоженные руки. Даже в мятом военном обмундировании он держал себя так, чтобы ясно было: ему привычнее наглаженная сорочка три галстук и тщательно выглаженные брюки.

Полковник поручил было Гансу правку немецких текстов и корректуру листовок. Ганс выполнял работу послушно, показной старательностью прикрывая ее нарочитую медлительность. С инструкторами Ганс был неизменно сдержан и надменно вежлив. А в команде...

На четвертый день пребывания в ее составе он обратился к капитану за разрешением питаться и ночевать отдельно.

— Почему?

— Без всякого воспитания... Чех, поляк... недочеловеки.

— Как хотите,— сухо ответил капитан. И предложил полковнику отправить Ганса в лагерь для военнопленных:— Толку от него никакого. Стилистические правки, если он их и делает, искажают смысл листовок. Думает — мы идиоты, не пойдем...

— Обождем. Быть может, Иоганн его обломает.

Но и на Иоганна Ганс смотрел высокомерно, даже презрительно. И Иоганн перестал обращать на него внимание.

Так и существовал Ганс вне команды: в одиночестве варил на спиртовке пустую пшенку, в одиночестве пил пустой кипяток. А неподалеку от него дружной компанией с аппетитом поедали кашу с приварком пять Иванов, и чех Ян свирепо и насмешливо сверкал на Ганса черными глазами.

— Что происходит с Гансом?— спросила я у Иоганна.

— Так ведь он наци, он всех презирает. А они его ненавидят. Вечерами нарочно переходили на немецкий язык и рассказывали друг другу о всех зверствах, что гитлеровцы творили в Польше, Чехословакии и здесь у вас. Рассказывали и грозили отомстить...

— А вы как же, Иоганн? Ведь и вы немец.

— Мне все это слушать... больно... стыдно за свой народ. Но ведь я коммунист.

### Пожар

Ранним утром занялась пленница возле жилого дома. Пламя гудело среди сухих поленьев, с треском рассыпало искры, грозя перекинуться на жильё.

На крики женщин первым выбежал Джованни, за ним с ведрами и баграми остальные Иваны. Споро взметались в их руках багры, растаскивая горящие полешки. От колодца живой цепью выстроились женщины из соседних хат, дружно плыли по цепи ведра, вода обрушивалась на пламя, оно поддавалось нехотя, исходя черным дымом, то и дело высовывая из-под него новые жадные языки. Их затапывали, заливали, сбивали, и они глохли со злобным шипением.

Только один человек не принимал участия в борьбе с огнем—Ганс. Он сидел на безопасном расстоянии равнодушный и безучастный. За бесстрастными стеклами его очков мне чудилось затаенное злорадование.

— Вас пожар не касается, Ганс?— спросила я.— Ведь может заняться и тот дом, в котором живете вы.

Ганс встал.

— Вы приказываете мне принять участие в тушении пожара?

— Нет, не приказываю. И даже не прошу,— отрезала я. И включилась в живую женскую цепь.

Когда огонь был укрощен, Ян, черный от копоти, спросил меня:

— Что мне будет, если я этого гада придушу?

Я растерялась.

— Наверно, будете отвечать перед трибуналом за убийство,—неуверенно ответила я,— за нарушение конвенции о военнопленных.

— А они? Что они с военнопленными делают?

— Они ответят. За все. В свое время... А мы с них пример брать не можем.

— Тогда... тогда доложите полковнику: пусть гада убирает. Пусть меня шлет воевать. А не то я за себя не ручаюсь.

Ян подал очередной рапорт, еще более требовательный, чем все прежние. В тот же вечер полковник распорядился отправить Ганса в лагерь для военнопленных—от греха подальше.

### Эпилог

Команда распалась...

Ян, Янек и Джованни стали воинами национальных подразделений, действовавших в составе Советской Армии. Иоганна и Жана направили в специальный лагерь для пленных-антифашистов.

— Вы там принесете больше пользы,— сказал полковник на прощанье Иоганну.— Там нужны коммунисты.

А я попросила:

— Присмотрите, за Жаном. Коммунистом он, конечно, не станет. Но сознательного антифашиста из него, пожалуй, можно воспитать.

Команда распалась.... А быть может, разрослась?





---

---

# В МИРЕ НАУКИ

АНДРЕЙ НИКИТИН



## ВОСХОЖДЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ\*

**В**первые имя Арсения Владимировича Шнитникова я услышал на совещании очеркистов в Петрозаводске, куда попал почти случайно, воспользовавшись приглашением журнала «Север». Не в том дело, что А. В. Шнитников являлся доктором географических наук, профессором, почетным членом Географического общества СССР; не в том даже дело, что он работал над теми же проблемами, над которыми я ломал в одиночестве голову то на берегах Плещеева озера, то на Кольском полуострове. Много лет назад Шнитников выступил с гипотезой, которая прошла проверку временем, породила множество исследований и стала теорией, с которой, на мой взгляд, должен хотя бы в самых общих чертах быть знаком каждый современник.

Это учение об основном, или ведущем, ритме биосферы.

Но начну по порядку. В Петрозаводске собрались очеркисты, пишущие о Севере. Это был разговор о хозяйстве Севера, нуждах Севера, экономике Севера, проблемах Севера, людях Севера; о сегодняшнем и завтрашнем его дне; о его истории, его перспективах, их плюсах и минусах. Выступали очеркисты, инженеры, экономисты и ученые. В последний день разговор зашел о проекте переброски вод северных рек в Волгу и Каспий. Теперь этот проект, кажется, окончательно отвергнут, но тогда вызывал серьезное беспокойство.

Проект был не нов. В его основе лежало соображение, подсказанное, так сказать, «здравым смыслом»: на Севере воды много, а на юге мало; следовательно, северные воды надо повернуть на юг: природа глупая, она все делает без расчета, а мы умные, ее поправим. Варианты предлагались разные: повернуть Печору в Каму, направить на юг воды Северной Двины. От них отказались. Печорский вариант оказался слишком дорогостоящим, к тому же на Печоре осталось последнее большое «стадо» семги, а Двина к тому времени была уже не столь многоводна, как раньше. Поэтому возник другой проект: перебрасывать в Волгу воды из верховьев реки Онеги, из Онежского озера и частично из Ладожского. По расчетам выходило, что уровень озер понизится всего лишь на полтора-два, максимум на три метра. На первый взгляд не так уж много. Но вот что разъяснили специалисты-озероведы.

Почти все нерестилища пресноводных рыб находятся в прибрежной зоне глубиной до полутора метров. Даже если уровень озер понизится только на полметра, нерестилища погибнут, а вместе с ними начнут быстро сокращаться рыбные запасы. Сократится общее зеркало озер. Обсохнут и исчезнут основные рыбы пастбища. Но главная опасность не в этом. Понижение уровня основных водоемов на два метра вызовет падение уровня грунтовых вод на метр. Северные леса состоят из влаголюбивых пород, и падение уровня грунтовых вод на обширной территории Севера приведет к гибели лесов и возникновению на всей этой площади болотистых тундр. Исчезнет естественный заслон от полярных ветров, холодов, туманов, и массы арктического холодного воздуха беспрепятственно будут вторгаться на юг, подготавливая наступление нового ледникового периода.

Но и эта опасность всего лишь следствие возможного поступка человека. Настоящая опасность заключается в том, что своими действиями человек нарушит установившееся за миллионы лет «дыхание» природы. Переброшенные на юг воды не помогут и не могут помочь мелеющему Каспию. Каспий вовсе не гибнет. Как всякий внутренний водоем, он живет в ритме многовековых пульсаций. Об этом свидетельствуют развалины городов, которые открывает сейчас нам его отступление от берега, остатки древних могильников, найден-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

ные археологами на обнажающемся дне. Жизнь биологических организмов заключается в обмене веществ; жизнь водоемов проявляется в их ритмической пульсации. Одной из самых главных частей биосферы Земли является ее гидросфера, которой управляют самые разнообразные ритмы. Миллионы лет отлаживался этот сложнейший механизм, создавая свое, динамическое равновесие, где учтена каждая капля влаги, где бы она ни находилась: в атмосфере, в Мировом океане, в реках и озерах, в торфяной губке болот, в капиллярах растений или в толще земли.

Сейчас северное полушарие нашей планеты миновало фазу обильной увлажненности, продолжавшуюся несколько сот лет. Теперь мы уже более столетия втягиваемся в фазу иссушения. Продолжительность ее более тысячи лет, а мы находимся в самом ее начале. Вот почему всякое нарушение сложившегося равновесия, ускорение этого процесса для наших внутренних пресноводных водоемов может в течение одного-двух десятков лет обернуться катастрофой. А гибель пресноводных водоемов — гибель всего живого, в том числе и нас самих...

В рассказе несколько раз упоминалось имя А. В. Шнитникова.

Вряд ли, кроме меня, в зале был еще один человек, который слушал все это с таким напряженным вниманием. Для всех была важна суть проекта и возможная опасность его воплощения; для меня откровением прозвучала механика биосферы и ее зависимость от циркуляции и ритмов гидросферы. Все то, что в предшествующие годы собиралось, складывалось и постигалось, представало теперь полным смыслом и значения. Получали объяснение регрессивные уровни переславских торфяников, голоценовые террасы Плещеева озера, наблюдения Павла Алеппского, данные писцовых книг, затопленные кварталы античных городов и морские террасы на Кольском полуострове, на которых лежали остатки древних поселений. Интуитивно я чувствовал, что весь этот мир, такой неподвижный, основательный, вечный, на самом деле колышется, пульсирует, дышит, и вот этот его пульс и есть то главное, что мы должны услышать и понять.

Мысль эта была растущим предчувствием, что в своих исследованиях человек наконец-то приближается к осознанию гармоничности мира, который можно сравнить с огромным слаженным оркестром, где из партий отдельных инструментов, часто малопонятных, не всегда, может быть, благозвучных для нашего уха, рождается чистое, наполненное страстью и мыслью произведение...

Из Петрозаводска я ехал в Ленинград к Шнитникову, сожалел, что не взял с собой ни графиков, ни чертежей, ни фотографий, ни хотя бы оттисков научных статей, в которых нащупывал подход к тому, что — оказывается! — было уже давно открыто и даже применялось на практике.

Знание прошлого позволяло предугадать будущее, при этом не отдаленное, а достаточно близкое, охватимое протяженностью человеческой жизни. Как мне рассказали в Петрозаводске, прогнозы А. В. Шнитникова с успехом применялись в Средней Азии, которой он в последнее время занимался особенно пристально, — при проектировании новых водохранилищ и гидроэлектростанций, создании новых оросительных систем, оценке поведения ледников и многого другого, без чего нельзя было планировать завтрашний день.

Знакомство с А. В. Шнитниковым я рассматриваю как нечаянный подарок судьбы. Обаятельный седой человек с юношескими лучающимися карими глазами, загоравшимися всякий раз, когда что-то в рассказе трогало его сердце — а его трогало и интересовало все, — оказался еще и чрезвычайно деликатным собеседником. Огромная эрудиция, хранящая в памяти множество фактов, наблюдений, гипотез современных и прежних исследователей, приоткрывалась перед собеседником ровно настолько, чтобы подтолкнуть мысль, подсказать возможное решение проблемы, но ни в коем случае не дать почувствовать даже малейшее превосходство. Излагая свою точку зрения, он каждый раз как бы внутренне извинялся, встречая непонимание или несогласие собеседника. Во всем этом и заключалась та высокая внутренняя культура истинного ученого, которую не так уж часто находишь в наше время.

Шнитников был именно ученым, причем, на мой взгляд, ученым в самом высоком значении этого слова, с большой буквы.

География долгое время считалась наукой описательной в соответствии с переводом термина. Она возникла из периплов древних мореходов, предвосхищавших современные лодки, из исторических сочинений древних греков, посвященных описанию обычаев, нравов, образа жизни и быта различных народов, из «путеводителей» по различным областям древнего мира с подробными описаниями наиболее примечательных объектов, классическим примером которых служит «Описание Эллады» Павсания. География в средние века развивалась на основе отчетов о путешествиях, описаний открываемых земель и народов, но здесь уже примешивалась к ней доля математики и астрономии; жизнь требовала не только сло-

весных описаний, но точных расстояний и обобщенного представления о Земле в целом. Так появились картография, геодезия.

Вместе с развитием науки множились и ветвились области географических знаний, переплетаясь с физикой, химией, биологией, создавая новые направления наук, все чаще влиявшая в экономику и планирование народного хозяйства. Открытие и описание поверхности земного шара явилось лишь прелюдией к познанию законов, управляющих биосферой, к сохранению и использованию природной среды, планированию хозяйства и составлению достаточно точных и обоснованных прогнозов. Развитие экономики и сама научно-техническая революция, совершающаяся на глазах, требуют от каждого ученого, от любой отрасли науки, условно говоря, «выхода»: умения увидеть за общетеоретическими вопросами возможность практического применения знаний. От ученых ждали действий быстрых, решительных, способных в течение пяти лет перестроить существующую картину, напоить влагой пустыни, поднять плодородные почвы, создать рукотворные моря на месте лугов и полей...

Но будущее постигается не на срезе сегодняшнего дня. Понять, предугадать и объяснить его можно, только помня о прошлом и зная его. Если человек смутно представляет своих родителей, не знает, какими были его деды и прадеды, для него будет загадкой его собственный ребенок. В самом деле, какие черты характера он может унаследовать? Какие таланты в нем проявятся? Какие наследственные болезни наложили свой отпечаток на его генетический код?

То же самое относится и к будущему природы.

А. В. Шнитников начинал не с прошлого, к прошлому он пришел, исследуя актуальные проблемы водных ресурсов Средней Азии, Западной Сибири и Северного Казахстана. В руках его, кроме собственных наблюдений, был огромный материал предшественников, копившийся два с половиной столетия, — отчеты, записки, рисунки, карты. Сравнивая их, исследователь часто становился в тупик: на старых картах, на тех местах, где теперь расстилалась степь, были показаны несуществующие реки, огромные озера, обширные болота с протоками. Небрежности быть не могло. Ошибка? Но каждый раз, когда ученый мог выехать на такое место, он действительно обнаруживал следы ранее существовавшего здесь озера, остатки речных русел, глинистые такыры на месте бывших болот.

И тогда он заметил, что при последовательных съемках карт можно видеть, как уменьшались теперь не существующие водоемы. На память пришли и другие факты: пересохшее русло Узоя, по которому в средние века плавали суда из Амударьи в Каспийское море, непонятное «мерцание» Аральского моря на древних картах и в описаниях путешественников, исчезновение Балхаша, постепенное отступление Каспия от Гурьева, построенного на его берегу, а теперь стоящего чуть ли не на семьдесят километров вверх по Уралу. Известный писатель и администратор XVIII века П. И. Рычков, оставивший описание Оренбургского края, умер в уверенности, что на горах Южного Урала лежат вечные снега, не стаивающие во время лета. Теперь они стаивают. Но ведь и переход А. В. Суворова через Сен-Готардский перевал в Альпах был предельно труден, потребовал много человеческих жертв, тогда как теперь там снега и в помине нет. И так было не раз: подобные трудности при переходе через Альпы испытал Ганнибал в октябре 218 года, а два столетия спустя через эти перевалы уже вели прекрасные римские дороги...

Горные оледенения оказывались тоже непостоянными. Ледники то опускались в долины, погребая подо льдом и снегом перевалы, поля, разрушая деревни, то отступали вверх, освобождая занятую территорию и оставляя конечные морены. Гляциологи уже давно обратили на них внимание и сосчитали: их оказалось 8 — одинаково в Альпах, на Кавказе, Памире, Алтае, Тянь-Шане, в Кордильерах и Гималаях.

Начался долгий сбор материала. Гипотезы не было. Было предположение, что на биосферу Земли влияют какие-то неизвестные силы, проявляющиеся периодически. Подобно тому как я по крупнякам собирал и пытался понять факты, касавшиеся окрестностей Плейшцева озера, А. В. Шнитников собирал сведения, относящиеся ко всему земному шару, свидетельствующие о «нестабильности» окружающей нас среды. От фактов требовалась достоверность и по возможности точная дата событий.

Все оказывалось важным: свидетельства средневековых хроник о проходимости горных перевалов, наступлениях ледников, появлении льдов в Северной Атлантике, периодичности землетрясений, об урожайных и засушливых годах, лесных пожарах, эпидемиях. Ученый сверялся с очертаниями берегов на средневековых картах, выписывая древних авторов сведения о колебаниях береговой линии, хрестоматийный пример — храм Сераписа возле итальянского местечка Пондуоля, когда-то римского курорта Байи. Построенный во II веке до нашей эры, храм стоял на шесть метров выше уровня моря. К X веку нашей эры он был

до половины погружен в воду, а в XVI оказался поднят над водой на семь метров! Теперь его колонны снова стоят в воде... Фактов оказалось много. На свое место легли легенды о «великих потопах», записанные почти у всех народов, наблюдения над свайными поселениями и затопленными стоянками человека, многослойность «пограничных горизонтов» в торфяниках. Все они были звеньями одной цепи. Чем точнее можно было датировать событие, тем чаще однородные факты оказывались одновременными, хотя бы происходили на разных концах Азии, Европы или Америки.

Одновременно сползали с гор ледники, сокращая отмеченные на картах или в преданиях леса, деревни, церкви, погребая пашни, дороги, перевалы. В это время на равнинах и в горах поднимался уровень озер, затапливая пойму и берега, поднимался уровень внутренних морей — Каспийского и Аральского, наступавших на стены прибрежных городов, выгонявших из нор животных и змей, от которых людям приходилось спасаться, как и от волн. Растрескавшиеся такыры пересыхающих озер наполнялись водой, степи шумели сочными травами, по Узбою в Каспий стекали излишние воды Амударьи. Жители гор спускались в предгорья, а понизившийся уровень Мирового океана открывал для человека очередную плоскость морской террасы. И в это же время в лесной зоне торфяники наполнялись влагой, выросший было на них лес погибал и мягкий моховой торф обволакивал пни и остатки трухлявых стволов...

Так продолжалось недолго, двести — триста лет.

Перемена наступала незаметно. Она начинала ощущаться много позже того, как невидимый маятник достигал определенного ему предела и начинал с усилием продираться назад сквозь вязкое, тормозящее его ход пространство времени. Переход к противоположному состоянию совершался долго, достигая порой тысячи с лишним лет. Он походил на планомерное медленное наступление невидимых армий, выпивавших степные речки, озера, чуть ли не вдвое сокращавших обширные водоемы, понижавших уровень грунтовых вод, иссушавших материки и загонявших вверх, к бесплодным каменистым вершинам горные ледники. Горели леса, дымилась подсыхающие торфяники, пересыхали степи, и животные откочевывали к северу, к лесам, к остаткам воды, к болотам и озерам, собирались в долинах больших рек.

Если период материковых трансгрессий был короток, энергичен и катастрофичен — на морях бушевали штормы, гигантские приливные волны обрушивались на берега, «всемирные потоцы» погребали под слоями ила города, сверкающие глетчеры обрушивались в долины хаосом ледяных глыб и оползнями, — то засушливая фаза подкрадывалась исподволь. Она обманывала временным увеличением дождливых дней, порою общим похолоданием, туманами. А между тем год от году иссякали источники, и земля, принимавшая всезатопляющий ливень, оказывалась вскоре сухой, растресканной и обнаженной.

Мои наблюдения в окрестностях Пleshцева озера полностью укладывались в эту последовательность. Совпадали даты. Каждый цикл, как установил А. В. Шнитников, повторялся с периодичностью 1800—1900 лет. Следы этой ритмичности в толщах скандинавских и европейских торфяников обнаружили многие исследователи, в том числе и Е. Гранлунд, когда-то первым насчитавший 6 «поверхностей обратного развития» и усомнившийся в существовании единого «пограничного горизонта». Становились понятными и внезапные миграции народов. Движения степных племен, их нападения на центры древних цивилизаций и — попутное — попадание в лесостепь и лесную зону объяснялись иссыханием степей на юге. Наоборот, движение народов, вторгавшихся с морских побережий в глубь материков, происходило в результате повышения уровня Мирового океана, показывающего, как в случае с храмом Серзаписа, довольно внушительные колебания — в общей сложности до тринадцати метров! Конечно, то был исключительный случай, но достаточно серьезные колебания береговой линии происходят у нас на глазах, а затопленные части античных городов говорят сами за себя.

Обратная зависимость явлений подсказывала, где искать источник избыточной влаги. Во время трансгрессивных материковых фаз океан регрессировал. Но когда на суше наступал засушливый период, мало-помалу океан снова наполнялся, вторгался на оставленную было территорию, смывая постройки людей, забывших, что Посейдон только на время дал им пользоваться этой площадкой для игр. Механика процесса оказывалась несложной: огромные массы воды сравнительно быстро черпались из океана, выливались на сушу, а затем долго стекали обратно. Потом все повторялось сначала. Каждый цикл мог быть чутью короче или чутью длиннее, на пятьдесят или сто лет, — серьезной роли это не играло. Отклонения могли быть кажущиеся в результате ошибок радиоуглеродных датировок, погрешности самих образцов, приближенности определения времени событий, содержащихся в легендах и преданиях. Наконец, следовало учитывать возможность отклонений в «часовом механизме» самой первопричины, вызывающей такую последовательность.

Где искать эту первопричину? Что она из себя представляет?

Это было самой трудной задачей. Приходилось идти путем исключений. Огромные количества энергии, способные перемещать невообразимые массы воды, постоянно перекачивая их из океана на сушу, предполагали действия каких-то титанических сил. Похоже было, что эти ритмические колебания являются одной из форм существования биосферы, стимулируя поступательный процесс ее эволюции, бросая ее из одной крайности в другую. А если это так, то вряд ли источник этих сил можно надеяться найти на нашей планете.

Оставался космос.

### 8

Каждое научное открытие имеет своего автора, определенного человека, но подготовлено оно всем предшествующим ходом науки. Оно может быть несвоевременно, как несвоевременна мысль, мелькнувшая в нашем сознании, но наступает момент — и оно занимает свое место в ряду других, выстраивающих своеобразную лестницу познания.

К тому времени, когда А. В. Шнитников собирал материал о периодических возмущениях нашей биосферы и устанавливал протяженность и периодичность ритма, мысль о зависимости жизни на нашей планете от космических факторов, в первую очередь от Солнца, насчитывала достаточно долгую историю. Циклы природных явлений продолжительностью тридцать — тридцать пять лет были обнаружены в 1890 году австрийским ученым Брикнером. В 1901 году американец А. Дуглас, исследуя годовые кольца деревьев, обнаружил одиннадцатилетний цикл изменения погодных условий, связанный с одиннадцатилетним циклом солнечной активности. Выдающийся советский ученый В. И. Вернадский на своих лекциях в Сорбонне перед первой мировой войной подчеркнул, что «биосфера — планетное явление космического характера». Но самый серьезный шаг был сделан в 20-х годах нашего века замечательным исследователем и основателем новой области науки — гелиобиологии — А. Л. Чижевским.

Опираясь на огромный фактический материал, полученный из области биологии, медицины, истории, статистики, астрономии, метеорологии, ученый показал, что жизнедеятельность всех организмов от растения до человека, течение всей жизни на Земле и здоровье каждой отдельно взятой клетки зависит от состояния Солнца, его активности, выбросе частиц, колебания напряженности магнитного поля. Солнце живет многими ритмами. Самый краткий из известных солнечных ритмов — 27 дней, период обращения Солнца вокруг своей оси; самые большие ритмы определяют в сотни тысяч лет. Каждый из них выполняет свою роль в земной биосфере. Они определяют урожайность земных полей, погоду, осадки; от них зависят вспышки эпидемий, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, они управляют размножением животных, микроорганизмов, миграциями животных и многим другим. Каждое из перечисленных событий связано с определенным ритмом, а это значит, что события можно предсказывать — вплоть до извержения вулканов.

Удивительно интересная книга А. Л. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь» и многие его статьи послужили основанием для нового взгляда не только на зависимость земной биосферы от Солнца, но на природу жизни и природу самого человека.

Между тем «солнечный ветер», несущий солнечное излучение, не одинок в своем влиянии на нашу планету. Даже сквозь защитную подушку атмосферы на нее изливаются потоки частиц из глубин космоса. Ее потрясают возмущения собственного магнитного поля, сбивающего ориентацию у пчел и птиц, влияющего на проницаемость мембраны живой клетки, а вместе с тем и на обмен веществ в организме. Нас «держит» в своих объятиях гравитация, на которую воздействуют своим движением планеты Солнечной системы. По-видимому, астрологи прошлых веков были не так глупы, как это кажется нам, когда пытались предсказывать будущее по движению планет...

В 1957 году в «Записках Географического общества СССР» была напечатана книга А. В. Шнитникова «Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария». Проанализировав оказавшийся в его распоряжении материал, ученый пришел к заключению, что ритмы, влияющие на биосферу Земли, по своей продолжительности могут быть объединены в три группы. Первая группа самых кратковременных ритмов связана с неравномерностью облучения Земли из космоса, их роль в эволюции биосферы незначительна, она ограничивается атмосферой. Вторая группа обусловлена колебаниями солнечной активности, воздействует на атмосферу и магнитное поле Земли, являясь наиболее важной для организмов. Третья группа ритмов, наиболее продолжительных по периодам, связана с неравенством сил тяготения. Они-то и управляют всем комплексом биосферы во времени и пространстве, воздействуя на атмосферу, гидросферу и литосферу.

К последней группе принадлежал и ритм с периодичностью 1800—1900 лет. Его кульминационные фазы совпадали по времени с так называемыми периодами констелляций, происходящих именно в такой ритмичности и с такими же отклонениями от точных сроков, когда Солнце, Луна и Земля оказываются на кратчайшем расстоянии друг от друга, располагаясь на одной прямой. В это время возникают грандиозные приливы, бури, грозы. Внутренние волны в океане поднимают к поверхности огромные массы холодной воды, охлаждая атмосферные потоки, резко нарушая их циркуляцию, обрушивая на сушу холодные ливни и снегопады. Такое противостояние планет длится около двух столетий, затем они расходятся, биосфера постепенно успокаивается после очередной «встряски», но плоды ее для материков самые благотворные. И запаса влаги, правда, с трудом, но все же хватает до момента следующего противостояния планет и Солнца. Сложность заключается в том, что точно установить время этой следующей констелляции почти невозможно. Луна постоянно испытывает воздействие различных космических сил, скорость ее движения то возрастает, то замедляется, и определить ее положение в пространстве относительно других планет для прошлого и будущего оказывается затруднительно.

Первопричина, как и следовало ожидать, оказалась проста. Первоначальный импульс, вызывающий внутреннюю приливную волну, похож на брошенный в пруд камешек, от которого разбегаются волны. Они отражаются от листьев кувшинок, коряг, берега, накладываются друг на друга, усиливаются, где-то гаснут, и вот уже чуть заметная рябь охватывает всю поверхность.

Периоды констелляций вызывают не только неравенство сил тяготения. Сближение Земли и Солнца, в свою очередь, способствует солнечным приливам и возрастанию солнечной активности, воздействующей уже непосредственно на все живое. Долгое время констелляции планет казались единственно возможной причиной столь сокрушительных увлажнений и иссушений. Однако они не могли объяснить некоторую географическую неравномерность возникающих последствий, в частности для Азии, где явления иссушения проявляются с особенной силой, а в ряде случаев опережают расчеты. Эту особенность попытались раскрыть геофизики, изучающие структуру нашей планеты.

Согласно последним взглядам магнитный центр Земли представляет собой некое твердое «субъядро», плавающее в жидком ядре. Расчет его положения за период с 1829 по 1965 годы позволил установить, что магнитный центр Земли перемещается по замкнутой эллиптической орбите за период от 1200 до 1800 лет. Приводя эти данные на Третьем всесоюзном совещании по ритмике природных явлений, советские геофизики И. М. Пудовкин и Г. Е. Балужева предположили, что в условиях Средней Азии, где отмечены максимальные изменения силы тяжести, дрейф этого «субъядра» периодические, каждые 1200—1800 лет, создает устойчивые антициклонические условия, сопровождаемые длительными и губительными засухами, которыми можно объяснить «великие переселения народов» с этих территорий.

Это означает, что перед нами источник нового, близкого по протяженности и действию ритма, который, вероятно, находится в известной зависимости от констелляций планет, но, в свою очередь, может усиливать или сглаживать их воздействие.

«Ритмичность присуща широкому кругу явлений космического, геофизического и биологического характера, — пишет Е. В. Максимов, один из многих учеников А. В. Шнитникова. — Ритмические явления известны в состояниях звездной и солнечной активности, активности кометно-метеорных потоков, в активности планет Солнечной системы, в колебаниях магнитного поля Земли, в явлениях, протекающих в земной коре (литосфере), в атмосфере, гидросфере, биосфере... Среди внутривековых известны добрых полтора десятка ритмов продолжительностью от 2,7 до 30—40 лет, среди вековых — не менее шести ритмов продолжительностью от 160 до 1800—1900 лет. Т. Карлстром упоминает ритмы продолжительностью в 40800, 20400, около 3400, 1700, 1133, 567 и 283 года, а В. А. Зубаков — в 370000, 185000, 90000, 40000, 21000, 3700 и 1850 лет... Явление ритмичности относится к числу фундаментальных закономерностей природы. Отрицание ритмичности невольно приводит к признанию независимости развития природы в целом. Бесплодный эмпиризм, регистрирующий лишь флуктуации, физическая реальность которых неоспорима, не может явиться основой для создания общей теории Земли — фактически той цели, к которой вольно или невольно стремится вся современная наука... Трудно с полной достоверностью оценить степень значимости ритмов: Но предварительное решение уже возможно. Очевидно, это 3,5-летний так называемый натуральный ритм, 11-летний, 22—23-летний, возможно вековой, 1850-летний, 40700-летний, возможно 500000 — 600000-летний и, наконец, 200000000-летний, которые можно отнести к числу ведущих».

От описания к анализу — таков, казалось бы, неизбежный путь науки. Но где-то посредине — не между, а сбоку, параллельно, над процессом — должно присутствовать то неведомое, что превращает собрание фактов в систему, каменные блоки — в здание, наблюдаемые факты — в закон. Открытие ритмичности Вселенной, создающей как бы ее внутреннюю структуру, на мой взгляд, соизмеримо с открытием атома, Периодической системы элементов, выведением теории относительности или эффектом Доплера. Я называю их потому, что поле приложения каждого несоизмеримо ни по величине, ни по задачам. Открытие каждой из таких закономерностей вносит не в науку только, но в человеческое сознание иную, чем раньше, картину мира, требующую отказа от прежних представлений, методов и в какой-то степени предполагаемого результата науки. Подобная переориентация, переоценка ценностей требует не только гибкости ума, широты кругозора, но и мужества критически взглянуть на себя и на свое дело. Школярам, выросшим на системе Птолемея, точка зрения Коперника представлялась смехотворной. Периодическая система Д. И. Менделеева была принята и использована не столько сверстниками ученого, сколько их — и его — учениками.

Первые в истории системы ритмов дали возможность самых разнообразных прогнозов с гарантией, что результаты всегда окажутся в пределах предсказанных отклонений. «Ведущий» 1800—1900-летний ритм А. В. Шнитникова дает четкое представление, что именно нам следует ожидать от природы в ближайшие столетия и как следует поступать, чтобы грядущие перемены не застали нас врасплох, чтобы мы их не ускорили своими опрощенными и скоропалительными решениями...

Когда этот конечный вывод предстал передо мной в своей четкости и категоричности, я почувствовал, что наука, которой занимался все прошедшие годы, открывая, подобно неведомым островам и континентам, новые для себя области знания, далеко не проста и не объясняется одним любопытством человека к прошлому. Во всем этом — в романтике поиска и открытий, в трепете раскопок, в мучительных поисках решений, казалось бы, никому из окружающих не нужных вопросов — заключен глубокий смысл, обращенный не к прошлому, а к будущему.

Во имя этого будущего только и стоит изучать слои Земли, продираться сквозь дебри давно погибших лесов, считать на их пнях годовые кольца, прислушиваться к глубокому и ритмичному дыханию биосферы. Ее ритмы накладываются друг на друга прихотливой сеткой, в противоборстве сил перекраивают материки, разрушают горы, иссушают моря, поджигают леса и степи, расстилают над землей пелену дождей и тумана. Но сквозь эту круговерть стихий, сквозь жару, холод, наводнения, пустыни, болота, оледенения упрямо идет маленький смертный человек, пытающийся понять свое место, свое назначение в этих ритмах космоса. Он падает под ударами, передает свою эстафету другим, но каждый раз встает более сильным, более понимающим, чем прежде, ощущая свою общность со всем этим миром, который его создал, выпестовал в «грозе и буре» и для которого он вовсе не безразличен — он, Человек.

Возможность проникновения в прошлое биосферы через человека определяется степенью зависимости общества той или иной эпохи от самой биосферы. Охотники и рыбаки, кочующие вслед за стадами дичи, неотторжимы от окружающей среды так же, как погибавшие на кораблях папуасы, которых европейцы пытались увезти с их родных островов. Поэтому в руинах древних городов исследователя прошлого ждет гораздо меньше сведений, чем на местах сезонных стойбищ охотников или на поселениях земледельцев и животноводов, в чьих культурных слоях лежат свидетельства о природе и космосе, которые мы учимся находить и извлекать.

Но вот что досадно: постоянно исследуя эти слои, археолог лишь в общих чертах представляет механизм их образования. Как они отлагались? С какой скоростью? Какие процессы здесь происходили? Почему в одном случае кость в песке сохраняется, а в другом все бесследно исчезает? Как происходит смена растительного покрова на местах поселений? Загадки эти, насколько мне известно, до сих пор никто не пытался исследовать. Отчасти археолога можно понять: как бы ни интересовали его подобные вопросы, перед ним стоят свои неотложные задачи. Для их решения необходимо быть одновременно почвоведом, геохимиком, геоморфологом, иметь в своем распоряжении соответствующую современную аппаратуру, а главное, создать совершенно новую методику исследований, позволяющую идти от настоящего к прошлому.

Я заговорил о культурном слое, потому что он тесно связан с другой проблемой — биохимией прошлого. Каждый живой организм, в том числе и человек, в известном смысле несет в себе полный набор элементов Периодической таблицы Д. М. Менделеева, которые

обеспечивают его здоровье, жизнедеятельность, нормальный обмен веществ. Выпадение из такого набора одного или двух элементов чревато самыми серьезными последствиями. Более того, именно микроэлементами, попадающие в организм и легко выводятся из него, оказываются жизненно необходимыми. Их путь долг и сложен. Из почвы их вымывают воды, собирают растения, они перерабатываются травоядными, оседают в их мышечных тканях и уже оттуда поступают к человеку с животной пищей. Так через пищу человек «напрямую» связан с почвой, на которой живет, с подстилающими ее горными породами и образующими их минералами.

Жизнь человека находится в самой тесной связи с геохимией и биохимией окружающей среды. Отсутствие в пище того или другого микроэлемента приводит к нарушению нормального обмена веществ, а в случае затянувшегося процесса — к развитию определенного заболевания. Обитатели побережий, питающиеся рыбой, моллюсками и водорослями, разнообразящие свой стол наземными животными, ягодами, растениями, не испытывают недостатка ни в витаминах, ни в микроэлементах, с избытком растворенных в морской воде. Иначе обстоит дело с жителями континентальных районов.

Путешественники, наблюдавшие жизнь чукчей в прошлом веке, отмечали, что на зиму они заготавливают листья и ветки ивы, набивая их в мешки из тюленьей шкуры и оставляя прокисать в течение лета. С наступлением холодов получавшаяся масса замерзала и ее, нарезая ломтями, как хлеб, ели с мясом. Любимым лакомством саамов и некоторых других охотников на северного оленя в Америке и Сибири зимой была полупереваренная масса из желудка только что убитого оленя. Таким простым путем они получали необходимый запас витаминов и йода, содержащихся в ягеле и лишайниках, которыми питается северный олень.

Медики, геохимики, биологи в последние десятилетия выяснили своеобразную «географию болезней», отмечая районы, жители которых испытывают постоянную недостатку, скажем, в йоде, кальции, серебре, железе, которую надо восполнять искусственно. Иногда, наоборот, наблюдается избыток того или другого элемента, например меди или алюминия, который, в свою очередь, следует как-то компенсировать. Почему возникает избыток, понятно. Он бывает связан с близостью к почве богатых месторождений определенного минерала. А вот почему происходит недостатка? Когда она впервые появилась? Как сказались на чреде поколений? Вопросы эти чрезвычайно важны, но решены могут быть только в содружестве специалистов с археологом при исследовании костей животных и человека, остатков органических тканей, структуры и химии погребенных почв.

Сейчас можно считать доказанным, что потрясения биосферы с неизбежностью приводили к изменениям экологических связей и хозяйства человека. Если человек не мог приспособиться к изменившимся условиям, он погибал или оказывался в своеобразном эволюционном тупике, где с трудом поддерживал раз достигнутый уровень. Изменение образа жизни, пищи, а вместе с нею и биохимии организма с неизбежностью должно было привести к изменению наследственности. Такое положение заставляет задуматься над следующим вопросом: в каком направлении под влиянием изменившейся природной среды и среды искусственной менялся генетический код человека? Как это происходило, в какие сроки, к чему приводило — пока неизвестно. Между тем уже переход от охоты и собирательства к оседлому земледелию вызвал настолько сильное солевое голодание, что, по мнению большинства археологов и экологов, начало разработок соляных копей в Европе и использование продуктов соляных источников явилось следствием не развития металлургии и связанного с ней горного дела, а широким распространением пашенного земледелия и растительной пищи.

Создание «второй природы» отрывало человека от биосферы, укрепляло его позиции, делало его относительно независимым от климата, территории, естественных ресурсов. Одновременно это отторжение ослабляло человека как биологический вид. Борьба за существование из плана физического оказывалась перенесенной в область знания, область мысли, ноосферу. Если прежде выживал наиболее сильный, наиболее ловкий, наиболее выносливый, то с течением времени его место занял наиболее гибкий, наиболее опытный человек, представляющий уже не биологическую единицу, а социальную группу. Кооперация в первобытном обществе, как правило, была кратковременной, от случая к случаю. Люди объединялись для коллективной охоты; постройки общественного дома, загона для животных, на рыбной ловле. Семья была единственной постоянной общественной единицей, и вопрос ее существования, кроме критических ситуаций, связанных с родом или племенем, зависел от нее самой. Немоощным и хилым приходилось плохо. Для жизни требовался доброкачественный, здоровый человеческий материал.

С развитием цивилизации все изменилось.

Теперь человек при всем желании не мог существовать в одиночку. Он был связан мно-



жеством уз с обществом, и сама жизнь его, успехи, возможности, перспективы определялись тем, с какой из человеческих групп он оказывался связан. Теперь гораздо важнее физическое здоровье стало здоровье социальное, место, которое человек занимал в строго иерархическом обществе, деловые и родственные связи, способствовавшие или замедлявшие ему достижение наилучших условий жизни. Вместе с условиями жизни изменились подстерегавшие человека опасности, в первую очередь болезни.

Палеопатология — сравнительно недавно возникшая отрасль медицины. Кости людей, попадавшие в руки археологов, врачей, патологоанатомов, развеяли легенду о золотом веке, когда человек не знал болезней. Кости из раскопок хранили на себе следы ранений, длительных, прогрессирующих заболеваний, переломов, удачных и неудачных операций. Болезни жили вместе с человеком, разрушая его, подтачивая, вызывая ответные реакции организма, влияя на наследственность. Правда, проявлялись они несколько реже, чем сейчас. Объясняется это тем, что за счет высокой детской смертности жизнестойкость оставшихся была значительно выше современной, естественный отбор совершенствовал генетическую структуру выживавших, кроме того, люди жили рассредоточенно: вспыхнув в одном месте, инфекционные заболевания быстро угасали, не получив распространения. Наоборот, социальный человек нашего времени, отдавшись во власть «второй природе», испытывает на себе все бури эпидемий в силу скопления людей в городах и развития массовых средств сообщения — авиации, железных и шоссежных дорог, — благодаря которым инфекция охватывает в считанные недели целые континенты.

Как показал А. Л. Чижевский, вспышки эпидемий так же предсказуемы, как вспышки на Солнце, с которыми они связаны. Были ли они прежде? По-видимому, были. Их никто не пытался найти — не их, а следы этих вспышек, все равно, собственно эпидемические или вспышки Солнца. Условия цивилизации изменили только масштаб их проявления, усилили в тысячи и сотни тысяч раз. Следовательно, если мы хотим что-либо знать о развитии генетического кода человека в разные эпохи, попытаться определить воздействие на него биосферы, непосредственно Солнца и космоса с его постоянным излучением жестких частиц, надо обращаться к человеку, к остаткам его поселений, стойбищ, к его могильникам. Там, где он сохранил летописи солнечной и космической радиации.

Такие естественные летописцы биосферы — деревья.

Сравнительно недавно дерево, найденное археологом при раскопках, обращало на себя внимание и сохранялось только в том случае, если было обработано человеком, представляло предмет, обломок предмета или произведение искусства. Казалось, единственная содержащаяся в нем информация — это порода. С открытием возможности определять возраст по содержанию радиоактивного углерода ценность таких находок во много раз возросла. Угли древних костров, полуистлевшие и обгоревшие бревна погребальных камер под курганами, балки от глинобитных домов — все стало реальным воплощением времени, которое они в себе заключали. Но и этот подход, как выяснилось, был всего лишь «потребительским». Чтобы положение изменилось в корне, в руки археологов должно было попасть сразу большое количество хорошо сохранившегося дерева, относящегося к одному историческому периоду. Иными словами, требовалось, чтобы это был подлинно массовый и в то же время определенным образом «организованный» материал.

Это произошло во время раскопок древнего Новгорода. Культурный слой достигал здесь девяти метров, он был пропитан влагой, и все органические остатки, в том числе и дерево, сохранялись в нем исключительно хорошо. Древние новгородцы, обновля мостовые, не меняли деревянные настилы. Новую мостовую они клали поверх прежней, так что при раскопках по мере углубления в землю глазам археологов открывался штабель из плах, сложенный в течение шести веков, от X до XV включительно, и состоящий из образцов деревьев, последовательно срубавшихся в окрестных лесах в течение всего этого времени. Определенные слои мостовых были связаны со строительством и гибелью окружающих улицу зданий, от которых оставались в земле нижние венцы. И всюду вокруг лежало дерево: деревянные ковши, весла, ложки, гребни, бочки, кадушки, деревянные рукояти топоров, косовища, множество других предметов и обломков. Всеми ими надо было заниматься, изучать, определять, поэтому сотрудничество археологов со специалистами — дендрологами — началось с первых же лет раскопок.

Скоро возникла мысль, что самого пристального внимания заслуживают не только деревянные изделия, но и само дерево как таковое. Именно дерево должно было помочь датировать все новгородские находки с небывалой точностью — до года.

«С первого же дня рождения живое дерево является очевидцем многочисленных явлений природы и той среды, где оно произрастает, — писал много лет спустя после начала ис-

следований Б. А. Колчин, основатель советской дендрологии. — Годичное кольцо — это память природы, в которой хранятся с точностью до одного года оценки разнообразных климатических условий прошлого — осадки, температура воздуха, влажность почв, солнечная активность и даже удельная радиоактивность земной атмосферы. Дендрохронология может дать широкую информацию с точностью до года о разных природных явлениях, которые оказывали влияние на ширину и структуру годичных колец.

Зависимость толщины годового прироста деревьев от климата и солнечной радиации, как я уже отмечал, впервые заметил в 1901 году американский астроном А. Дуглас. Выделенные им кольца одиннадцатилетнего солнечного цикла позволили установить последовательность колебаний прироста годовых колец у деревьев, произраставших на одной территории и в одно время. А если одно дерево росло раньше, а другое позже? Важно было, чтобы какое-то время они росли вместе, пусть и на значительном удалении друг от друга: одновременная серия годовых колец служила надежным мостиком для их связи. Более того, роль подобного мостика между разорванными системами колец может сыграть третье дерево, если оно занимает промежуточное положение во времени между первым и вторым. Наблюдения А. Дугласа положили начало новому методу перекрестной датировки, с помощью которого он смог датировать одновременные и разновременные поселения древних индейцев по спилам деревянных балок, сохранившихся благодаря сухому климату. Одновременно он продолжал составлять дендрохронологическую шкалу по живым деревьям, «перекинув» ее по балкам домов первых испанских поселенцев до поселений ацтеков в штате Нью-Мексико.

В результате в его руках оказались две дендрохронологические шкалы: «плавающая», построенная на материале древних поселений, и абсолютная, протянутая от современности до 1280 года нашей эры. Специальные экспедиции на археологические объекты вскоре позволили А. Дугласу и его ученикам сомкнуть эти две шкалы, получив полную серию годовых колец от современности до 698 года нашей эры. Так начались дендрохронологические исследования, создавшие к настоящему времени для Северной и Центральной Америки абсолютную дендрохронологическую шкалу протяженностью в 8253 года от наших дней.

Метод А. Дугласа был применен советскими археологами и в Новгороде. Ярусы древних мостовых давали сотни образцов деревьев, срубленных одновременно и связанных сериями колец с более древними, лежащими под ними. Даты отдельных серий колец уточнялись срезами с балок новгородских храмов, точное время постройки которых было хорошо известно благодаря летописям и надписям в церквях и на иконах. В серии таких диаграмм находили свое место и деревянные изделия и бревна строений, расположенных по обеим сторонам мощеных улиц. Одновременно с Новгородом составлялась дендрохронологическая шкала других древнерусских городов, в которых велись раскопки и слой которых точно так же сохранил от уничтожения дерево, — Смоленска, Пскова, Белоозера, Кириллова, Полоцка, Торопца — позволяя протягивать шкалу все ближе к современности.

Создание дендрохронологической шкалы с 788 по 1970 год было большим достижением советской науки. Помимо своего прикладного значения, для целей датировки, она представила картину климатических колебаний за двенадцать веков и подтвердила ряд уже известных ритмов солнечной активности. Теперь ее следовало продолжить во времени вниз, в глубины прошлого. Как? По-видимому, с помощью болот, болотных городищ железного века, остатки которых известны в Прибалтике, в западных районах нашей страны, чтобы потом через них выйти на болотные поселения и свайные постройки.

В самом деле, какой огромный, никем не тронутый богатый материал для самых различных исследований ждет будущих дендрологов в слоях «пограничного горизонта», где законсервированы сотни тысяч пней с сохранившимися годовыми кольцами, и в остатках свайных поселений, где тысячи деревянных свай позволяют составлять достаточно продолжительные «плавающие» шкалы самых критических периодов жизни биосферы! Объединенные исследования геохимиков, дендрологов, палеоботаников, геофизиков, климатологов, биофизиков и, возможно, астрономов откроют в этих удивительных архивах природы летопись всего голоцена. «Плавающие» шкалы свайных поселений здесь будут перекрываться разновременными лесами «пограничного горизонта», а те, в свою очередь, могут быть продолжены во времени по пням прибрежных деревьев, переживших периоды увлажнений, или по сваям поселений, отмечающих переход от одной фазы к другой. Здесь будут даны не только о климате и солнечной радиации. Слои древесины могут хранить память о вспышках сверхновых звезд, внезапных потоках космического излучения, прорывавшегося сквозь защитный покров магнитного поля Земли, и многое другое, что мы только теперь начинаем узнавать.

Мостик, перекинутый дендрологией от прошлого человека к прошлому космоса через прошлое биосферы, не одинок. Попытка использовать методы точных наук для определения времени в прошлом привела археологов к мысли использовать в целях хронологии колебания направления и склонения магнитных силовых линий Земли.

Земля — магнит. Но положение магнитных полюсов нашей планеты, как выяснилось, далеко не постоянно. Они не только «путешествуют» вокруг географических полюсов, но время от времени меняются местами, как будто внутри Земли происходит какой-то срыв, вызывающий поворот магнитной «стрелки» на 180 градусов. Такие периоды, называемые магнитными инверсиями, происходили в прошлом неоднократно с неодинаковыми промежутками. В далеком прошлом промежуточные периоды достигали десятков миллионов лет, сейчас — примерно миллиона лет, причем внутри этих долгих периодов возникают более краткие инверсии, примерно по 100 тысяч лет.

Установить явление инверсий удалось потому, что магнитные силовые линии способны «отпечатываться» на слоях осадочных пород, где намагниченные частицы сохраняют направленность магнитного поля, существовавшего в момент их отложения. Направление прежних силовых линий хранят и горные породы, например вулканические, если они в тот момент были нагреты выше 600 градусов по Цельсию. Поскольку магнитное поле является одним из важнейших факторов существования нашей биосферы, явление остаточного магнетизма дало начало палеомагнетизму как особой отрасли геофизики.

Не так давно от палеомагнетизма отделилась еще одна отрасль — археомагнетизм. Археомагнетизм исследует остаточную намагниченность вторичного происхождения, связанную с деятельностью человека. В первую очередь это относится к изделиям из глины — кирпичам, сосудам, глиняным печам, в которых происходил обжиг, стенам домов, испытавших большой пожар. В каждом таком случае предметы, нагретые выше 600 градусов по Цельсию, теряют свою прежнюю намагниченность и приобретают новую, именно ту, которая характерна для данного времени. По двум величинам — наклонению геомагнитного поля и его напряженности — с помощью специальных приборов устанавливается вероятное время нагрева образца. Однако пока этот метод находится в состоянии становления, потому что результаты измерений образцов, даже датированных с помощью других методов, по большей части отклоняются от расчетных величин.

Я выскажу всего лишь догадку: не показывают ли эти отклонения тот самый «дрейф» магнитного «субъдра», который иногда может совпадать с ритмом А. В. Шнитникова и влияет на климат, в первую очередь в зоне азиатского континента? В таком случае перед нами открывается еще один интереснейший источник сведений о силах, управляющих «сферой жизни», о которых сопроводительную справку должен давать именно археолог, хотя читать этот источник будет геофизик...

## 9

Путь, ведущий исследователя в космос через ритмы биосферы и глубинные тайны нашей планеты, заманчив и увлекателен. Земной шар покачивается в «солнечном ветре» над твоими ладонями. И все же изучение прошлого без попытки ощутить — хотя бы в малой степени — его создателей мне представляется неэтичным.

Потому что человек...

Но что же такое человек? — перебиваю я сам себя. Что значит его история, та, казалось бы, давно превратившаяся в пыль, стертая ледниками, похороненная отложениями озер и морей, занесенная песками пустынь, периодически превращавшимися в зеленые саванны? Зачем разбираться в прошлом, склеивая его, как склеивают черепки разбитого горшка, в котором уже ничего не сварить? Но этот склеенный из обломков горшок обретает над нами магическую власть, и, забросив сиюминутные, более практические и важные дела, мы прикасаемся к нему, рассматриваем его, спорим о его происхождении, назначении, судьбе, как будто бы от этого зависит судьба нас или наших детей.

Может быть, так оно и есть?

Кроме ритмов, управляющих биосферой, частью которой являемся и мы сами, в каждом из нас проявляются свои, потаенные ритмы жизни. Они вызывают возмущения наших собственных «магнитных полей», приливы и отливы, возвращают нас снова к исходным ориентирам, чтобы по ним определить девиацию нашего внутреннего компаса и заменить кажущееся магнитное отклонение истинным. Так, спустя годы случилось мне, завершив какой-то цикл, вернуться на берега Плесеева озера, пройти по местам прежних раскопов, услышать, как бьет в дно лодки мелкая встречная волна, снова войти в особенный, так

много значивший для меня мир лесов и болот. То прошлое составляло как бы один хронологический пласт моего настоящего, в котором, подобно солям железа в прослойках песка, чувства, ощущения, мысли цементировали огромный фактический материал.

Но действительной встречи с прошлым не произошло. Не потому, что иными стали эти места и я нес в себе уже иное время. Между тем археологом, который здесь когда-то работал, и мной настоящим лежали не годы. Нас разделяли зимние пески Каракумов, где след автомобильных шин теряется среди барханов с рыжим саксаулом; разделяли кочкастая, пронзительно пахнущая багульниковым тундра и холодные синие моря, на чьих островках лежат загадочные каменные спирали; разделяли толщи лёсса с расколотыми бивнями мамонтов и темными слоями погребенных почв; разделяли каменные стенки древнегреческих клеров в каменистых степях Крыма и черные регрессивные уровни, тянущиеся от суходолов в глубину торфяной земли.

Вряд ли это был только опыт. Опыт, да, но и потребность в самооценке себя и дела, которое делаешь. Ревизия памяти.

Индивидуальность — это память. Лишите человека памяти, сплетенной из солоноватого вкуса первого поцелуя, от которого кружилась голова и дрожали ноги, из нежной ласки солнечного луча, скользнувшего по подушке после беспамятства болезни, из запаха трав за околицей, отмечавших первый шаг в большой и неведомый мир, из хруста снега в морозный день, когда беспричинна радость и жизнь кажется почти полетом, лишите человека стыда проступка, о котором никто не знает, горечи слез первой утраты — и что останется от него?

Так, может быть, прошлое и есть коллективная память человечества, без которой оно станет идиотом, живущим сиюминутными отправлениями?

Если это не так, откуда же у человека тот непреходящий интерес к прошлому, в которое он как в сейфы банка помещает свое происхождение, идеалы, мечты, надежды, словно все лучшее, все, ради чего стоит жить, бороться и, если надо, умирать, находится не в настоящем, не в будущем, а в давно прошедшем?

Мне приходилось говорить о прошлом с разными людьми. Не только о глубокой древности — о событиях столетней, а то и меньшей давности. И всякий раз удавалось отметить момент, когда интерес к прошедшему оказывался выше интереса к настоящему. Не так ли из смутного в детстве сознания добытия рождается интерес к неведомому, существовавшему раньше нас, — интерес к предметам, людям, событиям? Пытливый, обретающий гибкость ум лижет вещи ушедших эпох, пытается постичь заключенные в них идеи, уловить аромат времени, как огонь лижет сухие ветки разгорающегося костра. Он питается вещественностью исчезнувших миров и взвивается ярким пламенем мысли, надеясь проникнуть сквозь время, просочиться по капиллярам трещин обожженного кварца к его сохранившейся середине.

И каждый раз это приводило к человеку.

Человека нельзя было обойти. Нельзя было им пренебречь, вывести за скобки. В любом случае, был ли то вопрос об эволюции животных в четвертичном периоде, о природе болезнетворных микробов, формировании рельефа, вулканической деятельности, колебании уровня Мирового океана, пульсации космического излучения — за всем этим то ярче, то тусклее вставал человек как некая мера всех вещей, мера явлений, пространств и времен. Он существовал как знак интеграла, как бы объединяя собой все и давая смысл всему существующему в мире: тот «микрокосм» средневековых мыслителей, который в нашем сознании занял срединное положение между двумя бесконечностями микро- и макромира.

Да и могло ли быть иначе? Не потому ли возникла наука — возникла из напряженного стремления к постижению себя и мира, к снятию мучительного противоречия в сознании между «я» и «не-я», к утверждению человека в мире, — что, сколько бы ни говорить о возможных «случайностях», конечным продуктом земной биосферы (а вместе с ней и космоса) оказывается именно человек?

Само существование человека есть факт непрерывно длящегося «акта творения». Согласно представлениям современной науки он начался взрывом нейтронной среды сверхновой, привел к созданию биосферы, а ее эволюция, в свою очередь, привела к возникновению человека — феномена, в отличие от остальной материи несущего в себе настойчивую потребность самопознания и самопостижения. Это и есть грань, отделяющая человека от природы и его «младших братьев».

Разум разлит в природе шире, чем мы иногда думаем. Его истоки лежат в повторяемости реакций при взаимодействии молекул, растворов, газов, когда происходит своего рода «упорядочение» информации. Он проявляется в реакциях растений на свет, тепло,

звук, прикосновение; открывается в поступках живых существ, способных оценить ситуацию и приспособиться к ней. Но сколь бы ни была умна и богата душевными порывами самая преданная собака, идущая рядом с человеком уже ве одно тысячелетие, сколько бы сведений ни хранил мозг самого талантливого дельфина, с которым когда-либо сможет общаться человек, ни у кого из них при всей их бесспорной индивидуальности не возникает удивленный и мучительный вопрос, столь свойственный человеку: что такое я? почему такой, а не иной?

Рано или поздно такой вопрос возникает в сознании каждого человека, но гаснет, не успев оформиться и вызвать ответный импульс. У других он всплывает время от времени, но под давлением сиюминутных забот отступает и затаивается. И только у третьих, постоянно слышащих пульс мироздания, разгорается все жарче, как пламя костра, как небесный огонь, сведенный на Землю Прометеем, освещающий им путь в жизни.

Объем знаний древнего человека нам трудно представить потому, что разница в уровне духовной культуры между двумя соседствующими племенами может быть как угодно велика. В первую очередь это относится к знаниям «отвлеченным», лишь опосредствованно находящим применение в повседневной жизни и все же создающим фундамент, на котором в дальнейшем воздвигается здание науки.

Попытка нащупать в прошлом существование таких знаний делалась неоднократно, по большей части в области счета. Однако в последние годы возникла новая отрасль науки, которую ее основоположники астрофизики Дж. Хокинс и Ф. Хойл определили как астроархеологию. Она возникла из попыток понять гигантские мегалитические сооружения, сохраняющиеся до наших дней в Англии, Шотландии, Ирландии, Бретани, на Иберийском полуострове, в Южной Америке на плоскогорьях Анд и в Мезоамерике. Во всех этих местах археолог находит остатки гигантских сооружений, требовавших для своей постройки слаженного труда многих тысяч людей в течение достаточно продолжительного времени.

В районах древних цивилизаций, в первую очередь в Мезоамерике, появление грандиозных храмов не вызывает недоумения. Гораздо загадочнее представлялись сооружения в Европе — поля, уставленные вертикально стоящими каменными обелисками, образующими строгие ряды, кольца, спирали, аллеи. Иногда, как, например, в знаменитом Стоунхендже (Англия), из многотонных блоков был выстроен целый комплекс, связанный с другими каменными комплексами на равнине остатками древних дорог. В Южной Америке (Наска) на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря выложено из камней и «прочищено» в почве множество идеально прямых линий, полос, похожих на современные посадочно-взлетные полосы аэродромов, и гигантских изображений животных, невидимых с земли и открывающихся взору только с птичьего полета.

В каждом случае перед археологами предстали явления, необъяснимые из прежнего опыта и по первому впечатлению не имевшие ничего общего друг с другом. Мегалитические сооружения Англии и Франции воспринимались большинством археологов по традиции как «храмы» или погребальные сооружения кельтов. Однако наука очень рано внесла свои коррективы в такие представления. Раскопки установили, что ни в Стоунхендже, ни в Бретани погребений как таковых нет, а сами постройки относятся к началу бронзового века. Теперь, с появлением радиоуглеродного анализа, известно точное время строительства всех этих сооружений — с 2200 по 1700 год до нашей эры.

Археологи могли еще долго ломать головы над загадкой каменных исполинов, если бы геометрически правильными фигурами построек не заинтересовались сначала математики, а потом астрономы. Результат их вычислений был ошеломителен. Получалось, что не только в Старом Свете, но практически во всем мире в конце III и начале II тысячелетия получила распространение и достигла высочайшего уровня развития своеобразная «астрокультура», люди которой занимались многолетними наблюдениями восходов и заходов над линией горизонта Солнца, планет Солнечной системы и ряда звезд. Зачем? Неизвестно. Более того, расположение мегалитических памятников в Европе и возможность с их помощью вычислений значительно более точных, чем вычисления средневековых астрономов и математиков, которые могли только мечтать о подобных обсерваториях, показывают, что все они служат звеньями одной наблюдательной системы, назначение которой принадлежит к числу величайших научных загадок. Их частота и целесообразность расположения не уступают современной системе наблюдательных станций международной астро- и метеослужбы, а простота и точность вычислений вызывает уважение к уму их создателей.

Эти открытия заставляют каждого исследователя задуматься о многом. Например, разве случайность, что создание мегалитических обсерваторий и последующее их запустение приходится как раз на очередную трансгрессивную фазу 1800—1900-летнего ритма? Как мы

знаем теперь, это время совпадает с наибольшим приближением к Земле Луны и Солнца, с наиболее сильными возмущениями в земной и солнечной оболочках, но что во всем этом могло заинтересовать неолитических обитателей Средней и Северной Европы — нам неизвестно. Между тем они не только не остановились перед таким поистине титаническим трудом, но дважды еще дополняли и усовершенствовали Стоунхендж на протяжении трехсот лет...

Чем напряженнее я пытался ощутить время, отделяющее далекое прошлое от настоящего, чем внимательнее всматривался в предметы, пытаюсь увидеть за ними создавшего их человека, тем больше убеждался, что преграды времени нет. Во все эпохи человек был одинаково человеком: умным и глупым, неверчивым и легковерным, мужественным и трусом, художником и ремесленником, предателем и подвижником. Он любил, страдал, боролся, попадал жару страсти и зову за горизонт. Он отличался разрезом глаз, шириной скул, формой черепа, цветом кожи, языком, на котором излагал свои мысли, но даже в крайностях своих не выходил за рамки, определяющие и сейчас этот единственный вид *homo sapiens*, обитающий на нашей планете.

Саам-оленовод прошлого века, еще не разобщенный с природой современным домом, бытом, транзистором, системой коммуникаций, службой снабжения, ощущал себя необходимой и неотторжимой частью биомы, к которой принадлежал. Ограниченность его сознания коренилась не в ограниченном объеме знаний, а в ограниченности его потребностей по отношению к внешней среде, которая его удовлетворяла физически и духовно.

Стоило лишь нарушить экологическое равновесие, как все изменилось.

Нечто подобное произошло в сознании человека благодаря археологии, оказавшейся пороховой миной, подведенной под крепостные стены сознания. На первых порах ее задачи казались невелики. Археология ограничивалась изучением вещей как произведений рук человеческих, возбуждавших желание узнать о причинах их появления, назначения, способе изготовления, мастерах, которые их создали. Но одновременно своими открытиями археология расшатывала устои повседневности. Она ласкала воображение человека картинами иных миров, существовавших прежде на этой же земле, манила его секретами древних знаний, полученных человеком во времена, когда боги сходили на землю и жили среди людей.

В век паровых машин, открытия электричества, успехов техники и химии каменные топоры древних животноводов и земледельцев вырубали предрассудки в сознании людей, открывая перед ними новые горизонты и протяженность времени. Краткая библейская хронология оказалась несостоятельной перед новой, составленной по пластам земли и звездам. Прошлое представало в образах, именах, предметах, картинах, зданиях. С ним надо было разговаривать на его собственном языке, изучать его законы. В свою очередь, для этого требовались новые направления исследований, новые методы, новые задачи, а вместе с ними в сознание человека проникали новые вопросы, новые догадки о себе и окружающем мире.

Прошлое походило не на снежный ком, который можно катить, а на мощный поток, ширившийся и набиравший скорость почти космическую...

Интерес к некогда существовавшим человеческим обществам и культурам с неизбежностью должен был обернуться интересом к прошлому в целом. Сейчас, когда перед нами стала вырисовываться его структура, оказавшаяся в известной мере отражением структуры Вселенной, положение резко изменилось. Из безобидной причуды оригиналов, из «вещеведческой» дисциплины археология превратилась в сложный и ответственный метод познания, требующий от исследователя высокого совершенства и столь же высокой ответственности, как, скажем, нейрохирургия. Действительно, объекты археологического исследования можно назвать архивом биосферы, вернее всего — ее памятью.

Это память нашей планеты, память всего человечества.

Подобно тому как память человека состоит из множества импульсов, хранящихся в миллионах ячеек мозга, каждая из которых оказывается единственной, смертной и невосстановимой, так и общая память человечества, память биосферы, состоит из множества — конечного множества! — археологических комплексов, столь же индивидуальных, неповторимых и невосстановимых при разрушении. Ячейку памяти человека разрушает проникающий в нее для исследования электрод — и живая ячейка умирает; ячейку памяти человечества разрушает человек — лопатой, бульдозером, ножом или кистью...

В одной из своих книг об археологии и археологах я не случайно выбирал своих героев. Они импонировали мне не только влюбленностью в свое дело, преданностью работе, но и тем высоким чувством ответственности перед прошлым, настоящим и будущим чело-

вечеством, которым они эту работу отличали. Ими двигало не любопытство, а стремление понять и познать прошлое. Они понимали, что каждый нажим лопаты, каждый удар киркой, каждое движение ножа или совка уничтожает частицу прошлого. Раскопки всегда разрушение, разрушение безвозвратное, потому что в отчеты, планы, описания попадет лишь то, что смог увидеть исследователь, смог понять и отметить. Сам памятник не остается жить, как это часто пишут, он погибает. Остается жить точка зрения на памятник того исследователя, который его копал, не более. Вот почему необходим новый подход к раскопкам, которые должны оставить для будущего — для проверки новыми методами, новой аппаратурой, для решения новых, может быть гораздо более важных, вопросов, о которых пока мы не имеем понятия, — большую часть каждого памятника, если, конечно, над ним не нависла угроза полного уничтожения.

Сейчас при раскопках мы получаем не сотую, а, пожалуй, тысячную долю информации, которая заключена в кубическом метре земли, хранящей остатки человеческой деятельности...

Но все это только начало, первый шаг, который открывает первопроходцу путь в неведомое.

Не случайно я остановился на открытии разнообразных природных ритмов, управляющих биосферой и деятельностью человека, связавших воедино нашу историю, наши краткие жизни, предельные и граничные силы, с событиями беспредельного и безграничного космоса. Эти ритмы, то усиливающие друг друга, то противодействующие друг другу, оказались той основной структурой, на которой выстроена земная биосфера. Они определили своеобразные коридоры времени, по которым совершаются мощные передвижения народов, влекущие за собой не только и не столько военные столкновения, сколько обмен идеями и открытиями, расширение горизонтов сознания, переплавку старых обществ, давая новый импульс к познанию себя и мира. Эти ритмы — своего рода испытание для человека и тех его институтов, которыми он пытается регулировать свою зависимость от природы.

На опыте долгой истории северных оленеводов можно видеть, как мало отражаются ритмические потрясения на человеческом обществе, входящем в равновесную биому, подчиняющуюся природным изменениям, а не противостоящую ей. Это заставляет вспомнить размышления Ю. Одума, одного из крупнейших современных экологов, о месте, которое должно занимать уже цивилизованное человечество в системе природы. Он писал: «Полное доминирование человека над природой, вероятно, невозможно; оно не было бы ни прочным, ни стабильным, так как человек — очень «зависимый» гетеротроф (то есть организм, питаемый другими. — А. Н.), который занимает очень «высокое» место в пищевой цепи. Было бы гораздо лучше, если бы человек понял, что существует некая желательная степень экологической зависимости, при которой он должен разделять мир со многими другими организмами, вместо того чтобы смотреть на каждый квадратный сантиметр как на возможный источник пищи и благосостояния или как на место, на котором можно соорудить что-нибудь искусственное».

Говоря о влиянии прошлого на будущее, обычно подразумевают возникшие и ежеминутно возникающие причинно-следственные связи, тянущиеся из бездн времен. Ими пронизана природа, окружающая нас, которую в каждый данный момент можно рассматривать как следствие причин, лежащих в прошлом. Ими пронизана вся наша общественная жизнь, оказывающаяся следствием действий, свершенных накануне, если под этим понимать всю совокупность прошедшего. Мы сами — каждый из нас — являемся прямым следствием биологических, социальных, психологических событий прошлого, которые несут в себе наши родители и бесчисленные звенья предшествующих поколений. Вот почему знание если не всех, то наиболее важных, генеральных причинно-следственных цепей биосферы дает нам гарантию в предугадании нашего возможного будущего.

В первую очередь это относится к 1800—1900-летнему ритму А. В. Шнитникова, кривая которого показывает, что мы находимся на ее ниспадающей части, обращенной в сторону только еще начинающихся великих засух. Это сигнал, предупреждающий нас об опасности остаться без воды, если мы будем осушать болота и вырубать леса в верховьях рек, прерывать их естественное течение, превращать чистые озера в гниющие пруды устройством дорогостоящих плотин, о том, что лучше хранить воду в губке торфяников, чем разливать ее тонким слоем на поверхности, откуда она моментально испаряется и возвращается в Мировой океан, уровень которого начинает постепенно подниматься...

Есть и другая сторона, может быть не менее важная для человечества и для биосферы. При внимательном рассмотрении можно заметить, что структура прошлого, угадываемая нами в земных катаклизмах, ритмических пульсациях и потрясениях, причины которых

лежат за пределами нашей планеты, оказывается отражением чрезвычайно сложной структуры Большого Космоса, в котором несется наш общий космический корабль — планета Земля.

Он идет под всеми парусами через бездны времени и пространства, выдерживая космические штормы, рассекая волны космических цунами, дрейфуя в тисках космических льдов, — и все это невидимые штурманы каждый раз аккуратно заносят на страницы судового журнала с обозначением координат и точной даты. Время и пространство не пощадили ни корабль, ни бортовой журнал. От его ранних записей осталось немного, но сейчас мы уже начинаем разбирать в них отдельные символы, сопоставляем их друг с другом, пытаемся догадаться об их значении. Чтобы записи оказались упорядоченными, сконцентрированными, понадобилось создать человека, к которому, в сущности говоря, они и были обращены. В кабалистических письменах прошлого скрыта формула постижения нас самих и нашего будущего. Эти записи — как периплы древних мореходов, лоции отважных первооткрывателей, по которым опытные капитаны, вооруженные современной наукой и аппаратурой, опытом и знаниями, предугадывают возможные опасности, чтобы встретить их во всеоружии, встретить достойно.

От того, как человек относится к своему прошлому, в конце концов зависит, сумеет ли он достойно встретить свое будущее.

И думаю я о другом. Мне кажется, что в новом своем облике, том, который видится сейчас мне, став планетарной наукой, связуя прошлое с будущим, археология позволит человечеству обрести не только потерянное единство с природой, но восстановит единство и в нем самом. Она напомнит ему его собственную забытую историю, шаг за шагом проведет по ней и покажет, что не войны, не страх и ненависть, а дружба, сотрудничество с окружающим миром и взаимопонимание позволили ему выстоять, вырасти и найти свой путь в трудных коридорах времени — путь, который еще далек от своего конца и от которого, возможно, зависит нечто большее, чем сохранение жизни на нашей родной планете.

Вот почему эти размышления я хочу закончить словами Пьера Тейяр де Шардена, написанными в конце 30-х годов нашего века и удивительным образом перекликающимися с мыслями В. И. Вернадского, отмеченными мною в начале: «Однажды, и только однажды, в ходе своего планетарного бытия Земля могла создать оболочку жизни. Точно так лишь однажды эта жизнь оказалась в состоянии подняться на ступень сознания. Одно время года для мысли, как одно время года для жизни. Не надо забывать, что вершину древа с этого момента составляет человек. Отныне в нем одном, отсекая все остальное, сосредоточены надежды на будущее ноогенеза, то есть биогенеза, то есть в конечном счете космогенеза...»





АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ



## ЧТО ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ?

**С**транно устроена человеческая голова: я давно заметил, что о новом лучше всего думается под сенью старого. Недаром, наверное, популярные среди ученых всесоюзные семинары по управлению устраиваются то в тихой Тарусе, то в Осташкове на берегу Селигера, а то и непосредственно внутри соборной огады, прямо в Кремле, как было, например, в Ростове Великом. Участвуя в этих семинарах, знаю по себе, как славно рассуждать о прогрессе, о будущем, глядя на зубчатые стены, вековые деревья и прижавшиеся к ним одноэтажные домики.

Каждый вечер, возвращаясь с рижского «Коммутатора», я распакивал окно навстречу шпилям древних соборов и принимался за чтение. Неожиданное чтение, сбивающее: машина, выдающая характеристики... машина, определяющая качества человека... машина, сортирующая людей по признакам психологической совместимости... Признаюсь, я не был к этому подготовлен, ехал в Ригу за другим. Говорили о демократизации производства, выборности мастеров и вдруг приглашают меня к стенду в фойе конференц-зала:

— Вот посмотрите, наши автоматизированные системы социального управления.

Прежде я знал АСУ, имеющие отношение к планированию, качеству продукции, бухгалтерским операциям, инженерным расчетам... ЭВМ в социальном управлении?

— Выборность была лишь началом, — сказали мне, — мы ушли далеко вперед.

Да, ушли... Вперед ли, назад ли, в сторону? По крайней мере лично для меня это еще и сейчас не ясно. С точки зрения использования новейших технических средств — космический рывок вперед! А с позиций демократизации и этики, психологии? С позиции социального, то есть обращенного непосредственно к человеку и оперирующего человеком управления?

Идея выборности руководителей — один из основополагающих принципов социалистической демократии — утвердилась в деятельности партии, общественно-ж организаций, местных и высших органов государственной власти. Выбирают у нас и председателей колхозов. Однако в промышленности, начиная от бригадира и до генерального директора, командиров производства назначают. В какой степени возможна и здесь выборность? Полезна ли?

В 1974 году был опубликован курс лекций МГУ имени М. В. Ломоносова «Кадры управления социалистическим общественным производством» под редакцией профессоров Г. Х. Попова и Г. А. Джавадова. «...целесообразно предоставить рабочим возможность самим выбирать руководителя смены, участка и других первичных производственных коллективов», — пишут ученые, но в подкрепление не приводят примеров, просят поверить им на слово, что «в недалеком прошлом опыт подобного рода показал обнадеживающие результаты». Какой опыт, где? Могу предположить: красноярский, на одной из строек. О нем в свое время немало писали, а социолог Я. Капелюш предпринял тогда <sup>в</sup>фондаж общественного мнения. Удалось выявить большой интерес к этой проблеме, серьезную поддержку идеи и вместе с тем наличие противоположных взглядов, принимающих зачастую характер резкой полемики.

Замечу, что споры, продолжавшиеся годами, носили абстрактно-теоретический характер. Давний красноярский опыт растаял раньше, чем породил последователей даже в строительстве, где возник. О подобном эксперименте в промышленности в то время вообще не было речи. Общественное мнение, достаточно подготовленное к восприятию мысли о выборности командиров производства, пребывало как бы в томительном ожидании, накалявшая

силы для нового круга дискуссии по поводу чего-то более существенного, чем погасший сибирский костерок.

И повод возник.

«Литературная газета» напечатала репортаж рижского журналиста И. Дижбита «Рабочие выбирают мастера». На заводе «Коммутатор», утверждал он, отказались от назначения администраторов, в цехах устраивают чуть ли не избирательные кампании, люди получают должности в результате тайного голосования.

Я отправился на «Коммутатор», фигурально выражаясь, с мешком, в котором лежали письма, пришедшие со всех концов страны. Заодно с противниками выборности прихватил и робких, в чем-то сомневающихся сторонников, а для солицы — сторонников активных, недовольных «ограниченностью» рижского опыта, пылающих чувствами воинствующего максимализма. Разложил, как корабейник, свой «товар» на столе перед генеральным директором, кандидатом технических наук, доцентом, лауреатом Государственной премии СССР Львом Давыдовичем Лубоцким, сказал: соглашайтесь, опровергайте — спорьте!

«Игра в выборность не может принести практической пользы. Завод нуждается в управлении, а не в голосовании».

— Ну и ну! Интересно товарищ рассуждает, — покачал головой генеральный. — Мы видим в выборах инструмент дальнейшей демократизации управленческой деятельности. Хотим в одном лице иметь формального и неформального лидера, это же ясно! Чтобы не получалась такая картина: определили его начальником сверху, а люди с радостью, бедой идут к другому человеку, не облеченному властью.

«Закон есть закон. Только приказ единоначальника может служить основанием...»

— Ясно... Юрист, наверное? Чувствуется душа правоведческая. Но я не вижу противоречия с законом, поскольку мы издаем приказ. Так и пишем: «Основание — результаты тайного голосования». Важно, что теперь человек несет ответственность не только перед администрацией, но и перед своими выборщиками. Он заботится, чтобы они зарабатывали полагающиеся им деньги не в последний день и не в последний час. И о том, чтобы условия у них были лучше. А вместе с тем он подчинен вышестоящему лицу, перед которым несет ответственность. Право и демократизация отнюдь не вступают в конфликт.

«На должность надо ставить подготовленного и проверенного, а не того, кого подчиненные считают удобным».

— Я вам скажу, что автор этого возражения, видимо, незнаком с нашей системой. Первоначально кандидатов подбирает общественный отдел кадров. Цеховой отдел, работающий под руководством партийной и профсоюзной организаций. Обо всем этом мы много спорили, думали еще в те дни, когда начинали...

Мне показали довольно любопытный программный документ, определяющий цели, порядок и рамки проведения социального опыта. С преамбулой, думаю, согласится каждый. Любой директор наверняка разделит заявление рижан о том, что «при хороших, деловых, товарищеских взаимоотношениях лучше решаются вопросы выполнения плана, повышения качества продукции... выше трудовая дисциплина». Положения бесспорные, почти банальные. За ними, однако, следует полемический вывод: «В результате поиска оптимальных форм управления производством, стремления создать такие коммуникативные связи между подразделениями и внутри коллективов, которые наиболее полно отвечали бы требованиям современного высокоорганизованного социалистического предприятия, мы нашли целесообразным проведение выборов бригадиров, мастеров, начальников участков, а в дальнейшем и начальников цехов».

Начальников цехов на «Коммутаторе» еще не выбирали. Опыт не завершен, у него есть перспектива. Многие говорили мне на заводе: интереснее стало... прибавляет самоуважения... нагляднее достоинства и недостатки того, кого мы хотим видеть своим сержантом... мастер теперь наделен не только административной властью, мы ему доверие оказали, а можем и забаллотировать...

— Мы в шутку говорим, что есть у нас избирательные цензы оседлости, образовательный, — возражая оппонентам, комментирует суть эксперимента генеральный директор. — Человека со стороны не берем и не предлагаем его сразу избирать. Кандидат в мастера, как правило, имеет специальное образование или же он практик с многолетним опытом, проверенный. Даже речи у нас нет о том, чтобы устраивать новгородское вече — кто кого перекричит. Словом, мы так и поступаем, как советует ваш скептик: выбираем подготовленных и проверенных.

— А он боится еще, что выберут удобного, менее требовательного, покладистого.

— Был случай... Один-единственный за много лет, насколько я помню: хорошего, тре-

бовательного кандидата забаллотировали. Кто-то против него работу провел, знаете ли. А больше не повторялось. Да и на том участке при новых выборах его избрали. Хороший мастер, сейчас он, кстати, вырос, стал начальником цеха. У нас кандидаты еще на стадии первоначального отбора обсуждаются весьма тщательно, и сам этот процесс обсуждения влияет на окончательное решение: кого именно внести в избирательный бюллетень. Так что не вижу здесь вопроса.

«Передовой опыт лучших предприятий говорит о ненужности выборов, достаточно всюду расставить толковых организаторов».

— У него выходит, что передовой опыт нечто вроде мертвого груза, дан раз и навеки. Развитие как бы не предусматривается. Нам такая позиция не по душе. Мы все время совершенствуем формы нашей управленческой работы. В условиях нашего объединения система выборности полезна, пригодна. Так считаю. И опыт свой не экспортируем. Кому не нравится — не надо. Но сами уверены: стоящее дело. А вообще, конечно, я не исключаю и другой подход к таким вещам.

«Выборы способны привести к обезличке, потере чувства ответственности».

— Ну, это, извините, вздор! А что, собственно, меняется? С точки зрения ответственности? Ответственности даже больше! Но посмотрим на вопрос с другой стороны. Кто раньше шел мастером? Либо выпускник техникума, который еще ничего не умеет, либо рабочий-практик, которому здоровье или возраст уже не позволяют стоять у станка. Вы понимаете, на мастерскую должность шли люди вынужденно, неохотно. Без радости и удовлетворения. Зарплата мастера была существенно ниже, чем у рабочего. В такой ситуации смешно было бы говорить о выборах — нет желающих. А когда мы пошли на различные формы стимулирования деятельности мастера, то желающие появились.

«Возникает психологический сговор: вы меня «хорошо» выбираете, а я вами «хорошо» буду руководить. Гласный или негласный сговор».

Извлекая из своей папки очередной «наскок», испытываю чувство неловкости: глаза у директора усталые. Работает Лубоцкий, говорили мне, дьявольски много, беспощадно по отношению к себе, на износ. Интересно было бы потолковать на эту тему, но лишних вопросов не задаю, помня об ожидающем его самолете. Директор должен срочно лететь по делам в Москву.

— Психологический сговор?.. Наверное, вам как литератору известно лучше, чем мне: дурак все воспринимает один к одному и ни в чем не сомневается, а разумного человека всегда одолевают какие-то сомнения. Вопрос, вероятно, отражает сомнения думающего человека. Но бывает, что сомнения носят прямо-таки экстремальный характер. Решительно все становится сомнительным. Начинает мерещиться и сговор и черт-те что! По крайней мере наша практика показала, что это опасение не имеет под собой почвы.

«Ослабнет единоначалие, снизится требовательность, упадет дисциплина».

— Да? На основании чего подобное утверждается?

Я будто бы слышу, как тикают мои шахматные часы, и тороплюсь сделать ход, который шахматисты назвали бы промежуточным:

— Трудно сказать.

— А я могу. «Коммутатор» имеет опыт. Мы выбираем мастера на два года. Через двадцать четыре месяца объявляем эту должность вакантной. Так? И практически не было случая, ну, может быть, один какой-нибудь, чтобы избранный мастер себя не оправдал. А мы избрали очень многих мастеров. И не в одном цехе! Скептики напрасно беспокоятся.

— Свой повод для беспокойства находят и оптимисты, сторонники вашей идеи. Вот, например, один пишет: «Дело очень хорошее, но не простое. Неподготовленный переход к выборности лишь скомпрометирует ее».

— Золотые слова! Не просто так — собрались и давайте, ребята, будем выбирать. Нужна тщательная подготовка, разработка соответствующего положения, методики. Да и в более широком смысле — психологическая и организационная подготовка всего коллектива. Можно дискутировать проблему на корню, как говорится, но если уж намерен снять с этого поля урожай... Переход к выборам на предприятии должен быть подготовлен всем ходом событий в данном коллективе. А не то... Вообще, знаете ли, со стороны рассуждать легко. А пусть попробуют.

Почти по Маяковскому: вот вам, товарищ, мое стило и можете писать сами.

Нечто подобное наблюдается и в случае с перспективным планированием карьеры человека. Некоторые, едва услышат о таком, сразу в штyki: маниловщина! А я был в ГДР и видел, как это делается на берлинском электротехническом комбинате «Нарва», в дрезден-

ском «Роботроне» или на заводе портативных телевизоров в Радеберге. Заранее известно, какие люди и на какие должности будут перемещены.

— Посмотрите, пожалуйста, документ: здесь сказано, что начальника отдела через три года провожаем на пенсию, слева написана его фамилия, а справа преемника. А вот здесь, видите, другая картина: человек через несколько лет по плану передвинется вверх на ступеньку, для него тоже предусмотрена замена,—говорили мне руководители «Нарвы».

— А сам преемник знает о будущей своей должности?

— Конечно,— подтвердила руководитель кадровой службы комбината Рут Голлац.

— И тот, кого предполагают сменить?

— Естественно. Как же могут не знать, если мы заключаем с ними письменные договоры об этом? Гласность полная — это наш принцип. Если я не знаю, что со мной будет, то начинаю подсказывать, будто меня не замечают, недооценивают, хуже — интригуют за моей спиной.

В Радеберге на заводе электронной промышленности я поинтересовался: кто будущий преемник сорокадвухлетнего Экехарда Вуттке, начальника производства портативных телевизоров? Вопрос, в общем-то странноватый, здесь никого не удивил. Ответили сразу: Ганс Гофман, руководитель отдела. Тогда я спросил у Гофмана: кто ваш преемник? Тот спокойно продикувал мне в блокнот фамилию: Гюнтер Нейман, инженер, ему сейчас тридцать пять лет. А для Неймана тоже приготовлена замена? Вместо него, говорят, будет Андреас Улих, молодой человек двадцати трех лет, окончил профессиональную школу, направляем его в инженерный институт. По окончании он заменит Неймана, тот Гофмана и т. д.

— Любопытно, очень любопытно... А почему бы и нет?— сказал Анатолий Иванович Зоренко, начальник отдела научной организации производства, труда и управления рижского объединения «Коммутатор» по поводу планирования карьеры в ГДР.

— Пользы не вижу,— тотчас же парировал подчиненный ему начальник сектора социологии, психофизиологии труда и разработки автоматизированных систем социального управления Леон Иванович Меньшиков, кандидат экономических наук.

— Ну отчего же так, Леон Иванович?— миролюбиво заметил Зоренко.

«Кандидат, но завтра будет доктором»— так мне говорили на заводе о Леоне Ивановиче. Сам он, когда я спросил, махнул рукой:

— Да нет, шутят.

Не знаю, не знаю... Свороченная Леоном Ивановичем гора — он гору своротил, не меньше!— вполне заслуживает докторской степени. Да только никак не возьму в толк: нужно ли было перемещать этот моблан? Разные чувства борются во мне, и выработать какое-либо определенное отношение к тому, что делается в объединении под руководством или же при самом ближайшем участии Меньшикова, трудно: не однозначно, не бесспорно.

— Социальное управление — это управление людьми,— говорил Леон Иванович.— Запросами людей, интересами людей, настроением людей. Мы желаем не просто улучшать социально-психологический климат, а видим свою задачу в том, чтобы вводить все это в рамки систем.

— Что значит «все это»?— хочу уточнить.— Интересы? Настроения?

— Да.

— Настроения в рамки?

— Да.

— В системы?

— Именно. Мы исходим из задачи обеспечить социально-психологическую удовлетворенность каждого члена нашего коллектива. С понятия «удовлетворенность» мы начали. Что надо человеку? Разбили удовлетворенность на составные части, вернее попытались. Вообще-то довольно сложный процесс — разбить на части понятие человеческого счастья...

— Удовлетворенность и счастье, по-моему, разные вещи.

— Ну, разные... В какой-то степени накладываются друг на друга.

То, что придумали на «Коммутаторе» для удовлетворенности и счастья, выговорить невозможно. Язык сломаешь и проглотить: АСППП, АСУОМ, АСДО, АСАТ, УАСКИ (бывшая УАСБТ и грозящая перерасти в УАСКИ-М), АСПТК, АСУРСС... Поверьте, далеко не все! Кажется, я заполнил лишь два с половиной сектора «круга удовлетворенности».

Леон Иванович с гордостью показывал мне круг. Один сегмент — удовлетворенность профессиональная, другой — удовлетворенность оплатой труда и стимулированием, третий — социально-психологическими факторами, четвертый — бытом, жильем, использованием свободного времени, пятый — общественным питанием... Нумерацию ставлю произ-

вольно, может, надо в обратном порядке считать, сам Леон Иванович вспомнил, что «путь к сердцу лежит через желудок». Во всех пяти секторах густо набились автоматизированные системы, словно рыбы в тесном аквариуме. Некоторые живут давно и приносят потомство, а иные лишь в стадии мальков. В центре круга написано: «ЭВМ».

— Машина у вас в центре,— подковыриваю увлекшегося Леона Ивановича.— Компьютер, а не человек!

— Здесь вообще-то может быть и человек, просто так нарисовали.

С первого дня начали складываться у нас отношения несколько натянутые. Леона Ивановича раздражал каждый мой вопрос, в котором чудилось сомнение или скепсис по отношению к дорогим для него плодам ума и сердца. А меня выводила из себя его страсть к доказательству и свидетелям. О чем ни пойдет речь — вот пожалуйста, почтайте документик, говорил он, протягивая описание, отчет, методику, или вскакивал со стула, предлагал: я сейчас такого-то позову, он все подтвердит. Скорее всего мы просто люди психологически разного типа, и естественное в таких случаях недопонимание порождало трудности общения. В остальном вряд ли мы можем быть в претензии друг к другу. Я старался вникнуть самым добросовестным образом, подробно записал все, что говорили Меньшиков и сотрудники его сектора, взял с собой десяток подаренных Леоном Ивановичем методических книжек и прочитал их от корки до корки с карандашом, включая и правила расчетов коэффициентов. Прихватил и многотиражки с популярным изложением систем для рабочих. Там было еще яснее, чем в книжках. Надеюсь, я понял.

Первое, интуитивное ощущение — имею дело с новоявленными пифагорейцами. Школа древнегреческого философа с острова Самос абсолютизировала число. Количественные отношения, утверждали пифагорейцы, являются сущностью вещей. Когда Леон Иванович Меньшиков и его единомышленники рассуждают о социальном управлении, удовлетворенности и счастье, сразу же после беглых «человеческих» предисловий в текстах их методик возникает почти пифагорейская мистика чисел. Допустим, толкуют они об оценке работников, занятых в сфере управления социалистическим производством, и тут же сообщают всем, что в основу оценки ими «положены высоконадежные числовые методы». Рассуждают о реализации принципов социалистического соревнования и требуют «количественной (числовой) оценки деятельности соревнующихся по всем направлениям». Информировать общественность не без гордости: добились «качественных характеристик аттестуемых и выводов по аттестации на основе расчета числовых (количественных) показателей аттестации». Утверждают, что основным степеням профессиональной пригодности человека «соответствуют следующие числовые величины...».

Я отчеркнул карандашом абзац в тексте:

- «1. Нажать кнопку «Гашение общее».
2. Нажать одновременно обе кнопки «Стирание МОЗУ».
3. Нажать кнопку «Гашение общее»...
9. Нажать клавишу «Автомат».
10. Нажать кнопку «Пуск»...»

Эта похожая на репортаж с космодрома техническая инструкция оператору ЭВМ привлекла меня своим заголовком: «Ввод годовых социалистических обязательств рабочих...» Ну, разумеется, в методиках, публикациях нотовцев «Коммутатора», их интервью, пояснениях, выступлениях там и тут мелькают фразы о человеке: «превыше всего человек», «нельзя заменить человека», «окончательно решает человек», — но, похоже, Леона Ивановича уже тяготит узкий сей кафтан. И хочется сбросить его, распрямить плечи, освободиться от архаичного «человеческого пережитка». В работе его, изданной в Риге, прочитал: «При всех достоинствах это поколение автоматизированных систем оценки кадров управления обладает существенным недостатком». Я удивился: что слышу от Леона Ивановича! Он ли это говорит, уверявший меня, что для разработки новых систем ему потребовалось ни больше ни меньше как «создание теории оценки персонала в социалистическом общественном производстве и внедрение этой теории в практику», что речь идет «о третьем поколении автоматизированных систем», созданных «впервые в нашей стране»! И вдруг — существенный недостаток. Чем же провинились детиска перед авторами-разработчиками? А вот чем: «...они еще не обеспечивают принятия руководителями этих рекомендаций и их реализации». Именно рекомендательный характер систем не устраивает Леона Ивановича.

«Это позволяет отдельным руководителям, не принимая во внимание результатов действия систем, осуществлять кадровую политику на предприятиях на основе собственных, не всегда верных суждений. Рекомендательный характер систем оборачивается недостатком, приводящим к большим психологическим и экономическим издержкам. Поэтому...»

Вникните в ход мысли, проследите истоки ее, динамику. Сначала машины выдавали руководителю по кадровым вопросам только информацию — первое поколение, объясняет Леон Иванович, плохо, мало! Потом, когда пришла эра «систем второго поколения», научились «получать с ЭВМ уже не только информацию о работниках (пусть даже и систематизированную), но и определенные числовые значения этой информации» — плохо, мало! Наконец, выведенное на арену третье поколение автоматизированных систем стало обеспечивать оценку персонала «высоконадежными числовыми методами». И, выходит, опять не то? Снова плохо, мало? Чего же еще желает Леон Иванович? «...вырисовывается необходимость в разработке систем четвертого поколения, обеспечивающих не только оптимизацию решений, но и их реализацию».

Даже реализацию?! Я подчеркнул слова, ибо тут уже нет места человеку. Вытеснен директор из-за руководящего письменного стола, выставлен за обитую дерматином дверь кабинета. Прочь, прочь — не нужен! Подготавливает, оптимизирует и реализует решения о людях (системы-то социальные!) новый властелин — компьютер.

Леон Иванович полагает, однако, что надо позаботиться о некоторой страховке, как бы машина в роли директора не скатилась, допустим, в болото протекционизма, не начала подбирать на руководящие должности «своих братишек»: «Поскольку создание таких систем возможно только при условии абсолютной уверенности в правильности машинных рекомендаций, очевидно, что в основу их должны быть положены еще более расширенные перечни кадровой информации (до 150—200 данных о каждом работнике), а также обладающие повышенной надежностью сложные количественные методы оценки персонала, построенные на комбинировании двух-трех числовых методов». Других опасений у него не имеется. Нет, он все-таки пифагореец, неугомонный Леон Иванович!

...— Тут на схеме показаны основные блоки социально-психологической удовлетворенности заводского человека. Мы стали создавать системы, которые обеспечивали бы каждый блок. Что значит обеспечивали? Своим функционированием автоматически они способствовали бы удовлетворенности работника в данном направлении. Ну там профессией, трудом, общественным питанием. Вы понимаете?

О, я отлично понимал: в животе посасывало, видимо «вычислительный центр» в моей черепной коробке автоматически принимал сигнал обратной связи, свидетельствующий об остром желании немедленно испытать удовлетворенность именно общественным питанием. С утра маковой росинки во рту не было.

Леон Иванович любезно выделил мне в сопровождающие своего физиолога, очаровательную Эмилию Ивановну Разманову, и мы отправились перекусить.

Утром она объяснила мне смысл АСППП — автоматизированной системы прогнозирования профессиональной пригодности — и даже проверила меня на двух приборах. В одном случае я должен был металлической указочкой дотронуться до кружков, разомкнутых слева. Понимая, что проверяют на внимательность, честное слово, я очень старался, но результаты оказались чудовищно плохими: счетчик показал большой процент ошибок и время, выходящее за все допустимые нормы. Еще нужно было тонким стерженьком пройтись по проволочному лабиринту, не задев стенок ходов, прибор фиксировал число прикосновений и время — испытывалась твердость моей руки, увы, дрожавшей, как у алкоголика после святого причастия.

— К этим двум заводским профессиям вы не очень подходите, — ободряюще улыбалась Эмилия Ивановна, — но не огорчайтесь, можно выбрать себе другую.

Спасибо, уже выбрал... И вот идем обедать. Двор в цветах, хороший аппетит — славно!

Заходим в зал. Полная удовлетворенность! Сыпанул в прорезь мелочь, нажал одну из трех кнопок, получил жетон. Сунул жетон в щель — выскочил поднос с супом и котлетами... «Понравился ли вам обед? Да, нет — нажмите кнопку»... «Что вы хотите заказать на завтра? Выберите меню — нажмите кнопку». Автоматизированная система общественного питания. Заправка технологически безукоризненная. Зарядимся?

— А не пойти ли нам лучше в кафе? — предлагает Эмилия Ивановна.

Кафе тут же, на заводской территории. А есть еще чайная, шашлычная, кажется, пирожковая или пельменная, что-то в этом роде. Художники постарались. Интерьеры высшего класса: чеканка, живопись, графика, деревянные панели, «интим» светильников, располагающая мебель... Даже в центре Риги, даже изысканным вечерним посетителям баров эти заводские «едальни» показались бы сверхэлегантными. Молодец «Коммутатор»! Такого общепита еще нигде не видел на предприятиях, разве что в той же Риге на ВЭФе. На другой день, когда пошли обедать с Меньшиковым, я поставил тест: нарочно бодро зашагал в

«ожетон—поднос—кнопку», увлекая за собой руководителя бюро систем третьего поколения. Но у порога он стал притормаживать, упираться, как молодой бычок, пятиться назад:

— Нет, нет, предпочитаю в шашлычную.

Ага, пифагореец, так я и думал!

Теперь прочь эмоции! И так уж довольно. Происходящее на «Коммутаторе» не сведешь к освященному поэтом «программированному зверью». Во-первых, заводчанам самим, кажется, нравится. Говорю без особой уверенности, так как точными данными (материалом репрезентативного опроса) не располагаю: этого не изучали, хотя в числе прочих есть у них и автоматизированная система учета общественного мнения (АСУОМ). Во-вторых, кое-что перенимают другие заводы — находят, стало быть, смысл. В-третьих, действительно нужны учет и контроль, разного рода сопоставления и сравнения, касающиеся жизни коллектива, великое множество информации. На многотысячном предприятии не станешь, если что понадобится, загибать пальцы — это главный козырь Леона Ивановича. Он давно уже тщательно подсчитал: в социалистическом соревновании за год нужно собрать, учесть и проанализировать до 200 тысяч пунктов информации... на подготовку аттестационных документов заводу приходится затрачивать 500—1000 человеко-дней... для определения пригодности к различным профессиям (20—30 данных о человеке, содержащих 200—250 единиц информации) пришлось бы иметь в штате предприятия 40—60 специалистов.

Нет, все не просто. Даже со столовой-автоматом. Конечно, за столиком кафе приятнее, но если вам нужно пообедать за четверть часа? Если заводу нужно быстро накормить в перерыв множество людей?

Есть еще одна причина, требующая более серьезного отношения к процессу автоматизации социального управления, чем интуитивный протест «на уровне души»: голос времени. В такой век живем! Идет глобальная компьютеризация, которую мы приветствуем, боимся, оспариваем, принимаем, отгоняем, снова приветствуем, опять боимся... Скажем, АСППП, которой меня Эмилия Ивановна испытывала: автоматизированная система прогнозирования профессиональной пригодности — вещь полезная, необходимая. Приходят школьники, люди из ПТУ, демобилизованные из армии — о заводских профессиях (их десятки) представления не имеют ни малейшего. Им дают профессиограмму, составленную на основе предварительных серьезных исследований. По описанию в ней уже можно как-то сориентироваться: привлекает, нет ли. Допустим, привлекает. А подходишь ли сам со всеми своими индивидуальными данными — физическими, физиологическими, психологическими и интеллектуальными? Всю жизнь определялось это на глазок, люди искали, переходили с места на место, притираясь к профессии «методом тыка», вреда и себе и работе. Иные мучаются всю жизнь — не нравятся, не успевают, устают, плохо получается, их поругивают, мало платят, а все дело, оказывается, в зрении или недостаточной чувствительности каких-то реакций.

На «Коммутаторе» разработаны профессиограммы на 25 рабочих профессий, объединенных в 10 групп. Всех новеньких или желающих сменить место подвергают испытаниям. Для этого есть разные приборы. Проверяют скорость вашей реакции, координацию движений, чувствительность пальцев, восприятие пространства и т. д. Прибавят медицинскую карту и сведения, характеризующие личность. Все это отправится в компьютер, где на каждую профессию уже хранится «образ», полученный в результате математической обработки массива данных. В конечном итоге ЭВМ приходящему на завод выдает табуляграмму с развернутым прогнозом профессиональной пригодности. Решают администрация и сам кандидат: если да — в приказ, нет — автоматизированная система подыскивает и подсказывает что-нибудь для вас подходящее. Мне заранее говорят, к чему я гожусь, помогают сделать выбор, не подталкивают насильственно туда, где в производстве дырка. Поэтому, уважительно, демократично.

— Понравилось? Отлично! Возьмите другое,—развивает наступление Леон Иванович.— Когда-то судили о человеке по кадровому листку, но разве десяток пунктов что-либо решает? Мы в свое время начали с того, что расширили личную карточку до сорока двух пунктов о каждом и, естественно, подключили ЭВМ — не раздуть же второе отделение кадров! Сейчас внедряем систему на девяносто два пункта информации о человеке. А в будущем у нас появится автоматизированный банк социальной информации примерно на сто шестьдесят—сто восемьдесят пунктов о каждом. И это не предел.

— Не довольно ли?

— Нет, нет, это, конечно, далеко не предел.

О, как зыбок, как тонок лед между общественно полезным и социально вредным, не-

обходимым и ненужным. Один лишний шаг — и уже белое становится черным, достоинства переходят в свою противоположность.

— Мы создали и автоматизированную систему, которая выдает характеристики в учебные заведения, военкомат, суд. ЭВМ для разных случаев выдает разные тексты — в институт одно нужно, в прокуратуру другое.

Показывают мне табуляграмму-характеристику: «Моральная устойчивость недостаточная». Речь идет о женщине. Что означают эти слова? Пьет? Заводит случайные знакомства возле гостиниц? А может, некий пуританин и ханжа зачислил вынужденный, горький ее развод в моральную неустойчивость?

— Система лишь проекты выдает в виде стандартных болванок, если так можно выразиться. А пьет ли, гуляет — как узнать? Обычно в характеристиках такие вещи не пишутся, есть форма. Я понимаю вашу претензию, она обоснованна.

Извините, Леон Иванович, претензия у меня не к форме — к сути! Людям свойственно меняться, забывать, отходить, прощать. А машина «злобно» — не нахожу другого слова — будет год или два держать в памяти чужой позор. Женщина, которой записали «моральную неустойчивость», долго будет ходить с этим страшным пятном, ощущая поистине железную антигуманность. Только болванка? Но любой оператор ЭВМ, любой сотрудник вычислительного центра и отдела НОТ может вызвать через год тень этой давней порочащей записи, показывать знакомым, использовать каким-то образом во вред ничего не подозревающему человеку, как мне показали табуляграмму с фамилией. Выдадут «неустойчивость», а что и почему, может случиться, никто уж не знает, прежний начальник давно уволился, люди в отделе переменялись, не у кого спросить, новый шеф не в курсе: «Послушайте, машина пишет «аморальный». значит, так и есть, получайте что дают». И уйдет она с постыдной бумажкой, где дырочки перфорации по краям будут как пробоины в душе.

Табуляграммы... Изречения автоматизированной системы деловой оценки (АСДО), принесенные по моей просьбе Леоном Ивановичем из архива, читаются как ребус.

Драгович П. К.: «...профессиональная компетентность — посредственная, творческая активность — слабая, общественная активность — слабая... Может ли быть включен в резерв на выдвижение? Может».

Беркутов А. С.: «...профессиональная компетентность — слабая, творческая активность — посредственная... Может ли быть включен в резерв на выдвижение? Может».

Цалме Л. А.: «...профессиональная компетентность — посредственная, творческая активность — отсутствует... выполнение заданий подчиненным подразделением — посредственное... Может».

Вероятно, надо иметь электронные мозги, чтобы так сложить и перемножить разные качества (у них есть и высокие оценки), чтобы «в среднем» рекомендовать на повышение людей малосведущих, неумелых, безынициативных. Впрочем, не берусь утверждать, что они на самом деле такие, упомянутые мною люди (потому и заменил фамилии), ибо неизвестно, кто, когда и при каких обстоятельствах заложил в программу подобные сведения о них.

В автоматизированной системе аттестации (АСАТ) лишь 17 из 95 пунктов собираемой на сотрудника информации не могут быть подтверждены документально, утверждают авторы, и в девяти случаях из десяти оценка достоверна. Я подумал, как бы чувствовал себя, оказавшись неудачливым десятым. Если ошибутся в моей политической зрелости, моральной устойчивости, общей эрудиции и кругозоре — а это все авторами отнесено к 17 пунктам, то есть к категории пятидесятипроцентного «возможного отклонения в обе стороны от достоверного уровня», — то мне останется лишь радоваться, что соблюдена точность в остальных «строгих документированных» пунктах, среди которых фамилия, табельный номер, год рождения, специальность, диплом, шифр должности, подразделения и т. п.

Леон Иванович вправе возразить, что аттестации, проводимые «ручным способом», не гарантируют большей достоверности. Так ли это? Лишь крупное и всестороннее исследование, проведенное на многих заводах с целью сопоставления различных методов аттестации, могло бы дать ответ. Вот достойная задача для социологов.

Наиболее известная из придуманных на «Коммутаторе» — АСУРСС, автоматизированная система учета результатов социалистического соревнования. Награждена премией, удостоена дипломов, многие ее перенимают.

Гласность, сравнимость результатов перестали быть пустым звуком, подчеркивали в беседе со мной энтузиасты.

АСУРСС может расставить цепочку людей, ранжировать их по тому или иному признаку, совокупности признаков: в программу заложены соответствующие коэффициенты.

В мою задачу не входит подробный методический разбор АСУРСС или других систем



социального управления «Коммутатора», тщательное выявление их достоинств и недостатков, экономической эффективности. Это работа для специалистов. Я пытаюсь лишь обратить внимание на некоторые нравственные и социально-психологические аспекты проблемы использования электроники в столь тонком деле, как повышение степени «удовлетворенности и счастья людей».

«Первое место в соревновании слесарей по табуляграммам занял слесарь А. Цабуль, тридцать четвертое — Е. Герман, пятьдесят девятое — Р. Фрейберг, последнее — А. Егоров». Слесари, разумеется, не по табуляграммам соревновались, но не будем придираться к стилистической погрешности, поразмыслим о сути. Итак, прежде знали лишь первого и последнего, а теперь известна вся шеренга, кто под каким номером. Что, однако, от этого меняется? Егорову, допуская, обидно. Цэбулю лестно. А тем, кто посредине? 15 показателей индивидуального соревнования, каждый со своей значимостью: выработка и качество — 0,23, рационализация — 0,10, а вот шефство над молодыми дает только 0,05... Машина, конечно, перемножит, на то и машина. Надо, чтобы у человека появилось желание вникать, искренне переживать за все эти цифры с дробями, хотя бы и связанные с моральным и материальным стимулированием. Но отчего ему возникнуть, желанию, если на призовые места все рассчитывать не могут, мест не хватит, а основная масса посредине, хоть считай коэффициенты, хоть не считай — посредине основная масса, заранее известно, что посредине. И я в ней, в основной. Значит, я, как все, как большинство, посредине, не хуже других. Ну, скажут мне, что я 69-й или 156-й — что из того? Я в основной массе, и нечего мне за цифирками бегать.

Если задаться целью сравнивать друг с другом каждого из тысяч людей по 15 показателям — от личной выработки до выполнения разовых общественных поручений, — то АСУРСС просто необходима. Вручную такую работу не осилит даже фирма Атлант, Геркулес и К°. Другой вопрос — зачем? Разве сопоставлять по успехам в работе недостаточно? Предполагается, видимо, что соперничество надо развивать в широком диапазоне, включая и социальную активность. Здесь, однако, можно напороться на подводные камни.

У одного техническое творчество — песнь души, а меня, может быть, тянет возиться с молодежью, новичками (вдвое менее выгодное, с точки зрения коэффициентов АСУРСС, занятие), Макаренко во мне умирает, или нашел себя в заводском танцевальном ансамбле: рационализатор на вечере в клубе смотрит, открыв от восхищения рот. Я же ему завидую: вот башка, мне бы ни в жизнь не догадаться! Зачем же всех подряд подталкивать к рационализации? А ведь подталкивает АСУРСС, подталкивает в спину, и довольно бесцеремонно. У того, кто без всяких предварительных обязательств подал два предложения, показатель оказывается хуже, чем у того, кто обязался подать одно и подал. Я даже не поверил сначала, перечитал еще раз: «...фактическое выполнение за год у него составило два предложения, а условная норма по цеху у данной категории рабочих — одно предложение. Пользуясь формулой расчета коэффициента... 0,66. А если бы рабочий взял на себя обязательство подать хотя бы одно предложение, его коэффициент составил бы 1,66». Наивный человек, я полагаю, что реальных два лучше, чем одно обещание! Оказывается, у АСУРСС иная логика. Представьте себе, что бегун пробежал дистанцию быстрее другого, а его поставили на второе место. «Как, почему?! Судью на мыло!» Разъясняют: «А он не обещал прибежать первым».

При знакомстве с милыми сердцу Леона Ивановича системами третьего поколения замечает переплетение разумного с излишним. Чаши весов иногда колеблются в ту или иную сторону, порой выравниваются, а бывает, что и одна заметно приподнимается над другой.

Первоначально были у них лишь переносные приборы для голосования с двумя клавишами — за и против. Когда руководство устраивало какие-либо совещания, пользовались присутствием многих людей, чтобы выяснить отношение к заводским проблемам. Сейчас установлено 15, выражаясь языком авторов, «точек опроса». Выбраны они продуманно, с учетом структуры коллектива. В ЭВМ заранее введены данные, характеризующие соответствующий отдел, цех.

Идет человек и видит: новые вопросы на табло, недавно были другие. Любопытно. Остановился, прочитал, выбрал один из вариантов ответа, нажал кнопку. Если что непонятно, можно познакомиться с инструкцией, она рядом висит. Впрочем, хитрое ли дело — кнопки нажимать? Люди «Коммутатора» давно к АСУОМ привыкли. Автоматизированная система учета общественного мнения прижилась. Нравится и мне. Что хорошо, то хорошо. Правда, я не стал бы преувеличивать степень достоверности и репрезентативности получаемой информации. Идущий мимо человек может и дважды и трижды нажать кнопку, одно-

временно проголосовать за и против, не отказывая себе в удовольствии поиграть с машиной. Я десять раз нажал, счетчик зарегистрировал десять проголосовавших. Но многие, конечно, относятся к опросам серьезно.

По телефонным проводам сигнал попадает в центральный накопитель информации, одновременно фиксируется и шифр «точки опроса»: есть возможность группировать мнения — конструкторы ли это высказались, сборщики ли такого-то цеха. Совокупные данные передаются на вычислительный центр. Вопросы на табло можно менять хоть каждые две недели. И если не очень строго придирается к точности, получается довольно удобный, быстродействующий инструмент оперативного учета общественного мнения. Всегда готовый к работе, наглядный и привлекательный инструмент демократизма.

— Только что дирекция обсуждала результаты очередного опроса, — сказал мне Л. Д. Лубоцкий, — много у нас еще безобразий.

Хорошо, когда заводские администраторы о желаниях и претензиях людей, разного рода сбоях в работе, конфликтах узнают не только на собраниях, где и выступить может лишь десяток ораторов, нередко «штатных». АСУОМ анонимна. Говори что хочешь, никто тебя за критику не прижмет. Посмотрят лишь, почему эта «точка опроса» особенно волнуется. Ага, там в большинстве женщины или, допустим, молодежь, люди образованные или не очень, кадровые работники или зеленое пополнение. Все, все о «точке» ЭВМ известно заранее.

Идете мимо — нажмите кнопку!

Повторные проверки через АСУОМ или контрольные исследования с помощью «ручной» социологии помогают уточнить истину. Да и людям поспешенно надоедает шутить. Стирается ощущение новизны, необычности, невольно подталкивающее к куражу. По мере адаптации приходит понимание: острый сей инструмент можно применять для дела.

«Удовлетворены ли вы использованием вашего рабочего времени?»

«Соответствует ли планировка и организационная оснащенность рабочего места требованиям вашей работы?»

«Удовлетворяет ли вас режим труда и отдыха?»

Идете мимо — нажмите кнопку!

«Коммутатор» — завод передовой, один из лучших в Латвии и своей отрасли. Однако пятна, как известно, есть и на солнце. Отвечая на вопросы АСУОМ, станочники, сборщики, инженеры весьма критически отзывались об использовании рабочего времени. В цехах вполне довольных оказалось лишь 10 процентов. Многие имеют претензии к организации и оснащению своего рабочего места. Поэтому генеральный директор и поделился своими огорчениями насчет «безобразий». Здесь предпочитают не прятать сор, а подметать его. Дух самокритичности, поощряемый, в частности, и автоматизированной системой учета общественного мнения, помогает быстрее избавляться от недостатков. Коллектив по праву гордится высокими темпами роста производительности труда, и, я полагаю, ставка на демократизацию играет в достижении таких целей не последнюю роль.

«Как вы оцениваете роль непосредственного руководителя при организации работы в вашем подразделении?»

«Устраивает ли вас ассортимент блюд за неделю?»

«Отметьте те занятия, которые вы предпочитаете в свободное время».

Идете мимо — нажмите кнопку!

Нельзя бесконечно приставать к людям с вопросами насчет производительности труда — наскучит, и потому умная АСУОМ следит за волнами человеческого настроения и листками календаря:

«Дорогие мужчины! Раз в год сильному полу разрешается проявить свою самостоятельность. Мы тоже даем вам возможность совершенно самостоятельно, без помощи слабого пола ответить на столь важный вопрос: какие качества вы цените выше всех остальных в своих коллегах женщинах?»

«Какой вид услуг, по вашему мнению, целесообразно организовать на предприятии в первую очередь?»

«В каких коллективных мероприятиях вы желали бы участвовать в выходные дни?»

Идете мимо — нажмите кнопку!

Там, где людей не информируют, царствуют слухи и сплетни. Где не спрашивают — назревает глухое разочарование в администрации и равнодушие к жизни собственного коллектива.

Замечаешь: успех ожидает энтузиастов «Коммутатора» каждый раз, когда не закрывает им глаза мистика числа, когда не формально, не в торопливых предисловиях к методикам, поклоняющимся «системе коэффициентов», а на самом деле, всерьез поворачивают-

ся они к человеку. Говорят с человеком, слушают человека, ищут контактов с человеком, зовут человека в союзники.

Задумались, скажем, о заводской «службе семьи». Дело слишком деликатное, чтобы доверить его даже АСУОМ, решили провести обычное социологическое обследование. При мне сочиняли и редактировали вопросник. Окончательного варианта я не видел («Мы еще долго будем с анкетой возиться»), но в черновом, предварительном наброске выглядело это так: «Следует ли помогать человеку подобрать себе супруга? (Да, нет, не знаю.) Следует ли на заводе создать «службу семьи»?.. Если бы вы не состояли в браке, то обратились бы за помощью к этой службе?.. Вызовет ли учреждение у нас «системы подбора брачных пар» переход на наше предприятие холостых работников с других предприятий, привлеченных возможностью найти супруга с нужными качествами?» Там еще было что-то в таком роде: не увеличится ли производительность труда, поскольку семейные больше заинтересованы в зароботке и душевно более уравновешены, спокойны?

Прекрасно, когда задумываются о таких вещах, от души желаю, чтобы преждевременно не переложили эти размышления на мозг электронный, который без лишних церемоний и эмоций будет сводить по признаку «нужных качеств» стеснительную «48-ю» с истосковавшимся по ласке «121-м». Знаю, что в конце концов без вычислительной техники не обойдешься, «электронные свахи», не на заводах правда, в экспериментальном порядке у нас в стране уже работают, но пусть это будет именно в конце концов, после того, как со всей тщательностью люди продумают детали, церемонии и гарантии, исключающие даже малейшую неделикатность по отношению к «ней» и к «нему».

Опасение мое основано на том, что авторы систем социального управления пожинают, к сожалению, не одни лишь успехи. Иной раз у них добро и зло рокируются, будто ладья с королем. Появляется азарт математический, сугубо инженерный азарт, для которого хоть процесс варки автоматизировать, хоть союз сердец — все едино, вырастают оранжевые грибы апломба...

— Вы читали «Пределы» Шубкина? — спросил я Леона Ивановича.

— А кто это такой? — поинтересовался руководитель сектора социологии.

Между тем у доктора философских наук В. Н. Шубкина, известного советского социолога, в работе, опубликованной журналом «Новый мир» и вошедшей затем в книгу «Начало пути», есть принципиально важные мысли о пределах проникновения социальных наук в душу человеческую:

«Социолог-марксист отличается прежде всего гуманной и высоконравственной позицией. Он начинается с признания полной и безусловной суверенности личности человека, которая сама по себе обладает высшей ценностью. Даже если вам мерещится полный переворот в формах оплаты труда или докторская диссертация, вы, если вы настоящий социолог, не имеете права нанести ущерб личности, которая участвует в вашей работе... Социолог-профессионал, в отличие от дилетанта, помнит, насколько тонка и хрупка структура межличностных взаимоотношений, как легко разрушить ее, и нанести тяжелую травму человеку, что разрушит коллектив, перессорит людей куда проще, чем создать отношения уважения и товарищеского сотрудничества. Неделикатность в области человеческих отношений, общение с «позиции силы», давление креслом, удары авторитетом — вещи столь же недопустимые для социолога, как для хирурга пользование топором».

Я вполне разделяю эти мысли ученого, потому и насторожился, когда Леон Иванович стал с энтузиазмом разворачивать перед моим взором перспективы создания мощного заводского «банка социальной информации» с сотнями пунктов записей о каждом в памяти компьютера. Есть, есть пределы того, о чем допустимо расспрашивать человека, пришедшего на завод по договору трудового найма, есть и пределы того, с чем согласен без ущерба для себя и близких сообщить человек заводской администрации, обществу. Душевно раздетым никто не обязан и никого нельзя обязать появляться на людях.

Вопрос действительно тонкий и не сводится, на мой взгляд, к одной лишь опасности неделикатного вторжения, которое, как пишет В. Н. Шубкин, «посягает на ваше настроение», на ваше «я», на суверенитет вашей личности». Думаю, не менее страшно, когда у человека под влиянием широко распространенного уважения к науке вырабатывается покорность ей, как судьбе, автоматизм подчинения некой новоявленной «высшей силе», решающей за него в плане социального управления жизненно важные вопросы. Когда в центр социального управления ставится ЭВМ, то и у самих разработчиков и у «потребителей» их систем замечаешь едва ли не идолопоклонническое отношение к машине. «Машина трижды делает сортировку людей, определяя лучшего» — возможно, оговорка, но достаточно характерная для Леона Ивановича.

«...многие думали: а сможет ли машина судить, кто из нас какое место занял? Но когда мы увидели первые результаты, то убедились — ЭВМ работает, как хорошо отрегулированные весы. Она до мелочей взвешивает вклад каждого и в выполнение производственной программы, и в общественную работу, и во многие другие стороны многогранной жизни коллектива» (письмо рабочих «Коммутатора», напечатанное латвийской газетой).

Слушаешь, читаешь и думаешь о том, что нечто существенное сместилось в сознании, представлении — не в лучшую сторону, увы, сместилось. Машина не судит, это ясно, только считает по программам, но истинная ее роль отодвигается куда-то на периферию сознания. Возникает и подкрепленный частным употреблением, утверждается в голове новый стереотип: судит машина. Она точна, безгрешна, не ошибается никогда, она и есть сама объективность, сама наука, сама целесообразность и справедливость. Разработчики, пропагандируя свои системы, особенно нажимают везде и всюду на обеспеченную ими точность и объективность. И человек постепенно привыкает к мысли: итоги его труда, заслуги его перед коллективом и обществом подводит не он сам, не ближайшие его товарищи, не тот же коллектив, даже не начальник, а где-то там, почти за облаками находящееся, куда не только посторонним, но и своим заводчанам вход воспрещен, Всевидящее Око Автоматизированной Системы Социального Управления, которое Леон Иванович окрестил бы, вероятно, благозвучным именем ВОАССУ. Честное слово, не столь уж большая разница между выражениями «бог правду видит» и «машина судит».

Генеральный директор упомянул о новинке:

— Наши товарищи долго работали и в конце концов сделали АСПТК. С точки зрения нынешних наших условий, это, конечно, абсурд совершеннейший. Здесь мы забегаем далеко вперед. Если бы была такая возможность: открываешь двери отдела кадров, а там толпа, ломятся к нам люди — вот тогда мы бы их подбирали по совместимости. Вы понимаете? А на сегодня это утопия...

Понятно. Я стал уточнять у Леона Ивановича и психолога Баходыра Махмудова, сотрудника его сектора, непосредственного разработчика АСПТК, что за чудный зверь. Да еще с заглядом в будущее. И услышал:

— Будущее? Нет, это недоразумение. Скорее всего вы неточно поняли директора. Мы не для завтрашнего дня, а для сегодняшней ситуации системы создаем...

Вот те раз! А как же нехватка рабочих, отсутствие толпы в отделе кадров?

— Для АСПТК это совершенно безразлично. Имеется в виду подбирать по признакам психологической совместимости уже работающих за заводе людей.

— Как это подбирать работающих? А они уже подобрались, работают. Сортировать их, что ли, машина будет?

— Видите ли...

Я включил диктофон, положил рядом блокнот для контроля и сказал психологу:

— Давайте-ка все по порядку, если можно. Это что-то любопытное.

— Мы предварительно провели ряд исследований, выяснили, какие факторы влияют на взаимоотношения людей. Применяли хорошие тесты, отечественные и зарубежные. Проверили примерно пятьсот человек, свыше двухсот пар. Проводилось изучение и по другим методикам — с помощью приборов, без тестов...

Мой собеседник спокоен, рассудителен. Высокий, худой, в роговых очках, с черной бородой. Психолог профессиональный, воспитанник факультета психологии Ленинградского университета. Работает уже лет шесть, на «Коммутаторе» с семьдесят седьмого. О нем рассказывали мне: психолог хороший, умный. Читал в заводской газете и статью Махмудова о причинах конфликтов, скрытых в нас самих, нашей духовной организации, темпераменте, способности слушать и воспринимать чужие мнения, даже голос чужой, особых свойствах нашего ума, глухого нередко к уму другого, о качествах характера, определяющих человеческую коммуникабельность. Думаю, многие, как и я, прочитали с интересом.

— Если бы мы, допустим, брали вновь поступающего, обследовали его по психологическим тестам, что с ним после этого делать? Посылать в коллектив, который не подвергся, простите за грубое сравнение, переработке? Нет смысла. Мы даже не будем знать, куда его послать. Поэтому мы берем за исходное сложившийся коллектив, где отношения сформировались. Двое хотят друг с другом работать, не желали бы расставаться. Другие двое не желают быть вместе. Возможны случаи, когда оценка их взаимоотношений не совпадает с прогнозом, полученным при тестировании. Тестовые прогнозы опираются на статистический материал, общие закономерности. А личность индивидуальная.

— А так не может быть? Я наушничаю, угодничаю перед начальством. А вам это противно. Хотя по тестам...

— Да, именно про то и говорю. Есть масса характеристик человека, которые мы никакими тестами уловить не можем. Они вообще слишком сложны для научного анализа, научного описания. Понимаете? Система АСПТК, да и никакая другая система неспособна улавливать сверхсложные человеческие характеристики. Не зря они довольно точно называются душевными. Есть граница, которую наука не может перешагнуть. Наука по сути своей аналитична. Она останавливается перед сложными целостными синтетическими явлениями, очень высоких порядков сложности, до них мы не можем добраться. Я в своих исследованиях вижу потолок. Не тот, который лично я не могу перейти,— вся наука не может его перейти! Не может, опираясь на доступные ей средства исследований.

Не может? Однако они делают, и есть уже рекламное описание:

*«Система функционирует следующим образом — в цехах, где производится перекомплектование бригад, собираются следующие исходные данные на работников: нормативы по профессионально-квалификационному составу бригад, данные о социально-демографических характеристиках рабочих, информация о личных качествах рабочих, собираемая с помощью психологических тестов. Исходная информация перфорируется и вводится в ЭВМ. В соответствии с заданным алгоритмом на ЭВМ формируются пофамильные списки... Списки поступают к администрации цеха для принятия мер по перекомплектованию состава бригад... Стадия выполнения работы: экспериментальное внедрение. Ожидаемый экономический эффект: 60 тыс. руб. в год...»* Передача, сказано далее, возможна на условиях договора о передаче научно-технических достижений и оказании помощи в использовании заимствованного передового опыта. И подпись: *«Автор материала Махмудов Баходыр Хамраевич... Адрес для запроса документации...»*

Я смотрю с изумлением. Администрации цеха для принятия мер? 60 тысяч ожидаемого в год дохода от того, что помещено, по его же определению, «за пределами науки»?!

— Понимая границы своих возможностей, мы решили заложить в основу системы принцип доверия. Сохранять нетронутыми группы, где существуют положительные отношения. Разбивать лишь тех партнеров, которые откровенно друг друга не переносят. Но опять же это полностью проблемы не решает. Вы правильно сказали: по тестам все хорошо, а сложные нравственные характеристики, не учитываемые тестами, все плюсы переделают на минусы. Разобьем непереносящих друг друга, а начнем их определять в другой коллектив — и там могут возникнуть новые узелки вражды. Ибо наши прогнозы по всем соображениям могут не соответствовать реальности. И несоответствие будет тем в большей степени, чем люди в большей степени люди. Я хочу сказать — чем более индивидуальны, чем более ярко выражены личности. Честно сказать, вся эта система рассчитана не на человека...

Слава тебе господи! На работа?

— Не то чтобы на работа, но все же... Она базируется на предпосылке, что человек простое существо, с ним все ясно. А с ним ничего не ясно! И там, где мы сталкиваемся с чисто личностными характеристиками, система сразу пасует. Но поскольку в человеке есть и высокие характеристики и более простые, примитивные, то мы делаем то, что можем.

— Учитываете лишь примитивность? Ваш «подбор психологически совместимых», мягко выражаясь, как бы выразиться... э...

— Не смущайтесь. Я понял. Да, наш подбор не апеллирует к человеку как к человеку. Он неполный, приближенный, вроде бы имеет дело с частью человеческих характеристик, а не со всей личностью. Но мы хотим попробовать. Один цех добровольно изъявил согласие.

— Весь цех?

— Руководство дало согласие. Там проводятся испытания людей по тестовым методикам. Предстоят переброски из одной бригады в другую.

— А вы не ожидаете протестов, скандалов, слез? Начнете перебрасывать, а он возмутится: «Извините, я ничего не знаю, хочу работать здесь». «Вам с Петровым лучше, он вашего типа». «Какой еще Петров? Да идите вы...»

— Системой некоторая страховка предусмотрена. Допустим, в бригаде десять человек и они заявляют, что каждый с каждым хочет работать. В таком случае бригада не переформируется. Желание учитываем.

— Желание? Да кто вам скажет — я такого-то не хочу видеть? Вы порасспрашивали и уши, а ему с ним работать, он не подозревает, чем все это может кончиться. Или другое. Говорит «не терплю», потому что обиделся, а послезавтра помиряется, но вы его уже

внесли в списки для переформирования. Я предвижу, что, когда у вас дойдет до дела, все перегрызутся. Достигнете противоположного.

— Видите ли... Отодвинемся несколько в сторону от заводских дел. Я психолог. Есть научная проблема совместимости. Для космоса, подводного плаванья, длительных полярных экспедиций — разных целей. Это интересная область исследований. Я говорил о границах вторжения, но надо еще изучить в точности, по какой именно черте проходит граница. Люфт выбран далеко не полностью. Для исследователя это работа. Интересная и общественно полезная работа. Реализовать же такие идеи в заводском коллективе очень трудно. Поэтому мы дадим им рекомендательные списки. Подчеркиваю: рекомендательные! Примут ли они рекомендации ЭВМ или не примут — их дело. Заставлять нельзя.

Уже легче.

А что думает мой собеседник об увлечении автоматизированными системами социального управления, о вторжении электроники в душу человеческую, претензиях ее быть поддырем, судьей и учителем? Что думает обо всем этом Баходыр Махмудов, воспитанник известной ленинградской психологической школы?

— Не стоит обобщать, валить в кучу. Все эти системы надо рассматривать конкретно каждую в отдельности. Каждая имеет свой характер. Вот, скажем, пред вами красивая, хорошая система — АСППП. Она автоматизирует прогнозирование профессиональной пригодности. Ну, это совершенно железно в смысле достоверности, полезности, безопасности для личности. Человека проверяют на приборах и устанавливают связь между его характеристиками и требованиями той или иной профессии. Это хорошее дело. Система не просто регистрирует, но и рекомендует. Она конструктивна. В АСУРСС, имеющей дело с соревнующимися людьми, значительно больше выделяется чисто регистрационный момент. Воздействие, управление в этом случае как бы выходит за рамки системы. Учет соревнования, подведение итогов были и раньше. С этой точки зрения АСУРСС принципиальных изменений не вносит. Она изменяет лишь технологию и технику учета. А суть остается. Системы разного достоинства. Не может быть одинакового подхода.

— Хорошо. Тогда зайдем с другой стороны. Как вы считаете, достаточно ли комфортно в психологическом смысле ощущает себя человек, если он с ног до головы опутан автоматизированными системами, которые его контролируют, подталкивают, оценивают, сортируют и т. д.? Одна лучше, другая хуже, а если все вместе обрушиваются на голову?

— Это очень интересный вопрос. Я вам скажу. Над всем этим я начал задумываться только в последнее время. Буквально. Работал — и ладно, привык. Но в последнее время я начал переоценивать все это. Задумался. А какие последствия возможны? И вот чего стал опасаться. Когда мы начинаем разрабатывать автоматизированные системы не только социального, но даже и экономического управления, когда начинаем, то объявляем их рекомендательными. Но шаг за шагом они завоевывают свои позиции. Вначале — ну есть они, бог с ними, мы можем принимать их во внимание больше или меньше. Но со временем... Когда возникает к ним привыкание, они очень быстро набирают силу и появляется опасность: сначала были для человека, а потом уже человек для них. Автоматизированные системы... Вот возьмем мою, о которой мы с вами говорили...

Алгоритм, который у него был, не учитывал реально сложившегося положения, а лишь прогноз по тестам: должны ли у таких-то и таких-то быть хорошие взаимоотношения. Должны — в один коллектив, не должны — в другой. Потом он задумался все-таки: как поступить в том случае, когда прогноз и реальность не соответствуют? Человек сложнее всех прогнозов, у него было два варианта: либо вообще систему отбросить, либо отбросить... человека.

— Понимаете, какой выбор? Человек против системы — система против человека. Как две враждебные силы. В поисках решения, как преодолеть этот антагонизм, я ввел промежуточный этап: сохранение сложившихся отношений. Но это же не выход! Возникнут позже другие отношения в этой группе, опять противоречащие системе. Как дамоклов меч висит опасность: система поработит людей. Человек скажет: я не хочу с ним работать, душа у меня к нему не лежит; а система ему: лучшего напарника для тебя нет. И все! В глазах администратора авторитет системы будет гораздо большим, потому что, так он думает, она опирается на научную методику. Пределов моей науки он не знает. Их знаю я. И ввожу элемент демократизма: добровольность. Строгую добровольность! Придаю всей системе чисто рекомендательный характер. Это условие, при котором я еще могу участвовать в исследованиях, интересующих меня с чисто научной точки зрения. Добровольность! Но еще раз повторяю: все это опасно. Система, она ведь как болото: засасывает предприятия, людей. С каждым днем, с каждым годом. К ней все больше доверия, привыкания. Пони-

маете? Сначала мы можем вводить в систему на элементах демократизма и прочее и так далее. Но потом эти прокладки кем-то где-то будут незаметно устранены. Я создал свою АСПТК и ушел. В тонкостях, которые я знаю, другие могут не разобратся. Люди вообще стремятся все упрощать, это человеку свойственно. А демократизм — усложнение, учет новых параметров, больше труда, забот, внимания. Весьма большое усложнение ситуации. И потому расчет на добровольность может не оправдаться...

Тормоз на пути набирающей скорость системы может не сработать — вот что его тревожит!

— Я как психолог теперь уже четко это вижу. Автоматизированное управление социальными процессами? Это способно подлить масла. Человек может и не сознавать; в какую ситуацию он поставлен. Вот, скажем, банк социальной информации на сто ~~всего~~десят единиц информации, у нас на заводе уже обдумывается такой. Соберут с человека эти данные, он сначала будет роптать, может быть, возмущаться, а потом свыкнется. Кому-то это будет крайне неприятно, но другие скажут: против общего решения не пойдешь. А зачем такой банк? Некоторым сама идея сбора большого количества информации о человеке не кажется уже опасной. Сомнительная направленность такой идеи, ее безнравственность уже не замечаются. А со временем будут видны все меньше и меньше. Процесс автоматизации социальных факторов усиливает привыкание к антигуманности.

В конце концов он пришел к мысли: концепция автоматизированных систем социального управления исходит из того, что саморегуляция, самоконтроль человека ослабевают, человеку нужен внешний контроль. Появляется желание соорудить внешние подпорки уже и для нравственного контроля, личностного. Иначе, мол, развал. Отсутствие внутреннего контроля — фактическое или предполагаемое — пытаются компенсировать при помощи электронных или каких-то других систем.

— Я считаю, что задача состоит не в том, чтобы усиливать тенденции к ликвидации самоконтроля. Не надо ради этого создавать системы, в том числе самые тончайшие. Лучше обратиться к самому человеку, его совести, постучаться в его душу. Вот главное. Ибо на пути обращения к человеку нет ограничений. А на ином пути... И рекомендации по психологической совместимости могут стать на каком-то этапе обязательными. Найдется администратор, которому все это очень понравится. Чего там копать в душах — завинчивай! Опасно... Я долго не понимал, а сейчас понял...

Вместе со мной не пербивая, молча выслушал все это и Леон Иванович.

Снова и снова думаю о зыбкой грани между полезным и вредным, гуманным и безнравственным. Прав психолог Махмудов, прозревающий по мере собственных изысканий: это глобальная проблема. Я особенно остро почувствовал ее в необычном научном центре, первом в истории «общечеловеческом институте», созданном специально для изучения глобальных проблем, волнующих всех людей планеты: энергии и продовольствия, охраны окружающей среды и здоровья. Он разместился в старинном замке Лаксенбурга неподалеку от Вены, некогда летней резиденции особ императорской фамилии. Прошлое причудливо переплелось здесь с сегодняшним и завтрашним. Центр называется так: Международный институт прикладного системного анализа (ИСА) — неправительственная кооперация научных организаций государств. Лицом к лицу столкнулся я там с тем, что мне хочется назвать миром приключений НТР.

...Высокий пожилой англичанин, заведующий институтской библиотекой, показывая мне ее, упомянул про количество томов и выписываемых периодических изданий, но цифры, довольно внушительные, я все же слушал рассеянно — не Ленинградская библиотека, не книгохранилище Британского музея. Бесстрастно, как, вероятно, и полагается англичанину, не реагируя на скучающие мои глаза, он подвел меня к прибору с телефонным диском и рядом клавиш, экран которого напоминал обычный телевизионный, к терминалу, и попросил библиотекаря набрать номер Вены.

— Самое трудное, — сказал он, — из Лаксенбурга получить Вену.

Но нам повезло — Вена подключилась сразу. На экране возникла надпись: «Пожалуйста, напечатайте ваш код». Напечатали позывные. Экран попросил пароль — напечатали пароль. Экран любезно разрешил: «Подсоединяйтесь». Подсоединились, отстукали свою заявку: что там у вас имеется из работ физика Маркетти? Экран сообщил, что имеется из Маркетти, и сам переключился куда-то, где ответили, что у них Маркетти нет. Вспыхивают индексы, шифры и коды, по которым надо эти публикации искать. Одна программа-каталог автоматически сменяется другой, третьей, четвертой... С кем мы говорим? С вычислительным центром института?

— Нет, — отвечает англичанин, — в данный момент мы разговариваем с Сан-Диего, это в Калифорнии, в США...

Оказывается, за минуту-другую мы обшарили чуть ли не полмира в поисках статей Маркетти.

— Стоимость этой операции три доллара пятьдесят семь центов, — уточняет мистер Поппер, — вы ввели ИСА в расход, поскольку демонстрация была предпринята ради вас.

Под крышей Лаксенбургского дворца собрались физики, инженеры и математики, биологи, экономисты и медики, экологи, специалисты по ЭВМ и исследователи операций — люди 20 специальностей. Изучая одну проблему, допустим научно-техническую, они взвешивают одновременно и экономическую ее сторону, а также социальную, экологическую, демографическую и т. д., тщательно выявляя цели и предварительно «проигрывая» все варианты.

Я уже достаточно посмотрел в ИСА и был внутренне подготовлен к любым неожиданностям, когда Александр Бутрименко, молодой, черноволосый, экспансивный, оценивающий вас умными глазами сквозь стекла очков, повел меня к вычислителям. Выпускник физического факультета МГУ, кандидат физико-математических наук возглавлял в Лаксенбурге группу, в которую входили японец, итальянец, чех и англичанин.

В вычислительном центре, против моих ожиданий, оказалась лишь одна ЭВМ, мини-компьютер третьего поколения, но зато несколько уже знакомых мне «телевизоров с дисками и клавишами». С кем работает сейчас вот этот, например, терминал? Разъясняют:

— С большим компьютером в Вене.

А этот?

— С одной из французских баз данных через Италию.

Следующий — с Америкой?

— Нет, с Прагой, через Братиславу.

Меня знакомят с человеком у терминала. Полнолицый добродушный болгарин. На его экране непрерывно бегут какие-то цифры, знаки. Куда и зачем бегут?

— В Италию, в Пизу, знаете, где падающая башня.

— А вы сами бывали в Пизе?

— Никогда в жизни, к сожалению.

Однако это не мешает болгарину работать с крупнейшим итальянским вычислительным центром. Из Лаксенбурга он по проводам перегоняет в Италию свою программу, относящуюся к энергетике, там делают вычисления и таким же образом передают их обратно.

Что такое международная телефонная сеть, знает каждый, а вот международные сети компьютеров!.. Лишь немногим посвященным известно, что за последние годы компьютерные центры, электронные банки информации, объединяются в сети, пересекающие государственные границы.

Бурное развитие сетей ЭВМ, с одной стороны, сулит благо. Каждый, заплатив некоторую сумму, быстро может получить необходимые ему данные из другого города или другой страны. Скажем, в Америке, в Кливленде, создан крупный вычислительный центр, к которому и ИСА имеет доступ, по каналам связи на него можно выходить практически из любой части земного шара. Там и тут в мире возникают коммерческие сети интеллектуального сервиса. За тысячи километров стало возможным покупать и продавать знания. По оценкам специалистов, находящиеся на территории США компании «Теленет», «Таймнет», «МАРК-3», «Сайбернет» продают в Западной Европе электронно-вычислительные услуги не меньше чем на сумму в 1—1,5 миллиарда долларов ежегодно.

Электронный рынок информации! Но тут же возникают и законы рынка. Они действуют, дают, иной потребитель уже не в силах от этой информации отказаться, не в силах конкурировать с теми, кто в сборе данных ушел на пятнадцать лет вперед. Я спрашиваю себя: не ставит ли этот новый необычный сервис цивилизацию или часть цивилизации в интеллектуальную зависимость от владельцев электронных банков? Не станут ли целые сообщества людей, фигурально выражаясь, безграмотными, если кто-то захочет их отключить от базы данных? В случае, например, политических катаклизмов, войн?.. В западной печати уже высказываются суждения о том, что «проблема международного потока данных» связана с «опасностью потери законного доступа к жизненно важной информации и опасностью того, что промышленное и социальное развитие в значительной степени будет определяться решениями и интересами групп, находящихся в другой стране».

А сама по себе информация, хранение ее в памяти машин разве безопасны для личности? Мне было бы скверно, неуютно от мысли, что где-то есть электронный банк, который знает про меня все: мою историю болезни и историю моей семьи, круг общения,



малейшие прегрешения за годы долгой службы, годы жизни. Впрочем, по мнению некоторых замороженных электронным чудом людей, все это лишь пресловутый «психологический барьер». Ах, где-то что-то о вас хранится. Когда речь идет о массовой информации, говорят они, барьер отпадает. Человека может смущать: о нем все знают, а о соседе нет — именно это беспокоит. Хорошо бы вы себя чувствовали, если бы знали, что в городе один только ваш адрес и телефон можно получить в любом киоске, а все прочие адреса и телефоны скрыты? Но в Москве за пять копеек выдают адреса всех горожан, и это никого не волнует. Когда вводили общественную почту, яростные ее противники доказывали, что этого делать нельзя: могут прочесть письмо и шантажировать человека.

Внушая себе и другим подобное утешение, иные рыцари электроники мечтают о создании «банков социальной информации» чуть ли не на каждом заводе, собираются занести в память машин сотни сведений о человеке, превратить нечуткую к морали ЭВМ в тысячеглазое чудище, подсматривающее в замочные скважины. И неважно, корыстными ли соображениями руководствуются они, преследуют ли какие-то специальные служебные цели, научными ли одержимы экспериментами.

Не может не тревожить бесцеремонное вторжение в жизнь всеведующего электронного мозга. Как отразится это вторжение на психологии, служебном и личном общении, демократических общественных институтах? Сведутся ли в будущем обмены мнениями к нажатию кнопок «приборов для голосования»? Возникнет ли новая мораль, основанная на обязанности каждого перед оцупывающим его с головы до ног «банком социальной информации»? Можно ли предполагать существенные сдвиги в контактах руководителей и подчиненных, если первые получат инструмент для непрерывного наблюдения за каждым шагом вторых?

В Московском институте электронной техники, прекрасном образце зодческого искусства, созданного под руководством талантливого архитектора Феликса Новикова, в любой аудитории и в любую минуту может вспыхнуть надпись: «Внимание! Вас наблюдают и слушают». Соображения нравственности подсказали предупредительный сигнал: подсматривать неловко. Но постепенно, как справедливо опасается рижский психолог, подобные стопкраны могут из электронных систем исчезнуть — по забывчивости, соображениям удобства, экономии, необязательности, потребности в «эффективном контроле»...

Пока еще трудно предсказуемы отдаленные последствия всеобщей кибернетизации нашей жизни, происходящей на глазах. Однако законодательство ряда стран уже сейчас ограничивает сбор определенных данных о людях и передачу их по внутренним и международным сетям ЭВМ. Правовые меры такого рода обсуждаются в парламентах. Высказывается мнение, что компьютерные сети не могут регулироваться только национальными законами, нужны международные соглашения.

Люди хотят знать, что их ждет. «Люди имеют право спросить об этом нас, создателей автоматизированной системы управления, и мы обязаны ответить», — говорит академик В. М. Глушков. Мы вправе знать не только научные степени и должности поводырей электроники, но и сокровенные намерения их, нравственное кредо, человеческое лицо. Что дает им силу и уверенность превращать в алгоритмы мысли и чувства, характеры, судьбы, не поддающиеся тестированию, не вычисляемое по системе коэффициентов умение смеяться и плакать, восторгаться и ненавидеть, нырять в воду, благоговей перед божественно прекрасной капелькой росы на пестике цветка, любить кого любит, дружить с кем дружится, работать с кем работается?

Мне трудно воспринять легику, по которой кто-то получает право перекраивать мою жизнь в соответствии лишь с разрешающей способностью машин. Вычислительная техника, вчера научившаяся ходить, мчится неудержимо, подхватывая меня, увлекая в центр вихревого потока, именуемого Система. Завтра она сможет спросить, кто я такой и что мне, собственно, нужно. Смысл этой гиперболы очевиден: не за горами практически безграничные технические возможности электроники. Границы ее вторжения в жизнь людей должны поставить сами люди. Границы, очерченные не «кругом удовлетворенности» с ЭВМ в центре, а интересами личности, принципами нравственности, нормами права.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 75-летию со дня рождения М. А. Шолохова

ОНДРЕЙ МАРУШЬЯК

★

## ДОРОГОЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС ОПЫТ

Многоуважаемый Михаил Александрович!

Я берусь за перо, переполненный тем необыкновенно емким и эмоционально богатым содержанием, которое подарили мне Ваши произведения. Я благодарю судьбу за те преимущества, которые мне предоставила моя профессия, работа в Институте литературоведения Словацкой академии наук в городе на Дунае, позволившие специально и систематично изучать Ваше творчество, жить в мире Ваших книг, в течение длительного времени наблюдать драмы и трагедии Ваших героев, жизненные и моральные победы столь суггестивно изображенных Вами людей — на войне и в мирное время на благословенной Вашей земле.

В своих работах, посвященных Вашему творчеству, я всегда стремился посылно способствовать раскрытию Вашего жизненного пути и идейно-художественной ориентации, я стараюсь рассказать словацким читателям о Вашем вкладе в советскую и мировую литературу, о Вашем творческом походе за правдой, увиденной проникновенно, по-коммунистически и в то же время общечеловечески; правдой порой трагического, а в целом победоносно прекрасного столетия, столетия классовых битв.

Я переводил Ваши произведения, Вашу публицистику. Меня интересовали и конкретные отклики на Ваше творчество, и цельная картина восприятия его в Словакии, в словацкой критике и литературоведении.

Понимаю, что мне едва ли удастся сказать в этой своей статье все то, что можно было выразить даже в пределах небольшой журнальной публикации. Но все-таки надеюсь, что страницы эти донесут до советского читателя, до Вас, дорогой Михаил Александрович, сколь популярно и любимо Ваше творчество и в моей стране.

Сейчас, прежде чем начать свою статью, я воображением невольно переношусь из города, где я живу, из моей страны, где, наверное, нет человека, равнодушного к Вашему художественному слову, в станицу над Доном, в широкие донские степи. С глубокой признательностью я занимаю место среди поздравляющих: всего, всего самого лучшего Вам в семьдесят пятью годовщину!

1

**Н**аши национальные представления о казачестве и области Войска Донского до недавней поры носили традиционный книжный, романтически-возвышенный характер, что и неудивительно. Они пришли к нам из литературы, в которой жизнь казачества была в значительной мере опозитизирована. Возможно, и сейчас мы подсознательно храним эти овечьные романтикой представления, в которых наши классики эпохи национально-го возрождения в соответствии с социальными нуждами времени особенно акцентировали

оборонительную миссию полувоинского-полукрестьянского казаческого социума.

Наивные, во многом идеализированные представления о нем — словно бы окутанные дымкой мечты, стяги над колыбелями, вера в то, что казаки всегда жили мужественной дружной семьей и принимали смерть в седле, — эти представления удерживались в сердцах и умах образованной публики до тех пор, пока нам не стали известны высказывания Ленина о происходящих в среде казачества процессах классовой дифференциации, пока не появился Шолохов со своим «Тихим Доном», переведенным накануне второй мировой вой-

ны на чешский язык, а в 1946 году — на словацкий.

Я упомянул о традиционных представлениях словаков о казачестве потому, что вижу в них свой глубокий смысл. Будучи в ряде моментов ошибочными, они тем не менее подготовили нас к восприятию казацкого эпоса Шолохова.

Знакомство с воспоминаниями Шолохова о его матери, полуказачке, полукрестьянке, об отце — разночинце, который всю жизнь менял занятия, «был скупщиком скота, сеял хлеб на покупной казацкой земле, служил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим на паровой мельнице»<sup>1</sup>, воспоминания о том, как будущий писатель в течение шести лет, начиная с 1920 года, сменил множество профессий, — все это способствовало нашему более глубокому пониманию исходных факторов творчества писателя. Книги М. Шолохова становились для нас тем более притягательными, чем больше мы узнавали о писателе, о предмете его художественного внимания, чем больше знакомились с контекстом советской и мировой литературы, в котором развивался его талант.

Неказацкое происхождение по отцу и полуказацкое по матери предопределили в М. Шолохове — этом эпике и раскоде судеб казачества, в художнике лирического и балладического склада — его органичную слитность с миром своей молодости. Но в то же время с первых же шагов писатель сумел подняться в своем творчестве до широкого и проникновенно обобщенного осмысления переломной эпохи, наступившей на одной шестой части земного шара, а в конечном счете и на всей планете.

Но надо признать, что Шолохов — прежде всего живописатель донского казачества.

Однако, несмотря на откровенную тематическую ориентацию на казачество и представляющие его типы — относительно узкую и специфическую социальную среду, — несмотря на связанную с этим обусловленность изобразительных средств и стиля, Шолохов не стал писателем региональным ни по мышлению, ни по эмоциональному восприятию жизни. Он вырос в подлинного художника серьезных социальных коллизий и эпохальных перемен.

При этом весьма позитивно сказался тот факт, что интересы трудящихся, интересы угнетенных до революции социальных классов Шолохов сумел выразить в необычных, оригинальных конкретизациях, которые оказались не только новыми, но и яркими, запоминающимися.

<sup>1</sup> «Советские писатели. Автобиографии в двух томах». М. Государственное издательство художественной литературы. 1959, т. II, стр. 693.

Чем дороги нам «Донские рассказы» Шолохова? В чем мы, современники, усматриваем их значение для формирования и развития социалистической литературы в целом? В чем и нынче притягательная сила рассказов, которую мы ощущаем всякий раз, перечитывая их?

«Донские рассказы» для нас — выразительное явление советской прозы о жизни деревни на заключительном этапе гражданской войны, когда завершились наконец сражения целых фронтов и вооруженную силу контрреволюции составляли только разрозненные банды.

Если в этой связи поставить вопрос о предшественниках Шолохова в литературе, то мы неизбежно должны будем обратиться к именам таких писателей XIX — начала XX столетия, как Толстой, Чехов, Горький, которые в своем творчестве поднимали и глубоко исследовали тему «Человек — собственнический мир». Книги этих писателей — свидетельство плодотворного стремления литературы передать диалектику социальной жизни во всей ее целостности и в различных частных человеческих судьбах.

У Шолохова уже в первых рассказах с революцией связывается многообразный комплекс человеческих отношений, включая и отношения семейные, даже интимные.

Нелишне напомнить, что к тому времени, когда Красная Армия изгнала белогвардейские войска из Донской области, Шолохову было пятнадцать лет, что главная задача тогда состояла в утверждении советских форм жизни, в том, чтобы любой ценой обеспечить запас продовольствия, ликвидировать неграмотность, бороться против внутренней реакции. И поскольку теперь хорошо известна активная гражданская деятельность юного Михаила Шолохова (то, о чем он с улыбкой писал спустя годы в своей биографии), нам кажется понятной и естественной ориентация начинающего писателя на психологическое и этическое содержание событий: «Я хотел писать о людях, среди которых родился и которых познал».

Это давнее признание писателя сегодня выглядит слишком уж скромным. На наш взгляд, в «Донских рассказах» художественно изображены и обобщены подлинно исторические события и процессы, которые происходили в казачьих станицах и на хуторах на заре советской власти. Как и повсюду, здесь, на Дону, революция ворвалась в привычное течение жизни. Рассказы — реакция на существеннейшие проблемы этой эпохи, реакция, далеко выходящая за пределы личных впечатлений. Как известно, рассказы были написаны молодым Шолоховым в 1925—1926

годах. А это означает, что он спонтанно и непосредственно сумел передать остроту и динамику классовой борьбы еще в период своего становления как художника, что ему удалось переплавить в своеобразную художественную форму увиденные им драматические события во всем их эпохальном значении. Тонко, чутко угаданные писателем приметы новых человеческих черт и отношений означали прозрение художником самой существенной тенденции в конкретном историческом социуме того времени, в период коренного социального перелома.

Сегодня кажется почти невероятным, как столь молодой автор сумел разглядеть порывы благородной человечности, сложный потенциал чувств обычных своих земляков.

«Донские рассказы», как мне представляется, — пролог к творчеству Михаила Шолохова. Жаль, что советское литературоведение сравнительно мало занималось «Донскими рассказами».

Этим рассказам и повезло и не повезло, потому что мы неизбежно воспринимаем их как неотделимую вводную часть того, чему они предшествуют и что начинают. Однако, думаю, историческая, да и не только историческая ценность «Донских рассказов» показала бы нам куда более высокой, останься они единственной книгой Шолохова, если бы не написал он «Тихий Дон», «Поднятую целину», прозаический цикл вещей о Великой Отечественной войне.

### 3

Чем дорог, чем волнует нас «Тихий Дон»?

Размышляя об этом произведении, прежде всего осознаешь, что в нем действительно концентрируются основные проблемы социалистической литературы, тенденции, охватывающие в первую очередь тематическую область, которую можно было бы назвать кровавой предисторией коренных социальных перемен. «Тихий Дон» подмечает, фиксирует многое из того, что произошло и происходило, в той или иной форме актуализировалось на протяжении всех пятнадцати лет работы писателя над эпопеей о донском казачестве. Очевидно явное преодоление автором ограниченности первых литературных достижений, особенно начальных послереволюционных лет.

Конечно же, серьезный читатель поймет меня: в данном случае нет ни места, ни времени иллюстрировать те особенности молодой советской литературы, которые Шолохов и сознательно или инстинктивно развивал и которые не принимал или отрицал.

Но думаю, что советскому читателю будет интересно узнать о том, как в начале 50-х годов, когда «Тихий Дон» впервые был издан на словацком языке, словацкий литературовед

М. Пишут отмечал объективные и субъективные предпосылки возникновения произведений подобного типа. Он обратил внимание на то, что Шолохов, оказавшись лицом к лицу с «эпохальными преобразованиями общества, использовал максимум изобразительных средств прошлой литературы и... именно им отдал предпочтение перед так называемым революционным стилем футуристов и конструктивистов». Что же касается главного объекта художественного творчества — человека, то М. Пишут предвосхитил и наше более подробное исследование творчества Шолохова, подтолкнув нас к выводу, что писатель «углубил реализм предшествующих мастеров, расширил шкалу изображаемых человеческих отношений, чувств и поступков в исключительных ситуациях, какие рождала эпоха перелома, что он раскрыл перед нами человека морально ничтожного и одновременно морально высокого и что также в итоге показал и доказал необходимость нового искусства нового общества, искусства социалистического реализма»<sup>2</sup>.

Поскольку у нас нет возможности более подробно интерпретировать весь круг существеннейших познавательных, эмоциональных, этических, идейно-художественных качеств и достоинств «Тихого Дона», то остановимся хотя бы на вопросе о нашем современном отношении к главному герою.

Кажется, пока что остаются тщетными все усилия теоретически объяснить, почему Шолохов в качестве центрального персонажа избрал именно фигуру Григория Мелехова. Над этим раздумывают многие исследователи, но никто еще не пришел к достаточно убедительным выводам, ибо поставленный эксперимент невозможно оценить, прибегая к гипотезе: что было бы, если бы в центре романа стоял кто-то иной?

Так, например, одни считают, что Шолохову было важно, чтобы главный герой его эпопеи обладал высокой человеческой потенцией, ибо личность заурядная не могла бы стать опорой для достаточно рельефного выражения идейного замысла «Тихого Дона». Но ведь стал же, например, обыкновенный человек Клим Самгин основой выражения идейного замысла эпопеи, правдивость и сила которой не вызывают никаких сомнений!

Наверное, единственно правильной позицией будет такая, при которой критик максимально терпимо относится к решению, выбранному автором. Будем считаться с определенной тайной художественного творчества и поверим писателю, что в данном конкретном случае единственно Григорий мог стать

<sup>2</sup> Slovenské pohľady, 1951, s. 385, a v. 367.

основой пластического выражения правды о людях и эпохе.

Как и всякий другой человек, Григорий Мелехов не выбирал среду, в которой он вырос. Первоначально его судьба не зависела от его собственной воли, не определялась его заслугами или виной.

Место Григория в жизни, его борьба — это школа и предостережение. Постоянное внутреннее горение, активность в сочетании с достигнутой ступенью интеллектуального и этического развития. Беспокойство и действие. Мужество и способность разрушать условности не во имя эгоцентрической анархии, мученичества или фанатической веры. Смелость, неукротимая, с великим трудом подавляемая сила, которая сама неспособна укротиться и смириться под воздействием узаконенной морали. Способность к самоотречению, что требует личной отваги и чувства чести. Трагические, страшные ошибки и мужество вновь пересмотреть свою жизнь, строго осудить себя. Искренняя любовь к миру, природе, человеку. Вобравшая всю его жизнь любовь к единственной женщине — Аксинье и постепенно поднимающаяся, вырастающая ответственность по отношению к другой — Наталье. И наконец — труд, мозолистые руки, привязанность к родной земле.

Григорий Мелехов — один из самых трагических литературных персонажей. Условием трагедийности всегда является наличие положительных начал. Без гибели добра нет трагедии. Мелехов стал для нас воплощением неумолимой, непреложной правды, все позитивные качества его природы воспринимаются нами как категорический императив. Без неиссякаемой энергии, без телесного и душевного здоровья человек не может стать солью земли, первопроходцем активного содружества и братства, создателем справедливой жизни, гармонического сообщества. В относительно спокойное время этих качеств, возможно, вполне бы хватило на то, чтобы человек честно прожил свою жизнь. В эпоху же перелома, исторического поворота их далеко недостаточно.

Григорий Мелехов не сумел постичь правду и мораль с позиций тех сил, которые несли в своих помыслах объективную истину истории. Иной раз он оказывался способным встать на правильный путь, но не мог оставаться последовательным и так и не сумел высвободиться из-под влияния сил, внутренне чуждых ему. Григорий не был двуличным человеком — он стал трагической жертвой собственной активности, которая была основана на ненадежном познании необходимости.

Ошибки и страдания донского казака Григория Мелехова являются нашим катарсисом. Он и вымышленный и подлинный. Он живое

воплощение двух крестьянских начал: на примере его жизни (как, впрочем, и на примере всей семьи Мелеховых и других эпизодических персонажей романа) писатель показал то лучшее, что рождала в человеке трудовая жизнь, и то уродливое, что воспитывалось в нем условиями собственнического мира.

Стоит возвести в абсолют одну из этих крайностей — и мы навсегда утратим возможность понять художественный образ данной эпохи и человека.

Социальная неустойчивость, социальные колебания героев имеют свои параллели и в сфере интимной жизни. Шолохов видит и исследует человека с разных точек зрения — и каждый раз в самом существенном. Его метод сознательно диалектичен, его путь к правде необычайно искренен и смел.

И еще о проблеме последних, заключительных страниц эпопеи, рассказывающей о человеке и народе на великом рубеже исторического развития.

Трагический финал романа по-прежнему остается одной из немаловажных литературоведческих проблем, тесно связанных с целостным пониманием главного героя и особенно — сложного единства его индивидуализации и обобщения.

Шолохов словно бы предвидел возможность идейных споров вокруг этих вопросов и сам нередко возвращался к ним и в процессе работы над романом и в ответах на читательские отклики. «Думается мне, Алексей Максимович, — писал он Горькому, — что вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции».

Однако необходимость изображения кульминационного момента в человеческой судьбе, стремление к наиболее выразительному завершению действия, осознанное направление читательских представлений о взаимосвязи реальности и ее художественного преображения потребовали от автора особенно четкого акцента на верности правде конкретного человека. «У Мелехова очень индивидуальная судьба, — писал Шолохов в 1935 году, — в нем я никак не пытаюсь олицетворить среднее казачество. От белых я его, конечно, отобью, но в большевика превращать не буду. Не большевик он». А в 1936 году эту же мысль писатель развивает несколько по-другому: «Многие, очень многие читатели никак не хотят представить Мелехова «выдуманым», они убеждены, что он живой, работает в наши дни... Я получил десятки тысяч писем от читателей «Тихого Дона». «Довести линию Григория до сплошной коллективизации», «закрепить окончательный переход Григория в Красную Армию и показать его работу в ус-

ловиях мирного времени» — таких советов, просьб тысячи. А в последние годы многим почему-то показалось, что Григорий будет убит. И вот посыпались письма с категорическими требованиями: «Оставьте в живых Григория Мелехова»...

Читательская «наивность» имеет свой глубокий смысл. Она является доказательством того, что спонтанное впечатление от произведения вступает в противоречие с некоторыми литературоведческими конструкциями и рассуждениями о якобы отталкивающей кулацкой сущности героя, его интеллектуальной неполноценности, ограниченности мышления, о том, что этот образ будто бы утрачивает типичность, когда Григорий расходится с народом.

В целом специальная литература, исследующая финал романа «Тихий Дон», полемична. Не пересказывая полярно противоположную аргументацию, попытаемся сформулировать лишь итоги этой давно ведущейся дискуссии, а также коснемся ее плодотворных импульсов.

Григория Мелехова решительно нельзя рассматривать только как правдоискателя, только как ошибающегося человека, стихийного демократа, который оказался где-то посредине борьбы двух миров, отрицая и тот и другой. В какие-то моменты он был и врагом революции, виновником гибели людей.

Но зачем домысливать за автора, который именно посредством трагического образа утверждает идеал активности, выражает убеждение в необходимости ориентировать человека на правильные решения, находящиеся в согласии с историческим прогрессом?

Нам хотелось бы подчеркнуть, что в творчески развивающейся литературе социалистического реализма имеются и иные потенциально возможные развязки и сюжетные решения. Ведь принципу правдивости не противоречит и желание видеть иной судьбу Григория Мелехова.

Суггестивность произведения, выверенная временем, дает нам право верить, что все иные решения были бы худшим вариантом в сравнении с тем, которое выбрал автор и которое находит такой сильный резонанс в наших сердцах.

## 4

Чем дорог для нас роман Михаила Шолохова «Поднятая целина», главный смысл которого можно было бы охарактеризовать — «человек и народ на втором рубеже новой своей истории»?

Думаю, прежде всего тем, что правдиво и ярко передает впечатляющую картину процесса социалистических преобразований в одной из важнейших сфер жизни; тем, что она породила нас с людьми из далеких для Слю-

вакии краев, которые стали близкими нашим сердцам, породила с теми, кто, пережив военные ураганы, занялся трудом пахаря на широких просторах донских степей. «Поднятая целина» дорога нам новизной проблематики. Шолохов предстает перед нами как блестящий диалектик с четко выраженным пониманием успехов, ошибок и перемен, пониманием не только полярных, классово антагонистических сил, но и глубоким проникновением в каждую из них, в отдельного человека в различные моменты его частной жизни.

Я хотел бы специально остановиться на оптимистическом тоне, юморе, шутке, добродушной назидательности этого в целом серьезного, остроконфликтного, даже трагического по отношению к главным героям повествования. Мне кажется, еще ни один критик не осветил это явление так, чтобы мы чувствовали: да, он постиг многогранную природу шолоховского юмора.

Пока что мы только приближаемся к невольно улавливаемому чувству сущности творческого таинства и неоспоримого успеха. Мы помним смех сквозь слезы Гоголя и Чехова и классическую формулу — человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. В «Поднятой целине» и то и другое по-своему модифицируется. Юмором искрится хорошее настроение и дружеские перебранки, он ощущается в радости по поводу достигнутых успехов и в самоиронии, вышучивании того, что подлежит осмеянию, в предостережениях и остратках, в серьезной политической аргументации, угадывается даже в моменты, когда герои смотрят в глаза смерти. Но в целом юмор в романе касается не столько расставания хутора с прошлым, сколько сопровождает предчувствия, рождение, формирование новой жизни.

Улыбка, смех заключены в самой атмосфере произведения, составляют существенное слагаемое эмоционального воздействия, сцепляются с тектоническими переломами в судьбе мира и частных человеческих жизней. Словом, они присутствуют постоянно, усиливая психологическую достоверность образа.

Юмор «Поднятой целины» воплощен не только в характере милото деда Щукаря. В романе нет персонажа, который бы не был наделен чувством юмора. Единственное исключение, наверное, всегда мрачный, снедаемый злобой Половец.

Чередование юмора с грустной тоской и печалью, жизнерадостной и победной борьбы с трагическими минутами большого перелома сообщает действию романа необычайный динамизм, усиливает напряжение, делает роман особо притягательным.

В способности весело говорить о важных проблемах чувствуется человеческая широта,

редкостная оригинальность, жизненная сила самого автора.

Юмор способствует дифференциации характеров и ситуаций. Писатель охотно пользуется комическим контрастом в весьма важных жизненных коллизиях. И эту его способность мы можем оценить в полной мере, лишь до конца прочувствовав все произведение.

В «Поднятой целине» трагедия переплетается с причудливым, в высшей мере органичным юмором, питаемым жизненной силой, духовным здоровьем, всеохватывающим гуманизмом — положительными основами жизни.

И еще относительно перспективы.

Более всего в концепции образов этого романа отражается диалектическое и историческое мышление Шолохова, принципиально понятное движение социальных сил и отдельной человеческой судьбы.

Прошлое — в скупых воспоминаниях Давыдова о матери, сестрах и братьях — участвует в формировании его характера, служит источником активности.

Реальный оптимизм трагедии заключается в том, что ценой смерти искупается жизнь, а движение приобретает новых сторонников. Так результаты общественной деятельности Давыдова становятся осязаемыми, видимыми.

Завершает эпическое действие сцена смерти героя во имя жизни: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница...» Эта последняя реплика звучит как авторская речь. Но не менее органично она звучала бы в устах любого из героев книги. Она могла бы быть и монологом в душе читателя.

«Отшептала... поспевающая пшеница...»

Однако, рассказав о последнем героическом поступке коммунистов Гремячего Лога, о героической и трагической смерти дорогих его сердцу героев, писатель в финале романа возвращает нас к событиям двухмесячной давности и как бы устремляет свой взгляд в будущее. И как всегда в узловых ситуациях у Шолохова — все абсолютно точно, конкретно и психологически правдиво.

Повеет грустью от беспомощной, жалкой старости деда Щукаря и раненой души молодой вдовы Варюхи-горюхи... Мы узнаем, как разматывался клубок контрреволюционного заговора... В последних абзацах романа люди живут воспоминаниями о мертвых и продолжают начатое ими дело...

Во второй половине 50-х годов у нас незрела потребность в анализе молодого словацкого литературоведения. Советская литература в это время дала нам поистине незаменимые аргументы для более углубленного теоретического мышления, для нового, обогащенного опытом разговора о социалистическом реализме как синтезе многообразных творческих достижений. Словацкий теоретик Микулаш Бакош в 1956 году писал: «На первый план современного художественного творчества выдвигаются лирико-драматические жанры, такие, которые способны раскрывать конфликты эпохи, как они отражаются прежде всего в психике и эмоциональном мире современного человека... От прозы мы требуем драматизма и лирического воздействия. Именно поэтому сегодня так высоко ценится, например, творчество Михаила Шолохова»<sup>3</sup>.

Что же касается творческих импульсов в области романа, то из наших писателей, пожалуй, наиболее спонтанно и темпераментно объявляет себя последователем Шолохова Франтишек Гечко, который в автобиографическом эссе «От стихов к роману» формулирует категорический императив, имеющий обобщающую силу закона. «Я провел у него достаточно горькие годы ученичества. Он и очаровал меня, и был мне неприятен своей неприступностью и сложностью. «Поднятую целину» я читал, пожалуй, раз семь. «Тихий Дон» по крайней мере три раза. Смелость Шолохова говорить правду прямо завораживала меня. Ради правды он научился идти по пути наибольшего сопротивления, который является самым трудным из всех литературных путей, когда-либо проложенных. Ну вот, следуй, продирайся за ним, человек, по головоломным кручам!»<sup>4</sup>.

Я привел на прощание два высказывания — одно видного словацкого литературоведа, другое любимого всеми прозаика, — в которых выражено отношение к творчеству Михаила Александровича Шолохова, выражено наше интернациональное восприятие его воздействия и его импульсов.

*Перевела со словацкого  
Р. ФИЛИПЧИКОВА.*

Братислава.

<sup>3</sup> B a k o š M. Literatúra a nadstavba. Slovenský spisovateľ, 1960, s. 245—246.

<sup>4</sup> H e č k o F. Od veršov k romanom. Slovenski spisovateľ, 1974, s. 156.

---

В. ЛИТВИНОВ

★

## ЛЮДИ ПОБЕДЫ

Тема Великой Отечественной войны в творчестве М. Шолохова

...мы дочитали эту книгу почти до половины, где автор изображает, как немецкие танки атакуют высоту, обороняемую батальоном, в котором находились тт. Лопехин и Звягинцев. В это время с наблюдательного пункта на нашу огневую позицию передали команду рассеять по местам фашистские танки. Пехота и автоматчики пошли в атаку. Каждый номер быстро занимал свое место, у орудия кричали, повторяя слова Лопехина и Звягинцева — «пусть идут, мы им всыпем, всыпем фашистским гадам».

*Из письма фронтовика П. М. Жуйкова<sup>1</sup>.*

**Е**сть книги, которым не грозит читательское привыкание — в разные годы человек снова и снова перечитывает их словно заново, глазами нового опыта, новых времен.

И не просто читатель, отдельно взятый, — едва ли не каждое идущее десятилетие всыскующе и напряженно вглядывается будто в зеркало в эти давно написанные книги, с ними полнее осознавая самое себя, открывая в книгах нечто такое, что не бросалось в глаза еще вчера...

«Они сражались за Родину» Шолохова на нашей книжной полке без малого четыре десятка лет, ее читало уже не одно поколение. А сегодня? Как книга читается в нынешние наши времена, какая мысль прежде всего возникает над ее страницами?

Эта мысль — о смелости художника. О дерзком, безбоязненном понимании всего, что происходило вокруг в те огнем горящие годы, в обстановке, когда, по слову поэта, по самим земным закономерностям били беспощадные стволы... А Шолохов уже тогда писал так, словно события и страсти, потрясавшие планету, и в самом деле прошли отстой во времени, всесторонне рассмотрены филосо-

фами и тщательно взвешены на весах истории.

В 1943 году, когда появились первые главы романа, для нашей прозы во многом были характерны вещи, что называется, оперативные: тогда немало появлялось повестей и рассказов, сверхзадачей которых было, помимо другого прочего, еще и научить бойцов не бояться вражеских танков, пособить в горе человеку, получившему на войне увечье, пропагандировать инициативу юных пионеров в тылу и женщин, оставшихся во главе колхозного производства; это были важные, по-своему очень необходимые тогда произведения. Шолоховское же повествование было явно обращено не просто к данному дню, но к большой эпохе, его писала рука, уже создавшая «Тихий Дон» и «Поднятую целину».

Придет время, и наша критика, широко рассмотрев многое и многое, написанное о той великой и страшной войне, найдет свою литературоведческую формулу этой художнической смелости — в окопах, на войне, в 1943-м взяться за создание произведения об истоках нашей грядущей победы над гитлеризмом! Будет отмечена и «та истинно народная широта мысли и чувства, которая выделяет эту книгу на фоне всего, что было создано в советской литературе об Отечественной войне», и то обстоятельство, что «М. Шолохов в этой книге ближе всех подошел к изображению народа на войне — во всей широте и глубине

---

<sup>1</sup> «Писатели в Отечественной войне 1941—1945 гг. Письма читателей». М. «Гослитмузей». 1946, стр. 38.



этого определения, ближе других писателей подошел к подлинному эпосу, рисуемому советский народ в решающий момент его истории»<sup>2</sup>.

Но не только сила провидения, гражданская убежденность, бесстрашное обращение к философии предмета, когда этот предмет еще донельзя горяч, жжет руки. Не только это встает за понятием художественная смелость в данном случае; с ним связывается еще и нечто бесконечно земное, всем понятное. Одно сказать: в 1943-м писать картину нашего отступления и больше того — катастрофы на фронте под напором превосходящих сил противника!

«Они сражались за Родину» в войну явилась одной из тех книг, после которых иным бойким перьям трудно стало поставять литературную клюкву насчет фронта, самочувствия человека на передовой, с какой бы благой целью она, эта клюква, ни выводилась и какие бы оттенки в ней ни преобладали — густо-черные или сияюще-розовые.

«Они сражались за Родину» — уникальное писательское свидетельство об одном из самых драматических моментов во всей войне, если не сказать — всей истории народа и государства: о лете 1942 года на Дону... Книга поражает откровенностью рассказа о трудностях, какие выпали тогда на долю наших людей, нашей армии, испытываемой бедой.

Перечитывая шолоховские главы, то и дело возвращаешься к мысли: ведь это было тогда написано! О трудностях, ошибках, о хаосе во фронтовой дислокации: «...по степям бродят какие-то дикие части, обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом, и нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок... И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении!»

Да, так было. Армия билась, стояла на смерть и все-таки отступала к Волге шаг за шагом, день за днем. И не умильный поселенин с прощающей улыбкой провожает вынужденно отходящие части, а остроязкая старуха с проклятиями бросается на Лопахина: «Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все на логи выплачивала и помогала власти не затем, чтобы вы сейчас бегли как оглашенные и оставляли бы все на разор да на поруху...»

И вчерашний высокосоциальный механизатор, отнюдь не из последних бойцов, Иван Звягинцев вопреки всем своим передовым убеждениям в роковую минуту под ураганным огнем истово молится неведомому богу...

В рассказах о фронте не однажды и с пафосом повторяется афоризм, что на войне-де, в час жестоких испытаний, от человека отлетает все мелочное, суетное... А вот от шолоховских героев ничего такого не отлетает, все при них, что принесено с собой из недавней мирной жизни. Война войной, а солдаты на фронте спят, едят, ссорятся и мирятся, «качают права», разными путями добывают обувь, случается, даже ухлебают за молодцами в прифронтовых хуторах. И есть среди них — попадаются — и ловчицы, и трусы, и выжиги, и довольно нахальные молодцы. Что называется, из песни слова не выкинешь.

Понятное дело, когда речь идет о правде войны в шолоховском изображении, первое, что встает в этом случае перед глазами, — подробности фронтовой действительности, неповторимо живые моменты общей картины, та художественная деталь, которая имеет такое огромное значение на реалистической палитре художника. Правда в суждениях героев, в их жизненных историях. И все-таки всего она разительней, на мой взгляд, в самой психологии бойцов, как она изображена в книге Шолохова. Автор дал нам внутренне все пережить: и состояние изнурительного марша, и молитву под бомбами, и безумие боя, и боль на операционном столе, и мгновение перед смертью... Сцена, где почти поминутно зафиксированы мысли и эмоции Ивана Звягинцева в бою, беспрецедентна — она напоминает своеобразную «психологическую кардиограмму» страшной фронтовой ситуации. Шолохов не устаёт повторять о том, как много сложна человеческая душа — даже на войне!

Вот движется Николай Стрельцов в походной колонне, оставляющей очередной хутор, хмуро перебрасывается с соседом словом-другим, а то, что творится в эту минуту у него на сердце, — поистине неведомая миру коловверть, где и нестерпимое горе отступления, и злость на проклятую «романтику войны», и холодок смутного предчувствия: уж не в окружении ли полк? «Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, махнув на все рукой, он с веселой злостью подумал: «Э, да черт с ним! Скорее к развязке!»...»

И в этот вихрь разнородных чувств врывается вдруг видение белоголового мальчика, пасущего за околицей гусей. Он поразительно похож на сынишку Стрельцова, о судьбе которого отец давно уже ничего не знает, и Николай в суеверном страхе отводит от этой картинки глаза («...перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце»). Он заставляет себя мысленно пересчи-

<sup>2</sup> П. Топер. Ради жизни на земле. Литература и война. Традиции. Решения. Герои. М. «Советский писатель». 1975, стр. 427, 431.

тывать патронный свой запас, отвлекает сердце как может, но в последнюю минуту все-таки не выдерживает, оглядывается: «...мальчик», пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий, горячий клубок...»

Три постоянных психологических экрана (Стрельцов—Лопехин—Звягинцев) дают полноту эмоциональной картины всего переживаемого бойцами. Шолохов искусно пользуется этой своей любимой композицией триады, за которой теперь и богатый опыт «Поднятой целины» и еще раньше опробованное в «Тихом Доне» — правда, несколько в иной компоновке, но все равно по принципу психологической триады (я имею в виду друзей в юности однохуторян Григория Мелехова, Митьку Коршунова и Михаила Кошевого, чьи дальнейшие жизненные пути, внимательнейшим образом прослеженные автором, в конечном счете явили собой основные варианты судьбы казачества в годы революции).

Судя по всему, в «Они сражались за Родину» триада еще не замыкает круг главных героев повествования — по отдельным высказываниям автора можно понять, что есть у него необходимость обратиться и к другим крупным фигурам. Причем симптоматично, что такая необходимость вызывается задачей именно социально-психологического исследования. Шолохов это подчеркивает специально: «Знать психологию солдата, его ратный труд, его чистое сердце и моральную выдержку, его твердость необходимо каждому, кто берется писать о нем. Есть у меня во второй книге «Они сражались за Родину» генерал, брат Николая Стрельцова. Книга еще в работе, но мне важно психологию, мир и чувства этого человека соотнести с делами времени...» Эта же мысль высказывалась Шолоховым и в связи с поисками кинематографистов, работавших над экранизацией «Они сражались за Родину»: «Режиссер принял правильное решение: показать психологию солдата, его внутренний мир, его мужание и закалку в суровых испытаниях войны»<sup>3</sup>.

В другом случае писатель скажет еще более определенно об этой неизменной сопряженности психологического анализа с драматизмом судеб: «Меня особенно интересуют люди в самые критические и переломные моменты... А «Они сражались за Родину» —

это последняя война. Я интересуюсь людьми, захваченными этими социальными и национальными катаклизмами... Мне кажется, что в эти моменты их характеры кристаллизуются»<sup>4</sup>.

Характеры кристаллизуются...

Динамику этого процесса — как в жизни, так и конкретно в шолоховском творчестве времен Великой Отечественной войны — можно проследить буквально с первых дней, от первых военных корреспонденций писателя в «Правду», помеченных горькими днями 1941 года: «На Дону», «В казачьих колхозах». Потом — «На Смоленском направлении», «Гнусность», «По пути к фронту», «Первые встречи», «Люди Красной Армии», «Военнопленные», «На юге». И «Наука ненависти», сразу ставшая знаменитой, — по свидетельству Николая Тихонова, она «читалась всей армией».

Все укрупняется в глазах художника фигура солдата Великой Отечественной, советского человека, спасшего планету от фашистской чумы. Все полнее вырисовывается сложное многообразие его душевного мира. И если в первых статьях и очерках это всего лишь штриховые наброски самых разных характеров и типов, то в рассказе «Наука ненависти» (1942) уже по-настоящему крупно встает образ одного из самых что ни на есть непосредственных участников войны — лейтенанта Герасимова («...как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, это страшно!»). Правда, в критике приходилось встречаться с суждениями, что есть в этом рассказе некоторая нравственно-психологическая зауженность: герой-де, как он предстает в своей беседе с корреспондентом, вся его история (первые бои, плен, снова возвращение в строй) держится целиком на одном-единем чувстве — ненависти. Ни на что другое его души уже не остается. Что ж, и в самом деле психологический лейтмотив рассказа в высшей степени отчетлив — ненависть и еще раз ненависть!

«Но вдруг он умолял, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев...»

«Ненависть всегда мы носим на кончиках штыков» — строка из этого рассказа после овлаживания его в «Правде» и «Красной

<sup>3</sup> Беседа с корреспондентом «Правды» (в сб. «Мировое значение творчества Михаила Шолохова. Материалы и исследования». М. «Современник». 1976, стр. 19, 15).

<sup>4</sup> Цит. по кн.: М. Соколов. Мастерство Шолохова. Ташкент. 1976, стр. 216.

звезде» стала крылатым афоризмом, ее повторы как пароль все военные годы.

Можно много говорить о том, почему именно ненависть становится лейтмотивом первого военного рассказа Шолохова, а можно сказать одно: этот рассказ был написан летом 1942 года и читали его те, кто отбивался от немцев на Кавказе и насмерть стоял в Сталинграде, прижавшись спиной к Волге. Его читали в захлестнутом блокадой Ленинграде и под многострадальным, истекающим кровью Ржевом.

На долю лейтенанта Герасимова, героя рассказа, выпало такое, что и впрямь могло превратить душу в один пылающий факел мести, бед хватило бы на три войны: плен, побеги, партизанская война, не считая всего того, что выпадает просто фронтовику, человеку на передовой линии огня. В плену его пытали, давили забавы ради танками, морили голодом, избивали смертно: «Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти, нет, не забуду! Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня, приказывает выйти и начинает бить, молча, сосредоточенно...»

Потому, собственно, рассказ и называется «Н а у к а ненависти».

Каждое шолоховское произведение по-своему исторично. И этот рассказ со строгой точностью запечатлел самое главное в мироощущении советских людей в то лето 1942 года: «Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично...»

И все-таки Шолохов не был бы Шолоховым, не скажи он и в этой ситуации, в рассказе, несущем на себе резкую печать времени написания и суровости «социального заказа», — не скажи он и здесь о человеке значительно больше и шире, чем требовалось в тот час.

Он славит ненависть, но в шолоховском понимании это чувство отнюдь не однозначно — оно несет в себе и горечь развеннанных иллюзий, неумной бравады самых первых дней («Черт возьми, с таким противником даже интересно подражать»), тут и сложность отношения к тому природному российскому добродушию, что в судьбе того или иного солдата может обернуться немалой бедой, и вместе с тем говорит о прекрасных чертах национального характера («...бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто — котелок щей, кто — табак или папирос, кто чаем угощает. По спинам их похлопывают, «камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?...»).

Эта ненависть родилась из горя, в ответ на чужое вероломство, из крови и смертей, она

напитана несчастьями до предела. И все-таки даже такая она неотторжима от других человеческих чувств. Неотделима от гордости («Просто я не хотел, не мог умереть лежа, понятно? Я собрал все силы и встал... „Ну, убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упаду“»). От высокого мужества, от истинного патриотизма неотделима: «...запел «Интернационал», мы подхватили... Часовые открыли стрельбу... это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ... Не на тех нападаю, это я прямо скажу».

Примечательны самые последние строки этого кипящего гневом рассказа: в них речь не о чем другом — о любви! «Всем сердцем люблю свой народ», — с искренней исповедальностью говорит герой. Человек в огне, он яснее любого другого видит, что «и воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются».

Тем больший смысл получает экспозиция «Науки ненависти» — образ могучего дуба, разбитого снарядом. Кажется, погибла зеленая жизнь, полдерева превратилось в сухой, но по весне все-таки ожили нижние ветки, полощущиеся в текучей воде, покрылись свежей листвой...

Так что и первый военный шолоховский рассказ нельзя прочесть однозначно. Иное дело, что за ним виднеются такие вершинные для военного творчества Шолохова вещи, как «Они сражались за Родину», как «Судьба человека» — рассказ, о котором старейший писатель Европы мудрый Ярослав Ивашкевич скажет как о произведении эпическом: «Я очень люблю «Судьбу человека» и часто возвращаюсь к этому маленькому произведению, обладающему всеми достоинствами настоящей большой прозы»; и современная критика напишет, что здесь писатель «ставит вопросы, от решения которых зависит самое существование человека». Здесь Шолохов с особой отчетливостью показывает, как в битву со злом, воплощенным в фашизме, вступило «все доброе, мирно-трудовое, человеческое, социально прогрессивное... Человек мира социализма с его верой, с его надеждой, с его идеалами оказался сильнее войны... Это убедительное, человеческое и давало основной героический тон рассказу Шолохова»<sup>5</sup>. Что касается места этого шолоховского романа в общем творческом процессе послевоенных десятилетий, то критика не однажды говорила о его поистине «поворотной роли»: «Своим рассказом М. Шолохов словно бы расчистил дорогу направлению психологического драматизма, углубленному познанию трагической героики...

<sup>5</sup> Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова. М. «Советский писатель» 1970, стр. 631.

М. Шолохов высвечивал дополнительные, более скрытые корни массового героизма, уходящие в глубь национальных традиций... Поэтому его герой открыл дорогу характерам, обладающим большой нравственной стойкостью против жизненных бурь...»<sup>6</sup>.

Что же до «Науки ненависти», ставшей в творчестве писателя естественной и совершенно необходимой предтечей знаменитой «Судьбы человека», то ее генеральный мотив не только не оказывался временным в шолоховской военной прозе, но, напротив, в «Судьбе человека», в «Они сражались за Родину» звучал с обостренной силой: сколь бы ни расширялось психологическое поле, какие бы новые черты в мироощущении человека на войне ни возникали, Шолохов в этой сложности вовсе не хотел растворить то священное чувство ненависти к врагу, на котором тогда объединялось все подлинно человеческое: «Все, что было в жизни дорого и мило сердцу, все осталось там, под властью немцев... И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушаский приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла...»

Оно вовсе не слепо, это чувство ненависти, оно только отчетливей от соседства и контраста со всем другим — тоской, любовью, отчаянием, с небывало раскрывшейся способностью русского человека к самопожертвованию. Не удивительно, что на страницах романа солдатская жизнь изображается в такой тесной переплетенности — быт и героика, горе и надежда, трагическое и вспышки нежданного веселья...

Да, веселья. В этом смысле последний роман — книга истинно шолоховская.

В «Они сражались за Родину» — кровь, смерти, горечь отступления. И притом бросающееся в глаза обилие юмористических сцен. Это и забавные происшествия, случающиеся с героями во фронтовых буднях, и потешное, вдруг проглядывающее даже в совершенно трагических ситуациях (молитва Звягинцева под бомбежкой или его борьба в медсанбате — сначала за сапоги, потом за целостность собственных ног). Особенно же обильны слово в слово воспроизведенные обстоятельные солдатские байки и воспоминания, как правило, подчеркнута юмористического характера.

Чего тут только не «наслушается» читатель романа! Рассказы о баталиях с ревнивой женой все того же Ивана Звягинцева и его конфуз с чересчур литературными письмами «преподобной» на фронт («...скороговор-

кой, бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах, да такими непонятными, книжными словами, что у меня от них даже туман в голове сделается и какое-то кружение в глазах»). А еще есть главки, в подробностях осветившие историю о том, как шахтер Лопахин с одобрения всей роты обихаживал дородную хозяйку на хуторе, надеясь на почве любовной добраться до ее богатых кладовых, и какой сокрушительный урон претерпел при этом отважный ухажер. Есть рассказ о трагикомических муках Копытовского, которому предстоит переправа через Дон, а плавает он «как топор». Есть история странной «окопной болезни», привязавшейся к старослужащему Некрасову, из-за которой он теперь спросонья лезет не в дверь, а на печь...

Истории все уморительно-потешные, кажется, в ином другом контексте им цены не было бы... Но в книге о сорок втором, о самой страшной поре всей войны!..

Богатыми возможностями комического Шолохов в своих книгах неизменно пользовался для того, чтобы полнее воссоздать облик родного народа, его духовную силу и нравственную прочность, чтобы сказать: в новом, социалистическом обществе душа человеческая становится все шире, раскованней, в ней открываются новые добрые черты и возможности.

Война обострила все грани шолоховского таланта. Словно подчиняясь суровым законам всеобщей военной мобилизации, опыт прошлых лет был целиком поставлен «под ружье» — в том числе и шолоховский юмор. В «Они сражались за Родину» его идейно-художественная функция исключительно многогосложна.

Есть среди других совсем простая задача — дать живое чтение фронтовику. Не надо снобизма задним числом — и это имел в виду автор, публикуя главы будущего романа. Сам Шолохов позже рассказывал:

— Годы были мрачные. Книга тогда сопровождала командира и солдату. И знаете, что читали? Жюль Верна... Веселую литературу читали. На войне ведь довольно мало веселого... Поэтому и главы о сорок втором годе, о самом тяжелом годе войны, были оснащены смешным. Копытовский там у меня... Лопахин.

В войну главы из романа, напечатанные в газетах или выпущенные мальми брошюрками на простой газетной бумаге, выдавались армейским агитаторам наряду с самыми важными пропагандистскими материалами. Большим солдатским уважением пользовались умельцы, наизусть «шпарившие» страницы похощений Петра Лопахина или байки Звя-

<sup>6</sup> А. Вочаров. Человек и война. Идеи социалистического гуманизма в послевоенной прозе о войне. М. «Советский писатель». 1973, стр. 312, 314, 315.

гинцева. В окопах бойцы получили книгу о них самих, она пришла туда в самый нужный час.

И все-таки главная задача, внутреннее назначение шолоховского юмора — выражать силу и здоровье народное. Всегда так было — и в «Тихом Доне» и в «Поднятой целине»; здесь эта особенность проявилась с новой силой. Когда Лопахин или Звягинцев с шутками-прибаутками рассуждают на марше насчет участи генеральской и солдатской; или толкуют о тех завтрашних неприятностях, которые поджидают фашистское войско, когда мы наконец «упремся»; или излагают свои прожекты насчет того, как следовало бы перестроить армейские ряды, как конницу организовать и как пехоту, — эти солдатские байки, часто комические по внешнему выражению, в существе своем несут нечто очень серьезное, можно сказать, державное. Таковую особую окраску обретает юмор на этих горько-веселых, одержимых трудной думой страницах. Это смех сквозь ненависть. Он вписан в драму отступления, кровавых оборонительных боев, в серьезное размышление о жизни и смерти, о судьбе народа.

В мирной обстановке, наверно, уморительно смешной может показаться такая ситуация, когда голодному дают стакан водки, а он, выпив, скромно отказывается от закуски... Или такая нелепица: маленький кусок сала надо поровну разделить на полсотни взрослых мужчин — это ли не забавно!.. Но у войны бывает свой страшный юмор. По ситуации так оно и есть: в «Судьбе человека» измученному голодом Андрею Соколову гитлеровец — комендант лагеря в порядке утешения перед расстрелом подносит один за другим два стакана водки, а узник каждый раз скромно отказывается от какой-либо закуски... Когда же он все-таки возвращается в свой тюремный блок живой, но невообразимо пьяный, да еще с добычей, буханкой хлеба и куском сала, то на исполненный надежды вопрос товарища, что он будет делать с этим неожиданным даром судьбы, отвечает твердо: «Всем поровну». Поровну — на целый барак! Суровой ниткой резали, «досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать».

В ином другом случае — забавная ситуация, юмористический алогизм, а в той трагедийной атмосфере, которую воссоздает Шолохов, это оборачивается страшным, горьким проклятием всему на свете человеко-ненавистничеству.

Смешное может быть и страшным и трагедийным. Шолохов знает, как это бывает, когда люди и самой смерти смеются в лицо.

В раннем рассказе «Председатель реввоен-

совета республики» герой не страшится сказать бандитам, которые уже занесли над ним свои сабли: «Убивайте, как промез себя располагаете. Мне от казацкой шашки смерть принять, вам, голуби, бесприменно на колодезных журавлях резвиться, одна мода!»

И Макар Нагульнов говорит за час до гибели: «На веселое дело идем, Сема, того и посмеиваюсь...»

И здесь, в «Судьбе человека», откормленные, перепившиеся фашистские весельчаки хотят поразвлечься за счет изможденного, беззащитного Андрея Соколова: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия...» А он, русский человек, словно вталкивает смех назад в глотку герра Мюллера, сам смеется над врагами в свой смертный час, да так, что даже гитлеровцы, эти подонки, начинают понимать, что шуточка повернулась совсем не так, как ожидалось.

«Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врасяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались».

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат...»

Шолоховский юмор призван утверждать в людях лучшее, высокочеловечное. В нем много мудрости, веры в человека из народа. Юмористическое словно прощупывает пульс исторического оптимизма, по-своему проверяет причастность героя к народному единству.

Нет слов, наряду с этим главным юмором под пером Шолохова может выражать в устах его героев еще многое и многое другое: и озорство природы, и колючесть характера, и трезвый взгляд на любого рода жизненные самообольщения. Он может жалить недостатки, просто являть комизм невольных положений, особость казачьей живой речи. Теперь, в «Они сражались за Родину», в «Судьбе человека», юмористическое с утроенной силой обнаруживало свою внутреннюю связь с такими серьезными материями, как стойкость национального характера, как духовный залог социалистического образа жизни.

Шолоховские герои смеются не потому, что время веселое, а потому что душа не сдавалась! И не собирается сдаваться.

Проза Шолохова времен Великой Отечественной войны еще полнее раскрыла тот «гений нации», о котором В. И. Немирович-Дан-

ченко в связи с «Поднятой целиной» говорил как о «соединении громадного героизма с невероятной простотой и юмором»<sup>7</sup>.

Смех не только средство, помогающее обнаружить внутренним силам. В ситуациях, подобных схватке Андрея Соколова с Мюллером, он сам по себе становится разящей силой!

В такой вот полноте видит Шолохов на войне внутренний мир своего героя, человека из народа. Ничто человеческое ему не чуждо. Туго-натуго переплелось бытовое и героическое, проза жизни и ее высокая романтика...

Впрочем, отношение к романтическому у писателя не такое уж простое, как может показаться на первый взгляд, как мы вообще привыкли толковать эту материю: если уж сражения, то, конечно, тут же и романтика.

Но неспроста в упоминавшемся нами внутреннем монологе Николая Стрельцова среди других фронтовых бед вдруг возникает инвектива в адрес проклятой «романтики войны» — многое в истории творчества Шолохова, в становлении его поэтики приводит на память эта вроде бы неожиданная строка: «Вот она, романтика войны! От полка остались рожки да ножки...»

Все краски большого искусства можно найти в шолоховской художественной палитре. Хорошо знает писатель и цену романтическому. Вспомним Макара Нагульнова. Героическую смерть сына в «Судьбе человека». Здесь, в «Они сражались за Родину», — трогательные до глубины души картины человеческой самоотверженности, победы духа над бренностью земной:

«Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки; иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голосом:

— Орелики! Родные мои, вперед!.. Дайте им жизни!»

И тем не менее о любом из этих романтических моментов можно со всей определенностью сказать: у Шолохова они воссозданы строгими реалистическими красками. И в случае с Нагульновым одно дело романтически зажатый в кулаке Лужкин кружевной платок

или романтически бесстрашный налет на лопатку Половцева, и другое — те романтические «серебряные трубы», которые снятся Макару Нагульнову как раз в ночь, когда он незаконно арестовал трех колхозников, а наиболее упорствующего несдатчика зерна «вразумил», трахнув наганом по голове; здесь то авторское отношение к романтическим снам героя куда как иронично... А с какой издевкой в той же «Поднятой целине» написано половцевское романтическое целование боевой офицерской сабли...

Когда в начале 20-х годов молодой Шолохов приехал с Дона в Москву, чтобы поступить на рабфак, обычно после работы (а работал он то грузчиком, то каменщиком, то делопроизводителем при домоуправлении) начинающий писатель с огромным интересом слушал, как читают свои произведения на литературных вечерах другие, более известные и удачливые молодые прозаики. Романтическое в литобъединениях тогда было важным мерилом и всему оценкой, от него шли самые лихие сюжеты, самые дерзкие метафоры.

Эта романтическая экстравагантность немало смущала Шолохова. Особенно когда он после трудового дня и вечерних литобъединений садился в ночи за чистый лист бумаги, писал собственную прозу (известные нам теперь «Донские рассказы»).

Однажды он даже не выдержал, приписал к одному из своих рассказов (это была «Лазоревая степь») строки, в которых достаточно отчетливо выразил личное отношение ко всякого рода романтическим изыскам. Он писал:

«В Москве, на Воздвиженке, в Пролеткульте, на литературном вечере МАППа, можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а «седой ковыль») имеет свой особый запах. Помимо этого можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы.

Какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах — непременно «братниках», о пахучем седом ковыле, а потрясенная аудитория — преимущественно милые девушки из школ второй ступени — щедро вознаграждает читающего восторженными аплодисментами.

На самом деле ковыль — поганая белобрывая трава. Вредная трава, без всякого запаха. По ней не гоняют гурты овец потому, что овцы гибнут от ковыльных остьев, попадающих под кожу. Поросшие подорожником и лебедой окопы (их можно видеть на прогоне за каждой станицей), молчаливые свидетели недавних боев, могли бы порассказать о том, как безобразно просто умирали в них люди...»

<sup>7</sup> В. И. Немрович-Данченко. Театральное наследие. В двух томах. Т. I. Статьи, речи, беседы, письма. М. «Искусство». 1952, стр. 237.

Неприязненное отношение к любым романтическим красотам Шолохов пронесет через целую творческую жизнь — ведь если с этой точки зрения взглянуть, то у него «Поднятая целина», вся история Нагульнова заострена именно против оторванной от жизни романтики. И в главах «Они сражались за Родину» легко ощутить неприятие любых звонких приукрашиваний войны, любой высокопарности там, где кровь и глина окопов, где все так же «безобразно просто» умирают люди.

С какой-то даже брезгливостью в отношении такого оскорбляющего слух суесловия пишет он в сцене, где хоронят командира роты лейтенанта Голощекова, о любителях пышной фразы.

Мысль Николая Стрельцова, ругающего «романтику войны», когда она приобретает такие вот формы, как неразбериха, хаос в военных порядках, — эта не дающая покоя автору мысль в другом месте разворачивается в выразительнейший эпизод, достойный стать эпиграфом к любым рассуждениям о романтически красивом и житейски реальном.

Стрельцов видит убитого пулеметчика в цветущих подсолнухах и на минуту (может, не без воздействия задним числом тех прочитанных в юности романтических рассказов, что были созданы «на Воздвиженке, в Пролеткульте») подумал, как это прекрасно — лежит убитый герой, «словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха».

Но писатель не хочет растить из своего героя еще одного боевого романтика, он выбивает его из экстатического состояния обращением к живой реальности — действие происходит не в книжке, это война, всамделишная смерть:

«А потом Николай подумал, что все это — чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком — это просто дело случая: трянуло взрывной волной — и посыпался вокруг, мягко комсорг Кочетыгов, — это героика в самом высоком ее звучании: «Огонь был, а не парень! Настоящий комсорг был, таких в полку поискать. Да что я говорю — в полку! В армии! А как он танк поджег? Танк его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему всю измял... У него кровь изо рта хлестала, я сам видел, а он приподнялся в окопе — мертвый приподнялся,

Да, есть романтика и романтика.

Одно дело, когда Лопахин рассказывает о том, как жил и погиб комсорг Кочетыгов, — это героика в самом высоком ее звучании: «Огонь был, а не парень! Настоящий комсорг был, таких в полку поискать. Да что я говорю — в полку! В армии! А как он танк поджег? Танк его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему всю измял... У него кровь изо рта хлестала, я сам видел, а он приподнялся в окопе — мертвый приподнялся,

на последнем вздохе! — и кинул бутылку... И зажег!»

Подлинная романтика — это Семен Давыдов, поклявшийся умереть, но вспахать свои десятины. Это в «Тихом Доне» революционные матросы, умирающие с «Интернационалом» на устах. Это в «Они сражались за Родину» знамя, спасенное в огне невероятных боев, все насквозь пропахшее пылью. Это Андрей Соколов, собирающий остатки сил, чтобы встать перед расстрелом на ноги, умереть стоя...

Шолохов в своей художественной практике весьма строго отличает подлинное от мнимого.

Шолоховскому психологизму, если так можно сказать, нужна предельная ясность взгляда и трезвость ощущений. Он не хочет видеть внутренний мир человека как хаотическое брожение магмы, как раздробленную мозаику. Виднейший художник социалистического реализма, он все свое творчество посвятил теме становления мира, разумного и поступательного просветления жизни. И человек его интересовал в своей силе, прочности, а не в душевной расхристанности. Выполнить эту задачу художник мог только с помощью подлинно реалистического психологизма! В любых проявлениях человеческой сущности он прежде всего искал правду о людях революционной эпохи, через них прослеживал причинно-следственные связи, воссоздавал действительную объемность живого явления. Подход к детали, психологической подробности у Шолохова неизменно контролируется высокой задачей социально-психологического исследования.

Деталь по-своему выражает авторское мироощущение, она плод не только наблюдательности, но и концептуальности писательского мышления.

Какие бы субъективно-настроенческие взгляды ни скрещивались на жизненном объекте, самое ощущение земной реальности и прочности художественно-психологических подробностей неизменно возвращает нас на почву объективности, не дает исказиться не только внешней физической картине, но и, что особенно дорого, внутренней структуре явления.

Мне уже доводилось называть этот любопытнейший пример литературного аналога: шолоховский роман «Они сражались за Родину» и ремарковский «Время жить и время умирать». Оба писатели-реалисты, оба с одинаковой симпатией относятся к своим героям и желают благополучного исхода их жизненной драме. Больше того, обе вещи о войне и в обеих герои — из отступающей армии, познающей всю горечь поражения. В каких же подробностях видит, ощущает мир герой Эриха Марии Ремарка?

Солдату разваливающегося гитлеровского вермахта Эрнсту Греберу бросается в глаза то роуль, застрявший среди развалин, белеющий клавишами, «словно это был гигантский открытый рот, полный зубов, словно огромный доисторический ящер яростно скалился, угрожая кому-то внизу»; то липа «своим стволом и зелеными ветвями, словно гигантская простертая рука, тянулась от земли к свету и облакам»; то «луна казалась чудовищем с огненным загривком, она взрызалась в улицу»; то «в липкой грязи сапоги стонали, точно души осужденных грешников»...

Стоит сопоставить эти образы, тяготеющие к ирреальному, загробному, чудовищному, с поэтикой Шолохова, где даже гибнущий самолет «ударился о землю с таким треском, словно где-то рядом о стол разбили печеное яйцо», где после выстрела бронейщика «по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя», где даже небо над солдатом, ждущим вражеской атаки, «разило прямо в сердце и было как скорбная улыбка, как прощальная женская улыбка сквозь слезы». Мертвый после артобстрела сад с «первозданным запахом безвременно вянущей листвы и недоспелых плодов», нет, не просто пленительное увядание являет собой — все это смешано еще и «с прогорклым запахом горелого железа, выгоревшего смазочного масла, жженого человеческого мяса... смердящим запахом мертвечины»... И подбитый танк вырастает перед взором читателя в такой реальности, какая только может открыться взору воочию: «Ослепленный и полужадушенный дымом водитель, наверное, плохо видел: на полном ходу танк попал в пустой заброшенный колодец, ударился о выложенную камнем стенку и, накренившись, приподняв дышащее перегретым маслом черное днище, так и застыл там, обезвреженный, ожидающий гибели... Все еще с бешеной скоростью вращалась левая гусеница его, тщетно пытаясь ухватиться белыми траками за землю, а правая, прогибаясь, повисла над взрытой землей, бессильная и жалкая». Неприкрашенная правда о том, как это действительно было...

У Шолохова метафора прочно опирается на землю, идет от полноты жизни, от здорового и сильного в человеке. И дело не только в несхожести, своеобразии палитр двух художников — дело в несхожести двух миров, взрастивших их таланты. Потому-то там, где Ремарк, прежде чем поставить последнюю точку в своей книге, говорит о «каком-то растении, полурастоптанном... одиноком на фоне сужившегося горизонта... бесшумно и естественно» несущем умирающему герою «простейшее утешение, свойственное малым вещам, и всю полноту покоя», — там Шолохов говорит о ба-

гровом полотнище боевого знамени, зовущего к борьбе, «пропахшего пороховой гарью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом степной полыни».

Бытовая деталь естественно трансформируется в психологическую, малые конкретные реалии плотно вплетаются во внутренний монолог, в поток сознания. Им мало быть непосредственной зацепкой для переживания мысли — как тонкие специи, придают они внутреннему чувству особый земной вкус и запах, с ними переживаемое обретает черты жизненной конкретности, сиюминутности происходящего. И как ни малы, как ни обыденны эти детали, они по-своему важны для утверждения великой гармонии человека и действительности, гармонии, которая так глубока в книгах Шолохова.

В них довольно часто встречается по-шолоховски оригинальная контаминация внутреннего монолога и самоисповеди — тот случай, когда герой как бы мыслит вслух, обращая свое слово не столько даже к окружающим (бывает, что он их просто не замечает), сколько к себе самому, своей растревоженной совести. Легко понять, почему к этой форме внутреннего монолога вслух автор так часто прибегает, скажем, в «Они сражались за Родину», где смерть висит над самой головой и человек спешит выговориться, что-то додумать вслух, «доформулировать» в своей такой короткой жизни. Потому и многозначительны и щемяще трогательны эти простые монологи в окопе, на коротком привале, под аккомпанемент дальней или ближней артиллерии, на виду у черных дымов разрывов и горящих хуторов...

А возможна у такой самоисповеди и совсем простая подоплека — человеку нужно ощущение непосредственного контакта с окружающим, с товарищами, надо отвлечься от своих тяжелых дум, нет сил оставаться с ними один на один, — и солдат говорит, говорит... Для натур общительных, «демократичных» это особенно характерно. (Ведь и такой еще аспект существует у психологизма среди многих других и разных.)

Рассуждает Лопахин: «А я... я, когда таких ребят по восемнадцати да по девятнадцати лет на моих глазах убивают, я, брат, плакать хочу... Плакать и убивать беспощадно эту немецкую сволочь! Нет, брат, мне погибать — совсем другое дело, я довольно пожилой кобель и жизнь со всех концов нюхал, а когда такие, как Кочетыгов, гибнут — у меня сердце не выдерживает, понятно?..»

О своем Копытовский: «Нет, я не закрыюсь, мне жить осталось — самые пустяки, только до Дона, а потому я должен перед смертью высказаться... Даже закон есть такой, чтобы перед смертью высказаться».



О своем старик Некрасов: «У меня ведь четверо детишек, и вот, понимаешь, год их не видел и позабыл, какие они из себя... Позабыл то есть, какие они обличьем... Глаза ихние смутно так представляю, а все остальное — как сквозь туман... Иной раз ночью, когда боя нет, до того мучаюсь, хочу ясно их вспомнить, — нет, не получается. Даже потом меня прошибет... Про жену я уже не говорю... Это дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь... А только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее под мышками пахнет...»

Шолоховский реалистический психологизм не бонится в человеке самого «низкого» и неэстетичного (как не боялись его, скажем, античная драма или Шекспир) — и быт у него в своем совершенном откровении достигает напряженности высокой трагедии. Много в этом случае значит удивительное шолоховское знание жизни, о которой он пишет, знание мельчайших подробностей современной жизни, писательское уважение к этой каждодневности бытия своих героев.

Наши дни стали свидетелями необычайного расцвета психологизма, всякого рода исповедальных жанров. Эстетически легализован поток сознания. Открываются все новые и новые возможности самовыражения личности. Много ярких открытий, но много и штукачества, механического обращения к той же внутренней речи и к месту и не к месту; есть примеры — особенно яркие в модернистском искусстве — злонамеренного пользования сильным оружием психологического проникновения в человеческий внутренний мир.

На этом пестроцветном фоне шолоховский реалистический поиск в области психологизма может показаться кому-то и старомодным, классически простодушным. Но нет нужды заводить здесь старый разговор о моде и истинности искусства, у которого ничего нет дороже «старомодной» Джоконды, музыки Чайковского, былинного слова... Над книгами Шолохова плачут, и смеются, и вздымают кулаки от нахлынувших чувств — не знаю, смеются ли и плачут так над Джойсом и Прустом, над Андреем Белым и Франсуазой Саган (довод, конечно, далеко не решающий, но что-то в нем все-таки есть).

Да, Шолохов не склонен превращать свой психологический анализ в игру случайностей, в шабаш эгоцентризма. Стремясь к тому, чтобы во всех случаях внутренний монолог, самоисповедь героя отвечали естественным законам и свойствам людской психики, ее динамике и вечному поиску все более полных и искренних форм выражения, Шолохов при этом с особой пристальностью всматривается в те человеческие переживания, которые говорят о жажде самоанализа в герое, о его

стремлении всегда добираться до первоначального, — это и есть эстетическая трезвость реалистического психологизма, зримого, основывающегося на действительных причинно-следственных связях и диалектических закономерностях бытия. Свобода внутреннего движения здесь предопределяется не внутренней анархией, а логикой характера, которая для писателя дороже всех других логик.

Обобщая, можно сказать о Шолохове, что он принадлежит к тем художникам, для которых важно, чтобы его психологическое мастерство прежде всего работало на прогресс в обществе, помогало людям разбираться в себе, в целях и смысле своего человеческого существования.

И еще об одной важной опоре шолоховского реалистического психологизма — о социальной, народной психологии, по пеленгу которой выверяется движение и развитие всего субъективно-личного, неповторимого внутреннего мира шолоховского героя — человека из народа.

Вся военная проза Шолохова, можно сказать, стремилась к встрече с таким материалом, с такими персонажами, как герои «Они сражались за Родину», «Судьбы человека». Это характеры и судьбы, способные всего полней сказать о состоянии народного духа в годы исторического испытания.

У Шолохова поиск подобных характеров замечен уже в первых военных зарисовках, где автора всего более интересует именно дух людей, застигнутых бедой врасплох. В «Науке ненависти» личная боль героя неотделима от переживаемого всем народом. Психология коллективная, массовая, мироощущение воюющего народа — в центре «Они сражались за Родину». Для этой книги пристальное внимание к массовой психологии тем более характерно, что сама война — отечественная, народная. И коллективистское у Шолохова — уже непосредственно в самой коллизии: роман раскрывает историю полка, солдатской общности. Сам сюжет таков! Повествование о том, как все вместе выстояли, не сломались вопреки тем жесточайшим обстоятельствам, что обрушивались на отстающую армию в излучине Дона.

Николай Стрельцов или Петр Лопухин, по чьим мыслям и чувствам часто ориентировано все повествование, так и видят своих товарищей — именно как нечто цельное, едино живое. Полк принимает решение, полк перевозмогает отчаяние...

«Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой...»

Такие страницы есть пример активного анализа именно психологии коллективной — воинской общности, взятой в своей цельности.

В «Донских рассказах» или в «Тихом Доне» шолоховскому психологизму доводилось не однажды обращаться к коллективному мироощущению в его, так сказать, воинском варианте.

Исключительно многообразны картины такой общности в повествовании о временах гражданской войны: Шолоховым показаны войско и красное, и деникинское, и повстанческое — вплоть до таких «коллективов», как банда Фомина или мышинное сообщество дезертиров...

Прибавилось ли что-либо в «Они сражались за Родину» к такому многостороннему знанию этого воинского аспекта народной психологии? Прибавилось, и достаточно весомо. Здесь самое главное заключено в том, что никогда еще, даже в богатом шолоховском творчестве, не вставала так крупно тема социалистического воинства, коллектива, солдат новой морали, нового образа жизни.

«Они сражались за Родину» — это не только правда войны, это и своеобразное художественное свидетельство веры солдатской. Вера дала устоять и победить. То, что воплотилось в пламени стяга над поверженным рейхстагом в сорок пятом, уже жило в людях сорок второго, дерущихся сседающим врагом на последнем пределе сил... С правдивостью непосредственного участника событий Шолохов рассказал о состоянии духа тех, кто превозмог небывалые трудности.

Шолохов писал свои главы в тот момент, когда все газеты мира — и недругов и сочувствующих нам — уже объявили о победе Гитлера, добравшегося до Кавказа, вышедшего на Волгу, «рассеявшего» армию Советов... А Шолохов именно в эту пору вложил в солдатские уста: «Тяжелыми шагами пойдем... Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется!» Или та же мысль, но выраженная с еще большей наглядностью: «Как только повернутся задом на восток — ноги сучьим детям повыведем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили».

Рисуя наши временные поражения в 1942-м, Шолохов тем не менее изображал не психологию отступающей армии, но состояние будущих победителей, испытываемых военной бедой, горькими неудачами. По всему их поведению, образу мышления, душевному настрою достаточно отчетливо можно представить, как любой из этих бойцов будет вести себя и в Сталинграде, и по дороге на Берлин, и в самом фашистском логове...

Эпический замах шолоховского творчества в свое время дал основание американскому литературоведу Станли Эдгару Хаймэну (да и не только ему одному) предположить, что «самым сильным претендентом (на новую «Войну и мир». — В. Л.) является, по-видимому, Михаил Шолохов... теоретические предпосылки у него имеются в большей степени, чем у кого-либо другого»<sup>8</sup>.

Этот третий роман Шолохова, над которым писатель продолжает работать и по сей день, замыслен как трилогия: если первая книга — это горькие дни отступления в донских степях, а вторая — героический Сталинград, дни великого перелома в войне, то с героями романа в третьей книге, кто знает, мы можем встретиться то ли в освобождаемой Украине, то ли в Берлине, а может, и совсем уже в наших днях.

Между тем книга, та, что лежит перед нами с подзаголовком «Главы из романа», давно живет в народе, она есть художественно значительное явление отечественной прозы. Написанное Шолоховым о тех, кто бился за родину, проверено теперь уже не просто годами, но десятилетиями, получило заслуженную оценку критики, теории, широкого читателя и зрителя. И то, что это называется всего лишь главами из романа, не помешало, кстати сказать, кинематографистам, талантливому популяризатору Шолохова на экране Сергею Бондарчуку вместе с Шукшиным, Тихоновым, Лаликовым, Юрием Никулиным, Бурковым, Мордюковой, Шукшиной-Федосеевой и другими создать большой фильм, отличающийся целью и несомненной внутренней завершенностью.

Возвращаясь к разговору о социальной психологии массы, коллектива, следует сказать, что военная гроза задала тогда этой психологии небывало жесткий режим. Фронт, отступление едва ли не каждый час предлагают все новые повороты событий — и психика должна к ним мгновенно приспособиться, адаптироваться в самом неожиданном и невероятном, чтобы это невероятное тут же стало бытием и просто бытом солдат: в отступлении надо кормиться, спать, заботиться об оружии и боеприпасах. Надо жить.

И вот психологический парадокс: внутренний мир бойцов подвержен переменам разительным, события накатывают и накатывают, все меняется и движется со скоростью ураганной... И все-таки даже в этой кутерьме внутренний мир человека сохраняет нечто постоянное. Сохраняет то, что можно назвать самой жизненной основой человека, полка, нации, что вошло в кровь и плоть за минувшие советские десятилетия, став чувством,

<sup>8</sup> «Знамя», 1945, № 9, стр. 149.

привычкой и эмоцией, мыслью и словом. Нечто нерушимо прочное в человеческой психике может сохраняться, оказывается, даже среди сумасшедше изменчивого и пересоздающегося.

Свою специфическую окраску психологическим моментам в «Они сражались за Родину» придает и то обстоятельство, что солдатское мироощущение постоянно сталкивается с коллективной психологией жителей колхозных хуторов и станиц, через которые пролег путь отступающего полка. Читателю открывается возможность увидеть психологический процесс в некой протяженности: нравы хуторян — это ведь вчерашнее тех, кто ушел в огонь из таких же вот хат, от полей, где все еще продолжают косить хлеба, доить коров, чинить телеги и подковывать коней...

В романе невольное пересечение двух потоков народной психологии дает возможность отчетливой разглядеть их единую сердцевину. Единую, хотя солдатам и приходится выслушивать от колхозников вещи далеко не комплиментарного характера. Помним, как было в сцене с суровой старухой, а вот признание другой колхозницы: «...ведь мы, бабы, думаем, что вы опретью бежите, не хотите нас отстаивать от врага, ну сообща и порешили про себя так: какие от Дона бегут в тыл — ни куска хлеба, ни кружки молока не давать им, пуцдай с голоду подыхают, проклятые бегунцы! А какие к Дону идут, на защиту нашу, — кормить всем, что ни спросят... Да мы все отдадим, лишь бы вы немца сюда не допустили! И то сказать, до каких же пор будете отступать? Пора бы уж и упереться...»

В этом хлестком монологе многое слышится: и ставшая жизненной нормой привычка все серьезные решения принимать сообща, и своеобразие характера казачки с Дона — землячки и Аксиньи, и Варюхи-горюхи, и тех баб, что Давыдова побили; но всего важнее — слышится великая вера, что войско должно «упереться», что враг будет остановлен, весь только вопрос, где и когда.

Говоря об идейно-художественной концепции романа «Они сражались за Родину», Шолохов подчеркнул свой особый интерес к исторической диалектике народной жизни: «О русском солдате, о его доблести, о его суворовских качествах известно миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно новом свете. Я и хочу раскрыть в романе новые качества советского воина, которые так возвысили его в эту войну»<sup>9</sup>.

С подлинно художнической деликатностью Шолохов дает читателю понять всю сложность связи чувства с событиями огромного исторического масштаба.

У него высокий подтекст неизменно смягчен шуткой, органично вырастает из поступка и происшествия, из солдатской пикировки в минуту выдавшегося затишья. Вот Лопахин объясняется по поводу своего пагубного пристрастия к крепкому слову, и ход его рассуждений получает такой удивительный поворот: «...я — шахтер, до войны в забое по триста с лишним процентов суточной нормы выгонял. Триста процентов выполнить — без ума, на одной грубой силе, не выполнишь, — стало быть, труд мой уже надо считать умственным трудом. Ну и, как у всякого человека умственного труда, интеллигентные нервы мои расшатались...»

Разговор о «расшатанных нервах», но суть его все-таки в тех трехстах процентах, для которых, как считает шахтер, нужно настоящий ум приложить, а не одну грубую силу. Мышление, типичное для тех, кто пережил со страной энтузиазм первых ударных пятилеток, понимает свой труд по-стахановски.

Звягинцев ругает наших летчиков, не сумевших прикрыть пехоту от вражеской бомбежки, и с безотчетной уже привычкой хозяйственного колхозного тракториста при этом ставит им в вину неожиданное, но для него, в общем, такое естественное: «...пошли в пустой след порхать, государственное горючее зря жечь... Истребители бензина вы — вот кто вы есть такие!»

От кого другого как не от Шолохова узнали мы в свое время о тех жизненных дорогах, которые привели героев «Они сражались за Родину» в этот походный строй, в это сражение. Ведь старшика Поприщенко свободным мог быть однополчанином Михаила Кошевого в гражданскую, а станичный хлебороб Звягинцев пройти все те житейские превращения, что и Кондрат Майданников. Годы, пролетшие между 1919-м и 1941-м, годы «Гихого Дона» и «Поднятой целины», как раз и были годами их духовного становления.

Общественная война, по слову Белинского, способна пробуждать, вызывать наружу «все внутренние силы» людей, сражающихся за правое дело. Такая война не только составляет собой целую эпоху в истории народа, но и влияет «на всю его последующую жизнь».

Эта очень важная деталь — «на всю его последующую жизнь» — позволяет отчетливо понять, почему в сознании шолоховских героев само страшное сражение с фашизмом есть в конечном счете не что иное, как одно из звеньев революционного преобразования мира, продолжение единого исторического деяния. Лопахин на вопрос о том, какое же у него личное горе, отвечает: «Обыкновенное по нынешним временам: Белоруссию у меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой небось заняли, а там у меня

<sup>9</sup> «Вымпел», 1947, № 23, стр. 24.

жена, отец-старик, шахта, на какой я с детства работал...»

«Белоруссию у меня!» — вот как ощущает мир и все в нем происходящее этот шахтер, рядовой на большой войне (и думаешь: если бы такое понимание да в свое время Григорию Мелехову с его невероятно талантливой и активной душой!).

Иные чувства, пожалуй совершенно небооразимые в дореволюционном солдате, для шолоховских героев настолько типичны, что возникает их своеобразная перекличка в самых разных людях, в несхожих между собой индивидуальностях.

Шагает в строю Звягинцев, на ходу сорвал оборельный колос, «думая о том, как много и понапрасну погибает сейчас народного добра и какую ко всему живому безжалостную войну ведет немец...».

«То-то и оно. Не могу я все это добро немцам оставить, хозяйская совесть моя не позволяет. Понятно? — с необычной серьезностью сказал Лопахин...»

«Машины со снарядами и с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро! — ни к кому не обращаясь, сокрушенно забормотал Копытовский...»

Предмет психологической типизации — не просто любое, свойственное многим переживание. Подлинно типическим для героев «Они сражались за Родину» становится то чувство, что несет в себе нечто существенное от народного восприятия этих трудных дней. Чувство, в котором отзывается нравственное напряжение целой нации, острота самого исторического конфликта. Как раз такого рода переживания и духовные искания, такая психологическая встряска и вызывает особенно активное читательское сопереживание. Именно с ним, этим «типическим чувством», важная социальная идея получает в романе необходимые черты подлинно явления художественности, обретает свою психологическую пластичность.

Говоря о шолоховском неизменном стремлении выделить индивидуальность в потоке событий, о шолоховском взгляде на войну «через душу солдатскую», мы в конечном счете говорим о внимании к человеку как о самой сути советского образа жизни: он на том и стоит, чтобы в человеке неизменно выявлялось глубинное личностное начало — даже на войне! Задача социализма — всегда, в любой ситуации помочь человеку до конца выявить себя, возвысить внутренний мир человека до активной жизненной позиции!

В характерах «Они сражались за Родину» — в шахтере Лопахине, хлеборобе Звягин-

цеве, агрономе Стрельцове — с самого начала ощущается большая социальная емкость, их распахнутость в завтра, в этих людях угадываются богатейшие внутренние возможности... Война по-своему ведет проверку человека на нравственную добротность, на истинность оберегаемых им духовных ценностей.

Рассказ «Судьба человека» — это новое высокое качество жизнеспособности, новая степень отношений между человеком и обществом. Мировой успех рассказа в том и заключается, что многозначительная жизненная коллизия здесь соотнесена с крупным характером, с большой человеческой личностью.

Великая Отечественная война стала жестокой проверкой человеческого в человеке. В том числе и этого права — быть личностью, а не песчинкой в урагане. Жизнь дала художнику увидеть своих героев, своих казаков и казачек, тех, кого воспевал и защищал, воспитывал своими книгами, ради которых жил и писал, — увидеть в самом суровом из испытаний, какие только возможны на этом свете.

Не удивительно, что в военной прозе Шолохова поступки и помыслы людей видятся вписанными в некие глобальные, пространственные процессы народной жизни. И при этом все происходящее с героями оказывается настоящим для людей современности, воспринимается как неотъемлемая частица нашей сегодняшней духовной жизни.

Обладая видением воистину высоких горизонтов национального самосознания, писатель умеет показать народную жизнь как процесс, найти в поведении своих героев то главное, что есть направляющая всего хода истории.

Книга за книгой Шолохов рассказывает, как исконные, непреходящие национальные начала, опыт долгих поколений обогащались в советские годы новым — социалистическим, коллективистским. Как душами людей все больше владела революционная целеустремленность, как магистраль развития народного самосознания становилась магистралью истории.

От «Тихого Дона» до «Они сражались за Родину» и «Судьбы человека» — грандиознейшая панорама! О ней можно с полным основанием сказать: вот повествование о том, как конкретно, в каких судьбах, каких событиях рождалась новая историческая общность — советский народ. Как государство наше превращалось в общенародное. Как возникали все те условия, которые дали право нашему времени называться эпохой развитого социализма.

В мировой литературе Шолохова-художника по праву называют летописцем большой судьбы народной. Летописцем нашей исторической победы.



---

ВЛАДЛЕН КОТОВСКОВ

★

## ВСТРЕЧА С «ДОЧЕРЬЮ» ГРИГОРИЯ МЕЛЕХОВА

*Из блокнота литературного критика*

**П**редчувствую, строгому читателю мой заголовок покажется по меньшей мере смелым, а скорее странным. Но расскажу все по порядку...

Весной и летом 1965 года мне несколько раз по заданию редакции ростовской областной газеты «Молот» пришлось бывать в Базках, хуторе, который почему-то (видимо, с тех пор, когда здесь размещался одно время райцентр) стали называть станицей. А на самом деле испокон веков это был хутор Базки станицы Вешенской.

Пришлось мне бывать в Базках накануне и в дни шолоховского юбилея. Общественность страны, труженики Дона широко отмечали шестидесятилетие любимого писателя. Естественно, в те майские дни «каждого из нас особенно пристально интересовала любая самая малая деталь, связанная с жизнью и творчеством Михаила Александровича.

И вот, находясь как-то в Базковском сельсовете, беседуя с казаками, я вспомнил, что здесь в местной школе должна работать Пелагея Харлампиевна Ермакова — дочь одного из прототипов Григория Мелехова...

Тот факт, что базковский казак Харлампий Васильевич Ермаков — один из прототипов Григория Мелехова, подтверждает сам автор «Тихого Дона». Еще весной 1939 года в Москве в редакции газеты «Правда» в беседе с литературоведом И. Г. Лежневым Михаил Александрович рассказал о казаке Харлампии Ермакове, который по внешнему облику, по темпераменту, частично по своей судьбе в годы гражданской войны близок Григорию Мелехову.

«Ермаков, — говорил тогда Михаил Александрович, — был рядовым бойцом-кавалеристом казачьей части в первую мировую войну. За боевые подвиги получил полный комплект Георгиевских крестов... В 1917 году сочувст-

вовал революции, потом переменялся, играл видную роль в Вешенском восстании. После разгрома Деникина вступил в Первую Конную, был командиром, отличился. Я видел у его родственников снимок группы кавалеристов во главе с Буденным. Там был и Ермаков. Бережно показывали его родственники серебряное оружие, шашку, которой его наградили за доблесть Буденный... Но через несколько лет после демобилизации Ермакова выяснились все его провинности во время восстания, и он понес... кару».

С Пелагеей Харлампиевной не раз уже беседовали ученые-литературоведы. Подробная запись одной такой беседы 40-х годов сделана, например, в книге И. Лежнева «Путь Шолохова».

Но с тех пор прошло много лет — шла весна, как я уже сказал, 1965 года...

На мой вопрос, жива ли Пелагея Харлампиевна, базковцы охотно ответили:

— Жива. Работает в школе. Лучшая наша учительница. Но уже собирается на пенсию...

Школа была рядом, занятия в ней еще шли, и я направился туда.

— Пелагея Харлампиевна ведет урок сейчас в своем первом классе, — сказала мне молодая учительница и показала рукой: — Вон в том здании.

Я пересек школьный двор и подошел к одноэтажному зданию с длинным рядом окон, в которых играло отражение весеннего солнца.

П. Х. Ермакову (по мужу Шевченко) я никогда раньше не видел, но зато отлично представлял себе по роману портрет Григория Мелехова, а значит, Х. В. Ермакова, а дочь его, знал я, похожа на отца.

Помните, у Шолохова: «Григорий в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у баги, вис-

лый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румяняющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое».

— Мою прабабушку, — рассказывала П. Х. Ермакова литературоведу И. Лежневу, — привезли из Турции. От нее пошли мы все... черные. Цыганами нас называли.

Помните, в романе: «С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — турки».

Я шел вдоль окон, всматриваясь в каждое из них. И вдруг в крайнем окне увидел за столом женщину с явно нерусским типом лица — смуглая с румянцем кожа, черные с проседью волосы, большие горячие глаза и нос с крутой горбинкой. Она, твердо решил я. И не ошибся. Когда во время школьной перемены я представился ей и сказал о цели своего прихода — «просто посмотреть на вас», — она по-доброму улыбнулась и сказала:

— Ну что ж, смотрите...

А смотреть было на что. Передо мной стояла «дочь» Григория Мелехова — пожилая (за пятьдесят лет) женщина, еще не старуха, со следами былой красоты, с умным выражением карих глаз.

— Вы помните, конечно, — сказала Пелагея Харлампиевна, — у Григория Мелехова было двое детей: Мишатка и Полюшка. У моего отца тоже было двое детей: сын Иосиф и я, Полина. Видите, имя мое писатель оставил в романе. Я горжусь этим. Даже несмотря на то, что Полюшка-то по роману умирает. Помните, на последней странице «Тихого Дона» Мишатка говорит отцу: «...а Полюшка померла осенью... От слотошной».

Полина Харлампиевна вспоминает о беседах Михаила Александровича Шолохова с отцом в середине 20-х годов, когда писатель вплотную приступил к работе над «Тихим Доном».

— В те годы Шолохов часто с ним встречался, подолгу беседовал, собирал материал о гражданской войне на Дону. А отец мог многое рассказать... Михаил Александрович придет, бывало, сюда, в Базки, остановится у нашего соседа, знакомого ему казака, и зовет меня: «Поля, скорее на одной ноге — чтоб отец был здесь». А мы с подружкой смеемся: «А что нам за это будет?» Он улыбается: «Конечно, конфеты».

В ростовском областном архиве хранится письмо Шолохова Ермакову от 6 апреля 1926 года — в разгар работы писателя над первыми томами «Тихого Дона». Там есть та-

кие строки: «Мне необходимо получить от Вас некоторые дополнительные сведения относительно эпохи 1919. Надеюсь, что Вы не откажете мне в любезности сообщить эти сведения с приездом моим из Москвы. Полагаю быть у Вас в мае—июне с. г. Сведения эти касаются мелочей В-Донского восстания...» (письмо опубликовано в сборнике «Тихий Дон»: уроки романа», вышедшем в Ростове-на-Дону в 1979 году).

Почему Харлампий Ермаков заинтересовал Шолохова? Видимо, потому, что это была яркая, самобытная личность, к тому же во многом типичная для судеб донского казачества первых лет революции. В годы гражданской войны Х. В. Ермаков, запутавшись, метался из одного лагеря в другой. Но в конце концов воевал в рядах буденновцев на польском фронте. Был командиром полка. В 1924 году его демобилизовали, и он возвратился в Базки.

Писатель, создавая образ Григория Мелехова, воспользовался лишь отдельными чертами Харлампия Ермакова. Шолохова заинтересовал его своеобразный жизненный путь, талант самородка, необычный внешний облик.

Но разница между литературным героем и его прототипом большая. Так, например, в бандах Ермаков, как Мелехов, не участвовал, он в 20-х годах был начальником майкопской кавалерийской школы. В детские годы рос Ермаков не в доме состоятельных родителей, а у скромных бездетных кумовьев. Его отношения с женой были совсем другими, чем у Григория с Натальей. Не было у него и Аксиньи с ее беззаветной любовью. Вместо этого...

— Были у меня, — рассказывает Пелагея Харлампиевна, — три мачехи. Так, во время службы у белых отец сблизился с какой-то ихней сестрой милосердия, отступил с нею до Новороссийска, потом разошелся...

Я поспешил задать вопрос:

— А мне вот говоря, что в Базках и сейчас живет Аксинья?

— Это она хочет быть Аксиньей, — улыбнулась Пелагея Харлампиевна. — Таких еще можно у нас встретить... Отец у меня был высокий, красивый казак. Женщины за ним бегали. А мать очень любила отца и прощала ему все его похождения... И он ее не бросал, пока она была жива. Умерла мать в отсутствие отца, умерла беременной. Отца вызвали с фронта, он приехал, но не успел к похоронам. Посадил нас, детей, рядом с собой на лавку, насыпал конфет, ласково говорил с нами. Но не видно было, чтоб он по матери сильно убивался...

Пелагея Харлампиевна продолжала говорить, а я со вниманием слушал и смотрел, смотрел на нее...

— Что, похожа на Мелехова?

— Очень...

— А знаете, какой был случай... Сижу я как-то летом дома на крылечке, а дочка (она у меня уже взрослая) проходит мимо и что-то держит в руке, слегка помахивает. Я как глянула, так и ахнула, обмерла: у нее в руке фотокарточка отца, ее деда. Он в шинели, в крестах. Откуда, думаю, она достала карточку? Все его фотографии пропали давно, даже та, где рядом с Буденным. «Успокойся, мама,—говорит дочка,—это артист Глебов в роли Мелехова». Вот какое сходство бывает.

— А фильм «Тихий Дон» видели? — спросил я Пелагею Харлампиевну.

— Только две первые серии. Была в Вешках на общественном просмотре. Артисты из Москвы приезжали. Волновалась очень. Впечатление сильное. А когда в зале зажегся свет, многие зрители повернулись в мою сторону, молодежь ахала: «Как похожа!» — а пожилые беспокоились: «Как бы плохо не было с ней. Выдержит ли сердце?» Я сама этого боялась и поэтому на третью серию не пошла...

Я задаю вопрос о встречах Пелагеи Харлампиевны с Михаилом Александровичем Шолоховым.

— Перед войной, — говорит она, — да и сразу после войны часто виделись, а теперь реже... До войны, помню, я, тогда молодая учительница, частенько бывала в семье Шолоховых, ходила к писателю домой, пользовалась его богатой библиотекой. Однажды он подарил мне «Тихий Дон» с трогательной надписью. Но в годы войны книга эта, к сожалению, пропала...

Мы начинаем говорить о романе «Тихий Дон», об образе Григория Мелехова. И становится ясно, что писатель взял у базковского казака Харлампия Васильевича Ермакова, интересного человека и собеседника, его лучшие черты. Ведь не случайно автор «Тихого Дона» ввел в повествование второстепенный персонаж под именем... Харлампия Ермакова и поставил его рядом с главным героем.

У казака Харлампия Ермакова из шолоховского романа много общего с реальным Х. В. Ермаковым. Он пьяница, гуляка, но тут же сказано, что Григорий Мелехов любил Ермакова, «этого лихого, отчаянно храброго командира».

Так писатель М. А. Шолохов переосмыслил, художественно обобщил некоторые черты богатой биографии казака Х. В. Ермакова.

Вопросы о том, существуют ли прототипы героев его книг, задавались Шолохову издавна. Так, еще в 1939 году молодой писатель Анатолий Калинин получил от автора «Тихого Дона» такой ответ: «И да и нет. Много, например, спрашивают о Григории Мелехове. Скорее всего это образ собирательный». В 1971 году А. В. Калинин снова вспомнил давнишнюю беседу и слова Шолохова: «Невозможно списывать образы с людей как они есть. Не потому, что живые люди бледнее книжных героев. Но писатель как бы группирует наиболее примечательные черты разных людей, создавая типы и характеры...»

Прошло много лет со дня моего первого знакомства с «дочерью» Григория Мелехова. Недавно я снова встречался и разговаривал с Пелагеей Харлампиевной Шевченко (Ермаковой). Это было в Базках в солнечный апрельский полдень 1978 года, во дворе старого казачьего куреня, в котором жил еще Харлампий, а теперь резвятся его правнуки. Она мне напомнила, что ей уже около семидесяти лет. Пелагея Харлампиевна, закончив в 1967 году свой тридцать седьмой учебно-педагогический год, ушла на пенсию. Накануне этого была награждена орденом Ленина за плодотворную деятельность на ниве народного просвещения.

В конце января этого года я разговаривал по телефону с Пелагеей Харлампиевной. Голос у нее бодрый, жизнерадостный. Живет она теперь в самой станице Вешенской, в хорошей квартире, нянчит внуков. С гордостью и нескрываемой радостью сказала она мне о том, что квартиру в райцентре получила не без помощи депутата М. А. Шолохова.

Пелагея Харлампиевна продолжает следить за публикациями о творчестве великого писателя-земляка, особенно о «Тихом Доне».

Уйдя на пенсию, Пелагея Харлампиевна долго оставалась активной общественной деятельницей. Ее часто можно было видеть на комсомольских собраниях, где она охотно беседовала с молодежью о жизни, участвовала в диспутах. Еще чаще она заглядывает в родную базковскую школу, помогает молодым учителям, беседует с родителями.

И нередко в задушевных беседах с людьми она обращается к «Тихому Дону», этой народной эпопее, многие страницы которой так близки ее сердцу... Как завидно хороша, ясна и светла нынче жизнь детей, внуков и правнуков героев шолоховского романа!

Ростов-на-Дону.

# КНИЖНИ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Осноцкий.** Пути и судьбы советского рассказа.— **А. Нуйкин.** Оружием пафоса и иронии.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Григорий Резниченко.** Первый главком.

## Литература и искусство

### ПУТИ И СУДЬБЫ СОВЕТСКОГО РАССКАЗА

**И. Крамов.** В зеркале рассказа. Наблюдения, разборы, портреты. М. «Советский писатель». 1979. 294 стр.

**Н**е просто приверженность к избранной теме исследования, но творческая дерзость была в постоянстве пристрастий и увлечений И. Крамова. Из года в год заниматься изучением рассказа в то именно время, когда преимущественным вниманием литературоведения и критики завладела проза больших эпических форм, значило, не поддаваясь общему течению, упрямо торить собственную дорогу, обживать, осваивать собственные исследовательские плацдармы. Не в этом ли проявляются, помимо всего прочего, личность критика, его творческая индивидуальность?

Неизменная верность И. Крамова себе, своим излюбленным темам и проблемам покоилась на убеждениях, полемично заявленных в первой же главе его книги «В зеркале рассказа». Уже у истоков советской литературы, подчеркивал он, рассказ оказался средоточием художественной энергии, направленной на освоение новой действительности. С тех пор советский рассказ пережил бурную, богатую замечательными событиями историю, проявил редкостную способность находить свое место в литературном процессе именно там, где шел интенсивный поиск неизведанных путей. Этот поиск знал свои подъемы и спады, но подспудная работа художественной мысли не прерывалась и в периоды спадов, совершалась глубоко в недрах рассказа.

Какие же основные исторические рубежи в развитии советского рассказа обозначены в книге?

Раньше и прежде всего — этап интенсивного становления в первые послереволюционные и бурного расцвета в 20-е годы, когда рассказ «достигает вершин, по которым мерят обычно достижения и успехи жанра». Такими вершинами выделены «Донские рассказы» М. Шолохова, рассказы Вс. Иванова и Б. Лавренева, А. Малышкина и И. Бабеля. «Энергия художественных исканий» прокладывала себе многие и разные пути, реализовалась в широком богатстве повествовательных форм, интонаций, красок, выразительных и образительных возможностей, в многообразии психологических характеров и социальных типов, будь то Гадюка у А. Толстого или подпоручик Кижее у Ю. Тынянова, персонажи М. Зощенко или Ю. Олеши. «Совсем другая краска в панораме рассказа 20-х годов — Александр Грин». Сопоставляя два взгляда на его наследие — «недоверие к действительности» (К. Паустовский) и «не уход от жизни, а приход к ней» (М. Щеглов), исследователь склонялся больше ко второй точке зрения. «Неуловимые сны» Грина, писал он, его фантазии и сказки «постепенно вросли в нашу жизнь».

Свою особую направленность обрели автор-



ские раздумья над творчеством В. Пильняка, чьи рассказы по своей образной структуре оставались чаще всего фрагментом «грандиозной фрески... Фреска эта — новая, революционная Русь». Отмечено исследователем и писательское увлечение притчеобразной формой повествования. Но притче В. Пильняка, замечал И. Крамов, «решительно не хватает конкретности — в ней нет характера, образа, который мог бы придать значение и вес замыслу... Притча, не обращенная к этическим первоосновам бытия, становится иллюстрацией известного положения, и не больше».

Совсем походя, казалось бы, обронена эта мысль. Но в стройной системе авторской аргументации она обретает значение принципиального творческого урока, который история преподает современности. Ведь тяготение к притчевой инсказательности, условности рассказа, отвлекающегося от «земной» реальности конкретно-исторического бытия, социальных, психологических, бытовых подробностей быстротекущей жизни во имя предельного сгущения, концентрированного выражения обнаженной философской или нравственной идеи, наглядного извлечения обобщенного художественного смысла повествования, все заметнее проявляется и в прозе наших дней. На волне этого поиска возникают такие оригинальные явления, как последние повести Ч. Айтматова, рассказы О. Бокеева, Э. Авхледиани, А. Валтона и Р. Салури. Но нередки и потери, обостряющие «жажду беллетристики» («лозунг» Л. Аннинского), в котором критика ищет действительное противоядие ощутимой подчас избыточности, чрезмерности притчи с ее жесткой рационалистичностью образной конструкции, нескрываемой лабораторностью формального опыта. Генезис таких издержек и помогают отчасти прояснить уроки истории, извлекаемые И. Крамовым. Апеллируя к авторитету минувших десятилетий, он обоснованно ссылался на эксперимент В. Пильняка, который, «как показало время, будущего не имел. Рассказ упорно сопротивлялся всякой попытке разрушить его структуру. Рассказы Пильняка, в отличие от его романов, оказавших заметное влияние на литературу, так и остались эпизодом, в тени других свершений писателя».

Уступив в 30-е годы свое лидирующее положение большой эпической прозе, рассказ и в ту пору явил все же такие творческие завоевания, которые оказались не просто сопоставимы с лучшими достижениями предыдущего десятилетия, но, по мысли автора книги, наметили «новую перспективу развития и жизни жанра». И даже, опережая свою эпоху, пронзительно предугадывали социально-нравственные проблемы, драматические коллизии,

которые только впоследствии со всей остротой встанут в жизни и придут в литературу. Таким не разгаданным критикой 30-х годов опережением, не понятым ею предвосхищением была прозвучавшая в рассказе И. Катаева «Ленинградское шоссе» тревога, которую внушал писателю «культ «чистой работы», технической вооруженности, волевой подтянутости, безотносительно к их социальному направлению и одухотворенности».

Предчувствие, опередившее время, находил И. Крамов и в интонации лирического раздумья, изнутри высветившей рассказы М. Пришвина и К. Паустовского. На расстоянии все отчетливее видно, что поэтизация сокровенного, трепетного чувства природы, любовного, бережного отношения к ее красоте действительно противостояла бодряческому пафосу ее перекройки. Размышляя в связи с этим о наследии К. Паустовского, исследователь опирался в своих оценках на суждения А. Платонова-критика, прозорливо предугадавшего силу писательского дарования не в рассказах типа «Музыка Верди» или «Доблесть», но в мещерском цикле «Вторая родина». «Время подтвердило правоту критических суждений Платонова. «Вторая родина» по сей день — любимое, доставляющее радость чтение, а «Доблесть» по справедливости забыта, как и многие другие рассказы, где медоносно-благородная выдумка (слова Платонова) заменила истинное познание жизни».

И наконец, творчество самого Андрея Платонова, рассмотренное как одно из вершинных достижений в жанре рассказа. О нем и говорить пристало словами весомыми, внушительными, эмоционально впечатляющими. Такие слова находил И. Крамов, приближая мир платоновской прозы с ее возвышенной атмосферой «тревожного внимания к духовности, к «внутреннему свету» человека», пленительной «магией языка».

Рубежом, на который выходила литература после бурь и испытаний Отечественной войны, назван И. Крамовым рассказ А. Платонова «Возвращение». Появившийся «на срезе войны и мира», он дал исследователю возможность перекинуть надежный мост от рассказа военной поры «к рассказам и очеркам, ознаменовавшим через несколько лет начало новой литературной эпохи».

Такими резкими, крупными мазками обрисовывал И. Крамов преемственные связи в развитии советского рассказа. Но ретроспективная панорама его — и в этом состоит приметная особенность книги — представляла для автора отнюдь не самодовлеющий интерес. История рассказа раскрывалась в тесном сплетении с теорией жанра, опорными положениями, своего рода несущими конструкциями, ~~которой выдвинуты проблемы соотношения~~

рассказа и новеллы, рассказа и очерка, рассказа и повести, взаимодействия малой и большой эпической прозы.

Задаваясь вопросом о жанровой определенности рассказа, особенностях его поэтики, И. Крамов справедливо сетовал, что специфика романного слова в литературоведческой науке исследована куда полнее и глубже, чем специфика слова в рассказе. И, намечая пути такого исследования, размышлял о том, что художественную атмосферу рассказа создает «концентрированность всех средств выразительности... Культура точно найденной детали здесь приобретает особое значение в силу необходимости выявить на небольшой сравнительно площади глубинный смысл явления, образа».

Опираясь на четкое представление о природе жанра, И. Крамов создавал широкую панораму современного рассказа, взяв ее крайней хронологической границей вторую половину 50-х годов. В. Овечкин, С. Антонов, Ю. Нагибин, Е. Дорош, Ю. Казаков выступают героями этих глав, построенных на чередовании общетеоретических положений и портретных зарисовок. Тяготение к портретности всегда отличало исследовательскую манеру И. Крамова-критика, автора монографических работ о творчестве В. Воровского и Л. Рейснера, А. Малышкина и Э. Капиева, Джона Рида и Мате Залки. В последней книге оно проявилось по-разному. В ряде случаев это блистательный критический этюд, посвященный всего одному шедевру, например рассказу А. Яшина «Угощаю рябиной». В других — анализ творческого пути писателя, сосредоточенный на основных его вехах, как, скажем, «Падении Ивана Чупрова», «Ухабах» В. Тендрякова. В самостоятельную часть главы вынесены рассказы Ю. Трифонова, от которых тянется ниточка к «Обмену» и к другим «городским повестям». Отдельная монографическая глава посвящена творчеству В. Шукшина, в котором И. Крамов видел художественное открытие определенного социального типа, возникшего в недавние годы, деятельно вставшего в городскую жизнь, но еще накрепко связанного с деревней. «Оторванный от родных корней, он не принадлежит ни городу, ни деревне, находясь как раз в той промежуточной жизненной сфере, где скрестились различные влияния и где формируются новые характеры. Собственно, герой Шукшина и был открытием нового характера».

Размышляя о деревенской прозе, исследователь и на материале рассказа умел видеть в ней художественно цельное явление. Но вот что важно подчеркнуть как принципиальный урок, утверждаемый И. Крамовым. Бесспорные завоевания деревенской прозы не заслужили от взыскательного взгляда исследователя

и того, говоря словами Г. Успенского, «удивительно миловидного направления» в литературе о деревне, которое в несколько модернизированном виде дожило и до наших дней. Рельефнее всего, на взгляд критика, оно выражено «в стремлении нарисовать деревенскую аркадию, «непочатые углы смиренного мудрия и целомудрия» (Успенский), существующие только в воображении пишущих», в «идиллических представлениях о сельском мире, будто бы ставшем в наш трудный век чем-то вроде заповедника нравственных устоев». Наглядный, что и говорить, пример полемике, которой пронизана книга «В зеркале рассказа», донесшая до нас накал давних и недавних литературно-критических дискуссий.

Изучая идейно-художественный опыт советского рассказа, И. Крамов последовательно представлял его в многонациональном богатстве жанрово-стилевых форм, самобытных интонаций и красок. В ориентации на это богатство состояла сознательная творческая установка исследователя. Немало проникновенных страниц книги отдано творчеству Акселя Бакунца, Чингиза Айтматова, Гранта Матевосяна, множество метких и точных характеристик содержит разбор рассказов Ю. Яновского, А. Довженко, О. Вишни, М. Ауэзова, А. Каххара, В. Быкова, Г. Тютюнника, Е. Гуцало, Ф. Мухаммадиева. В особую главу вынесен краткий очерк истории казахского рассказа, на примере которого вдумчиво прослежены типологически общие процессы развития «малой прозы» в молодых литературах народов СССР.

Однако можно было бы и посетовать подчас, что при всем обилии многонационального материала, положенного в основу исследования, при широте аналогий и ассоциаций о новаторском вкладе ряда писателей в обновление и обогащение рассказа сказано до обидного глухо. Явно «не повезло», например, Вере Пановой и Даниилу Гранину, Леониду Первомайскому, Янке Брылю, Иону Друцэ. Но, с другой стороны, и то верно, что включи И. Крамов в книгу еще десять или двадцать имен — «все равно мы не исчерпаем всего богатства явлений, возникших за последние десятилетия в нашей новеллистике». Тем более что по изначальному авторскому замыслу книга и не писалась как история рассказа, не решала монографических задач. Иное дело, если наблюдения, разборы, портреты, составившие ее, оказались столь емки и содержательны, что одинаково свободно вместили в себя и историю и теорию...

На скрещении их формулировал И. Крамов свой обобщающий вывод о рассказе как об одной из наиболее динамичных жанровых форм, оказавших преобразующее воздействие на характер и направление художественных

исканий в советской многонациональной литературе. В контексте ее развития рассказ выступает «своего рода генетическим фондом», который обеспечивает «сохранность качественного критерия» и, действуя в интересах всей литературы, сберегает «заветы художественного мастерства». В приближении к писательскому творчеству сказанное означает, что если «талант ищет воплощения в наиболее

близкой ему по духу форме», то «чувство жанра активизирует талант».

Таким чувством жанра в высшей степени обладал сам И. Крамов, серьезный и увлеченный, зоркий и чуткий исследователь путей и судеб советского многонационального рассказа.

В. ОСКОЦКИЙ.



## ОРУЖИЕМ ПАФОСА И ИРОНИИ

Вардгес Петросян. Аптека «Ани». Повести и рассказы. Перевод с армянского. М. «Молодая гвардия». 1979. 267 стр.

Когда писатель объединяет в одну книгу и только что написанные произведения, и те, что выходили несколько лет назад, это непроизвольно подталкивает критиков попробовать увидеть его в движении, уловить направление развития творчества. Книга Вардгеса Петросяна «Аптека «Ани», во всяком случае, у меня такое желание вызвала.

Особенно продуктивен подобный «векторный» подход к литературе, публицистической по своему характеру. Нигде личностные качества писателя — его мировоззрение, нравственные позиции, темперамент — не отражаются так прямо и тотально в литературном тексте, как здесь. Публицистика, разумеется, не требует каких-то особых человеческих качеств: в каком бы жанре ни работал автор, чуткость к самым острым, наиболее болезненным проблемам современности, гражданская смелость, обостренная эмоциональная реакция на события лишними для него не будут, но для публициста они просто необходимы, причем все, в совокупности! Перечитывая произведения В. Петросяна, с которыми он вышел к всесоюзному читателю — прежде всего, конечно, «Армянские эскизы», а также повесть «Аптека «Ани», давшую название новой книге, — мы видим, что писатель выбрал свою нелегкую стезю, вполне обладая качествами, о которых здесь идет речь.

В. Петросян — один из тех, кто пишет для того, чтобы жизнь «живых» сегодняшних армян становилась с каждым днем разумнее, справедливее, значительнее и чище. А для этого надо решить массу проблем — и старых и новых, но одинаково нелегких. Писатель восстает против тех из современников, кто предпочитает удобно спрятаться от неотложных современных проблем за красивую и неуязвимую (как им кажется) ширму декоративного, застольно «национального».

«Кто-то произносит тост:

— Я готов умереть за наш народ! Кто

не любит свой народ больше других — тот не человек.

Другие тоже выступают.

Я не слушаю их. Не встаю. Не хочу пить за здоровье нашего народа, который, мол, выше других. Я устал от этого тоста, и для меня, чего греха таить, мой народ не выше других. Он просто мой, как глаза, как мать, как болезнь, память, тоска и горе. Но кто же пьет за свои глаза, тоску, болезнь? Я побывал в Тер-Зоре, Карсе, смотрел на гору Муса, сидел опустошенный на берегу Евфрата, и не мне учиться патриотизму.

Осторожно ставлю на стол нетронутый бокал и выхожу. На улице я вижу свой «много-страдальный» народ: чудо-девушек, одетых, как парижанки, деловитых, спешащих по своим делам мужчин, неторопливых стариков, беременных женщин... Мы старый народ, даже усталый, на нашем лице морщины, наше сердце перенесло тысячи инфарктов, но надо ли вспоминать это ежедневно, повторять, говорить тосты, вздыхать?»

Нелегко писать про такое, вести нелюбимый разговор. А ведь именно публицистам прежде всего приходится брать его на себя. Охотников говорить «сладкие истины» и без них довольно. И именуются эти охотники не публицистами, а совсем иначе.

Автор «Армянских эскизов» обладает гражданским мужеством говорить правду, не всегда приятную. Полны гнева строки, в которых повествуется о таком любителе поскорбеть о трагическом прошлом армян, без малейших нравственных угрызений воздвигающем магазин на фундаменте... древнего мавзолея. Но еще больший гнев охватывает автора при встрече с теми, для кого мертвые камни (пусть даже и священные) оказываются дороже живых людей.

Зато каким сыновним уважением и национальной гордостью проникнуты те страницы «Эскизов», где рассказывается о людях, по-

добных Аветису Едигаряну, который своими руками превратил в цветущий и плодоносящий сад гектары бесплодных пустошей, каменистых склонов и подарил этот сад селу.

Проблема соотношения патриотизма и интернационализма для армян, разбросанных историей по всему свету, была и остается одной из самых острых. Вардгес Петросян пытается ее решать отнюдь не косметическими средствами. Целые поколения армян выросли за границей, не вдохнув ни глотка горного воздуха своей родины. Кое-кто из них тоскует, свято хранит на почетном месте в хрустальной вазе кусок извести от стен Звартноца, а кое-кто цинично заявляет, что готов бомбить Ереван, если то потребует правительство его «новой родины».

Уменьшает ли подобная нацеленность писателя на внутреннее, сугубо армянские проблемы интерес к его произведениям за пределами Армении? Наоборот. Только тогда произведения по-настоящему интересны и полезны всем, когда авторы их всерьез, изнутри раскрывают свое, глубинное, наболевшее, сокровенное. Именно поэтому «Армянские эскизы» воспринимаются как произведение яркое, острое — нужное.

Пolemической, публицистической заостренностью отличаются и чисто художественные по жанру произведения В. Петросяна. В повести «Аптека «Ани» ставится извечная (а точнее — вечно острая) проблема поколений. Проблема эта тем веселее, что каждому приходится с ней сталкиваться по крайней мере дважды. Сначала с позиции детей, потом с позиции отцов. А за определенный временной промежуток успевают измениться не только моды, но и историческая ситуация, и психология, и (в чем-то) сама иерархия человеческих ценностей.

Мамам и бабушкам жизнь поколения героини повести милой и храброй девушки Ани кажется слишком легкой и бездумной. Конечно, нынешняя молодежь не знала голода, хорошо одета, в чем-то избалована, но так ли уж легко дается эта «легкая жизнь»? Далеко не всегда. Просто трудности теперь другие — тоньше, психологичнее они стали, но зачастую от этого восприятие их только острее. Повесть не случайно представляет из себя как бы серию внутренних монологов молодых людей. Только взглянув новому поколению в душу, и смогут отцы преодолеть барьер непонимания. (А о том, с кого у жизни главный спрос за проблему поколений, хорошо сказано у Петросяна в рассказе «Полуночная беседа»: «Ваге улыбается удивленно и снисходительно. Он меня не понимает. А разве сыновья когда-либо понимали отцов? Да и к чему им это? Вот отцы обязаны понимать

сыновей — в этом их великая мука и великое счастье».) И когда отцы сумеют заглянуть без высокомерия и обид в душу сыновьям, то окажется, что многие из различий между поколениями не столь уж принципиальны, поверхностны, много у молодых напускного, идущего от бравады, от неумения быть самими собой, что на самом деле они серьезнее, чище, добрее, чем кажутся.

Конечно, это только одна сторона правды о молодом поколении, конечно, «все в жизни гораздо сложнее», но даже от многоотной эпопеи нельзя требовать всех возможных подходов к проблеме сразу. А здесь — небольшая лирическая повесть...

Тем интереснее бывает знакомиться с последующими произведениями писателя — остается ли он верен своей позиции, своим поискам, идет ли вперед, не повторяет ли сам себя? Чего греха таить, авторы молодежной темы, обретая с годами жизненный опыт и мастерство, бывают, иной раз и теряют остроту проблемного мышления, непримиримость к безнравственности, прежний задор. Для писателя публицистического склада это воистину смерти подобно.

Будто специально для облегчения сопоставлений В. Петросян новую свою повесть «Последний учитель» посвятил тоже проблеме поколений. Если в «Аптеке «Ани» современная молодежь предстает как бы задачей с одним, от силы двумя неизвестными, то здесь устами старого математика Даниеляна молодежь многократно называется «уравнением с десятью неизвестными». Уставшему от своей «каторжной» деятельности учителю кажется, что в ответе у задачи может оказаться ноль. Но ни автор, ни его главный герой, учитель литературы Ваан Мамян, с такими выводами решительно не согласны. И то, как Мамяну удалось за несколько месяцев завоевать на всю жизнь сердца непутевого Ю «б», и самое разрешение в финале сюжетных коллизий, и отрывки из анонимных сочинений «психованных», непонятных, дерзких ребят», где они откровенно делятся мыслями о самих себе, доказывают нам, что в душах юного поколения заложено много доброго и здорового.

Эту мысль можно было бы, наверное, отождествить с позицией автора в повести «Аптека «Ани». В «Последнем учителе» она только один из аспектов в раздумьях о молодежи. Нет, автор по-прежнему отрицает право судить о форме мыслей по форме прически, но...

«...это поколение сказками не прокормишь. Им другая пища нужна — острая, соленая. Что ж, пресная пища действительно приедается. Без сказок нельзя? Тогда пусть и в сказках будет острота!

«...все они только и думают, как бы выглядеть посовременнее». Невелик грех для человека в четырнадцать—семнадцать лет.

«Вошел в церковь святого Саргиса. Жених с невестой стояли перед священником. Невеста была в джинсах, жених жевал жвачку». Да, тут что-то сильно вульгарностью отдает! Но, может быть, больше все-таки виновата мода, а не они.

«Вчера я была в парке... Недалеко от меня сидела пара. Между ними стоял магнитофон. Английская, кажется, звучала песня. Пара время от времени целовалась. Я наблюдала за ними примерно полчаса. За это время они не сказали друг другу ни слова... И целовались они как-то лениво...» Нет! Тут уж не в моде дело, не во внешней атрибутике. Тут уж проглядывается какой-то серьезный глубинный изъян, какая-то неполноценность.

«Они смеются над Теряном, Петроса Дуряна называют деревенщиной, спрашивают, нет ли среди армянских писателей какого-нибудь хиппи? Послушай, они хохочут над Теряном! Тебе не страшно?..» Да, это уже не пустяк, это действительно страшно.

«А среди вот этих самых деток уже имеются и подлецы, и карьеристы, и кляузники...»

Разговор о проблеме поколений, как видите, становится намного дифференцированной, ответственной, острее. Не подумайте только, что ведется он так вот по-газетному прямо, как в выхваченных нами из текста фразам. Напротив, сюжет повести насыщен (особенно поначалу) весьма драматичными событиями.

В уважаемой широкой общественностью средней школе имени Мовсеса Хоренаци произошло скандальное ЧП. Группа учеников 10 «б» после уроков, включив магнитофон, предалась столь сумасшедшему веселью, что бесшабашная Мари Меликян прямо на учительском столе устроила стриптиз! Когда же Сона Макаелян, оказавшаяся невольной свидетельницей этого прискорбного происшествия, доложила о нем директору школы товарищу Вануни (который, кстати, очень уважал Сону, поскольку она была лучшей преподавательницей химии плюс двоюродной сестрой заместителя министра просвещения), то юные безобразники нагло заверили: ничего подобного! Вышеописанная возмутительная сцена просто померещилась уважаемой учительнице, хотя Мари Меликян действительно, может быть, несколько увлеклась танцем и, кажется, на самом деле расстегнула верхнюю пуговицу платья, но не больше того.

Юные нахалы говорили так искренне, что уважаемая двоюродная сестра замминистра совсем запуталась и не могла ничего утверждать определенно. На этом бы и истории конец, но через несколько дней товарищ Вану-

ни (и министр просвещения тоже) получал анонимку, где с убедительными подробностями объяснялось, что стриптиз все-таки был. Товарищ Вануни, увы, не мог не прореагировать на сигнал снизу (подкрепленный к тому же весьма весомым советом сверху — от работника министерства). Мари, к счастью, сама забрала документы из школы, а второго инициатора ЧП, Армена Гарасеферяна, пришлось исключить, хотя новый классный руководитель 10 «б» Ваан Мамян и пробовал решительно возражать против столь категорических мер, мотивируя это тем, что родители Армена убеждают его эмигрировать в Австралию и исключение подтолкнет его к опрометчивому шагу. Но и на этом удары судьбы не закончились. Десятиклассники обнаружили, что анонимку писал их соклассник Ашот Канкаян, и устроили над ним не очень жестокий, но все-таки самосуд.

К каким печальным последствиям все это могло привести, предсказать нелегко, но, на счастье, безобразники из 10 «б» прорвались на прием к министру просвещения, оказавшемуся к тому же товарищем по школе Ваана Мамяна... В финале ребята, уже окончив школу, сжигают под руководством своего «последнего учителя» на костре записки, в которых каждый перечислил все свои обиды на товарищей. Хеппи энд? Если следить только за внешней событийной стороной сюжета. Но есть и другая, внутренняя, глубоко публицистическая линия повести.

Казенщина в любом ведомстве достаточно отвратительна и вредна, но когда речь идет о работе с детьми, с молодежью—во сто крат. Можно, конечно, посмеяться над сложной дипломатией стареющего директора школы, стремящегося любой ценой уйти на пенсию с почетом. Можно возмутиться тем, что смешной этот директор на собрании выпускников «долго и от души представлял» сидевшего в президиуме питомца школы, начальника жилищного отдела райсовета, в то время как мастер своего дела каменотес Санасар Сарьян, тоже питомец той же школы, подпирал плечом стену где-то сзади. Можно поразиться, как молниеносно меняет мнение на прямо противоположное «историк из министерства» о школах и учителях в зависимости от мимходом оброненной фразы министра. Можно пожать плечами (в который уж раз) по поводу двоек, выставляемых за недостаточную любовь к Татьяне Лариной или Базарову... Что мы и делаем, читая повесть Вардгеса Петросяна, а потом в дополнение ко всем этим «можно» начинаем улавливать одно «нельзя». Нельзя мириться с бездушно-казенным стилем работы в сфере, где формируются души людей. Это не просто плохо — это

чреват опасными последствиями для страны и для самих учеников. И отсюда, только отсюда проистекают многие «загадки молодого поколения». Ведь дети действительно потенциально одарены и чистым сердцем и готовностью жить высокими общими целями. Но казенщина, когда она проникает в школу, убивает здоровые ростки.

Высокий гражданский пафос автора, его благородный гнев против бездушия и казенщины особенно впечатляюще сконцентрированы в мысленном диалоге Мамяна с его школьным товарищем, ныне министром просвещения. В нем писатель поднимается до подлинных высот публицистики.

О бесспорном росте писательского мастерства говорит и новый уровень свободы по отношению к материалу. Пафосные интонации в лучших страницах повести удивительно естественно и выразительно сочетаются с юмором и иронией. Это придает повествованию

определенную эмоциональную стереоскопичность. Текст, однако, много выиграл бы, если бы эта полифоничность шире распространилась в повести, коснулась бы, в частности, и положительных героев. В «Последнем учителе» влюбленная пара Мамян и Сона слишком уж напряженно пафосны и серьезны. Уходят обаяние, динамизм. Встречается еще у В. Петросяна, как и ранее, тяга к излишнему разъяснительству.

Публицисты, что и говорить, народ нетерпеливый (из терпеливого, наверное, и публициста не получится), и все же заметный в ряде эпизодов и описаний налет торопливости, непрописанности оправдать этими рассуждениями трудно. Но упрек явно следует адресовать не только автору, но и переводчику с редактором, работавшими над повестью весьма неровно.

А. НУЙКИН.



### Политика и наука

#### ПЕРВЫЙ ГЛАВКОМ

В. Толубко. Неделин. М. «Молодая гвардия». 1979. 222 стр.

Все, что отдал, — твое.  
*Народная поговорка.*

Книга Владимира Федоровича Толубко «Неделин» посвящена одному из выдающихся наших военачальников — М. И. Неделину. Его биография, просто и доходчиво изложенная человеком, многие годы лично знавшим Митрофана Ивановича, дает право утверждать: дела, военное мастерство, опыт и командирский талант Главного маршала артиллерии долго еще будут служить примером для новых поколений офицеров Советской Армии. Жизнь его, к сожалению, оборвалась рано и трагически — он погиб на боевом посту...

Неделину не было и восемнадцати, когда он в 1920 году добровольцем ушел в Красную Армию. Политбоец. Командир отделения. Курсант военно-политических курсов. Не раз, защищая завоевания молодой республики, воин оказывался под пулями бандитов Антонова и саблями басмачей. Именно в эти два года, как показывает автор, у молодого командира росла любовь к военному делу, к армии, с которой он мечтал связать свою жизнь. Но судьбе угодно было распорядиться иначе. Тропическая малярия и туберкулез легких, которыми Неделин заболел в Туркестане, а затем серьезные травмы, полученные в схватке с бандитами во время работы за-

местителем начальника милиции Борисоглебска, казалось, навсегда разлучат его с любимым делом. Почти год Неделин работает счетоводом-кассиром в потребкооперации рабочих, вступает в партию большевиков. Дела складываются неплохо. Его уважают. Ему доверяют. Но работой своей он тяготится. Несколько раз обращается в военный комиссариат, и наконец по настоянию секретаря партийной организации рабочего кооператива его направляют в артиллерийскую часть.

К концу 30-х годов за плечами у Неделина были учебные дивизион и полк, Испания, артиллерийский полк Московской Пролетарской дивизии. инспекторская работа в военном округе, командование артиллерией 160-й дивизии и высшие курсы при Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского. Где бы ни был Неделин, какие бы должности ни занимал, он учился, тренировался сам, обучал других, совершенствовал артиллерийское дело и по-настоящему был влюблен в него.

Много внимания Неделин уделял роли артиллерии в будущей войне. Он разрабатывал теорию борьбы с танками, проводил не только днем, но и ночью, как подчеркивает автор, маршевые походы по пересеченной местности «с форсированием рек и проведением трени-

рочных стрельбе». Командир обучал артиллеристов стрельбе прямой наводкой из дивизионных пушек и гаубиц. Он все время вплоть до последних предвоенных месяцев вынашивал идею создания в армии подвижных артиллерийских противотанковых бригад. Не одному ему было известно, что немцы упорно разрабатывают танковую доктрину, совершенствуя ее при захвате других стран. Но дело с бригадами двигалось слабо. Требовались какие-то силы, чье-то вмешательство. И вот однажды Н. Н. Воронов, первый заместитель начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ), предложил Неделину и комбригу Н. А. Кличу обратиться с этим вопросом к Сталину. Сталин с интересом выслушал доклад командующего артиллерией 160-й дивизии, ряд предложений Клича и Воронова, затем, обращаясь к Неделину, спросил, как он представляет организационную структуру артиллерийской противотанковой бригады.

«— Три полка противотанковой артиллерии порядка ста орудий и два полка зенитной артиллерии,— ответил Неделин.

— Товарищ Клич, а вы как думаете?

— Я согласен с Неделиным.

— А что думает Воронов?

— Товарищ Сталин, я разделяю точку зрения Неделина и Клича, правда, хотелось бы уточнить следующее: количество бригад желательно иметь тридцать — сорок, и они должны быть моторизованные,— сказал Воронов.

— Верно, нам надо иметь артиллерийские противотанковые бригады. Исходя из наших возможностей, сформируем пока десять бригад. Готовьте проекты постановлений,— закончил Сталин, обращаясь к Воронову».

В конце апреля сорок первого Неделин стал комбригом, возглавив 4-ю артиллерийскую противотанковую бригаду РВГК. Она формировалась в Проскурове.

Как видно из первых глав книги В. Ф. Толубко, к войне Неделин готовился и был готов. Не только он, но и окружавшие его командиры чувствовали, что в воздухе уже носится запах пороха. «В последние предвоенные дни и ночи мы жили словно в лихорадке,— говорил позднее Митрофан Иванович.— В ограниченном кругу должностных лиц еще раз уточнили все необходимое на случай войны. Предусмотрели также порядок эвакуации семей военнослужащих». И все же неожиданность нападения гитлеровцев обезоружила многих командиров.

В начале июля над соединениями 18-й армии нависла угроза окружения. Поэтому Неделин получил приказ закрепиться и прикрыть отходящие войска. 6 июля вечером он доложил в штаб, что бригада к обороне го-

това. А утром, чуть забрезжил рассвет, над позициями артиллеристов появились авиаразведчики. Через час последовало до 40 «юнкерсов». Первыми в бой вступили зенитчики. Несколько самолетов нашли свою могилу недалеко от линии обороны. Но итоги подводить было рано. Вслед за бомбежкой с большой плотностью начали падать и рваться артиллерийские снаряды.

Позицию своей бригады Неделин очертил в виде подковы. В центре расположились 76-миллиметровые пушки, а по бокам выступам 45- и 57-миллиметровые орудия. Враг стремился с ходу прорвать укрепления и выйти в тыл 18-й армии. Немецкая артиллерия не жалела снарядов. Двадцать минут крошечного ада не оставили, казалось, ничего живого. Стреляя на ходу, на главные позиции ринулись танки и мотопехота. Подпустив их поближе, Неделин подал команду: «Огонь!» Загрохотали 76-миллиметровые пушки, и завязалась отчаянная артиллерийская дуэль. Танки все больше втягивались в огневой мешок. Когда до головной машины не было и двухсот метров и артиллеристы падали в них прямой наводкой, командир подал команду боковым орудиям. Враг не ожидал, что попадет в западню, и, оставив 14 танков и около 50 автомашин, отступил назад. «Личный состав бригады действовал самоотверженно, героически,— вспоминает заместитель комбрига по политчасти А. А. Злобин.— Бойцы оправдали надежды Митрофана Ивановича, доказали в бою свою хорошую выучку и умение».

До самого вечера противник атаковал позиции артиллеристов, но безуспешно. К вечеру 31 танк и около 100 машин остались стоять неподвижно, более 300 солдат напоролась на свою смерть. Немалые потери понесли и неделинцы. А впереди предстояли более жаркие битвы. «Бить фашистов, изматывать их силы можно и теперь, в оборонительных боях»,— говорил приехавший поздним вечером на разбор операций дня начальник артиллерии армии генерал-майор Титов. Еще несколько дней удерживала напор вражеских танков 4-я бригада. Там, где врага нельзя было взять числом, силой, Неделин делал это умением. У него получалось по-суворовски: «Тяжело в учении — легко в бою».

Стрелковые дивизии наконец заняли оборону. Отошли на новые позиции и артиллеристы. Неделин приказал оборудовать здесь на расстоянии до тысячи метров друг от друга три противотанковых рубежа. На первых двух по замыслу комбрига установили искусно изготовленные макеты пушек и орудий. На третьем рассредоточились по позициям все главные и вспомогательные силы бригады. «Утром 13 июля свыше 100 самолетов противника,—

пишет автор, — стали интенсивно бомбить боевые порядки бригады и в первую очередь ложные огневые позиции. Затем в течение 15 минут вела ураганный огонь вражеская артиллерия, потом снова налеты авиации, а после — артобстрел. Такое чередование повторялось трижды. Вскоре устремились в атаку фашистские танки. Не без потерь ими было преодолено минное поле. Израсходовав немало боеприпасов на уничтожение орудий-макетов на первом и втором рубежах, они продвигались дальше». Артиллеристы, хорошо замаскировавшись, подпускали бронированные машины на двести—триста метров и расстреливали их в упор. 25 подбитых танков, 150 уничтоженных автомобилей — таков результат боя. Более недели сражалась 4-я бригада. В пересказанных бегло сражениях Неделин встает перед читателем не просто храбрым, но и вдумчивым, опытным командиром.

В краткой хронике «СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» отмечено: «22 — вторник (июль, 1941-го).

Войска 17-й полевой армии немцев и 3-й румынской армии в полосе Южного фронта нанесли удар в стык 18-й и 9-й армий на уманском направлении. В связи с этим войска фронта вынуждены были продолжать отход на восток...».

С 24 июля по 3 августа артиллеристы Неделина, прикрывая отход 18-й армии, вели ожесточенные бои с танками и моторизованными частями. Ни днем ни ночью не прерывалась орудийная канонада. Люди очень уставали. Ухудшалось снабжение боеприпасами. Наступил октябрь. Часть войск 18-й армии, в том числе и 4-я бригада, оказалась в окружении. В этой ситуации на артиллеристов возлагалась задача «совместно с другими соединениями прорвать вражеское кольцо для выхода наших войск из окружения».

Первые дни и месяцы... Владимир Федорович Толубко, ныне Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), заместитель министра обороны СССР, прошедший войну от первого до последнего выстрела и хорошо знающий, что почем бывает на войне, рассказывая о боевой жизни и сражениях комбрига Неделина, раскрывает перед читателем всю сложность, а порой трагичность военных ситуаций сорок первого. Подробно исследуя события тех дней и вынося из них нередко свежие наблюдения и выводы, автор на конкретном примере артиллеристов показывает выдержку и героизм бойцов, командиров, политработников и их преданность советской власти. Думается, что В. Ф. Толубко не случайно уделил много внимания (относительно, конечно) начально-

му периоду войны. Ведь ряд буржуазных историков и «мемуаристов» пишут у себя о том, что Красная Армия, отступая хаотично, не оказывала практически никакого сопротивления врагу. События и факты из уст очевидцев в книге «Неделин» опрокидывают такую точку зрения и показывают, что, обороняясь, проявляя чудеса героизма, воинского мастерства, армия изматывала врага, а тыл накапливал силы.

Война—борьба умов, столкновение мировоззрений и гибель тысяч и тысяч людей. Все сложно бывает на войне и порой запутанно. И в этом обязаны были разбираться командиры и военачальники. Тяжело было не только тем, кто неделями, месяцами не вылезал из сырых траншей, кто шел в смертельную атаку... «Мучительные раздумья над оперативными картами, — пишет автор, — тщательное изучение деталей обстановки, безупречное знание положения и возможностей своих войск, повседневная забота об их всестороннем обеспечении, постоянные поиски лучших, целесообразных способов разгрома врага, мобилизация подчиненных на выполнение боевых задач, выезды на передовую в самые критические моменты и сотни, сотни других забот — такова нелегкая доля генералов и офицеров, которые буквально валились с ног от чрезмерного переутомления, мерзли наравне с солдатами, получали ранения, контузии и гибли как герои...»

Выходя из окружения, 18-я армия понесла значительные потери. В числе других погиб и генерал А. С. Титов. Руководство артиллерией армии принял тридцатидевятилетний полковник Неделин. Правда, от артиллерии к тому времени осталось одно лишь название — 20 артиллерийских стволов на стрелковую дивизию и почти полное отсутствие средств тяги. И Неделин, быстро разобравшись в обстановке, предложил командарму свести оставшиеся пушки и орудия в небольшие группы во главе с опытными командирами, быстро менять их огневые позиции, соблюдать круглосуточную маскировку и наносить внезапные обстрелы по врагу. Много страниц отведено в книге рассказу о Неделине, когда он командовал артиллерией 37-й и 56-й армий, был заместителем командующего артиллерией Северо-Кавказского фронта, командующим артиллерией, заместителем командующего войсками Юго-Западного (с октября 1943-го переименованного в 3-й Украинский) фронта.

Командирского таланта Неделину не приходилось занимать. Там, где появлялся Митрофан Иванович, неизменно действовала его тактика подвижных артиллерийских групп, крупных противотанковых артиллерийских со-



единений, ложных позиций, тактика быстроты и натиска. При этом во время боя он часто оказывался на передовых позициях в дивизионах и батареях. Спустя почти год после начала войны Неделину присвоили звание генерал-майора. С боями прошел он юг Украины, вместе со всеми освобождал Болгарию, Югославию, Венгрию.

Обстановка на подступах к Будапешту оказалась сложной. Против 3-го Украинского фронта действовало 25 немецких и венгерских дивизий. Крепко пришлось поработать командующему артиллерией в этой обстановке. Неделин вместе с командующим 4-й Гвардейской армией генерал-майором артиллерии М. П. Цикало успешно провел вдали от направления главного удара отвлекающий маневр малыми артиллерийскими средствами. Роль настоящих орудий в этой операции исполняли макеты гаубиц, не менее 50. А стреляло по противнику несколько «кочующих» пушек. Враг клюнул. Он принял ложное за действительное. Наступающие части разорвали кольцо обороны.

Соединившись в районе Эстергома, войска 3-го и 2-го Украинских фронтов захлопнули в будапештском котле 180 тысяч немецких солдат. 21 декабря 1944 года Венгрия вышла из войны. Чтобы противник, отказавшийся сдаться в плен, не прорвался, Неделину пришлось много поработать со своими подчиненными над созданием целой системы противотанковых узлов и опорных пунктов в местах возможного танкового прорыва. Для Неделина пушки фактически умолкли в Веке. Войну он закончил в звании генерал-полковника. За венскую операцию правительство удостоило его звания Героя Советского Союза.

С интересом читаются страницы, посвященные зарождению и становлению Ракетных войск стратегического назначения. Много сил и энергии, организаторского таланта вложил в их создание Маршал артиллерии, а затем Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. С первых шагов он в курсе всех работ и событий, в гуще ракетных дел. Часто встречается с Королевым и Курчатовым, консультируется с другими учеными, помогает конструкторским бюро, исследовательским организациям, торопит строителей и машиностроителей, потому что Запад вынуждает, угрожает сверхоружием. Сергей Павлович Королев писал в те дни: «В нашу работу втянуты очень многие организации и институты, практически по всей стране. Много разных мнений, много опытов, много самых раз-

личных результатов — все это должно дать в итоге только одно правильное решение».

Неделин регулярно посещал учреждения и организации, ответственные за создание нового оружия, выезжал на ракетный испытательный полигон. «Жаль, что не сохранилось неделинских писем того периода,— пишет В. Ф. Толубко.— Но Митрофан Иванович рассказывал мне о «горячих денечках» октября 1947 года.

Рабочий день конструкторов, испытателей и военных складывался примерно так: подъем в 4.30 по московскому времени, непродолжительный завтрак, выезд в поле, а там труд, труд и еще раз изнурительный труд. В домики и палатки возвращались обычно поздним вечером. Затем планировались мероприятия на следующий день. Спать ложились не раньше 1—2 часов ночи»...

За непродолжительное время под непосредственным техническим руководством С. П. Королева на полигоне прошли испытания 11 экспериментальных ракет. На всех пусках присутствовал и Неделин. Это было начало. Следующие ракеты становились и мощнее и грузоподъемнее, с большей дальностью полета. Если у Королева появлялись какие-то затруднения, он всегда находил поддержку и советы у Митрофана Ивановича. Совместная работа со временем переросла в дружбу. И теперь по праву их имена, если речь заходит о создании РВСН, стоят рядом.

Многие годы совершенствовалось ракетное вооружение, подбирались кадры, шло обучение войск. У Митрофана Ивановича хватало на это и опыта и таланта. Он никогда не жалел себя. В 1959 году Неделин стал первым главнокомандующим РВСН.

Читателю Митрофан Иванович запомнится человеком отзывчивым, покладистым и добропорядочным, строгим и требовательным. Он был талантливым командиром и высококвалифицированным руководителем государственного масштаба. В. Ф. Толубко хорошо знает фронтную деятельность и подвиги Неделина, его боевой путь, послевоенную жизнь и работу в Вооруженных Силах СССР. Вместе с ним Владимир Федорович выполнял ответственные задания партии по созданию и совершенствованию Ракетных войск. Поэтому книга «Неделин» читается с интересом. Она от первой до последней страницы пронизана глубиной познания того дела, которому посвятил всю свою жизнь Митрофан Иванович Неделин.

Григорий РЕЗНИЧЕНКО.

## КОРОТКО О КНИГАХ



**С. М. ИСАЧЕНКО.** В одной цепи с атакующими. («Рассказывают фронтовики. 1941—1945») М. Воениздат. 1979, 223 стр.

Ты уж, пуля, не посетуй:  
Не одною лишь тобой,  
А порою и газетой  
На войне решался бой.

Эти поэтические строки, приведенные в книге, по праву могли бы стать эпиграфом к ней. Автор, бывший работник дивизионной многотиражки 198-й стрелковой дивизии «Голос красноармейца», скупыми, но выразительными красками рисует всю многообразную и ответственную работу дивизионной газеты в обороне и наступлении, во время боя.

В повествовании С. Исаченко как в капле воды видны сотни дивизионов, вместе с другими фронтовыми газетами сыгравших большую роль в организации победы. Мало кто знает, что в Советской Армии в 1943 году издавалось 635 дивизионных газет, а к концу войны, в 1945 году, их численность выросла до 700. Дивизионка ближе всех стояла к бойцу. Журналисты сами часто шли в рядах воинов, в их цепях. Статьи для газеты готовились на месте — в тесной траншее, а то и в воронке от авиабомбы, словом, где застала обстановка...

Автор приводит множество примеров мужества и героизма воинов, сразу же, по горячим следам освещенных дивизионкой и, в свою очередь, вдохновивших защитников Родины на новые подвиги. Так, в одной из статей рассказывалось об отважном командире орудия сержанте Викторе Емельянове.

...Емельянов получил приказ выдвинуть свое орудие к дороге и не пропустить по ней фашистские танки. Подпустив головную машину поближе, Виктор подал команду на открытие огня. Первый выпущенный снаряд поджег вражеский танк. Но гитлеровцы обнаружили огневую позицию. Весь расчет орудия был выведен из строя. Остался один Виктор. Он-то и продолжал бой. Сам подносил снаряды, сам стрелял... Он подбил и второй вражеский танк. Остальные отошли назад, но еще оставался первый недобитый танк, который вот-вот опомнится, заменит перебитый трак. Нет, нельзя упустить врага, подумал боец. Но как быть — снаряды уже кончились... И тогда он принял смелое решение: пополз к танку, на ходу стащил с себя ватник и, вспрыгнув на танк, закрыл им отверстие для прицела. Орудие замолчало. Но тут же заговорил пулемет. Виктор соскочил на землю, поднял валившийся рядом с танком покоренный

трак и... Сразу несколько пуль впились ему в грудь. Но, собрав последние силы, он бросился к пулемету и траком ударил по стволу. Падая, Виктор уже не слышал грозного русского «ура». Это пошла в атаку наша пехота.

Придя в редакцию, автор восстановил в памяти эту драматическую картину и написал о подвиге в «Голосе красноармейца». Это была не только дань памяти друга-бойца, но и страстный призыв к живым биться за Родину так, как за нее бился сержант Емельянов.

Редакция дивизионки часто действовала рядом с передним краем. Случалось, что из-за артналетов и бомбовых ударов противника она не имела возможности принять по радио нужную информацию. Нередко ранило кого-нибудь из сотрудников редакции, разбивались кассы со шрифтом (он был на вес золота). И все-таки, несмотря на все, газета выходила. В ней появлялись новые рубрики, например «Трибуна боевого опыта», в которой красноармеец Дементьев в статье «Как я истребяю гитлеровцев» поделился опытом ведения пулеметного огня из амбразуры, проделанной в деревянном заборе. А разведчик Мазлов выступил с корреспонденцией «По вражеским тылам».

Главы «Дорогами наступления» и «По Прибалтике», пожалуй, наиболее динамичные в описании деятельности газеты. В наступлении возникали новые проблемы, новые темы для дивизионки, новые примеры подвига советского воина.

Книга С. Исаченко, вобравшая в себя огромный боевой опыт дивизионной газеты, несомненно будет встречена с интересом не только журналистами, но и широким читателем.

Д. Панков.

Подольск.



**ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ..** Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1980. 253 стр.

Два года назад свердловские газеты опубликовали сообщение, что местное издательство готовит книгу, составленную из писем фронтовиков. Статья вызвала большой поток писем, фотографий, других документов. И вот сейчас книга, частично вобравшая их, вышла.

Письма эти многослойны. В них отразилось все, что тогда с такой внезапностью и беспощадностью обрушилось на страну: оборванность судеб, кровь и смерть ни в чем не повинных людей, мужество и героизм со-

ветских воинов, грудью вставших на защиту Родины. Подробностей в письмах немного. «Катюша! — писал стрелок, парторг роты Григорий Кунавин.—Извини за краткие письма. Некогда длинно писать». Это тот самый Герой Советского Союза Кунавин, именем которого названы и улица, и школа, и железнодорожный разъезд вблизи города Каменск-Уральского, где до войны работал Григорий Павлович.

Но были, само собой, и драгоценные для нас сегодня подробности, ярко показывающие, как бойцы, преодолевая предельную усталость, шли вперед. «Однажды мне не пришлось спать четверо суток ни одного часа, а потом много идти,—сообщал своим родным комиссар стрелкового полка подполковник Иван Пяташкин.—Помню, я шел, а глаза смыкались. Я закрывал глаза и шел. Ко мне подошел один командир. Мы шли обычным шагом. Он, по своей привычке, взял меня за ремень. Только почувствовал, что у меня есть опора, я тут же уснул на ходу. Шел и спал. Он что-то говорил, а я уж ничего не понимал. Только он отнял руку, я проснулся...» Вероятно, лишь побывавший на войне человек может полностью оценить правдивость рассказанного в этом письме...

«Окончательно узнал, что Прожерин убит при взятии деревни Безымянная, на переходе, возле речки. Белоусов еще жив и участвует в боях. Очеретин тоже жив. (В. Очеретин — ныне известный писатель, главный редактор журнала «Урал». — М. Н.) Ознобихин убит. Это все — из нашего цеха, а Ознобихин — из цеха № 1». Перед нами строки погибшего в бою Александра Черепанова, рядового из Уральского добровольческого танкового корпуса. Они замечательны не только доказательством прочности и нерасторжимости довоенных связей — люди не забывали номера цехов и имена товарищей, как долго впоследствии будут помнить названия дивизий и полков, калибры своих пушек и гаубиц,—есть в них к тому же и это короткое, леденящее душу «еще»: «...еще жив».

Прославленный ас генерал Г. А. Речкалов, чей бронзовый бюст установлен в его родном селе Зайково Свердловской области, сделал попытку разобраться в психологии сражающегося бойца-авиатора. В своем послании к землякам он говорит: «Воздушный бой длится минуты. Победу одерживаешь в какое-то мгновение. И в это мгновение перед тобой проходит вся жизнь, в это мгновение сильнее ощущаешь, как дорога тебе Родина».

А теперь о письме, за которым не только судьба человека, но и разветленные по времени события, достойные стать отдельным повествованием. «Ну вот, милый сын,—так начинается оно,—мы больше не увидимся. Час назад я получил задание, выполняя которое живым не вернусь. Этого ты, мой малыш, не пугайся и не унывай». Такое письмо-завещание отправил начальник штаба отдельного лыжного дивизиона гвардии капитан Гавриил Павлович Масловский. В нем он, в частности, просит сына стать воспитанником суворовского училища, прочно связать свою жизнь с армией. Закончилась война, прошло несколько лет. В конце 40-х годов в Свердловское суворовское училище, где тогда учился Юра Масловский, пришла эта весточка, доставленная боевыми товарищами гвардии капитана. Они-

то и рассказали на собранном в училище митинге об особо ответственном задании, которое ценой собственной жизни выполнил отважный офицер: в начале 1944 года возглавляемая им группа взорвала склад с боеприпасами, не дав снарядам обрушиться на город Ленина.

Разные даты, разные фронты... От первых военных дней до последнего (уже на Дальнем Востоке). В августе 1945 года капитан Сергей Котов пишет: «До Порт-Артура восемьдесят километров. Мы уже вдыхаем ветер русской ратной славы». И чуть позднее: «Конец нашему походу... К ней, к Победе, шел я всю жизнь».

Растут дети. Они идут по земле среди неданных новостроек и среди обелисков. «Живые строки войны...» доносят до них неумирающий голос тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость социалистической отчизны.

Михаил Найдич.

Свердловск.



**ВАСИЛИЙ СУББОТИН.** Роман от первого лица. М. «Советский писатель». 1979. 750 стр.

**ВАСИЛИЙ СУББОТИН.** Бранденбургские ворота. Стихи. («Библиотека «Огонек»). «Правда». 1979. 32 стр.

В одноименный прозы В. Субботина («Роман от первого лица») вошли известные читателю произведения — «Как кончатся войны», «Первая книга», «Жизнь поэта», а также новые рассказы из цикла «Город» и «Дорога на Брокен».

В. Субботин, если можно так сказать, «автобиографический» писатель. Но его биография неотделима от судьбы поколения, которое сразу со школьной скамьи ушло в пекло войны. Детство будущего писателя прошло в сибирской деревне, «первый большой город, который я увидел,—пишет В. Субботин в предисловии к «Роману от первого лица»,— был Берлин».

В. Субботин сохраняет в своих рассказах реальные имена, обстоятельства, приметы времени, связующей мыслью здесь является сама история, которая, как судьба, «не допускает перемен». Почти все рассказы написаны от первого лица и уже по одному этому не могут не быть лиричными. И больше сказать — проза В. Субботина вырастает из его стихов, несущих заряд большой лирической энергии, свою пронзительную ноту, свой неожиданный взгляд на жизнь.

Многие стихи, вошедшие в сборник «Бранденбургские ворота», написаны под впечатлением забываемых дней войны.

От себя самого я иконские ночи гоню...  
Он опять и опять обивает мне ноги,  
Тот неубранный хлеб, что горит на корню,  
На запруженной этой, пропахшей бензином дороге.

Переходя от стихов к прозе, автор сохранил лаконичность слова, саму «форму чувства».

В одном из рассказов В. Субботин описывает майский дождь в Берлине 1945 года. «В том году в Берлине было много сирени. Она заполнила собой все дворы, все скверы, лезла из-под развалин. Из-под наваленных и

навороченных на нее плит. Она была сочная, плотная... Удивительная была весна и удивительная была сирень!.. И пахла она тем сильнее, памячнее, что еще не выветрились на улицах запахи пороха и дыма...»

О чем бы ни писал В. Субботин, всегда в его рассказах виден опыт поэтического постижения действительности. К. Симонов как-то сказал, что рассказы В. Субботина, военные и не военные, «мгновенны по своей непродолжительности». Можно развить мысль: они представляют собой «продолжительные мгновения» — В. Субботин как бы останавливает мгновение, чтобы всмотреться в него, понять его скрытый живой и исторический смысл. Он будто намеренно замедляет действие, задерживает развязку. Это характерная черта стиля его прозы. Отчетливо она проявляется в новых рассказах, например в рассказе «Белый Дунаец», завершающем книгу. Это «проза поэта» — отчетливая, ясная и вместе с тем поэтически многоплановая, живая, наполненная веяниями времени.

В «Романе от первого лица» В. Субботина есть единство авторской личности, «единство духа». Это собрание рассказов, очерков, зарисовок, размышлений, заметок, конечно, в переносном смысле можно назвать романом. И тем не менее та повествовательная тяга, которая заставляет с неослабевающим вниманием читать книгу, свидетельствует, что В. Субботин вплотную подошел к широкой эпической форме. «И вот слова, что я давно искал, выстукивать мне капли начинаю». Не слова ли это именно будущего романа?

Э. Бабаев.



**НАТАЛЬЯ КРАВЦОВА.** Вернись из полета! Повести. М. Воеиздат. 1979. 365 стр.

В основе трех повестей Натальи Кравцовой, вошедших в сборник «Вернись из полета!», — реальные факты, да и сам автор выступает в них наряду с другими героями как реальный персонаж, как современник и активный участник незабываемых боевых событий. С чувством высокой ответственности перед памятью павших товарищей и перед живущими друзьями, прошедшими через огонь сражений, написана эта книга. Читатель не найдет здесь одного главного героя. Главными героями являются многие — девушки, шагнувшие в войну, как и сама Наталья Кравцова, по велению сердца и совести из университетских аудиторий, из школьных классов, из аэроклу-

бов, где они успели получить лишь начальные летные навыки и пристрастие к небу...

На войне счет времени свой, уплотненный, и если, скажем, в мирный период на подготовку летчика отводилось несколько лет, то сейчас — считанные месяцы. И далее без замедления на фронт, в авиационные полки. Все это в повести «От заката до рассвета» дано через многосложную мозаику фактов и событий. С особой теплотой автор пишет о Марине Расковой, которая обучала молодежь летному мастерству, с нежностью и любовью — о своих подругах, раскрывая процесс их духовного мужания.

Нет, Наталья Кравцова не сглаживает суровость войны и все, что связано с ней. Идут горячие бои в воздухе над Волгой, в районе Сталинграда. Летчицы Леля Литвяк и Катя Буданова (повесть «Вернись из полета!») рвутся в небо, их «ЯКи» в полной готовности. А командир полка и слушать не хочет о том, чтобы дать разрешение на боевое задание, однажды он в сердцах восклицает: «Послушайте, ну какой вы истребитель!.. Вам в куклы играть, а не в бой летать...» И все-таки девушки добились своего, с первого же задания выказывая высокое мастерство и бесстрашие.

Цельность характеров, высокая нравственность, убежденность — черты людей, о которых рассказывает Наталья Кравцова, прошедшая войну до ее победного конца и знающая цену миру и безоблачному голубому небу.

Новая повесть «Госпитальная палата», включенная в книгу (две первые выходили ранее), относится по времени к весне сорок четвертого года. В этом произведении автор рассказывает не о военных летчиках, к которым причастна сама, а о девушках, попавших после тяжелых ранений и контузий на передовых позициях в госпиталь. 14 фронтовичек. И у каждой своя судьба, своя печаль, свои раздумья, но при этом «беда одного — общая беда и радость одного — общая радость».

Вера в победу света и добра над черными силами зла и жестокости стала внутренним нервом повести «Госпитальная палата».

Мужественная и честная книга Натальи Кравцовой посвящена девушкам, вступившим на ратный путь в семнадцатилетнем возрасте и вынесшим на своих далеких не могучих плечах все тяготы и невзгоды боевых походов, ожесточенных битв на земле, в воздухе. Их образы и сегодня вызывают к борьбе за чистое небо, за мир и жизнь.

В. Локшин,  
полковник в отставке.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 119 стр. Цена 15 к.  
**Ленин.** У руля Страны Советов. По воспоминаниям современников и документам. В 2-х тт. Т. I. 1917—1919. 359 стр. Цена 1 р.  
**Е. Анчел.** Мифы потрясенного сознания. Перевод с венгерского. («Критика буржуазной идеологии и ревизионизма») 176 стр. Цена 75 к.

**Развитой социализм: проблемы теории и практики.** 23 стр. Цена 3 к.

**Ю. Чернов.** Судьба высокая «Авроры». Документальная повесть. 286 стр. Цена 70 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Э. Ветемаа.** Маленькие романы. Перевод с эстонского. 359 стр. Цена 1 р. 20 к.

**М. Геттуев.** Вечный пленник высоты. Стихи и поэмы. Перевод с балкарского. 150 стр. Цена 55 к.

**Е. Евтушенко.** Талант есть чудо неслучайное. Книга статей. 439 стр. Цена 1 р. 20 к.

**К. Кулиев.** Весенний свет. Стихотворения и поэма. Перевод с балкарского. 142 стр. Цена 55 к.

**Ю. Трифонов.** Старик. Роман. 240 стр. Цена 1 р.

**И. Чигринов.** Плач перепелки. Оправдание крови. Романы. Перевод с белорусского. 564 стр. Цена 2 р. 40 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Д. Алдайк.** Кролики, беги.— Давай поженимся. Романы. Перевод с английского. («Зарубежный роман XX в.») 581 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Г. Леонидзе.** Избранное. Стихи. Волшебное дерево. Воспоминания детских лет. Перевод с грузинского. 503 стр. Цена 1 р. 80 к.

**К. Петреску.** Избранное. Последняя ночь любви, первая ночь войны. Роман.— Рассказы. Перевод с румынского. 446 стр. Цена 3 р. 20 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Параллели.** Сборник научно-фантастических произведений писателя ГДР. 239 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Т. Пулатов.** Жизнеописание строптивого бухарца. Роман. Повести. Рассказы. 461 стр. Цена 1 р. 80 к.

**М. Шагинян.** Лениниана. Семья Ульяновых. Тетралогия. Очерки и статьи. 814 стр. Цена 3 р. 10 к.

## «ПРОГРЕСС»

**М. Дрюон.** Железный король.— Узница Шато-Гайара.— Яд и корона. Исторические романы из серии «Проклятые короли». 588 стр. Цена 4 р. 40 к.

**А. Зегерс.** И снова встреча. Повести и рассказы. Перевод с немецкого. 283 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Избранные произведения писателей Северной Африки.** Романы и рассказы. Перевод с арабского и французского. 590 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Современная чехословацкая повесть.** 70-е годы. Перевод с чешского и словацкого. 436 стр. Цена 2 р. 60 к.

## «ИСКУССТВО»

**Ю. Каграманов.** Без знамени. Взаимоотношения искусства и науки в современном буржуазном обществе. 127 стр. Цена 50 к.

**М. Рошнн.** Песни. 551 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «НАУКА»

**Л. Опульская.** Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 г. 287 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы.** Сборник статей. Ответственный редактор М. Алексеев. 230 стр. Цена 1 р. 50 к.

**А. Фет.** Вечерние огни. Стихотворения. Издание подготовил Д. Д. Влагой и М. А. Соколова. («Литературные памятники») 816 стр. Цена 3 р. 90 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Воспоминания об Иване Шухове.** Составитель В. Ермаченков и И. Шухов. Алма-Ата. «Жазушы». 476 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Илли.** Героико-эпические песни чеченцев и ингушей. Ответственный редактор Р. Ахматова. Грозный. Чечено-Ингушское книжное издательство. 238 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Махтумкули.** Избранное. Перевод с туркменского. Ашхабад. «Ылым». 266 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Три солнца.** Из грузинской народной поэзии. Переводы Н. Гребнева. Тбилиси. «Ганатлеба». 99 стр. Цена 30 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 27/II 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 22/IV 1980 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup>. 28,0 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (24,2 усл.-печ. л.)  
А 03385. Тираж 320.000 экз. Зак. 751.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02051.



Цена 70 коп.

70636